

Вуемѡр АСТАФЬЕВ

Вуемѡр АСТАФЬЕВ

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений

Виктор
АСТАФЬЕВ

Собрание сочинений в пятнадцати томах

КРАСНОЯРСК
«ОФСЕТ»
1997

Виктор
АСТАФЬЕВ

—

Собрание сочинений

•
Том
третий

•

ПАСТУХ И ПАСТУШКА

Современная пастораль

РАССКАЗЫ

КРАСНОЯРСК

«ОФСЕТ»

1997

Художественное оформление
Л. Озеревской, А. Яковлева

- А91 **Астафьев В. П.**
Собрание сочинений: В 15 т. Т. 3. Пастух и пастушка. Рассказы.— Красноярск: ПИК «Офсет», 1997.— 464 с.

В третий том вошел последний (1989 г.) вариант повести «Пастух и пастушка», а также рассказы, написанные в 50—60-е годы. В конце книги приводятся комментарии автора.

© В. Астафьев, 1997

© А. Озеревская, А. Яковлев

Оформление, 1997

© Производственно-издательский комбинат «Офсет», 1997

ПАСТУХ И ПАСТУШКА



Современная пастораль



Любовь моя, в том мире давнем,
Где бездны, кущи, купола, —
Я птицей был, цветком и камнем.
И перлом — всем, чем ты была!

Теофиль Готье

И брела она по тихому полю, непаханому, нехоженому, косы не знавшему. В сандалии ее сыпались семена трав, колючки цеплялись за пальто старомодного покроя, отделанного сереньким мехом на рукавах.

Оступаясь, соскальзывая, будто по наледи, она поднялась на железнодорожную линию, зачастила по шпалам, шаг ее был суетливый, сбивающийся.

Насколько хватало взгляда — степь, немая, предзимно взявшаяся рыжеватой шерсткой. Солончаки накрапом пятнали степную даль, добавляя немоты в ее безгласное пространство, да у самого неба тенью проступал хребет Урала, тоже немой, тоже недвижно усталый. Людей не было. Птиц не слышно. Скот отогнали к предгорьям. Поезда проходили редко.

Ничто не тревожило пустынной тишины.

В глазах ее стояли слезы, и оттого все плыло перед нею, качалось, как в море, и где начиналось небо, где кончалось море — она не различала. Хвостатыми водорослями шевелились рельсы. Волнами накатывали шпалы. Дышать ей становилось все труднее, будто поднималась она по бесконечной шаткой лестнице.

У километрового столба она вытерла глаза рукой. Полосатый столбик порябил-порябил и утвердился перед нею. Она опустила с линии и на сигнальном кургане, сделанном пожарными или в древнюю пору кочевниками, отыскала могилу.

Может, была когда-то на пирамидке звездочка, но отопрела. Могилу затянуло травой провололочником и полынью.

Татарник взнимался рядом с пирамидкой-столбиком, не решаясь подняться выше. Несмело цеплялся он заусенцами за изветренный столбик, ребристое тело его было измучено и остисто.

Она опустила на колени перед могилой.

— Как долго я тебя искала!

Ветер шевелил полынь на могиле, вытеревливал пух из шишечек карлика-татарника. Сыпучие семена чернобыла и замершая сухая трава лежали в бурых щелях старчески потрескавшейся земли. Пепельным тленом отливала предзимняя степь, угрюмо нависал над нею древний хребет, глубоко вдавившийся грудью в равнину, так глубоко, так грузно, что выдавилась из глубины земли горькая соль и бельма солопчачков, отблескивая холодно, плоско, наполняли мертвенным льдистым светом и горизонт, и небо, спаявшееся с ним.

Но это там, дальше было все мертво, все остыло, а здесь шевелилась пугливая жизнь, скорбно шелестели немощные травы, похрустывал костлявый татарник, сыпалась сохлая земля, какая-то живность, полевка-мышка, что ли, суежилась в трещинах земли меж сохлых травок, отыскивая прокорм.

Она развязала платок, прижалась лицом к могиле.

— Почему ты лежишь один посреди России?

И больше ни о чем не спрашивала.

Думала.

Вспоминала.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ



БОЙ

•

«Есть упоение в бою!» —
какие красивые и устарелые слова!..
*Из разговора,
услышанного на войне*

Орудийный гул опрокинул, смял ночную тишину. Пресекая тучи снега, с треском полосую тьму, мелькали вспышки орудий, под ногами качалась, дрожала, шевелилась растревоженная земля вместе со снегом, с людьми, приникшими к ней грудью.

В тревоге и смятении проходила ночь.

Советские войска добивали почти уже задушенную группировку немецких войск, командование которой отказалось принять ультиматум о безоговорочной капитуляции и сейчас вот вечером, в ночи сделало последнюю свертотчаянную попытку вырваться из окружения.

Взвод Бориса Костяева вместе с другими взводами, ротами, батальонами, полками с вечера ждал удара противника на прорыв. Машины, танки, кавалерия весь день металась по фронту. В темноте уже выкатились на взгорок «катюши», поизорвали телефонную связь. Солдаты, хватаясь за карабины, зверски ругались с эрэсовцами — так пазывали на фронте минометчиков с реактивных установок — «катюш». На зачехленных установках толсто лежал снег. Сами машины как бы приосели на лапах перед прыжком. Изредка всплывали над передовой ракеты, и тогда видно делалось стволы пушчонок, торчащих из снега, длинные спички пэгээрров. Немьгой картошкой, бесхозяйственно высыпанной на снег, виделись солдатские головы в касках и шапках, там и сям церковными свечками светились солдатские костерки, но вдруг среди полей поднималось круглое пламя, взнимался черный дым — не то подорвался кто на mine, не то загорелся бензовоз либо

склад, не то просто плеснули горючим в костерок тапкисты или шофера, взбодряя силу огня и торопясь доварить в ведре похлебайку.

В полночь во взвод Костяева приволоклась тыловая команда, принесла супу и сто боевых граммов. В траншеях началось оживление. Тыловая команда, напуганная глухой метельной тишиной, древним светом диких костров — казалось, враг, вот он, ползет-подбирается — торопила с едой, чтобы скорее заполучить термосы и умотать отсюда. Храбро сулились тыловики к утру еще принести еды и, если выгорит, водчонки. Бойцы отпустить тыловиков с передовой не спешили, разжигали в них панику байками о том, как тут много противника кругом и как он, нечистый дух, любит и умеет ударять врасплох.

Эрэсовцам еды и вышивки не доставили, у них тыловики пешком ходить разучились, да еще по уброду. Пехота оказалась по такой погоде пробойней. Благодушные пехотинцы дали похлебать супу, отделили курица эрэсовцам. «Только по нас не палить!» — ставили условие.

Гул боя возникал то справа, то слева, то близко, то далеко. А на этом участке тихо, тревожно. Безмерное терпение кончалось, у молодых солдат являлось желание ринуться в кромешную темноту, разрешить неведомое томление пальбой, боем, истратить накопившуюся злость. Бойцы постарше, натерпевшиеся от войны, стойче переносили холод, секущую метель, неизвестность, надеялись: пронесет и на этот раз. Но в предутренний уже час, в километре, может в двух, правее взвода Костяева слышалась большая стрельба. Сзади, из снега, ударили полоторасотки-гаубицы, снаряды, шамкая и шипя, полетели над пехотинцами, заставляя утыгивать головы в воротники оснеженных, мерзлых шинелей.

Стрельба стала разрастаться, густеть, накатываться. Пронзительней завывали мины, намазано заскрежетали эрэсы, озарились окопы грозными всполохами. Впереди, чуть левее, часто, заполошно гвякала батарея полковых пушек, рассыпая искры, выбрасывая горящей вехоткой скомканное пламя.

Борис вынул пистолет из кобуры, поспешил по окопу, то и дело проваливаясь в снежную кашу. Траншею хотя и чистили лопатами всю ночь и набросали высокий бруствер из снега, но все равно хода сообщений забило местами вровень со срезами, да и не различить было эти срезы.

— О-о-о-од! Приготовиться! — крикнул Борис, точ-

нее, пытался кричать. Губы у него состылись, и команда получилась невнятная. Помкомвзвода старшина Мохнаков поймал Бориса за полу шинели, уронил рядом с собой, и в это время эрэсы выхаркнули вместе с пламенем угловатые стрелы снарядов, озарив и парализовав на минуту земную жизнь, кипящее в снегах людское месиво; рассекло и прошло струями трассирующих пуль мерклый ночной покров; мерзло застучал пулемет, у которого расчетом воевали Карышев и Малышев; ореховой скорлупой посыпали автоматы; отрывисто захлопали винтовки и карабины.

Из круговерти снега, из пламени взрывов, из-под клубящихся дымов, из комьев земли, из охающего, ревущего, с треском рвущего земную и небесную высь, где, казалось, не было и не могло уже быть ничего живого, возникла и покатила на траншею темная масса из людей. С кашлем, криком, визгом хлынула на траншею эта масса, провалилась, забурлила, заплескалась, смывая разъяренным отчаянием гибели волнами все сущее вокруг. Оголодалые, деморализованные окружением и стужей, немцы лезли вперед безумно, слепо. Их быстро прикончили штыками и лопатами. Но за первой волной накатила другая, третья. Все перемешалось в ночи: рев, стрельба, матюки, крик раненых, дрожь земли, с визгом откаты пушек, которые били теперь и по своим, и по немцам, не разбирая, кто где. Да и разобрать уже ничего было нельзя.

Борис и старшина держались вместе. Старшина — левша, в сильной левой руке он держал лопатку, в правой — трофейный пистолет. Он не палил куда попало, не суетился. Он и в снегу, в темноте видел, где ему надо быть. Он падал, зарывался в сугроб, потом вскакивал, поднимая на себе воз снега, делал короткий бросок, рубил лопатой, стрелял, отбрасывал что-то с пути.

— Не психуй! Пропадешь! — кричал он Борису.

Дивясь его собранности, этому жестокому и верному расчету, Борис и сам стал видеть бой отчетливей, понимать, что взвод его жив, дерется, но каждый боец дерется поодиночке, и нужно знать солдатам, что он с ними.

— Ребя-а-а-ата-аа-а! — Бе-ей! — кричал он взрыдывая, брызгаясь бешеной вспенившейся слюной.

На крик его густо сыпали немцы, чтобы заткнуть ему глотку. Но на пути ко взводному все время оказывался Мохнаков и оборонял его, оборонял себя, взвод.

Пистолет у старшины выбили, или обойма кончилась. Он выхватил у раненого немца автомат, расстрелял патроны и остался с одной лопаткой. Отоптав место возле траншеи, Мохнаков бросил через себя одного, другого тощего немца, но третий с визгом по-собачьи вцепился в него, и они клубком покатались в траншею, где копошились раненые, бросаясь друг на друга, воя от боли и ярости.

Ракеты, много ракет взмыло в небо. И в коротком, полощущем свете отрывками, проблесками возникали лоскутья боя, в адовом столпотворении то сближались, то проваливались во тьму, зияющую за огнем, ощеренные лица. Снеговая пороша в свете делалась черной, пахла порохом, секла лицо до крови, забивала дыхание.

Огромный человек, шевеля громадной тенью и развевающимся за спиной факелом, двигался, нег, летел на огненных крыльях к окопу, круша все на своем пути железным ломом. Сыпались люди с разваленными черепами, торной тропею по снегу стелилось, плыло за карающей силой мясо, кровь, копать.

— Бей его! Бей! — Борис пытался по траншее, стрелял из пистолета и не мог попасть, уперся спиною в стену, перебирал ногами, словно бы во сне, и не понимал, почему не может убежать, почему не повинуются ему ноги.

Страшен был тот, горящий, с ломом. Тень его металась, то увеличиваясь, то исчезая, он сам, как выходец из преисподней, то разгорался, то темнел, проваливался в геенну огненную. Он дико выл, оскаливая зубы, и чудились на нем густые волосы, лом уже был не ломом, а выдранным с корнем дубьем. Руки длинные с когтями...

Холодом, мраком, лешачьей древностью веяло от этого чудовища. Полыхающий факел, будто отсвет тех огненных бурь, из которых возникло чудовище, поднялось с четверенек, дошло до наших времен с неизменившимся обликом пещерного жителя, овеществляя это видение.

«Идем в крови и пламени...» — вспомнились вдруг слова из песни Мохнакова, и сам он тут как тут объявился. Рванул из траншеи, побрел, черпая валенками снег, сошелся с тем, что горел уже весь, рухнул к его ногам.

— Старшина-а-а-а-а! Мохнако-о-ов! — Борис пытался забить новую обойму в рукоятку пистолета и выпрыгнуть из траншеи. Но сзади кто-то держал, тянул его за шинель.

— Карау-у-ул! — тонко вел на последнем издыхании Шкалик, ординарец Бориса, самый молодой во взводе боец. Он не отпуская от себя командира, пытался стащить его в

снежную норку. Борис отбросил Шкалика и ждал, поднимая пистолет, когда вспыхнет ракета. Рука его отвердела, не качалась, и все в нем вдруг закалилось, сцепилось в твердый комок — теперь он попадет, твердо знал — попадет.

Ракета. Другая. Пучком выплеснулись ракеты. Борис увидел старшину. Тот топтал что-то горящее. Клубок огня катился из-под ног Мохнакова, ошметки разлетались по сторонам. Погасло. Старшина грузно свалился в траншею.

— Ты живой! — Борис хватал старшину, ощупывал.

— Все! Все! Рехнулся фриц! С катушек сошел!.. — втыкая лопатку в снег, вытирая ее о землю, задышливо выкрикивал старшина. — Простыня на нем вспыхнула... Страсть!..

Черная пороша вертелась над головой, ахали гранаты, сыпалась стрельба, грохотали орудия. Казалось, вся война была сейчас здесь, в этом месте; кипела в растоптанной яме траншеи, исходя удушливым дымом, ревом, визгом осколков, звериным рычанием людей.

И вдруг на мгновение все опало, остановилось. Усилился вой метели...

— Танки! — разногласно завопила траншея.

Из темноты нанесло удушливой гари. Танки безглазыми чудовищами возникли из ночи. Скрежетали гусеницами на мёрзоте и тут же буксовали, немая в глубоком снегу. Снег пузырился, плавился под тапками и на танках.

Им не было ходу назад, и все, что попадало на пути, они крушили, перемалывали. Пушки, две уже только, развернувшись, хлестали им вдогон. С вкрадчивым курлыканием, от которого заходило сердце, обрушился на танки залп тяжелых эрзсов, электросварочной вспышкой ослепив поле боя, качнув окоп, оплавляя все, что было в нем: снег, землю, броню, живых и мертвых. И свои, и чужеземные солдаты попадали влежку, жались друг к другу, затакивали головы в снег, срывая ногти, по-собачьи рыли руками мерзлую землю, старались затискаться поглубже, быть поменьше, утягивали под себя ноги — и все без звука, молчком, лишь загнанный хрип слышался повсюду.

Гул парастал. Возле тяжелого танка ткнулся, хокнул огнем снаряд гаубицы. Танк содрогнулся, звякнул железом, забежал влево-вправо, качнул орудием, уронил набалдашник дульного тормоза в снег и, буравя перед собой живой, перекатывающийся ворох, ринулся на траншею. От него, уже неуправляемого, в панике рассыпались и

чужие солдаты и русские бойцы. Танк возник, зашевелился безглазой тушей над траншеей, траки лязгнули, повернулись с визгом, бросив на старшину, на Бориса комья грязного снега, обдав их горячим дымом выхлопной трубы. Завалившись одной гусеницей в траншею, буксуя, танк рванулся вдоль нее.

Надсаженный, на пределе завывал мотор, гусеницы рубили, перемальвали мерзлую землю и все в нее вкопанное.

— Да что же это такое? Да что же это такое? — Борис, ломая пальцы, вцарапывался в твердую щель. Старшина тряс его, выдергивал, будто суслика, из норки, но лейтенант вырывался, лез заново в землю.

— Гранату! Где гранаты?

Борис перестал биться, лезть куда-то, вспомнил: под шинелью на поясе у него висели две противотанковые гранаты. Он всем раздал с вечера по две и себе взял, да вот забыл про них, а старшина или утерял свои, или использовал уже. Стянув зубами рукавицу, лейтенант сунул руку под шинель — граната на поясе висела уже одна. Он выхватил ее, начал взводить чеку. Мохнаков шарил по рукаву Бориса, пытался отнять гранату, но взводный отталкивал старшину, полз на коленях, помогая себе локтями, вслед за танком, который пахал траншеею, метр за метром прогрызая землю, нащупывая опору для второй гусеницы.

— Постой! Постой, курва! Сейчас! Я тебя... — Взводный бросал себя за танком, но ноги, ровно бы вывернутые в суставах, не держали его, он падал, запинаясь о раздавленных людей, и снова полз на коленях, толкался локтями. Он утерял рукавицы, наелся земли, но держал гранату, словно рюмку, налитую всклянь, боясь расплескать ее, влаивая, плакал оттого, что не может настичь танк.

Танк ухнул в глубокую воронку, задержался в судорогах. Борис приподнялся, встал на одно колено и, ровно в чиху играя, метнул под сизый выхлоп машины гранату. Жахнуло, обдало лейтенанта снегом и пламенем, ударило комками земли в лицо, забило рот, катануло по траншее, точно зайчонка.

Танк дернулся, осел, смолк. Со звоном упала гусеница, распустилась солдатской обмоткой. По броне, на которой с шипением таял снег, густо зачиркало пулями, еще кто-то фуганул в танк гранату.

Остервенело били по танку ожившие бронебойщики,

высекая синие всплески пламени из брони, досадуя, что танк не загорелся. Возник немец без каски, черноголовый, в разорванном мундире, с привязанной за шею простыней. С живота строча по танку из автомата, он что-то кричал, подпрыгивая. Патроны в рожке автомата кончились, немец отбросил его и, обдирая кожу, стал колотить голыми кулаками по цементированной броне. Тут его и подсекло пулей. Ударившись о броню, немец сполз под гусеницу, подергался в снегу и успокоенно затих. Простыня, падая вместо маскхалата, метнулась раз-другой на ветру и закрыла безумное лицо солдата.

Бой откатился куда-то во тьму, в ночь. Гаубицы переместили огонь; тяжелые эрэсы, содрогаясь, визжа и воя, поливали пламенем уже другие окопы и поля, а те «катиюши», что стояли с вечера возле траншей, горели, завязши в снегу. Оставшиеся в живых эрэсовцы смешались с пехотой, бились и погибали возле отстрелявшихся машин.

Впереди все таяла полковая пушчонка, уже одна. Смятая, растерзанная траншея пехотинцев вела редкий орудийный огонь, да булькал батальонный миномет трубою, и вскоре еще две трубы начали бросать мины. Обрадованно запоздало затрещал ручной пулемет, а танковый молчал, и бронейщики выдохлись. Из окопов, то тут, то там, выскакивали темные фигуры, от низко севших, плоских касок казавшиеся безголовыми, с криком, с плачем бросались во тьму, следом за своими, словно малые дети гнались за мамкою.

По ним редко стреляли, и никто их не догонял.

Заполыхали в отдалении скирды соломы. Фейерверком выплескивалось в небо разноцветье ракет. И чьи-то жизни ломало, уродовало в отдалении. А здесь, на позиции взвода Костяева, все стихло. Убитых заносило снегом. На догорающих машинах эрэсовцев трещали и рвались патроны, гранаты; горячие гильзы высыпались из коптящих машин, дымились, шипели в снегу. Подбитый танк остывшей тушей темнел над траншеей, к нему тянулись, ползли раненые, чтобы укрыться от ветра и пуль. Незнакомая девушка с подвешенной на груди санитарной сумкой делала перевязки. Шапку она обронила и рукавицы тоже, дула на коченеющие руки. Снегом запорошило коротко остриженные волосы девушки.

Надо было проверять взвод, готовиться к отражению цовой атаки, если она возникнет, налаживать связь.

Старшина успел уже закурить. Он присел на корточки — его любимая расслабленная поза в минуту забвения и отдыха, смежив глаза, тянул сигарку, изредка без интереса посматривал на тушу танка, темную, неподвижную, и снова прикрывал глаза, задремывал.

— Дай мне! — протянул руку Борис.

Старшина окурка взводному не дал, достал сначала рукавицы взводного из-за пазухи, потом уж кисет, бумагу, не глядя сунул, и когда взводный неумело скрутил сырую сигарку, прикурил, закашлялся, старшина бодро воскликнул:

— Ладно ты его! — и кивнул на танк.

Борис недоверчиво посмотрел на усмиренную машину: такую громадину! — такой маленькой гранатой! Такой маленький человек! Слышал взводный еще плохо. И во рту у него была земля, на зубах хрустело, грязью забило горло. Он кашлял и отплевывался. В голову ударяло, в глазах возникали радужные круги.

— Раненых... — Борис почистил в ухе. — Раненых собирать! Замерзнут.

— Давай! — отобрал у него сигарку Мохнаков, бросил ее в снег и притянул за воротник шинели взводного ближе к себе. — Идти надо, — донеслось до Бориса, и он снова стал чистить в ухе, пальцем выковыривая землю.

— Что-го... Тут что-то...

— Хорошо, цел остался! Кто ж так гранаты бросает!

Спина Мохнакова, погонны его были обляпаны грязным снегом. Ворот полушубка, наполовину с мясом оторванный, хлопался на ветру. Все качалось перед Борисом, и этот хлопающий воротник старшины, будто доскою, бил по голове, небогато, но оглушительно. Борис на ходу черпал рукою снег, ел его, тоже гарью и порохом засоренный, живот не остужало, наоборот, больше жгло.

Над открытым люком подбитого танка воронкой завинчивало снег. Танк остывал. Позванивало, трескаясь, железо, больно стреляло в уши. Старшина увидел девушку-санитарку без шапки, снял свою и небрежно насунил ей на голову. Девушка даже не взглянула на Мохнакова, лишь на секунду приостановила работу и погрела руки, сунув их под полушубок к груди.

Карышев и Мальшев, бойцы взвода Бориса Костяева, подтаскивали к танку, в заветрие, раненых.

— Живы! — обрадовался Борис.

— И вы живы! — тоже радостно отозвался Карышев и

потянул воздух носищем так, что тесемка развязанной шапки влетела в ноздрю.

— А пулемет наш разбило, — не то доложил, не то повинился Малышев.

Мохнаков влез на танк, столкнул в лок перевесившегося, еще вялого офицера в черном мундире, распоротом очередями, и тот загрел, будто в бочке. На всякий случай старшина дал в нутро танка очередь из автомата, который успел где-то раздобыть, посветил фонариком и, спрыгнув в снег, сообщил:

— Офицерья наглушило! Полная утроба! Ишь как ловко: мужика-солдата вперед, на мясо, господа, под броню... — Он склонился к санинструктору: — Как с пакетами?

Та отмахнулась от него. Взводный и старшина откопали провод, двинулись по нему, но скоро из снега вытащили оборвыш и добрались до ячейки связиста наугад. Связиста раздавило в ячейке гусеницей. Тут же задавлен немецкий унтер-офицер. В щепки растерт ящичек телефона. Старшина подобрал шапку связиста и натянул на голову. Шапка оказалась мала, она старым коршуньим гнездом громоздилась на верхушке головы старшины.

В уцелевшей руке связист зажал алюминиевый штырек. Штырьки такие употреблялись немцами для закрепления палаток, нашими телефонистами — как заземлители. Немцам выдавали кривые связистские ножи, заземлители, кусачки и прочий набор. Наши все это заменяли руками, зубами и мужицкой смекалкой. Штырьком связист долбил унтера, когда тот прыгнул на него сверху, тут их обоих и размичкало гусеницей.

Четыре танка остались на позициях взвода, вокруг них валялись полузанесенные снегом трупы. Торчали из свежих суметов руки, ноги, винтовки, термосы, противогазные коробки, разбитые пулеметы, и все еще густо чадили сгоревшие «катюши».

— Связь! — громко и хрипло выкрикнул полуглухой лейтенант и вытер нос рукавицей, заледенелой на пальце.

Старшина и без него знал, что надо делать. Он скликал тех, кто остался во взводе, отрядил одного бойца к командиру роты, если не сыщет ротного, велел бежать к комбату. Из подбитого танка добыли бензину, плескали его на снег, жгли, бросая в костер приклады разбитых винтовок и автоматов, трофейное барахло. Санинструкторша отогрела руки, прибралась. Старшина принес ей

меховые офицерские рукавицы, дал закурить. Перекурив и перемолвившись о чем-то с девушкой, он полез в танк, пошарился там, освещая его фонариком, и завопил, как из могилы:

— Е-е-эсть!

Побулькивая алюминиевой флягой, старшина вылез из танка, и все глаза устремились на него.

— По глотку раненым! — обрезал Мохнаков. — И... немножко доктору, — подмигнул он санинструкторше, но она никак не ответила на его щедрость и весь шнапс разделила по раненым, которые лежали на плащ-палатках за танком. Кричал обгорелый водитель «катюши». Крик его стискивал душу, но бойцы делали вид, будто ничего не слышали.

Раненный в ногу сержант попросил убрать немца, который оказался под ним, — студено от мертвого. Выкатили на верх траншеи окопелого фашиста. Кричащий его рот был забит снегом. Растолкали на стороны, повытаскивали из траншеи и другие трупы, соорудили из них бруствер — защиту от ветра и снега, над ранеными натянули козырек из плащ-палаток, прикрепив углы к дулам винтовок. В работе темного согрелись. Хлопались железно плащ-палатки под ветром, стучали зубами раненые, и, то затихая в бессилии, то вознося отчаянный крик до неизвестно куда девавшегося неба, мучился водитель. «Ну что ты, что ты, браток?» — не зная, чем ему помочь, утешали водителя солдаты. Одного за другим посылали солдат в батальон, никто из них не возвращался. Девушка отозвала Бориса в сторону. Пряча нос в спекшийся от мороза воротник телогрейки, она стучала валенком о валенок и смотрела на потрепанные рукавицы лейтенанта. Помедлив, он снял рукавицы и, наклонившись к одному из раненых, натянул их на охотно подставленные руки.

— Раненые замерзнут, — сказала девушка и прикрыла распухшими веками глаза. Лицо ее, губы тоже распухли, багровые щеки ровно бы присыпаны отрубями — потрескалась кожа от ветра, холода и грязи.

Уже невинтно, будто засыпая с соской во рту, всхлипывал обожженный водитель.

Борис засунул руки в рукава, виновато потупился.

— Где ваш санинструктор? — не отрывая глаз, спросила девушка.

— Убило. Еще вчера.

Водитель смолк. Девушка нехотя расклеила веки. Под

ними сложились, затемняя взгляд, недвижные слезы, Борис догадался, что девушка эта из дивизиона эрэсовцев, со сгоревших машин. Она, нацрягшись, ждала — не закричит ли водитель, и слезы из глаз ее откатились туда, откуда возникли.

— Я должна идти. — Девушка поежилась и постояла еще секунду-другую, вслушиваясь. — Нужно идти. — взбадривая себя, прибавила она и стала карабкаться на бруствер траншеи.

— Бойца!.. Я вам дам бойца.

— Не надо, — донеслось уже издали. — Мало народу. Друг что.

Спустя минуту Борис выбрался из траншеи. Срывая с глаз рукавом настывшее мокро, пытался различить девушку во тьме, но никого и нигде уже не было видно.

Косыми полосами шел снег. Хлопья сделались белей, липучей. Борис решил, что метель скоро кончится: густо повалило — ветру не пробиться. Он возвратился к танку, постоял, опершись на гусеницу спиной.

— Карышев, Малышев, собирайте все в костер! — угрюмо распорядился лейтенант и тише добавил: — Раздевайте убитых, чтобы накрыть, — показал он взглядом на раненых, — и рукавицы мне где-нибудь найдите. Старшина! Боевое охранение как?

— Выставил.

— К артиллеристам бы сходить. Может, у них связь работает?

Старшина пехотя подиался, затянул ту же полушубок и повололся к пушчонкам, что так стойко сражались ночью. Вернулся скоро.

— Одна пушка осталась и чегыре человека. Тоже раненые. Снарядов нет. — Мохнаков охлопал снег с воротника полушубка и только сейчас удивленно заметил, что он оторван. — Прикажите артиллеристов сюда? — хватывая ворот булавкой, спросил он.

Борис кивнул. И те же Малышев и Карышев, которым износу не было, двинулись за старшиной.

Раненых артиллеристов перетащили в траншею. Они обрадовались огню и людям, но командир орудия не ушел с боевых позиций, попросил принести ему снарядов от разбитых пушек.

Так, без связи, на слухе и нюхе, продержались до утра: Как привидения, как нежити, появлялись из тьмы раздерганными группами заблудившиеся немцы, но, завидев

русских, подбитые танки, чадящие машины, укатывались куда-то, пропадали навечно в сонно укутывающей все вокруг снеговой мути.

Утром, уже часов около восьми, перестали ухать сзади гаубицы. Смолкли орудия слева и справа. И впереди унялась пушчонка, звонко ударив последний раз. Командир орудия или расстрелял поднесенные ему от других орудий снаряды, или умер у своей пушки. Внизу, в пойме речки или в оврагах, догадался Борис, не унимаясь, бухали два миномета, с вечера было их там много; стучали крупнокалиберные пулеметы; далеко куда-то по неведомым целям начали бить громкогласно и весомо орудия большой мощности. Пехота уважительно примолкла, да и огневые точки переднего края одна за другой начали смущенно свертывать стрельбу; рявкнули на всю округу отлаженным залпом редкостные орудия (знатоки уверяли, что в дуло их может запросто влезть человек!), тратящие больше горючего в пути, чем пороху и снарядов в боях, высокомерно замолчали, но издалека долго еще докатывались толчки земли, звякали солдатские котелки на поясах от содрогания. Но вот совсем перестало встряхивать воздух и снег. Снег оседал, лепился уже без шараханья, валил обрадованно, сплошно, будто висел над землей, копился, дожидаясь, когда стихнет внизу, уймется огненная стихия.

Тихо стало. Так тихо, что солдаты начали выпрастываться из снега, оглядываться недоверчиво.

— Все?! — спросил кто-то.

«Все!» — хотел закричать Борис, но долетела далекая дробь пулеметов, чуть слышные раскаты взрыва пробурчали летним громом.

— Вот вам и все! — буркнул взводный. — Быть на месте! Проверить оружие!

— А-а-а-аев!.. А-я-а-ев!

Голос приближался.

— Ан-ан... Ая-я-аяев...

— Вроде вас кличут? — наострил тонкое и уловчивое ухо бывший командир колхозной пожарки, ныне рядовой стрелок Пафнутьев и заорал, не дожидаясь разрешения:

— О-го-го-о-о-о-о! — грелся Пафнутьев криком.

И только он копчил орать и прыгать, как из снега возник солдат с карабином, упал возле танка, занесенного снегом уже до борта. Упал на остывшего водителя, пощупал, отодвинулся, вытер с лица мокро.

— У-уф! Ищу, ищу, ищу! Чего ж не откликаетесь-то?

— Ты бы хоть доложил... — заворчал Борис и вытащил руки из карманов.

— А я думал, вы меня знаете! Связшой ротного, — отряхиваясь рукавицей, удивился посыльный.

— С этого бы и начинал.

— Немцев расхлопали, а вы тут сидите и ничего не знаете! — забывая неловкость, допущенную им, загараторил солдат.

— Кончай травить! — осадил его старшина Мохнаков. — Докладывай, с чем пришел, угощай трофейной, коли разжился.

— Значит, вас, товарищ лейтенант, вызывают. Ротным вас, видать, назначат. Ротного убило у соседей.

— А мы, значит, тут? — сжал синие губы Мохнаков.

— А вы, значит, тут, — не удостоил его взглядом связной и протянул кисет: — Во! Наш саморуб-мордovorот! Лучше греет...

— Пошел ты со своим саморубом! Меня от него... Ты девку в поле нигде не встречал?

— Не-е. А чё, сбегла?

— Сбегла, сбегла. Замерзла, небось, девка. — Мохнаков скользнул по Борису укоризненным взглядом. — Отпустили одну...

Натягивая узкие мазутные рукавицы, должно быть, с покойного водителя, плотнее подпоясываясь, Борис сдавленно проговорил:

— Как доберусь до батальона, первым делом пришло за ранеными. — И, стыдясь скрытой радости оттого, что он уходит отсюда, Борис громче добавил, приподняв плащ-палатку, которой были накрыты раненые: — Держитесь, братцы! Скоро вас увезут.

— Ради Бога, похлопочи, товарищ лейтенант. Холодно, мочи нет.

Борис и Шкалик брели по снегу без пути и дороги, полагаясь на шох связного. Нюх у него оказался никудышным. Они сбились с пути, и, когда пришли в расположение роты, там пикого уже не было, кроме сердитого связиста с расцарапанным носом. Он сидел, укрывшись плащ-палаткой, точно бедуин в пустыне, и громко крыл боевыми словами войну, Гитлера, но пуще всего своего напарника, который уснул на промежуточной точке. —

телефонист посадил батарейки на аппарате, пытаясь разбудить его зуммером.

— Во! Еще лунатики объявились! — с торжеством и злостью заорал связист, не отнимая пальца от осой ноющего зуммера. — Лейтенант Костяев, что ль? — И, заполучив утвердительный ответ, нажал клапан трубки: — Я сматываюсь! Доложи ротному. Код? Пошел ты со своим кодом. Я околел до смерти... — продолжал лаяться связист, отключая аппарат и все повторяя: — Ну, я ему дам! Ну, я ему дам! — Вынув из-под зада котелок, на котором он сидел, охнул, поковылял по снегу отсиженными ногами. — За мной! — махнул он. Резво треща катушкой, связист сматывал провод и озверело пер вперед, на промежуточную, чтобы насладиться мстью: если напарник не замерз, пнуть его как следует.

* * *

Командир роты разместился за речкой, на окраине хутора, в бане. Баня излажена по-черному, с каменкой — совсем уж редкость на Украине. Родом из семиреченских казаков, однокашник Бориса по полковой школе, комроты Филькин, фамилия которого была притчей во языцех и не соответствовала его боевому характеру, приветливо, даже чересчур приветливо встретил взводного.

— Здесь русский дух! — весело гаркнул он. — Здесь баней пахнет! Помоемся, Боря, попаримся!.. — Был он сильно возбужден боевыми успехами, может, хватил уже маленько, любил он это дело...

— Во война, Боря! Не война, а хреновина одна. Немцев сдалось — тучи. Прямо тучи. А у нас? — прищелкнул он пальцем. — Вторая рота почти без потерь: человек пятнадцать, да и те блудят, небось, либо дрыхнут у хохлуш, окаяпные. Ротного нет, а за славянами глаз да глаз нужен...

— А нас напарили! Половина взвода смята. Раненых надо вывозить.

— Да-а? А я думал, вас миновало. В стороне были... Но отбился же, — хлопнул Филькин по плечу Бориса и приложился к глиняному жбану с горлышком. У него перебило дух. Он покрутил восторженно головой. — Во напиток — стенолаз. Тебе не дам, хоть ты и замерз. Раненых выносить будем. Обоз не знаю где. Я им морды на-

быю! А ты, Боря, на время пойдешь вместо... Знаю, знаю, что обожаешь свой взвод. Скромный, знаю. Но надо. Вот гляди сюда! — Филькин раскрыл планшетку и стал тыкать в карту пальцем. С обмороженного брюшка пальца сходила кожа, и кончик его был красненький и круглый, как редиска. — Значит, так: хутор нашими занят, но за хутором, в оврагах и на поле, между хутором и селом, — большое скопление прогивника. Предстоит добивать. Без техники немец, почти без боеприпасов, полудохлый, а черт его знает! Отчаялись. Значит, пусть Мохнаков снимает взвод, сам край выбирать место для воинства. Я подтяну туда все, что осталось от моей роты. Действуй! Береги солдат, Боря! До Берлина еще далеко!..

— Раненых убери! Врача пошли. Самогонку отдай, — показал Борис на жбан с горлышком.

— Ладно, ладно, — отмахнулся комроты. — Возьму раненых, возьму. — И начал звонить куда-то по телефону. Борис решительно забрал посудину с самогонкой и, целовко прижимая ее к груди, вышел из бани.

Отыскав Шкалика, он передал ему посудину и приказал быстро идти за взводом.

— Возле раненых оставьте кого-нибудь, костер жгите, — наказывал он. — Да не заблудись.

Шкалик засунул в мешок посудину, надел винтовку за спину, взмахнул рукавицей у виска и нехотя побрел через огороды.

Занималось утро, может, сделалось светлее оттого, что утихла метель. Хутор занесен снегом по самые трубы. Возле домов стояли с открытыми люками немецкие танки, бронетранспортеры. Иные дымилась еще. Болотной лягушкой расщеперилась на дороге расплоснутая легковая машина, из нее расплывалось багрово-грязное пятно. Снег был череп от копоти. Всюду воронки, комья земли, раскиданные взрывами. Даже на крыши набросана земля. Плетни везде свалены; немногие хаты и сараи сворочены танками, побиты снарядами. Воронье черными лохмами кружило над оврагами, молчаливое, сосредоточенное.

Воинская команда в запозненном обмундировании, папевая, будто на сплаве, сталкивала машины с дороги, расчищала путь технике. Горел костерок возле хаты, возле него грелись пожилые солдаты из тыловой трофейной команды. И пленные тут же у огня сидели, несмело тянули руки к теплу. На дороге, ведущей к хутору, темной ломаной лентой стояли танки, машины, возле них прыга-

ли, толкались экипажи. Хвост колонны терялся в еще не осевшей снежной мути.

Взвод прибыл в хутор быстро. Солдаты потянулись к огонькам, к хатам. Отвечая на немой вопрос Бориса, старшина живо доложил:

— Девка-то, санинструкторша-то, трофейные повозки где-то надыбала, раненых всех уезла. Эрэсовцы — не пехота — народ союзный.

— Ладно. Хорошо. Ели?

— Чё? Снег?

— Ладно. Хорошо. Скоро тылы подтянутся.

Согревшиеся в быстром марше солдаты уже смекали насчет еды. Варили картошку в касках, хрумкали трофейные галеты, иные и разговелись маленько. Заглядывали в баню, прищохивались. Но пришел Филькин и прогнал всех, Борису дал нагоняй ни за что ни про что. Впрочем, тут же выяснилось, отчего он вдруг озверел.

— За баней был? — спросил он.

— Нет.

— Сходи.

За давно не топленной, но все же угарно пахнувшей баней, при виде которой сразу зачесалось тело, возле картофельной ямы, прикрытой шалашиком из бурьяна, лежали убитые старик и старуха. Они спешили из дому к яме, где, по всем видам, спасались уже не раз сперва от немецких, затем от советских обстрелов и просиживали подолгу, потому что старуха прихватила с собой мочальную сумку с едой и клубком толсто напряденной шерсти. Залп вчерашней артподготовки прижал их за баней — тут их и убило.

Они лежали, прикрывая друг друга. Старуха спрятала лицо под мышку старику. И мертвых их било осколками, посеколо одежонку, выдрало серую вату из латаных телогреек, в которые они оба были одеты. Артподготовка длилась часа полтора, и Борис, еще издали глядя на густое кипение взрывов, подумал: «Не дай Бог попасть под этокое столпотворение...»

Из мочальной сумки выкатился клубок, вытащив резинку начатого носка со спицами из ржавой проволоки. Носки из пестрой шерсти на старухе, и эти она начала, должно быть, для старика. Обута старуха в калоши, подвязанные веревочками, старик — в неровно обрезанные опорки от немецких сапог. Борис подумал: старик обре-

зал их потому, что взъёмы у немецких сапог низки и сапоги не налезали на его больные ноги. Но потом догадался: старик, срезая лоскутья с голенищ, чинил низы сапог и постепенно добрался до взъёма.

— Не могу... Не могу видеть убитых стариков и детей, — тихо уронил подошедший Филькин. — Солдату вроде бы как положено, а перед детьми и стариками...

Угрюмо смотрели военные на старика и старуху, наверное, живших по-всякому: и в ругани, и в житейских дрязгах, но обнявшихся преданно в смертный час.

Бойцы от хуторян узнали, что старики эти приехали сюда с Поволжья в голодный год. Они пасли колхозный табун. Пастух и пастушка.

— В сумке лешехи из мерзлых картошек, — объявил связной комроты, отнявши сумку из мертвых рук старухи, и начал наматывать нитки на клубок. Смотал, остановился, не зная, куда девать сумку.

Филькин длинно вздохнул, поискал глазами лопату и стал копать могилу. Борис тоже взял лопату. Но подошли бойцы, больше всего не любящие копать землю, возненавидевшие за войну эту работу, отобрали лопаты у командиров. Щель вырыли быстро. Попробовали разнять руки пастуха и пастушки, да не могли и решили — так тому и быть. Положили их головами на восход, закрыли горестные потухшие лица: старухино — се же полушалком с реденькими висюльками кисточек, старика — ссохшейся, как слива, кожаной шапчонкой. Связной бросил сумку с едой в щель и принялся кидать лопатой землю.

Зарыли безвестных стариков, прихлопали лопатами буторок, кто-то из солдат сказал, что могила весной просядет — земля-то мерзлая, со снегом, и тогда селяне, может быть, перехоронят старика и старуху. Пожилой догвязый боец Ланцов прочел над могилой складную, тихую молитву: «Боже правый духов, и всякия плоти, смерть поправший и диавола упразднивший, и живот миру Твоему даровавший, сам Господи упокой душу усопшего раба Твоего... рабов Твоих», — поправился Ланцов.

Солдаты притихли, все кругом притихло, отчего-то побледнел, подобрался старшина Мохнаков. Случайно в огород забредший славянин с длинной винтовкой на плече начал было любопытствовать: «А чё тут?» Но старшина так на него зашипел и такой черный кулак поднес ему, что тот сразу смолк и скоро упятился за ограду.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ



СВИДАННИЕ

•

И ты пришла, заслышав ожиданье...

Я. Смеляков

Солдаты пили самогонку.

Пили торопливо, молча, не дожидаясь, когда сварится картошка.

Пальцами доставали прокисшую капусту из глечика, хрустели, крякали и не смотрели друг на друга.

Хозяйка дома, по имени Люся, пугливо взглядывала в сторону солдат, подкладывала сухие ветки акаций и жгуты соломы в печь, — торопилась доварить картошку. Корней Аркадьевич Ланцов, расстилавший солому на полу, выпрямился, отряхнул ладонями штаны, боком подсел к столу:

— Налейте и мне.

Борис сидел у печки, грелся и отводил глаза от хозяйки, возившейся рядом. Старшина Мохнаков поднял с пола немецкую канистру, налил полную кружку, подсунул ее Ланцову и криво шевельнул углом рта:

— Запыживай, паря!

Корней Аркадьевич суетливо оправил гимнастерку, будто нырять в прорубь собрался. Судорожно дергаясь, всхлипывая, вытянул самогонку и какое-то время сидел оглушенный. Наконец наладилось дыхание, и Ланцов жалко пролепетал, убирая пальцем слезу:

— Ах, господи!

Скоро, однако, он приглушил застенчивость, оживился, пытаясь заговорить с солдатами, со старшиной. Но те упорно молчали и глушили самогонку. В избе делалось все труднее дышать от табачного дыма, стойкого запаха

затхлой буряковой самогонки и гнетущего ожидания чего-то худого.

«Хоть бы сваливались скорее, — с беспокойством думал взводный, — а то уже и жутко даже...»

— Вы тоже выпили бы, — обратился к нему Корней Аркадьевич, — право, выпили бы... Оказывается, помогает...

— Я дождусь еды, — отвернулся к печи Борис и стал греть руки над задымленным шестком. Труба тянула плохо, выбрасывала дым. Видать, давно нет мужика в доме.

Неустойчиво все во взводном, в голове покачивается и звенит еще с ночи. Разбил он однажды сапоги до того, что остались передки с голенищами. Подвязал их проволокой, но когда простыл и ходить вовсе не в чем сделалось, стянул сапоги с такого же, как он, молоденького лейтенанта, полегшего со взводом в балке. Стянул, надел — у него переносимо, изводно стыли ноги в этих сапогах. И он поскорее сменял их.

Теперь вот у него такое ощущение, будто весь он в сапоге, стянутом с убитого человека.

— Промерзли? — спросила хозяйка.

Он потер виски ладонью, приостановил в себе обморочную качку, взглянул на нее осмысленно. «Есть маленько», — хотелось сказать ему, но он ничего не сказал, сосредоточил разбитое внимание на огне под таганком.

По освещенному огнем лицу хозяйки пробежали тени. И было в ее маленьком лице что-то как будто недорисованное, было оно подкопчено лампадками или лучиной, проступали отдельные лишь черты лица. Хозяйка чувствовала на себе пристальный, украдчивый взгляд и покусывала припухшую нижнюю губу. Нос ее ровный, с узенькими раскрылками, припачкан сажей. Овсяные, как определяют в народе, глаза, вызревшие в форме овсяного зерна, прикрыты кукольно загнутыми ресницами. Когда хозяйка открывала глаза, из-под ресниц этих обнажались темные и тоже очень вытянутые зрачки. В них метался отсвет огня, глаза в глубине делались переменчивыми: то темнели, то высветлялись и жили отдельно от лица. Но из загадочных, как бы перенесенных с другого, более крупного лица глаз этих, не исчезало выражение покорности и устоявшейся печали. И еще Борис заметил, как беспокойны руки хозяйки. Она все время пыталась и не могла найти им место.

Солома прогорела. Веточки акаций лежали горкой рас-

каленных гвоздиков, от них шел сухой струйный жар. Рот хозяйки чуть приотворился, руки успокоились у самого горла. Казалось, спугни ее — и она, вздрогнув, уронит руки, схватится за сердце.

— Может быть, сварилась? — осторожно дотронулся до локтя хозяйки Борис.

— А? — хозяйка отпрянула в сторону. — Да, да, сварилась. Пожалуй, сварилась. Сейчас попробуем. — Произношение не украинское. И ничего в ней не напоминало украинку, разве что платок, глухо завязанный, да передник, расшитый тесьмою. Но немцы всех жителей, и в первую голову женщин, научили здесь затеняться, прятаться, бояться.

Люся выдвинула кочергой ведерный чугунок на край припечка, ткнула пальцем в картофелину, затрясла рукой. Сунула палец в рот. Получилось по-детски смешно и беззащитно. Борис едва заметно улыбнулся.

Прихватив чугунок чьей-то портянкой, он отлил горячую воду в лохань, стоящую в углу под рукомошкой. Из лохани ударило тяжелым паром. Хозяйка вынула палец изо рта, спрятала руку под передник, потерянно и удивленно наблюдала за действиями командира.

— Вот теперь налейте и мне, — поставив чугунок на стол, произнес лейтенант.

— Да ну-у? — громко удивился Мохнаков. — К концу войны, глядишь, и вы с Корнеем обстреляетесь! — подкова рта старшины разогнулась чуть ли не до подбородка, выражая презрение, может, брезгливость или еще какие-то скрытые неприязненные чувства, которыми полнился старшина всякий раз, когда пьянел. Вновь его обуревал кураж — так называется это на родимой сторонushке взводного и помкомвзвода, в Сибири.

Борис не смотрел на старшину, лишь сердито двинул в бок Шкалика:

— Подвинься-ка!

Шкалик ужаленно подскочил и чуть не свалился со скамейки.

— Напоили мальчишку! — Борис не обращался ни к кому, но старшина его слышал, внимал, поднял глаза к потолку, не переставая кривить рот в усмешке. — Садитесь, пожалуйста, — позвал Борис Люсю, одиноко прижавшуюся спиной к остывшему шестку и все прячущую руку под передником.

— Ой, да что вы! Кушайте, кушайте! — почему-то ис-

пугалась хозяйка и стала суетливо шарить по платку, по груди, ускользая глазами от взгляда Мохнакова, вдруг в нее уставившегося.

— Не-е, девка, не отказывайся, — распевно завел Пафнутьев, — не моргуй солдатской едой. Мы худого тебе не сделаем. Мы...

— Да хватит тебе! — Борис похлопал рукой по скамейке, с которой услужливо сошел Пафнутьев. — Я вас очень прошу.

— Хорошо, хорошо! — Люся как будто застыдилась, что ее упрашивают, лейтенант даже на солдата рассердился почему-то. — Я сейчас, одну минутку...

Она исчезла в чистой половине, прикрытой створчатой дверью, и скоро возвратилась оттуда без платка, без передника. У нее была коса, уложенная на затылке. Легкий румянец выступил на лице ее. Не ко времени и не к месту она тут, среди грязных, мятых и сердитых солдат, думалось ей. Она стеснялась себя.

— Напрасно вы здесь расположились, — скованно заговорила она и пояснила Борису: — Просила, просила, чтоб проходили туда, — махнула она на дверь в чистую половину.

— Давно не мылись мы, — сказал Карышев, а его односельчанин и кум Малышев добавил:

— Натрясем трофеев.

— Вот уж намоемся, отстираемся, в порядок себя приведем... — завел напевно Пафнутьев.

— Тогда и в гости пожалуем, — подхватил Мохнаков, подмигивая всему застолью разом, с форсом без промаха поровну разливая всем, и Люсе тоже, убойно пахнущее зелье. Он первый громко, как бы с дружеским вызовом звякнул гнугой алюминиевой кружкой в стакан, из деликатности отваленный Люсе. И все солдаты забренчали посудинами, смешанно произнесли привычное: «Будем здоровы!», «Со свиданьем!» и так далее. Люся подождала с поднятым стаканом — не скажет ли чего командир. Он ничего не говорил.

— С возвращением вас... — потупившись, вымолвила хозяйка в ответ и отвернулась к печке, часто заморгав. — Мы так вас долго ждали. Так долго... — она говорила с какой-то покаянностью, словно виновата была в том, что так долго пришлось ждать. Отчаянно, в один дух, Люся выпила самогонку и закрыла ладошкой рот.

— Вот это — по-пашенски! Вот видно, что рада! —

загудел Карышев и потянулся к ней с американской колбасой на складнике, с наспех ободранной картофелиной. Шкалик хотел опередить Карышева, да уронил картошку. Ему в ширинку накрошилось горячее, он забился было, но тут же испуганно сжался. Взводный с досадою отвернулся. Шкалик стряхнул горячее в штанину, и ему сделалось лучше.

Человек этот, Шкалик, был пепьющий. Еще Борис и Корней Аркадьевич непьющие. Оттого чувствовали они себя иной раз бросовыми лодьями и не такими прочными бойцами, как все остальное воинство, которое хотя тоже большей частью пило «для сугрева», но как-то умело впустить свою полную отчаянность и забубенность. Вообще мужик наш, русский мужик, очень любит пагонять на себя отчаянность, а посему и привирает подчас совершенно безгрешно насчет баб и выпивки. Пил сильно, но упорно не пьянел лишь старшина, добывая где-то, даже в безлюдных местах, горючку всяких видов, и возле него всегда крутился услужливый, падкий на дармовщину, кум-пожарник Пафнутьев. Малышев и Карышев пивали редко, зато уж обстоятельно. Получая свои сто граммов, они сливали их во флягу, и, накопив литр, а то и более, дождавшись благой, затишной минуты, устраивались на поляне, либо в хате какой, неторопливо пили, чокаясь друг с другом, и ударялись в воспоминания, «советовались», как объясняли они свои беседы. Потом пели — Карышев басом, Малышев дискантом:

За ле-есом солще зы-ва-сия-а-а-ало,
Гы-де черы-пай во-е-сора-а-ан про-кы-ричн-ал.
Пы-рошли часы, пы-рошли мину-уты,
Ковды-ы зы-девче-е-онкой я-а-а гуля-а-ал...

— Откуль будешь, дочка? — лез с вопросами к Люсе любящий всех людей на свете Карышев, раскрасневшийся от выпивки. — По обличью и говору навроде расейская? — И Малышев собирался вступить в разговор, но взводный упредил его:

— Дай человеку поесть.

— Да я могу есть и говорить. — Люся радовалась, что солдаты сделались ближе и доступнее. Один лишь старшина ощупывал ее потаенным взглядом. От этого всепонимающего, налитого тяжестью взгляда ей все больше и больше становилось не по себе. — Я нездешняя.

— А-а. То-то я гляжу: обличье... Не чалдонка случаем?

— все больше мягчая лицом, продолжал расспрашивать Карышев.

— Не знаю.

— Вот те раз! Безродная, что ли?

— Ага.

— А-а. Тогда иное дело. Тогда, конечно... Судьба, она, брат, такое может с человеком сотворить...

Взводный души не чаял в этих двух алтайцах-кумовьях, которые родились, жили и работали в самой красивой на свете, по их заверению, алтайской деревне Ключи. Не сразу понял этих солдат Борис. Поначалу, когда пришел во взвод, казались они ему тупицами, он даже раздражался, слушая подковырки и насмешки их друг над другом. Карышев был рыжий. Малышев — лысый. Эти-то два отличия они и использовали для шуток. Стоило снять Карышеву пилотку, как Малышев начинал зудеть: «Чего разболкся? Взбредет в башку германцу, что русский солдат картошку варит на костре, — и зафитилит из орудия!» Карышев срывал пучок травы и бросал на лысину Малышеву: «Блестишь на всю округу! Фриц усекет — миномет тута — и накроет!»

Солдаты впокат валились, слушая перебранку алтайцев, а Борис думал: «До чего же отупеть надо, чтобы радоваться таким плоским да и неловким для пожилых людей насмешкам». Но постепенно привык он к людям, к войне, стал их видеть и понимать по-другому, ничего уже низкого в неуклюжих солдатских шутках и подковырках не находил.

Воевали алтайцы, как работали, без суеты и злобы. Воевали по необходимости да основательно. В «умственные» разговоры встревали редко, но уж если встревали — слушай.

Как-то Карышев срубил под корень Ланцова, впадшего в рассуждения насчет рода людского: «Всем ты девицам по серьгам отвесил: и ученым, и интеллигентам, и рабочим в особенности, потому как сам из рабочих и главное всех сам себе кажешься. А всех главное, на земле — крестьянин-хлебороб. У него есть все: земля! У него и будни и праздники в ней. Отбирать ему ни у кого ничего ненадобно. А вот у крестьянина от веку нороят отнять хлеб. Германец, к слову, отчего воюет и воюет? Да оттого, что крестьянствовать разучился и одичал без земляной работы. Рабочий класс у него машины делает и порох. А машины и порох жрать не будешь, вот он и лезет всюду.

зорит крестьянство, землю топчет и жжет, потому как не знает цену ей. Его быют, а он лезет. Его быют, а он лезет!»

Карышев сидел нынче за столом широко, ел опрятно и с хитроватой мудрецей поглядывал на Корнея Аркадьевича. Гимнастерку алтаец расстегнул, пояс отвязал, был широк и домовит. Картошку он чистил брюшками пальцев, раздевши ее, незаметно подсовывал Люсе и Шкалику. Совсем уж пьяный был Шкалик, шатался на скамейке, ничего не ел. Нес капусту в рот, да не донес, все на гимнастерку развесил. Карышев тряхнул на нем гимнастерку, ленточки капусты сбросил на пол. Шкалик тупо следил за его действиями и вдруг ни с того ни с сего ляпнул:

— А я из Чердынского району!..

— Ложился бы ты спать, из Чердынского району, — заворчал отечески Карышев и показал Шкалику на солону.

— Не верите? — Шкалик жалко, по-ребячьи лупил глаза. Да и был он еще парнишкой — прибавил себе два года, чтобы поступить в ремесленное училище и получать бесплатное питание, а его цап-царап в армию, и загремел Шкалик на фронт, в пехоту.

— Есть такое место на Урале, — продолжал настаивать Шкалик, готовый вспылить или заплакать. — Там, знаете, какие дома?!

— Большие! — хмыкнул Пафнутьев, мужичонка прицепистый, всем недовольный оттого, что с хорошей службы слетел. Состоял он при особом отделе армии, но одного осужденного в штрафную до ветру отпустил, тот взял да и в село ушел, гимнастерку променял, сапоги, пьяный и босой возвратился. За потерю бдительности Пафнутьев и оказался на передовой.

— Ры-разные, а не большие, — поправил его Шкалик, — и что тебе наливники, и что тебе ворога — все из... изрезанные, изукрашенные. И еще там купец жил — рябчиками торговал... ми... мильены нажил...

— Он не дядей тебе, случайно, приходился? — продолжал спрашивать Пафнутьев, и Люся почувствовала: не по-хорошему он парнишку подъедает. Шкалик ничего разобрать не мог, охотно беседовал.

— Не-е, мой дядя конюхом состоит.

— А тетя — конюшихой?

— Тетя? Тетя конюшихой. Смеетесь, да? — Шкалик прошелся по застолью налитыми горем глазами, часто захлопал прямыми и белыми, как у поросенка, ресница-

ми. — У нас писатель Решетников жил! — звонко закричал Шкалик и стукнул кулачишком по столу. — «Подлиповцы» читали? Это про нас...

— Читали, читали... — начал успокаивать его Корней Аркадьевич. — Пила и Сысойка, девка Улька, которую живьем в землю закопали... Все читали. Пойдем-ка спать. Пойдем баиньки. — Он подхватил Шкалика, поволок его в угол на солому. — До чего ты ржавый крючок! — бросил он Пафнугьеву.

— Во! — кричал Шкалик. — А они не верят! У нас еще коней разводили!.. Графья Строгановы...

— И откуль в таком маленьком человеке столько памяти? — развел руками Пафнугьев.

— Хватит! — прикрикнул Борис. — Дался он вам...

— Я серьезно...

Все в Борисе одрябло, даже голос. В паугинистом сознании пугались предметы, лица солдат, ровно бы выцветшие, подернутые зыбкой пеленой. Сошная тяжесть давила на веки, расслабляла мускулы, даже руками двигать было тяжело. «Уходил, — вяло подумал Борис. — Больше не надо выпивать...» Он пачал есть капусту с картошкой, попил холодной воды и почувствовал себя тверже.

Старшина покуривал, пуская дым в потолок, и все так же отдаленно улыбался, кривя угол рта.

— Извините, — сказал хозяйке Борис, как бы проснувшись, и пододвинул к ней банку с американской колбасой. Он все время ловил на себе убегающий взгляд ласковых, дальним скользящим светом осиянных глаз. Будто со старой иконы или с потертого экрана появились, ожили глаза, и то темнело, то прояснилось лицо женщины. — Держу при себе, как ординарца, хотя мне он и не положен, — пояснил Борис насчет Шкалика, чтобы хоть о чем-то говорить и не пялиться на хозяйку. — Горе мне с ним: ни починиться, ни сварить... и все теряет... В запасном полку отощал, куриной слепотой заболел.

— Зато мягкосердечный, добренький зато, — неожиданно вставил Мохнаков, все глядя в потолок и как бы ни к кому не обращаясь. Взгляд и лицо Мохнакова совсем затяжелели. А в горле его появилась ржа. Помкомвзвода почему-то недобро подъедал взводного. Солдаты насторожились — этого еще не было. Старшина, будто родимый тятя, опекал и берег лейтенанта. И вот что-то произошло между ними. Ну произошло и произошло, разбирайтесь потом, а сейчас-то в этой хате, при такой молодой и ладной хозяйке, после ночного побоища всем хотелось быть

добрыми, хорошими. Ланцов, Карышев, Малышев, даже Пафнутьев с укором взирали на своих командиров.

Борис не отозвался на выпад старшины и не прикасался больше к кружке с самогонкой, хотя солдаты и насылались с выпивкой, зная, что чарка всегда была верным орудием в примирении людей. Даже Ланцов разошелся и пьяно лип с просьбой выпить.

Родом Ланцов из Москвы. В детстве на клиросе пел, потом под давлением общественности к атеистически настроенному пролетариату присоединился, работал корректором в крупном издательстве, где, не жалея времени и головы, прочел без разбора множество всякой литературы, отчего привержен сделался к пространным рассуждениям.

— Ах, Люся, Люся! — схватившись за голову, долговязо раскачивался Ланцов и артистично замирал, прикрывая глаза. — Что мы повидали! Что повидали! Одной почи на всю жизнь хватит...

«Прямо как на сцене, — морщился Борис. — Будто он один насмотрелся».

Пересиливая раздражение, Борис положил руку на плечо солдата:

— Корней Аркадьевич! Ну что вы, ей-богу! Давайте о чем-нибудь другом. Споем? — нашелся взводный.

Звенит зва-янок пасче-от па-верки-и-и,
Ланцов из за-я-амка у-ю-бежа-а-ал... —

охотно откликнувшись, заорал Пафнутьев. Но Корней Аркадьевич прикрыл его рот сморщенной ладонью.

— Насчет Ланцова потом. Говорить хочу. Я долго молчал. Я все думал, думал и молчал. — Взводный чуть заметно улыбнулся солдатам: пусть, мол, потешится человек. — Я сегодня думал. Вчера молчал. Думал. Ночью, лежа в снегу, думал: неужели такое кровопролитие ничему не научит людей? Эта война должна быть последней! Или люди недостойны называться людьми! Недостойны жить на земле! Недостойны пользоваться ее дарами, жрать хлеб, картошку, мясо, рыбу, коптить небо. Прав Карышев, сто раз прав, одна истина свята на земле — материнство, рождающее жизнь, и труд хлебопашца, вскармливающий ее...

Что-то раздражало сегодня лейтенанта, всё и все раздражали, но Ланцов с его рассуждениями в особенности. И хотя Борис понимал, что пора уже всем отдыхать и самого на сон ведет, но все же подзадорил доморощенно-

го философа в завшивленной гимнастерке, заросшего реденькой сивой бородой псаломщика:

— Так. Земля. Материнство. Пашня. Все это вещи достойные, похвальные. — Борис заметил, как начали переглядываться, хмыкать бойцы: «Ну, снова началось!» Но остановить себя уже не мог. «Неужто я так захмелел?..», но его несло. Отличником в школе он не был, однако многие прописные истины выучил наизусть: — Ну а героизм? То самое, что вечно двигало человека к подвигам, к совершенству, к открытиям?

— Героизм! Подвиги! Безумству храбрых поем мы песню! — с криком вознес руки к потолку Ланцов. — Не довольно ли безумства-то? Где граница между подвигом и преступлением? Где?! Вон они, герои великой Германии, отказавшиеся по велению отцов своих — командиров от капитуляции и от жизни, волками воюющие сейчас на морозе, в снегах России. Кто они? Герои? Подвижники? Переустроители жизни? Благодетели человечества? Или вот открыватели Америк. Кто они? Бесстрашные мореплаватели? Первопроходцы? Обратно благодетели? Но эти благодетели на пути к подвигам и благам замордовали, истребили целые народы на своем героическом пути. Народы слабые, доверчивые. Это ж дети, малые дети земли, а благодетели по их трупам с крестом и мечом, к новому свету, к совершенству. Слава им! Памятники по всей планете! Возбуждение! Пробуждение! Жажда новых открытий, богатств. И все по трупам, все по крови! Уж не сотни, не тысячи, не милены, уже десятками миллионов человечество расплачивается за стремление к свободе, к свету, к просвещенному разуму! Не-эт, не такая она, правда! Ложь! Обман! Коварство умствующих ублюдков! Я готов жить в пещере, жрать сырое мясо, грызть горький корень, но чтоб спокоен был за себя, за судьбу племени своего, собратьев своих и детей, чтобы уверен был, что завтра не пустит их в распыл на мясо, не выгонит их во чистое поле замерзнуть, погибать в муках новый наполеон, гитлер, а то и свой доморощенный бог с бородкой иудея иль с усами джигита, ни разу не садившегося на копя...

— Стоп, военный! — хлопнул по столу старшина и поймал на лету ложку. — Хорошо ты говоришь, но под окном дежурный с колотушкой ходит... — Мохнаков со значением глянул на Пафнутьева, сунул ложку за валежок. — Иди, прохладись, да пописать не забудь — здесь свежее делается, — похлопал он себя по лбу.

Люся очнулась, перевела взгляд на Ланцова, на старшину, видно было, что ей жаль солдата, которого зачем-то обижали старшина и лейтенант.

— Простите! — склонил в ее сторону голову Корней Аркадьевич. Он-то чувствовал отзывчивую душу. — Простите! — церемонно поклонился застолью Ланцов и, хватаясь за стены, вышел из хаты.

— Во, артист! Ему комедь представлять бы, а он в пехоте! — засмеялся Пафнутьев.

Большеголовый, узкогрудый, с тонкими длинными ногами, бывший пожарник походил на гриб, растущий в отбросах. В колхозе, да еще и до колхоза проявлял он высокую сознательность, чего-то на кого-то писал, клепал и хвост этот унес за собой в армию, дотащил до фронта. Злой, хитрый солдат Пафнутьев намекал солдатам — чего-чего, но докладывать он научился, никто во взводе не страдает. И все-таки лучше б его во взводе не было.

Мохнаков умел управляться со всяким народом. Он выпил самогона, налил Пафнутьеву, дождался, когда тот выпьет, и показал ему коричневую от табака дулю:

— Запьюжк ноздрю, пожарный! Ты ведь не слышал, чего тут чернокнижник баял! Не слышал?

— Ни звука! Я же песню цел, — нашелся Пафнутьев и умильно, с пониманием грянул дальше:

Ро-сой с тра-явы-ы он у-ю-умыва-ялся-а-а,
Малл-ыл-ся бо-е-огу на-я-а восто-о-ок...

Шкалик сел на соломе, покачался, поморгал и потянулся к банке.

— Не цапай чужую посудину! — рыкнул на него старшина и сунул ему чью-то кружку. Шкалик понюхал, заебал косорого. Затошнило его.

— Марш на улицу! Свинство какое! — Борис, зардевшись, отвернулся от хозяйки, уставился на старшину. Тот отвел глаза к окну, скучно зевнул и стал громко царапать ледок на стекле.

— Да что вы, да я всякого навидалась! — попыталась ликвидировать неловкую заминку Люся. — Подотру. Не сердитесь на мальчика. — Она хотела идти за тряпкой, но Карышев деликатно придержал ее за локоть и показал на банку с колбасой. Она стала есть колбасу. — Ой! — спохватилась хозяйка. — А вы сала не хотите? У меня сало есть!

— Хотим сала! — быстро повернулся к ней старшина

и охально очерился. — И еще кое-чего хотим, — бросил он с ухмылкой вдогонку Люсе.

Пафнутьев, подпершись ладонью, тянул тоненько песню про Ланцова, который из замка убежал. Столько унижали в жизни Пафнутьева, особенно в тыловой части, в особом-то отделе, все время заставляя хомутничать, прислуживать, и все передовой страдали, а оно на передовой жить можно. Бог милостив! Кукиш под нос? Да пустяк это, но все же царашнуло душу, глаза раскисли, сами собой как-то, невольно раскисли.

— Жалостливость наша, — мямлил Пафнутьев, и все поняли — это он не только о себе, но и о Корнее Аркадьевиче. — Вот я... обутий, одетый, в тепле был, при должности, ужаси никакой не знал... Жалость меня, вишь ли, разобрала... Чувствие!

Мохнаков навис глыбою над столом, начал шарить по карманам, чего-то отыскивать. Вытащил железную пуговицу, подбросил ее, поймал и чересчур решительно вышел из избы, тяжелее обычного косолапая. Последнее время как-то подшибленно стал ходить старшина, заметили солдаты, пьет зверски и все какой-нибудь предмет ловко подбрасывает — пуговицу, монету, камешек, и не ловит игриво, прямо-таки выхватывает предмет из пространства, а то бросит и тут же забудет про него, уставится слепым взглядом в пустоту. Начал даже синенькой немецкой гранатой баловаться. Граната наподобие пасхального яичка — такая веселая игрушка, бросает иль в горстище ее тискает, а у той пустяшной гранатки и чека пустяшная, что пуговка у штанов. Заронгали бойцы, если желательно старшине, чтобы ему пооторвало руки или еще кой-чего, пусть жонглирует вдали, им же все, что с собой, — до дому сохранить охота.

В хату возвратился Лапцов, мотнул головой Борису.

Взводный подпрыгнул, кого-то или чего-то сронил со скамьи, разбежавшись, торкнулся в дверь.

В потемках сеней в него ткнулся головой Шкалик. Не мог пайти скобу. Борис втолкнул Шкалика в хату, прислушался. В темном углу сеней слышалась возня: «Не нужно! Да не падо же! Да что вы?! Да товарищ старшина!.. Да... Холодно же... Да, Господи!..»

— Мохнаков!

Стихло. В темноте возник старшина, придвинулся, тяжело, смрадно дыша.

— Выйдем на улицу!

Старшина помедлил и нехотя шагнул впереди Бориса, не забыв пригнуться у притолоки. Они стояли один против другого. Ноздри старшины посапывали, вбирая студёный воздух. Борис подождал, пока стукнет дверь в хату.

— Чем могу служить? — дыхание у старшины выровнялось, он не сипел уже ноздрями.

— Вот что, Мохнаков! Если ты... Я тебя убью! Пристрелю. Понял?

Старшина отступил на шаг, смерил взглядом лейтенанта с ног до головы и вяло, укоризненно молвил:

— Оконтузило тебя гранатой, вот и лезешь на стены. Чернокнижника завел.

— Ты знаешь, чем меня оконтузило.

В голосе лейтенанта не было ни злобы, ни грозы, какая-то душу стискивающая тоска, что ли, сквозила издалека, даже завестись ответно не было возможности. На старшину тоже стала накатывать горечь, печаль, словом, чем-то тоскливым тоже повеяло. Он сердито поддернул штаны, запахнул полушубок, осветил взводного фонариком. Тот не зажмурился, не отвел взгляда. Изветренные губы лейтенанта кривило судорогой. В подглазьях темень от земли и бессонницы. Глаза в красных прожилках, шея скособочилась — натер шею воротником шинели, может, и старая рана воспалилась. Стоит, пялит зенки школьные, непорочные. «Ах ты, Господи, Боже мой!..»

— По-нят-но! Спа-си-бо! — Мохнаков понял, сейчас вот, в сей миг понял, этот лупоглазый Боречка, землячок его родимый, которым он верховодил и за которого хозяйничал во взводе, — убьёт! Никто не осмелится поднять руку на старшину, а этот... Такой вот может, такой зажмурится, но убьёт, да ещё и сам застрелится чего доброго. — Стрелок какой нашелся! — нервно рассмеялся старшина и подбросил фонарик. Светлое пятнышко взвилось, ударилось о ладонь и погасло. Старшина поколотил фонарик о колено и, когда загорелось ещё раз, придвинул огонек к лицу Бориса, будто подпалить хотел едва наметившуюся бороденку. «Эх, паря, паря!» — Я ночую в другой избе, — сказал он и пошел, освещая себе дорогу пятнышком. — Катитесь вы все, мокроштанники, брехуны!.. — крикнул уже издали старшина.

Борис прислонился спиной к косяку двери. Его подтачивало изнутри. Губы свело, в теле слабость, в ногах слабость. Давило на уши, пузырилось, лопалось что-то в них. Он глядел на два острых тополя, стоявших против дома.

Голые, темные, в веник собранные тополя недвижны, подрост за ними — вишенник, терновые ли кусты — клубятся темными взрывами.

Сколки звезд светились беспокойно и мерзло. По улицам метались огни машин, вякали гармошки, всплескивался хохот, скрип подвод слышался, где-то напуганно лаяла охрипшая собака.

«Ах ты, Мохнаков, Мохнаков! Что же ты с собой сделал? А, может, война с тобой?..» — Борис опустил на порожек сени, сунул руки меж колен, мертво уронил голову.

Лай собаки отдалился.

— Вы же заоченели, товарищ лейтенант! — послышался голос Люси. Она нащупала Бориса на порожке и мягко провела ладонью по его затылку. — Шли бы в хату.

Борис передернул плечами, открыл глаза. Поле в язвах воронок; старик и старуха возле картофельной ямы; огромный человек в пламени; хрип танков и людей, ляг осколков, огненные вспышки, крики — все это скомкалось, отлетело куда-то. Дергающееся возле самого горла сердце сжалось, постояло на мертвой точке и опало на свое место.

— Меня Борисом зовут, — возвращаясь к самому себе, выдохнул с облегчением взводный. — Какой я вам товарищ лейтенант!

Он отстранился от двери, не понимая, отчего колотится все в нем, и сознание все еще отчетливое, скользкое, будто по ледяной катушке катятся по нему обрывки видений и опадают за остро отточенную, но неуловимую грань. С трудом еще воспринималась явь — эта ночь, наполненная треском мороза, шумом отвоевавшихся людей, и эта женщина с древними глазами, по которым искрят небесные или снежные звезды, зябко прижавшаяся к косяку двери.

— Как тихо! Все остановилось. Прямо и не верится. Вам принести шипель?

— Нет, к чему? — не сразу отозвался Борис. Он старался не встречаться с нею взглядом. Какую-то пугливую настороженность вызывали в нем и этот чего-то прячущий взгляд, и звезды, робко протыкающие небесную мглу, или в высь поднявшуюся и никак не рассеивающуюся тучу порохового дыма. — Пойдемте в избу, а то болтовни не оберешься...

— Да уж свалились все почти. Вы ведь долго сидели. Я уж беспокоиться начала... А Корней Аркадьевич все разговаривает сам с собой. Запятый человек... — Хозяйка хотела и не решалась о чем-то спросить. — А старшина?..

— Нет старшины! — преодолевая замешательство, коротко ответил взводный.

— В избу! — сразу оживилась, заспешила хозяйка, нашаривая скобу. — Я уж отвыкла. Все хата, хата, хата... — Она не открыла дверь сразу. Борис уперся в ее спину руками — под тонким ситцевым халатом круглые, неожиданно сильные лопатки, пуговка под пальцы угодила. Люся поежилась, заскочила в хату. Борис вошел следом. Пряча глаза, он погрел руки о печь и начал разуваться.

В хате жарко и душно. Подтопок резво потрескивал. Горели в нем сосновые добрые поленья, раздобытые где-то солдатами. Сзади подтопка, вмурованный в кирпичи, сипел по-самоварному бак с водой. Взводный искал, куда бы пристроить портянки, но все уже было завешено пожитками солдат, от них расплывалась по кухне хомутная прель. Люся отпяла у Бориса портянки, приладила их на поленья возле дверцы подтопка.

Ланцов качался за столом, клевал носом.

— Ложились бы вы, Корней Аркадьевич! — Борис прижимался спиной к подтопку и ощущал, как распускается, вянет его нутро. — Все уже спят, и вам пора.

— Варварство! Идиотство! Дичь! — будто не слыша Бориса, философствовал Ланцов. — Глухой Бетховен для светлых душ творил, фюрер под его музыку заставил маршировать своих пустоголовых убийц! Нищий Рембрандт кровью своей писал бессмертные картины! Геринг их уворовал. Когда припрет — он их в печку... И откуда это? Чем гениальнее произведение искусства, тем сильнее тянутся к нему головорезы! Так вот и к женщине! Чем она прекраснее, тем больше хочется лапать ее насильникам...

— Может, все-таки хватит? — оборвал Борис Корнея Аркадьевича. — Хозяйке отдыхать надо. Мы и так обеспокоили.

— Что вы, что вы? Даже и не представляете, как радостно видеть и слышать своих! Да и говорит Корней Аркадьевич красиво. Мы тут отучились уж от человеческих слов.

Корней Аркадьевич поднял голову, с натужным вниманием уставился на Люсю.

— Простите старика. — Он потискал костлявыми паль-

цами обросшее лицо. — Напился, как свинья! И вы, Борис, простите, ради Бога! — Уронив голову на стол, он пьяненько всхлипнул. Борис подхватил его под мышки, свалил на солому. Люся примчала подушку из чистой половины, подсунула ее под голову Корнея Аркадьевича. Услышав мягкое под щекою, он хлопнул носом: — Подушка! Ах вы, дети! Как мне вас жалко! — Свистнув прощально носом, он отчалил от этих берегов, задышав ровно, с пришлепом.

— Пал последний мой гренадер! — через силу улыбнулся Борис.

Люся убирала со стола. Взявшись за посудину с самогоном, она вопросительно глянула на лейтенанта.

— Нет-нет! — поспешил отмахнуться он. — Запах от нее... в пору тараканов морить!

Люся поставила капистру на подоконник, смела со стола объедь, вытряхнула тряпку над лоханью. Борис отыскал место среди разметавшихся, убитых сном солдат. Шкалика — мелкую рыбешку — выдавили наверх матерые осетры-алтайцы. Он лежал поперек народа, хватал воздух распахнутым ртом. Похоже было — кричал что-то во сне. Квасил губы Ланцов, обняв подушку. Храпел Малышев, и солому трепало возле его рта. Взлетали планки цыги медалей на булыжной груди Карышева. Сами медали у него в кармане: колечки соединительные, говорит, слабы — могут отцепиться или вши отъедят.

Борис швырнул мокрую шинель к ногам солдат, рывком выдернул из-под них клоч измочаленной соломы и начал стелить в головах телогрейку. Люся смотрела, смотрела и, на что-то решившись, взяла с пола шинель, телогрейку лейтенанта, забросила их на печь. Приподнявшись на припечек, расстелила одежду, чтобы лучше просыхала, и, управившись с делом, легко спрыгнула на пол.

— Ну, зачем вы? Я бы сам...

— Идите сюда! — позвала Люся.

Стараясь ступать тихо, лейтенант боязливо и послушно поволокся за нею.

В передней горел свет. Борис зажмурился — таким ярким он ему показался. Комната убрана просто и чисто. Широкая скамья со спинкой, на ней половичок, расшитый украинским орнаментом. Пол земляной, но гладко,

без щелей мазанный. Среди комнаты, в деревянном ящике, — раскидистый цветок с двумя яркими бутонами. На подоконнике тоже стояли цветы в ящиках и старых горшках. Воздух в передней домашний, земляной. Скучная опрятность кругом, и все же после кухонного густолюдья, спертого запаха отдавало здесь нежилым, парником вроде бы отдавало.

Борис переступал на холодном, щекочущем пятки полу, стыдясь грязных ног, и с подчеркнутым интересом глядел на лампочку нерусского образца — приплюснутую снизу.

Люся тоже, ровно бы потерявшись в этой просторной, выветренной комнате, говорила, что селение у них везучее. За рекой хутор поразбили, а здесь все цело, хотя именно здесь стоял целый месяц немецкий штаб, но наши летчики, видать, не знали об этом. Локомотив немцы поставили. В хате квартировал важный генерал, для него и свет провели, да ночевать-то ему здесь почти не доводилось, в штабе и спал. Отступали немцы за реку бегом, про локомотив забыли, вот и остался он на полном ходу.

Сбивчиво объясняя все это, хозяйка раздвинула холщовые занавески с аппликациями. За узенькой фанерной дверью обнаружилась еще одна небольшая комнатка. В ней был деревянный, неровно пригнанный пол, застланный пестрой ряднинкой, этажерка с книгами, поломанный гребень на этажерке, наперсток, ножницы, толстая хомутная игла, воткнутая в вышитую салфетку. У глухой стены против окна — чистая кровать с одной подушкой. Другую подушку, догадался Борис, хозяйка унесла Корнею Аркадьевичу.

— Вот тут и ложитесь, — показала Люся на кровать.

— Нет! — испугался взводный. — Я такой... — пошарил он себя по гимнастерке и почувствовал под ней давно не мытое очерствелое тело.

— Вам ведь спать негде.

— Может быть, там, — помявшись, указал Борис на дверь. — Ну, на скамье. Да и то... — Он отвернулся, покраснел. — Зима, знаете. Летом не так. Летом почему-то их меньше бывает...

Хозяйке передалось его смущение, она не знала, как все уладить. Она смотрела на свои руки. Борис заметил уже, как часто она смотрит на свои руки, будто пытается понять — зачем они ей и куда их девать. Неловкость затягивалась. Люся закусил губу и решительно шагнула в переднюю. Вернувшись с ситцевым халатом, протянула его.

— Сейчас же снимайте с себя все! — скомандовала она. — Я вам поставлю корыто, и вы немножко побани-тесь. Да смелей, смелей! Я всего навидалась. — Говорила она бойко, напористо, даже подмигнула ему: не робей, мол, гвардеец! Но тут же зарделась сама и выскользнула из комнаты. Раскинув халат, Борис обнаружил на нем разнокалиберные пуговицы. Одна пуговица была оловянная, солдатская, сзади пришит поясок. Смешно сделалось Борису. Он даже что-то веселое забормотал, да опомнился, скомкал халат, толкнул дверь, чтобы выкинуть дамскую эту принадлежность.

— Я вас не пуцую! — Люся держала фанерную дверь. — Если хотите, чтобы высохло к утру, раздевайтесь.

Борис опешил.

— Во-о. Дела-а! — почесал затылок. — А-а, да что я на самом деле — вояка или не вояка?! — решительно сбросил с себя все, надел халат, застегнул, и, собрав в беремья манатки, вышел к хозяйке, да еще и повернулся лихо перед нею, отчего пола халата закинулась, обнажив колено с крупной чашечкой. Люся прикрыла рот ладонью. Поглядывая украдкой на лейтенанта, она вытащила из кармана гимнастерки документы, бумаги, отвинтила орден Красной Звезды, гвардейский значок, отцепила медаль «За боевые заслуги». Осторожно отпоролла желтенькую нашивку — знак тяжелого ранения.

Борис щупал листья цветка, нюхал красный бутон и дивился — ничем он не пахнет. Вдруг обнаружил — цветок-то из стружек! Червонный цветок напоминал живую рану, занудило опять нутро взводного.

— Это что? — Люся показала на нашивку.

— Ранение, — отозвался Борис и почему-то соврал поспешно: — Легкое.

— Куда?

— Да вот, — ткнул пальцем в шею себе он. — Пулей чиркнуло, пустяки.

Люся внимательно поглядела, куда он показал: чуть выше ключицы фасолиной изогнулся синеватый шрам. В ушах лейтенанта земля, воспаленные глаза в угольно-темном ободке. Колючий ворот мокрой шинели натер шею лейтенанта, он словно бы в галстук. Кожей своей ощутила женщина, как саднит шея, как все устало в человеке от пота, грязи, пропитанной сыростью и запахом гари военной одежды.

— Пусть все лежит на столе, — сказала Люся и сня-

лась с места. — Немножко еще помучайтесь, и потом я вас побаню.

«Побаню!» — подхватит взводный тутушное слово.

— Возьмите книжку, что ли, — приоткрыв дверь, посоветовала Люся.

— Книжку? Какую книжку? Ах, книжку!

В маленькой комнате Борис присел перед этажеркой. Халат скрипнул на спине. Он скорее выпрямился, распахнув полы, оглядел себя воровато и остался недоволен: мослат, кожа в пупырышках от холода или страха, бесцветные волоски разбродно росли на ногах и на груди.

Книжки касались все больше непонятных ему юридических дел. «Вот уж не подумал бы, что она какое-то отношение имеет к судам».

Среди учебников и наставлений по законодательству обнаружилась тонехонькая, зачитанная книжка в самодельной обложке.

— «Старые годы», — вслух прочел Борис. Прочел и как-то даже сам себе не поверил, что вот стоит он в маленькой, однооконной комнате, на нем халат с пояском. От халата и от кровати исходит дразнящий запах. Ну, может, и пег никакого запаха, может, блазнится он. Тело не чувствовало халата после многослойной зимней одежды, как бы сросшейся с кожей, Борис нет-нет да и пошевеливал плечами.

Все еще позванивало в голове, давило на уши, нудило внутри. «Поспать бы минуток двести-триста, а лучше четыреста!» — глядя на манящую чистоту кровати, зевнул Борис и скользнул глазами по книжке. «Довелось мне раз побывать в большом селе Заборье. Стоит оно на Волге, место тут привольное...» — Борис изумленно уставился на буквы и уже с наслаждением вслух повторил начало этой старинной по-русски жестокой и по-русски же слезливой истории.

Музыка слов, даже шорох бумаги так его обрадовали, что он в третий раз повторил начатую фразу, дабы услышать себя и удостовериться, что все так оно и есть: он живой, по телу его пробегает холодок, пупырит кожу, в руках книжка, которую можно читать, слушая самого себя. Как будто опасаясь, что его оторвут, Борис торопливо читал слова из книжки и не понимал их, а только слушал.

— С кем это вы тут?

Лейтенант смотрел на Люсю издалека.

— Да вот на Мельникова-Печерского напал, — отозвался он наконец. — Хорошая какая книжка.

— Я ее тоже очень люблю. — Люся вытирала руки холщовой тряпкой. — Идите, мойтесь. — Повязанная платком, она снова сделалась старше, строже, и глаза ее опять отделились в обыденное.

Прежде чем попасть за русскую печку, в закуток, где была теплая лежанка, — на ней-то и приспособила Люся деревянное корыто, поставила баночку со сводельным жидким мылом, мочалку, ведро и ковшик, Борис выскреб из-под стола запинаящего туда озверело храпящими солдатами чердынского вояку и сводил его до лохачи, подержал под мышки до тех пор, пока не перестало журчать, а журчало долго, и только после этого сказал себе бодренько:

— Крещайся, раб Божий, — сказал и, едва не опрокинув корыто, с трудом уселся в него.

Он мылся, подогнув под себя ноги, и чувствовал, как сходит с него не грязь, а отболелая кожа. Из-под кожи, скотской, толстой, грубой, соленой, обнажается молодое, ссудороженное усталостью тело и так высветляется, что даже кости слышны делаются, душа жить начинает, по телу медленно плывет истома, качает корыто, будто лодку на волне, и несет, несет куда-то в тихую заводь полусонного лейтенантишку.

Он старался не плескать на пол, не обшлепать стену, печку и все же обшлепал стену, печку и наплескал на пол.

В запечье сделалось совсем душно, потянуло отсыревшей глиной, пазьмом, в посу сделалось щекотно. Вспомнилось Борису, как глянулось ему, когда дома перекладывали печь. Виднелось все до мелочей. Дома все перевернуто, разгромлено — наступила вольность на несколько дней: бегай, сколько хочешь, ночуй у соседей, ешь чего придется и когда придется. Мать, явившись с уроков, брезгливо корчила губы, гусиным шагом ступала по мокрой глине, ломил кирпичи. Весь ее вид выражал нетерпение, досаду, и она поскорее скрывалась в горнице, разя отца взыскующе-суровым взглядом.

Отец, тоже умаянный в школе, виновато подвизывался мешком, включался в работу. Печник ободрял его, говоря, вот, мол, интеллигент, а грязного дела не чуждается. Отец же поглядывал на дверь горницы и заискивающе предлагал: «Детка, ты, может, в столовой покушаешь?..»

Ответом ему было презрительное молчание.

Борис таскал кирпичи, месил глину, путался под ногами у мужиков, грязный, мокрый, возбужденно звал: «Мама! Смотри, уж печка получается!..»

А она и в самом деле получалась: из груды кирпичей, из глины выросло сооружение — зевастое чело, глазки печурок, даже бордюрчик возле трубы.

Печку наконец затопляли, работники сосредоточенно ждали, что будет? Нехотя, с сипом выбрасывая поначалу дым в широкую ноздрю, разгоралась печка. Еще темная, чужая, она постепенно оживлялась, начинала шипеть, пощелкивать, стрелять искрами на шесток и обсыхать с чела, делалась пестрой, как корова, становясь необходимой и привычной в дому.

На кухонном столе печник с отцом распивали поллитровку — для подогрева и разгона печи. «Эй, хозяйка! Принимай работу!» — требовал печник.

Хозяйка на призыв не откликнулась. Печник обиженно совал в карман скомканные деньги, прощаясь с хозяином за руку, и, как бы сочувствуя ему и поощряя в то же время, кивал на плотно затворенную дверь: «Я бы с такой бабой ни дня не стал жить!»

В какой-то далекой, но вдруг приблизившейся жизни все это было. Борис подтирал за печкой пол и не торопился уходить, желая продлить нахлынувшее — этот кусочек из прошлого, в котором все было исполнено особого смысла и значения.

Шкалика снова успели запинать под стол. И он там на голом прохладном полу чувствовал себя лучше. «А пусть не лезет ко взрослым».

Отжав тряпку под рукомойником, Борис сполоснул руки и вошел в комнату.

Люся сидела на скамье, отпарывала подворотничок, как бы спаявшийся с гимнастеркой плесенно-серыми наплывами.

— Воскрес раб Божий! — с деланной лихостью отрапортовал Борис, слабо надеясь, что в подворотничке гимнастерки ничего нету, никаких таких зверей.

Отложив гимнастерку, Люся теперь уже открытым взглядом, по-матерински близко и ласково смотрела на него. Русые волосы лейтенанта, волнистые от природы, взялись кучерявинками. Глаза ровно бы тоже отмылись. Ярче алела натертая ссадина на худой шее. Весь этот па-

рень, без единого пятнышка на лице, с безгрешным взглядом, в ситцевом халате, до того был смущен, что не угадывался в нем окопный командир.

— Ох, товарищ лейтенант! Не одна дивчина потеряет голову из-за вас!

— Глупости какие! — отбился лейтенант и тут же быстро спросил: — Почему это?

— Потому что потому, — заявила Люся, поднимаясь. — Девчонки таких вот мальчиков чувствуют и любят, а замуж идут за скотов. Ну, я исчезла! Ложитесь с Богом! — Люся мимоходом погладила его по щеке, и было в ласке ее и в словах какое-то снисходительное над ним превосходство. Никак она не постигалась и не улавливалась. Даже когда смеялась, в глазах ее оставалась недвижная печаль, и глаза эти так отдельно и жили на ее лице своей строго-сосредоточенной всепонимающей жизнью.

«Но ведь она моложе меня или одногодок?» — подумал Борис, юркнув в постель, однако дальше думать ничего не сумел.

Веки сами собой налились тяжестью, сон медведем навалился на него.

* * *

Ординарец комроты Филькина, наглый парень, горящийся тем, что сидел два раза в тюрьме за хулиганство, ныне пододевшийся в комсоставский полушубок, в чесанки и белую шапку, злорадно растолкал Бориса и других командиров задолго до рассвета.

— Ой, а я выстирать-то не успела! — Побоялась идти ночью по воду на речку, утром думала, — виновато сказала хозяйка и, прислонившись к печке, ждала, пока Борис переоденется в комнате. — Вы приходите еще, — все так же виновато добавила она, когда Борис явился на кухню. — Я и выстираю тогда...

— Спасибо. Если удастся, — сонно отозвался Борис и прокашлялся, подумав: это она старшины побоялась. С завистью глянув на мертво спящих солдат, он кивнул Люсе головой и вышел из хаты.

— Заспались, заспались, прапоры! — такими словами встретил своих командиров Филькин. Он, когда бывал не в духе, всегда так обидно пазывал своих взводных. Иные из них сердились, в пререкания вступали. Но в это утро и

языком-то ворочать не хотелось. Комвзводов хохлились на стуже, пряча лица в поднятые воротники шинелей. — Э-эх, прапоры, прапоры! — вздохнул Филькин и повел их за собой из уютного украинского местечка к разбитому хутору, навстречу закипающему рассвету, сталисто отсвечивающему на дальнем краю неба, мутно проступившему в заснеженных полях.

Комроты курил уже не сигареты, а крепкую махру. Он, должно быть, так и не ложился. Убивал крепким табаком сон. Он, вообще-то, ничего мужик, вспыхивает берестой, трещит, коготь поднимать любит большую. Но и остывает быстро. Не его же вина, что немец не сдаётся. Комроты сообщил, что вчера наши парламентарии предложили полную капитуляцию командованию группировки и по радио до позднего часа твердили, что это последнее предупреждение. Отказ.

Засел противник по оврагам, в полях — молчит, держится. Зачем? За что? Какой в этом смысл? И вообще какой смысл во всем этом? В таком вот побоище? Чтоб еще раз доказать превосходство человека над человеком? Мимоходом Борис видел пленных — ничего в них не только сверхчеловеческого, но и человеческого не осталось. Обмороженные, опухшие от голода, едва шевелящиеся солдаты в ремках, в дырявой стуженой обуви. И вот их-то добивать? Кто, что принуждает их умирать так мучительно? Кому это нужно?

— Кемаришь, Боря?

Борис вскинулся. Надо же! Научился на ходу дрыхать... Как это у Чехова? Если зайца долго лупить, он спички зажигать научится...

Светлее сделалось. И вроде бы еще холоднее. Все нутро от дрожи вот-вот рассыплется. «Душа скулит и просится в санчасть!..» — рыдающими голосами пели когда-то земляки-блатняги, всегда изобильно водившиеся в родном сибирском городке.

— Видишь поле за оврагами и за речкой? — спросил Филькин и сузил Борису бинокль со словами: — Пора бы уж своим обзавестись... Последний опорный пункт фашистов, товарищи командиры, — показывая на село за полем рукой, продолжал комроты. Держа на отлете бинокль с холодными ободками, Борис ждал, чего он еще скажет. — По сигналу ракет, с двух сторон!..

— Опять мы?! — зароптали взводные.

— И мы! — снова разъярился комроты Филькин. —

Нас что сюда, рыжики собирать послали? У меня чтоб через час все на исходных были! И никаких соплей! — Филькин сурово поглядел на Бориса. — Бить фрица, чтоб у него зубы крошились! Чтобы охота воевать отпала...

Прибавив для выразительности крепкое слово, Филькин выхватил у Бориса бинокль и поспешил куда-то, выбрасывая из перемерзлого снега кривые казачьи ноги.

Взводные вернулись в проснувшееся уже местечко, как велел командир роты, выжили солдат из тепла во чистое поле.

Солдаты сперва ворчали, но потом залегли в снегу и примолкли, пробуя еще дремать, кляня про себя немцев. И чего еще ждут, проклятые? Чего вынохивают? Богу своему нарядному о спасении молятся. Да какой же тут бог поможет, когда окружение и силы военной столько, что и мышь не проскочит из кольца.

За оврагом взвилась красная ракета, затем серия зеленых. По всему хутору зарычали танки, машины. Колонна на дороге рассыпалась, зашевелилась. Сначала медленно, ломая остатки плетней и худепокские сады по склонам оврагов, враспынную ползли танки и самоходки. Затем, будто сбросив пугы, рванулись, пустив черные дымы, заваливаясь в воронках, поныривая в сугробах.

Ударил артиллерия. Зафукали из снега эрэсы. Вытащив пистолет со сношенной воронью, метнулся к оврагам комроты Филькин. Бойцы поднялись из снега...

Возле оврагов танки и самоходки застопорили, открыли огонь из пушек. От хутора с воем полетели мины. Филькин осадил пехотинцев, велел ложиться. Обстановка все еще неясная. Многие огневые не перемещены. Связь снегом похоронило. Минометчики и артиллеристы запросто лупанут по башкам, после каяться будут, магарычи ставить, чтоб жалобу на них не писали.

И в самом деле вскоре чуть не попало. Те же гаубицы-полторасотки, которые в ночном бою ухали за спиной пехоты, начали месить овраги и раза два угодили уж поверху. Бойцы отползли к огородам, к уроненным плетням, заработали лопатами, окапываясь. Мерзло визжа гусеницами, танки начали обтекать овраги, выползли к полю, охватывая его с двух сторон, сгоняя врага в неглубокую пойму речки, по которой сплошь впритык стояли не двигаясь машины, орудия, вездеходы, несколько танков с открытыми люками.

Пехота раздробленно постреливала из винтовок и пулеметов. Значит, не наступила ее пора. Тут всякий солдат себе стратег.

Когда-то Борис, как и многие молодые, от начитанности приткие командиры, не понимал этого и понимать не желал. На фронт из полковой школы он прибыл, когда немец спешно катился с Северного Кавказа и Кубани. Наши войска настойчиво догоняли супротивника, меся сначала кубанский чернозем, затем песок со снегом, и никак не могли догнать.

Борису так хотелось скорее настичь врага, сразиться.

«Успеешь, младший лейтенант, успеешь! Немца хватит на всех и на тебя тоже!» — снисходительно успокаивали неторопливо топающие, покуривающие табачок, рассудительные бойцы. В мешковатых шинелях, с флягами и котелками на боку, с рюкзаками, горбато дыблящимися за спиной, они совсем не походили на тот образ бойца, какого мечтал вести вперед Борис. Они и двигались-то неторопливо, но так ловко, что к вечеру неизменно оказывались в селе или в станице, мало побитых врагом, располагались на ночевку удобно, обстоятельно, иные даже и на пару с черноокими, податливо игривыми казачками. «Вот, понимаешь, воины! — негодовал младший лейтенант. — Враг топчет нашу священную землю, а они, понимаешь!»

Сам он до того изнервничался, до того избегался, наголодался в придонских степях, что появились у него мозоли на ногах и руках, по телу пошли чирьи. Его особенно изумили мозоли на руках — земли не копал, все только суетился, кричал, бегал — и вот тебе на!..

Врага настигли в Харьковской области. Дождался-таки боя молодой и горячий командир. Дрожало все в нем от неторопливой жажды схватки. Запотела даже ручка нагана, заранее вынутого из кирзовой кобуры и заложенного за борт телогрейки. Он неистово сжимал ручку, готовый расстрелять врага в упор, если понадобится, и рукояткой долбануть по башке. Обидно было немножко, что не дали ему настоящий пистолет — из нагана какая стрельба?! Но в руках умелого, целеустремленного воина, как учили в полковой школе, древний семизарядный наган может стать грозным оружием.

И не успели еще разорваться последние снаряды артналета, еще и ракеты, свистнувшие над окопами и каплями падающие вниз, не погасли, как выскочил Борис из тран-

шеи, громогласно, как ему показалось, на самом деле сорванно и визгливо закричал: «За мной! Ур-ра!» — и, махая наганом, помчался вперед. Помчался он и отчего-то не услышал за собой героических возгласов, грозного топота. Оглянулся: солдаты шли в атаку перебежками, неторопливо, деловито, как будто не в бою, на работе были они и выполняли ее расчетливо, обстоятельно, не обращая вроде бы никакого внимания друг на друга и на своего боевого командира.

«Трусы! Негодяи! Вперед!..» — заорал пуще прежнего младший лейтенант, но никто вперед не бросился, кроме двух-трех молоденьких солдатиков, которых тут же и подсекло пулями. И тогда пришло молниеносное решение — пристрелить. Пристрелить для примера одного из этих молчаливых бойцов, с лицом, отстраненным от боя, от мира и от всего на свете, с фигурой совсем не боевой...

И как на грех плюхнулся рядом с ним дядька, плюхнулся и начал немедленно орудовать лопатой, закапывая сначала голову, потом дальше, глубже, вгрызаясь в землю.

Борис на него заорал, даже затопал: «Ты что, копать сюда прибыл или биться?» Собрался даже пет, не застрелить — боязно все же стрелять-то, хотя бы стукнуть подлеца наганом. Как вдруг солдат этот, с двухцветной щетиной на лице, каурой и седой, бесцеремонно рванул лейтенанта за сапог, уронил рядом с собой, да еще и подгрел под себя, будто кубанскую молодуху. «Убьют ведь, дура!» — сказал солдат и стал куда-то стрелять из винтовки, потом вскочил и, невообразимо проворно для его возраста, ринулся вперед и вроде бы как занырнул в воду, крикнув напоследок: «Не горячись!.. За мной следи...»

Смеяться над Борисом особо не смеялись, но так, между прочим, потом подъелдыкивали: «Нам чё? Мы за нашим отцом-командиром, как за каменной стеной, без страха и сомнения!.. Он как побежит, как всех наганом застрелит!.. Нам токо трофеи собирать...»

Не сразу, нет, а после многих боев, после ранения, после госпиталя застыдился себя Борис, такого самонадеянного, такого разудалого и несуразного, дошел головой своей, что не солдаты за ним, он за солдатами! Солдат, он и без него знает, что надо делать на войне, и лучше всего, и тверже всего знает он, что пока в землю закопан — ему сам черт не брат, а вот когда выскочит из земли наверх, так неизвестно чего будет: могут и убить. Поэтому, пока

возможно, он не выберется оттуда и за всяким-яким в атаку не пойдет, будет ждать, когда свой ванька-взводный даст команду вылезать из окопа и идти вперед. Уж если свой ванька-взводный пошел, значит, все возможности к тому, чтобы не идти, исчерпаны. Но и тогда, когда ванька-взводный, поминая всех богов, попа, Гитлера и много других людей и предметов, вылезет наверх, даст кому-нибудь пинка-другого, зовя в сражение, старый вояка еще секунду-другую перебудет в окопе, замешкается с каким-либо делом, дело же, не пускающее его наверх, всегда найдется, и всегда в вояке живет надежда, что, может, все обойдется, может, вылезать-то вовсе не надо — артиллерия, может, лупанет, может, самолеты его или наши налетят, начнут без разбора своих и чужих бомбить, может, немец сам убежит, либо еще что случится...

А так как на войне много чего случается — глядишь, эта вот секунда-другая и продлит жизнь солдата на целый век, в это время и пролетит его пуля...

Но прошел всякий срок. Дальше уж оставаться в окопе неприлично, дальше уж подло в нем оставаться, зная, что товарищи твои начали свое тяжкое, смертное дело и любой из них в любое мгновение может погибнуть. Распаяя самого себя матом, разом отринув от себя все земное, собранный в комок, всех слышащий, все видящий, вымахнет боец из окопа и сделает бросок к той, кочке, пню, к забору, к убитой лошади, к опрокинутой повозке, а то и к закованному фашисту, словом, к заранее намеченной позиции, сразу же падет и, если возможно, палить начнет из оружия, какое у него имеется. Если его при броске зацепило, но рана несмертельная — боец палит еще пуце, коли подползет к нему свой брат-солдат помочь перевязкой, он его отгонит, призывая биться. Сейчас главное — закрепиться, сейчас главное палить и палить, чтобы враг не очухался. Бейся, боец, пали, не мстусись и памечай себе объект для следующего броска — Боже упаси ослабить огонь, Боже упаси покатиться обратно! Вот тогда солдатика слепые, тогда они ничего не видят, не слышат, и забудут не только про раненых, но и про себя, и выложат их за один бой столько, сколько за пять боев не выложат...

Но вот закрепились бойцы, на следующий рубеж перекинулись — вздохнул раненый солдат, рану пощупал и начал принимать решение, закурить ему сейчас и потом себя перевязать или же наоборот? Санитара ждать очень

длинное, почти безнадежное дело, солдат — рота, санитар — один, ну два, очуришься, ожидаючи помощи, надо самостоятельно замотать бинты и двигаться к окопу. Живой останешься — хоть ешь его, табак-то. Перевязывать себя ловко в запасном полку, под наблюдением ротного санитаря. Лежа под огнем, охваченного болью и страхом, перевязывать себя совсем бесподручно, да и индпакета не хватит.

Санитаря же не дождешься, нет. Санитары и медсестры, большей частью кучерявые девицы, шибко много лаят по полю боя в кинокартинах и раненых из-под огня волокут на себе, невзирая на мужицкий вес, да еще и с песней. Но тут не кино.

Ползет солдат туда, где обжит им уголок окопа. Короток был путь из него навстречу пуле или осколку, долот путь обратный. Ползет, облизывая ссохшиеся губы, зажав булькающую рану под ребром, и облегчить себя ничем не может, даже матюком. Никакой ругани, никакого богохульства позволить себе сейчас солдат не может — он между жизнью и смертью. Какова нить, их связующая? Может, она так тонка, что оборвется от худого слова. Ни-ни! Ни боже мой! Солдат разом делается суевверен. Солдат даже заискивающе-просительным делается: «Боженька, миленький! Помоги мне! Помоги, а? Никогда в тебя больше материться не буду!».

И вот он, окоп. Родимый. Скатись в него, скатись, солдат, не робей! Будет очень больно, молонья сверкнет в глазах, ровно оглушит тебя кто-то поленом по башке. Но это своя боль. Что ж ты хотел, чтобы при ранении и никакой боли?! Ишь ты, какой, немазаный-сухой!.. Война ведь, война, брат, беспощадная...

Бултых в омут окопа, аж круги красные пошли, аж треснуло что-то в теле и горячее от крови сделалось. Но все это уже не страшно. Здесь, в окопе, уже не подстрелят, здесь воистину как за каменной стеной! Здесь и санитары скорее наткнутся на него, надо только орать сколько есть силы и надеяться на лучшее.

Бывало, здесь, в окопе, ослабивши напряжение в себе, и умрет солдатик с верой в жизнь, огорчившись под конец, что все вот вынес, претерпел, до окопа добрался... в госпиталь бы теперь, и жить да жить...

Он даже не помрет, он просто обессилеет, ослабнет телом, но сознание его все будет недоумевать и не соглашаться с таким положением — ведь все вынес, все пере-

терпел. Ему теперь положено лечиться, и жизнь он заслужил...

Нет, солдат не помрет — просто сожмется в нем сердце от одиночества, и грустно утихнет разум.

Ну а если все-таки по-другому, по-счастливому если? Дотянул до госпиталя солдат, вынес операцию, вынес первые бредовые, горячие ночи, огляделся, поел щей, напился чаю с сахаром, которого накопилось аж целый стакан! И письма бодрые домой и в часть послал, первый раз, держась за койку, поднялся и слезно умилился свету, соседям по палате, сестрице, которая поддерживает мослы его, вроде бы как сплюсненные от лежания на казенной койке. И случалось, случалось — с передовой, из родной части газетку присылали с каким-нибудь диковинно-устрашающим названием: «Смерть врагу!», «Сокрушительный удар!» или просто «Прорыв», и в «Прорыве» том выразительно написано, как солдат бился до конца, не уходил с поля боя, будучи раненым, и «заражал своим примером...».

Удивляясь на самого себя, пораженный словами: «бился до конца», «заражал своим примером», — солдат совершенно уверует, что так оно и было. Он ведь и в самом деле «заражал», и столько в нем прибудет бодрости духу, что с героического отчаянья закрутит солдат любовь с той самой сестрицей, что подняла его с койки и учила ходить, — аж целый месяц, а то и полтора продлится эта испепеляющая любовь.

И когда снова солдат вернется в родную роту — будет сохнуть по нему сестрица, может, месяц, может, и больше, до тех пор сохнуть, пока не дрогнет ее сострадательное сердце перед другим героем и день сегодняшний не затемнит все вчерашнее, ибо живет человек на войне одним днем. Выжил сегодня — слава Богу, глядишь, завтра тоже выживешь. Там еще день, еще — смотришь, и войне конец!

Нет, не сразу, не вдруг уразумел Борис, что воевать, не погибая дуру, могут только очень умные и хитрые люди и что будь ты хоть разгерой — командир или обыкновенный ушлый солдат в обмотках, — когда вымахнете из окопа, оба вы: и он — солдат, и ты — командир, становитесь перед смертью равны, один на один с нею остаётесь.

И тут уж кто кого.

Ветер вовсе утих. Снег не кружило, и на небе с одной стороны объявилась мутная луна, тоже как будто издолбленная осколками, с другой пробилось сквозь небесную муть заиндевелое, сумрачное солнце.

«И почему это в самые лихие для людей часы в природе что-нибудь...» — Борис не успел довершить эту мысль. Филькин совал ему бинокль. Совал молча. Но лейтенант уже и без бинокля видел все. Из села, что было за оврагами и полем, на плоскую высотку, изрезанную оврагами, но больше всего в голую пойму речки, помеченную редкими обрубьями кустов, высыпала туча народа — не стало видно снега. Из оврага тоже вываливали и вываливали волна за волной толпы людей и бежали навстречу тем, что прибоем накатывали из села. Сужалось и сужалось белое пространство. И стекали темные струи в речку, по которой и в которой уже шевелился темный поток людской, норовя найти выход, утечь куда-то, на всех скоростях катили танки, вдруг сверкнуло что-то игрушечно, вихрем клубя, смахивая снега со склонов в речку.

«Кавалерия!» — ахнул Борис, и у него подпрыгнуло, задергалось сердце, будто в детстве, когда он видел стремительную атаку конницы в кино. Не доводилось ему видеть конных атак наяву, ведь конники в этой войне действовали спешившись. И закипела, заплескалась от взрывов речка. Палили азартно, вдохновенно пушки, минометы, реактивные установки, летели вверх комья земли, вороха снега, куски мяса, клочья одежды, колеса, обломки дерева, распоротое железо. Кружило, вертело. Снег пылил, дымно от танков было. Топот коней, рокот танков, людские вопли. Пехотинцы тоже кричали, ярились, даже рвались к оврагам, но все ж первой унялась пехота. И за оврагами, в поле, в пойме речки все унялось.

Слабое шевеление. Агония. Смерть. Все унялось.

Две машины кострами горели в поле, пустив большой дым в небо, к солнцу, все шире яснеющему. Сыпалась пальба, уже торопливая, бестолковая, безнаказанная — так палят на охоте в ныряющего подранка.

— Вот и все! — почему-то шепотом сказал комроты Филькин. Сказал, удивляясь, должно быть, своему шепоту и зычно гаркнул: — Все, товарищи! Капуг группировке!

Пафнугьев услужливо застрочил из автомата в небо, запрывгал, простуженным дискантом выдал «ура!».

— Чё вы? Охренели?! Победа же! Наголову фашист!..
— кричал он своим товарищам.

Бойцы подавленно смотрели в поле, истерзанное, испятнанное, черное, на речку, вскрывшуюся из-под льда от взрывов и крови. Народ возле хутора был все больше пеший, рядовой, и каждый сейчас говорил сам себе: «Не дай Бог попасть в такое вот...»

Филькин начал угощать всех без разбора душистыми трофейными сигаретами, балагурил, развлекал народ, молотил кулаком по спинам, сулился прислать кухню, полную каши, и водки раздобыть не по наличию людей, по списочному составу и к орденам представить всех до одного — герои! Он бы еще много чего наобещал, по его позвали к телефону.

Вернулся Филькин из бани не такой уж веселый. Выгрызая из обгорелой кожуры картофельную мякоть, он повернулся карманом к Борису и, когда тот достал себе обугленную картофелину, мотнул головой и усмехнулся:

— Это вместо обещанной каши. Оставь старшину за себя. Пойдем получать указания. Нет нам покоя и скоро, видимо, не будет. — Он вытер руки о полушубок, полез за кисетом. — Возьми Корнея или пузырька своего. Мой кавалер опять куда-то провалился! Ну он у меня дофорсит! Я его откомандирую к вам, ты ему лопату повострее, ружье побольше, котелок поменьше...

— Это мы можем, это — пожалуйста!..

Борис взял и Корнея Аркадьевича, и Шкалика. Он хотел обойти поле, двинулся было на окраину хутора, но Филькин ухнул до пояса и уже за оврагами, выбирая снег из карманов, вяло ругался:

— Войну на войне все равно не обойдешь...

На поле, в ложках, в воронках, особенно возле изувеченных деревьев, возле темно шевелящейся речки кучами лежали убитые, изрубленные, подавленные гусеницами пемцы. Попадались еще и живые, изо рта их шел пар. Они хватались за ноги, ползли следом по снегу, истолченному, опятнанному кровью.

«Идем в крови и пламени, в пороховом дыму», — совсем уж упившись, не пел, а рычал иногда Мохнаков, какую-то совсем уж дремучую песню времен гражданской войны. «Вот уж воистину!..»

Обороняясь от жалости и жути, запинаясь за бугорки снега, под которым один на другом громоздились коченелые трупы, Борис зажмурился глазами: «Зачем пришли

сюда?.. Зачем? Это наша земля! Это наша родина! Где ваша?»

Корней Аркадьевич, в поясице словно бы перешибленный стягом, оперся на дуло винтовки:

— Неужели еще повторится такое? Неужели это ничему людей не научит? Достойны тогда своей участи..

— Не вякал бы ты, мудрец вшивый! — процедил сквозь зубы комроты Филькин.

Борис черпал рукавицею снег, кормил им позеленевшего Шкалика.

— Боец! — кривился, глядя на Шкалика, комроты Филькин. — Ему бы рожок с молочком!

На окраине села, возле издолбленной осколками, пробитой снарядами колхозной клуни, крытой соломой, толпился народ. У широко распахнутого входа в клуню нервно перебирали погами тонконогие кавалерийские лошади, запряженные в крестьянские дровни. И откуда-то с небес или из-под земли звучала музыка, торжественная, жуткая, чужая. Приблизившись к клуне, пехотинцы различили — народ возле клуни толпился непростой: несколько генералов, много офицеров и вдруг обнаружился командующий фронтом.

— Ну нанесла нас нечистая сила... — заворчал комроты Филькин.

У Бориса похолодело в животе, потную спину скоробило: командующего, да еще так близко, он никогда не видел. Взводный начал торопливо поправлять ремень, развязывать тесемки шапки. Пальцы не слушались его, дернул за тесемку, с мясом оторвал ее. Он не успел заправить шапку ладом. Майор в желтом полушубке, с португеей через оба плеча, поинтересовался — кто такие?

Комроты Филькин доложил.

— Следуйте за мной! — приказал майор.

Командующий и его свита посторонились, пропуская мимо себя мятых, сумрачно выглядевших солдат-окопников. Командующий прошелся по ним быстрым взглядом и отвел глаза. Сам он хотя и был в чистой долгополой шинели, в папаше и поглаженном шарфе, выглядел среди своего окружения не лучше солдат, только что вылезших с переднего края. Глубокие складки отвесно падали от носа к строго и горестно сжатым губам. Лицо его было воско-

вого цвета, смятое усталостью. И в старческих глазах, хотя он был еще не старик, далеко не старик, усталость, все та же безмерная усталость. В свите командующего слышался оживленный говор, смех, но командующий был сосредоточен на своей какой-то невеселой мысли. И все звучала музыка, нарастая, хрипя, мучаясь.

По фронту ходили всякого рода легенды о прошлом и настоящем командующего, которым солдаты охотно верили, особенно одной из них. Однажды он якобы напоролся на взвод пьяных автоматчиков и не отправил их в штрафную, а вразумлял так:

— Вы поднимитесь на цыпочки — ведь Берлин уж видно! Я вам обещаю, как возьмем его — пейте сколько влезет! А мы, генералы, вокруг вас караулом стоять будем! Заслужили! Только дюжьте, дюжьте...

— Что это? — поморщился командующий. — Да выключите вы ее!

Следом за майором стрелки вошли в клуню, проморгались со свету.

На снопах белой кукурузы, засыпанной трухой соломы и глиняной пылью, лежал мертвый немецкий генерал в мундире с яркими колодками орденов, тусклым серебряным шитьем на погонах и на воротнике. В углу клуни, на опрокинутой веляке, накрытой ковром, стояли телефоны, походный термос, маленькая рация с наушниками. К веляке придвинуто глубокое кресло с просевшими пружинами и на нем — скомканный клетчатый плед, похожий на русскую бабью шаль.

Возле мертвого генерала стоял на коленях немчик в кастрюльного цвета шинели, в старомодных, антрацитно сверкающих ботфортах, в пилотке, какую носил еще Швейк, только с пришитыми меховыми наушниками.

Перед ним, на опрокинутом ящике, хрипел патефон, старик немец крутил ручку патефона, и по лицу его безостановочно кагались слезы.

Майор решительно снял трубку с пластинки. Немец-старик, сверкая разбитыми стеклами очков, так закричал на майора, что затряслись у него мешковатые штаны, запрыгала желтая медалька на впалой груди и вдруг выпалились последние мелкие стекла из очков, обнажив почти беззрачные облезлые глаза.

— Зи дюр фэн ниht, — наступал немчик на майора. — Конвенцион... Вагнер... Ди либлингмузик вом генераль...*

* — Вы не смеете. Любимая музыка генерала...

— Ди тотэн хабэн кайнен шутц! Ди тотэн флэн ум гнаде ан! Зи дюр фэн нихт!*

Переводчица в красиво сидящем на ней приталенном полушубке, в шапке из дорогого меха, в чесапых валеночках, вся такая кудрявенькая, вежливо приобняла немчика, отводя его в сторону и воркуя:

— Ист дас аух ди либлингмузик вом фюрер?*

— Я, я, майн фюрер... Мег эр инс грас байсэн**

— Эр вирд, вирд балд трор крэпирен унддан вэрдэн тагс унд нахтс Вагнер, Бах, Бетховен унд андэрэ дэйчен геноссен эрклинген ди траурэнмузик ломпонирен кёнэн...***

— О, фрау, фрау, — закачал головой немец, — об дэр гогт ин вельт эксистинрт?**** — и, припавши к ножкам кресла, пачал отряхивать пыль и выбирать комочки глины из ковра, желая и не смея приблизиться к мертвому генералу.

В разжавшейся уже синей руке генерала на скрюченном пальце висел пистолет. И не пистолет, этакая дамская штучка, из которой муху только и стрелять. И кобура на поясе была игрушечной, с гербовым тиснением. Однако из этого вот пистолета генерал застрелил себя. На груди его, под орденскими колодками и знаками различий, давленной клюквиной расплылось пятнышко. Генерал был худ, в очках, с серым, будто инсем взявшимся лицом. В полуоткрытом рту его виднелась вставленная челюсть. Очки не снялись даже после того, как он упал. Седую щетку усов под носом прочертила полоска крови, тоже припорошенная пылью. Косицы на лбу генерала провалились, обнаружив угловатый череп с глубокими залысинами. Шея выше стоячего воротника мундира была в паутине морщин и очертившихся от смерти жилок. Клещом впился в нее стальной крючок.

— Командующий группировкой, — разъяснил майор, — не захотел бросить своих солдат, а рейхкомиссар с вышшим офицерьем удрал, сволочь! Разорвали кольцо на

* — Мертвые не имеют защиты! Мертвые вызывают к милости! Вы не смеете!

** — Это и фюрера любимая музыка?

*** — Да, да, мой фюрер... чтоб ты сдох!

**** — Сдохнет, скоро сдохнет, тогда день и ночь будет звучать Вагнер, Бах, Бетховен и все им подобные немецкие товарищи, умеющие сочинять похоронную музыку...

***** — Есть ли в мире Господь?

минуты какие-то и в танках по своим солдатам, подлецы!.. Неслыханно!

— Таранили и нас — не вышло! — не к месту похвастался Филькин и смешался.

Майор с интересом посмотрел на него, собирался что-то спросить, но в это время за клушей загрохотал танк и просигналила машина.

— Мешок железных крестов прислал фюрер погибающим солдатам. Вот они. Раздать не успели. — Майор попинал брезентовый мешок с железными застежками и покачал головой: — О Боже, есть ли предел человеческого безумия?!

Корней Аркадьевич с интересом посмотрел на майора и собрался вступить с ним в разговор, но в это время уже раздраженно засигналила машина.

Майор велел нести генерала. Борис из-под лба глянул на щеголевато одетого, чисто выбритого офицера. «Фронтовой барин! Надорваться опасаетесь! Всю грязную работу нам...»

Филькин высвободил из руки генерала пистолет и протянул его майору. Глаза майора забежали: ему, видать, хотелось взять пистолет генерала и похвастаться перед штабными девицами таким редкостным трофеем. Но тут же истуканом стоял хмурый, костлявый солдат, щенком дрожал зеленый парнишка в горбатой шинели и с откровенной неприязнью глядел лейтенант с оторванной тесемкой у шапки — голодный, злой лейтенантишко.

— Да на кой мне такая орудья?! — небрежно отмахнулся майор. — Отдай вон ему — в память о благодетеле. — Майор брезгливо сморщился, помогая старикашке немчику подняться с колен. — Или вон ей, — кивнул он на переводчицу.

— А что! Я не против, — не расслышав неприязни в голосе майора, завела глаза под зачерненные ресницы переводчица: — Исторический экспонат!..

Но комроты Филькин словно и не слышал и не видел военную барышню. Он со щелком вынул обойму из пистолета и запустил ее в угол, за веялку, вспугнув оттуда стайку затаившихся воробьев, после чего, словно бабку, подкинул пистолетик к ногам старика немца. Тот не брал пистолетик, пягился, и тогда переводчица снова взяла его под руку и запела, заворковала что-то теплое, нежное, бархатисто-чувствительное, не переставая в то же время

стрелять глазами во все густое офицерье и с удовольствием отмечала, что ее видят и уже любят глазами.

Старик кинул носом в поклоне, цапнул сухими, птичьими лапками пистолетик, прижал к груди, будто икону: «Данке шен», — он тут же спохватился, догнал пехотинцев, неловко тащивших деревянное тело генерала, стянул с головы швейковскую пилотку. Волосы на нем росли клочковато, весь он, словно древняя плюшевая вещица, побитая молью. Суется вокруг стрелков, забегая то слева, то справа, что-то наговаривая, выходец из пыльных веков пытался помогать нести своего господина. По рыхлым щечкам старика все попрыгивали слезы.

Смекалистые бесстрашные фронтовые воробы вспорхнули на веялку и нырнули в нее, как только люди удались.

Возле клуни ждал «студебекер» с открытым бортом, прицепленный к танку. Солдаты прицелились затолкнуть покойника в кузов, но старенький немец, петушком подпрыгивая и ловясь за доски, лез в машину. Майор посадил его, и солдат снова заклапался, забормотал что-то благодарственное, заискивающее.

Приняв бережно голову генерала, он волоком подтащил покойника к кабине, ногой раскатал пустые артиллерийские гильзы и, подсунув свою пилотку, опустил на нее затылком своего господина. Девушка-переводчица бросила в кузов высокий парядный картуз. Ловко, точно вратарь, упав на одно колено, старикашка немец его изловил.

— Данке шен, фройляйн! — не забыл он учтиво поклониться переводчице и надел картуз на своего господина. Сразу из жалкого старика покойника генерал превратился в важного сановитого мертвеца.

Командующий фронтом был уже возле саней, в головке которых на коленях стоял пожилой автоматчик, туго намотав вожжи на кулаки.

— Разумовский! — позвал командующий. Майор, руководящий погрузкой мертвого генерала, метнулся к саям.

— Су-шусь, та-риц-рал! — как на параде громко рявкнул майор.

Старикашка немец поднял голову, молитвенно сложив птичььи лапки, закатив бесцветные глаза в небо, вежливо прося тишины.

Командующий с досадой шмыгнул носом и повелительно приказал:

— Схоронить генерала, павшего на поле боя, со всеми воинскими почестями: домовину, салют и прочее. Хотя прочего не можем. — Командующий отвернулся, опять пошмыгал носом. — Попов на фронте не держим. Панихиду по нему в Германии справят. Много панихид.

Кругом сдержанно посмеялись.

— Его собакам бы скормить за то, что людей стравил. За то, что Бога забыл.

— Какой тут Бог? — поник командующий, утирая нос рукавицей. — Если здесь не сохранил, — потыкал он себя рукавицей в грудь, — нигде больше не сыщешь.

Борису нравилось, что сам командующий фронтом, от которого веяло спокойной, устоявшейся силой, давал такой пример благородного поведения, но в последних словах командующего просквозило такое запекшееся горе, такая юдоль человеческая, что ясно и столбу сделалось бы, умей он слышать, игра в благородство, агитационная или еще какая показуха, спектакли неуместны после того, что произошло вчера ночью и сегодняшним утром здесь, в этом поле, на этой горестной земле. Командующий давно отучен войной притворяться, выполнял он чей-то приказ, и все это было ему не по нутру, много других забот и неотложных дел ждало его, и он досадовал, что его оторвали от этих дел. Мертвых и пленных генералов он, должно быть, навидался вдосталь, и надоело ему на них смотреть.

Чего он приволокся, этот сановитый чужеземец, в заснеженную Россию? Улегся в этой колхозной клуне, на кукурузных снопах? Почему не принял капитуляцию? Стратег! Душа его, видать, настолько отутовела, что он разучился ценить человеческую жизнь. Долг? Страх? Равнодушие? Что руководило им? Почему он не застрелился раньше? Человек свободен в выборе смерти. Может быть, только в этом и свободен. Если этот руководящий немец не мог достойно жить, мог бы ради солдат, соотечественников своих, ради детей их, наконец, умереть раньше, умереть лучше. Он же знал, старый вояка, что группировка обречена, что надеяться на чудо и на Бога — дело темное, что у побежденных завоевателей не бывает даже могил, и все, что ненавистно людям, будет стерто с земли. Чему он служил? Ради чего умер? И кто он такой, чтобы решать за людей — жить им или умирать?

Переводчица охотно, даже с умилением, перевела приказ командующего о погребении генерала, не расслышав все остальное, и старикашка немец, поднявшись в кузове, подобострастно начал кланяться командующему, прижав к животу свои лапки, и твердить привычную фразу, намертво засевшую в холуйской голове:

— Данке! Данке шен, герр генерал...

Командующий что-то буркнул, резко отвернулся, натянул папаху на уши и по-крестьянски, бережно подоткнув полы шинели под колени, устроился в санях. Что-то взрошенное и в то же время бесконечно скорбное было в узкой и совсем не воинственной спине командующего, и даже в том, как вытирал он однопалой солдатской рукавицей простуженный нос, виделась человеческая незащищенность. Так и не обернувшись больше, он поехал по полю. Сани качало и подбрасывало на бугорках, полозьями обнажало трупы и остатки трупов.

Кони вынесли пепельно-серую фигуру командующего на танковый след и побежали бойчее к селу, где уже рычали, налаживая дорогу, тракторы и танки. И когда за сугробами скрылись лошади и тоскливая фигура командующего, все долго и подавленно молчали.

— С ординарцем-то что делать — не спросили? — прервала молчание переводчица и снова многозначительно округлила красивые, подведенные глаза.

— А-а, пусть остается при своем хозяине, — раздраженно уронил майор Разумовский и закрыл борт кузова. — Не мне же обмывать этого красавца! — и повернулся к пехотинцам. — Можете быть свободны, ребята. Спасибо!

— Не на чем! — ответил за всех Филькин и потопал со своим воинством отыскивать командира полка.

Танк с прицепленной к нему машиной скоро их обогнал. Шофер машины, которого сорвали с рейса, рывками крутил руль, закусивши в углу рта мокрую сигарку, и чего-то сердито говорил майору Разумовскому, мотая головой на кузов, где громыхали, катаясь, медные артиллерийские гильзы и старикашка немец оборонял от них покойного господина. Майор что-то отвечал шоферу и приветливо поднял руку в кожаной перчатке, прощаясь с пехотинцами, сошедшими в целик. Переводчица, стоявшая в кузове, даже глазочком не зацепила за них.

— Лахудра! — Филькин звучно плюнул вслед машине. Шагнув в колею, пробитую танком, он брезгливо скри-

вился: — Вонь от этого генерала или от этого денщика! В штаны они наклали, что ли?

Никто не поддержал разговора. Усталость, всегда наваливающаяся после боя, клонила всех в забытье, в сон. Неодолимо хотелось лечь тут же на снег, скорчиться, закрыть ухо воротником шинели и выключиться из этой жизни, из стужи, из себя выключиться.

А в хуторе людно и тесно. Набились туда толпы пленных. Среди них снова Мохнаков, оживленный, со сдвинутой на затылок шапкой.

— Старшина! — звонко крикнул Борис.

Мохнаков неохотно вылез из гущи пленных, заталкивая что-то в карман.

— Ну, что ты орешь? — зашипел он. — Перемерзли все, как псы!

— Отставить!

— Отставить так отставить, — потащился за ним старшина и, думая, что у лейтенанта со слухом все еще не в порядке, выругался: — Откуль и взялся на нашу голову?!

Одно желание было у Бориса: скорее уйти от этого расхлопанного хутора, от изуродованного, заваленного трупами поля подальше, увести с собой остатки взвода в теплую, добрую хату и уснуть, уснуть, забыться.

Но не все еще перевидел он сегодня.

Из оврага выбрался солдат в маскхалате, измазанном глиной. Лицо у него было будто из чугуна отлито — черно, костляво, с воспаленными глазами. Он стремительно шел улицей, не меняя шага, свернул в огород, где сидели вокруг подожженного сарая пленные, жевали чего-то и грелись.

— Отдыхаете культурно? — пророкотал солдат и начал срывать через голову ремень автомата. Сбил шапку на снег, автомат запутался в башлыке маскхалата, он рванул его, пряжкой расцарапал ухо.

Немцы отвалились от костра, парализованно наблюдая за солдатом.

— Греетесь, живодеры! Я вас нагрею! Сейчас, сейчас... — Солдат поднимал затвор автомата срывающими пальцами. Борис кинулся к нему и не успел. Брызнули пули по снегу, простреленный немец забился у костра, выгибаясь дугою, другой рухнул в огонь. Будто вспугну-

тые вороны, заорали пленные, бросились врассыпную, трое удирали почему-то на четвереньках. Солдат в маскхалате подпрыгивал так, будто подбрасывало его землею, скаля зубы, что-то дикое орал он и слепо жарил куда попало очередями.

— Ложись! — Борис упал на пленных, сгребая их под себя, вдавливая в снег.

Патроны в диске кончились. Солдат все давил и давил на спуск, не переставая кричать и подпрыгивать. Пленные бежали за дома, лезли в хлев, падали, проваливаясь в снегу. Борис вырвал из рук солдата автомат. Тот начал шарить на поясе. Его повалили. Солдат, рыдая, драл на груди маскхалат.

— Маришку сожгли-и-и! Селян в церкви сожгли-и-и! Мамку! Я их тыщу... Тыщу кончу! Гранату дайте! Резать буду, грызть!..

Мохнаков придавил солдата коленом, тер ему лицо, уши, лоб, греб снег рукавицей в перекошенный рот. Солдат плевался, пинал старшину.

— Тиха, друг, тиха!

Солдат перестал биться, сел и, озираясь, сверкал глазами, все еще накаленными после припадка. Разжал кулаки, облизал искусанные губы, схватился за голову и, уткнувшись в снег, зашелся в беззвучном плаче. Старшина принял шапку из чьих-то рук, натянул ее на голову солдата, протяжно вздохнув, похлопал его по спине.

В ближней полуразбитой хате военный врач с засученными рукавами бурого халата, напыленного на телогрейку, перевязывал раненых, не спрашивая и не глядя — свой или чужой.

И лежали раненые вповалку — и наши, и чужие, стонали, вскрикивали, плакали, иные курили, ожидая отправки. Старший сержант с наискось перевязанным лицом, с наплывающими под глазами синяками, послунывил цигарку, прижег и засунул ее в рот недвижно глядевшему в пробитый потолок пожилому немцу.

— Как теперь работать-то будешь, голова? — невнятно из-за бинтов бубнил старший сержант, кивая на руки немца, замотанные бинтами и портянками. — Познобился весь. Кто тебя кормить-то будет и семью твою? Хюер? Хюереры, они накормят!..

В избу клубами вкатывался холод, сбегались и сполза-

лись раненые. Они тряслись, размазывая слезы и сажу по ознобелым лицам.

А бойца в маскхалате увели. Он брел спотыкаясь, низко опустив голову, и все так же затажно и беззвучно плакал. За ним с винтовкой наперевес шел, насупив седые брови, солдат из тыловой команды, в серых обмотках, в короткой прожженной шинели.

Санитар, помогавший врачу, не успевал раздевать раненых, пластать на них одежду, подавать бинты и инструменты. Корней Аркадьевич включился в дело, и легкораненый немец, должно быть из медиков, тоже услужливо, сноровисто начал обихаживать раненых.

Рябоватый, кривой на один глаз врач молча протягивал руку за инструментом, нетерпеливо сжимал и разжимал пальцы, если ему не успевали подать нужное, и одинаково угрюмо бросал раненому:

— Не ори! Не дерьгайся! Ладом сиди! Кому я сказал, ладом!

И раненые, хоть наши, хоть исчужа, понимали его, послушно, словно в парикмахерской, замирали, сносили боль, закусывая губы.

Время от времени врач прекращал работу, вытирал руки о бязевую онучу, висевшую у припечка на черенке ухвата, делал козью ножку из легкого табака. Он выкуривал ее над деревянным стиральным корытом, полным потемневших бинтов, рваных обуток, клочков одежды, осколков, пуль, желтых косточек. В корыте смешалась и загустела брусничным киселем кровь раненых людей, своих и чужих солдат. Вся она была красная, вся текла из ран, из человеческих тел с болью. «Идем в крови и пламени, в пороховом дыму».

Топилась щелястая, давно не мазанная печка, горели в ней обломки частокола, ящики из-под снарядов. Дымно было в избе и людно.

Врач из тех вечных «фершалов», что несут службу в лесных деревушках или по старым российским городишкам. Получая малую зарплату, множество нагоняев от начальства и благодарностей от простолюдия, коему он драл зубы, вырезал грыжи, спасал баб от самоабортов, боролся с чесоткой и трахомой, врач этот высился над распластавшимися у его ног людьми, курил, помаргивал от дыма, безразлично глядя в окно, и ничего его тут вроде бы не касалось. Выше побоища, выше кровопролития над-

лежало ему оставаться, и, как священнику во время панихиды, «быв среди горя и стенаний», умиротворять людей спокойствием, глубоко спрятанным состраданием.

Корнея Аркадьевича трясло, постукивали у него зубы, он, вытирая снегом руки, когда вышли из избы, завел:

— Вот чем она страшна! Вот чем! В крови по шею стоит человек, глазом не моргнет.

— Ничего вы не поняли! Зудите, зудите... — Борис чуть было не сказал: врачу, мол, этому труднее, чем тебе, Ланцов. Ты свою боль по ветру пускаешь, и цепляется она репьем за другие души, но он вспомнил и сказал совсем о другом: — Мохнаков где?

— Умотал куда-то, — пряча глаза, отозвался Шкалик.

«Вот еще беда!» — Борис вытер мокрые руки о полы шинели, потащил из кармана рукавицы.

— Идите во вчерашнюю избу, займут ее. Я скоро...

В оврагах, жерласто открытых в подмоинах ручья, сверху похожих на сваленные ветви ели, все изрыто, искромсано бомбами и снарядами. В перемешанной глине и снегу валялись убитые кони, люди, оружие, колеса, банки, кружки, фотокарточки, книжки, обрывки газет, листовок, противогазы, очки, шлемы, каски, тряпки, одеяла, котлы и котелки, даже пузатый тульский самовар лежал на боку, иконы с русскими угодниками, подушки в деревенских латаных наволочках — все разорвано, раздавлено, побито все, как после светопреставления — дно оврагов походило на свежую лесосеку, где лес порублен, увезен, остались лишь ломь, пенья, обрубки. Трупы, трупы, забросанные комьями земли, ворохами снега. Многие трупы, уже выкорчеванные из сугробов, разуты, раздеты. У совсем уж бедных мертвецов вывернуты карманы, оборваны вместе с цепочками, сдернуты с ниток нательные кресты. Здесь уже попаслись, пострадавали стервятники-мародеры. Вокруг каждого растерзанного до шкуры, до гривы и хвоста разобранного остова мерзлого коня густая топонина, отпечатки солдатской обуви, вороньих лап, собачьих или волчьих следов. И всюду, в ухоронке, под навесами оврагов, малые костерки, похожие на черные язвочки. Возле одного костерка на корточках сидел немец, замотанный в тряпки, перед ним на винтовке, воткнутой штыком в снег, котелок с черным конским копытом. Солдат совал под котелок горсточку сухого бурьяна, щепочки, отструган-

ные от приклада винтовки, в надежде сварить еду, хлебнуть горячего — так они вместе и остыли, костерок и солдат, которому даже и упасть некуда было, снег завалил его со всех сторон, сделался белой ему купелью. «Вот сюда бы Гитлера приволочь, полюбоваться на это кино».

К убитому немецкому офицеру вел след новых вовнутрь стоптанных валенок. Борис загреб снегом лицо покойного с разъятой разорванной пастью, забитой кровавосмерзшейся крошкой, и пьяно побежал вниз по оврагу, уже не останавливаясь возле выкорчеванных трупов.

В глубине оврага, забросанная комьями глины, лежала убитая лошадь. Во чреве ее рылась собака, вжимая хвост в облезлые холки. Рядом прыгала хромая ворона. Собака, пощеньячи тьякая, бросалась на нее. Ворона отлетала в сторону и ждала, чистя клюв о снег.

Взгляд собаки неведомой породы, почти голотелой, с наборным, вяло болтающимся дорогим ошейником, был смутен и дик. Собака дрожала от холода, алчности. Длинными, примороженными, что капустные листья, ушами да дорогим ошейником она еще напоминала пса редких кровей из какого-нибудь благопристойного рейнского замка.

— Пошла! Цыть! Пошла! — затопал Борис и расстегнул кобуру.

Собака отскочила, вжав хвост еще глубже в провалившийся зад, и уже не пощеньячи затыкала, а раскатисто зарычала, обнажив источенные зубы. Она щерилась, одновременно слизывая сукровицу с редких колючек, обметавших морду, и все дрожала, дрожала обвислой голой кожей, под которой было когда-то барски холеное тело. Ворона, сидя на козырьке оврага, перестала чистить клюв в снегу, воззрясь в человека и собаку. Внезапно закаркала призывно, перевозбужденно.

Борис опасливо обошел собаку и, не переставая оглядываться, поспешил в глубь оврага. Ворона, проводив его поворотом головы, спорхнула вниз и смолкла. Борис облегченно снял руку с пистолета.

За ближним поворотом оврага, в вершинке его, поросшей чернобыльником, крапивой, кустарником, сплошь выломанным на топливо, Борис увидел шустро орудующего кузнечными щипцами человека. По горбатой спине, по какой-то пакостной песьей торопливости он узнал, кто это и что делает. Борис хотел закричать, но сведенные губы зашевелились сперва с шипом, потом, словно пар

пробивши, пошел изнутри взводного скулеж, собачий, сдавленный.

Старшина резко обернулся. Лицо его начало бледнеть. Он следил за рукой лейтенанта — не полезет ли тот в кобуру. Но Борис не двигался, даже не моргал. Все так же резиново шевелились его обескровленные губы, да дергалось горло в пупырышках, зачерненных грязью. Старшина отбросил в снег ржавые щипцы, валенком забросал разъятый рот мертвеца.

— Ну что ты, что ты? — подойдя, похлопал он Бориса. — Не бойсь, тут все свои.

— Не прикасайся ко мне!

— Да не прикасаюсь, не прикасаюсь, — отступил старшина, прикрывая будничностью тона смятение, может, и страх. — Бродишь, понимаешь... Враг кругом... Мины кругом... Может рвануть, а ты бродишь...

Взводный переломился в пояснице и, волоча ноги, почти касаясь руками снега, подошел к стене оврага, лбом привалился к мерзлой, пресно пахнущей земле. Горло его перерезанно дергалось, выжимая клейкую слюну. С тенью в глазах стоял он и отходил от оморочи, вытирая рукавом губы. Глянув на небо, стоял какое-то время, ничего не понимая, но различил свет и пошел на него. Все колыхалось перед ним, он упал в воронку, стукнулся о мерзлые комья и от боли очнулся. Два окоченелых эсэсовца сидели в глубокой воронке и в упор смотрели на него судачьими глазами. Лейтенант забился, замычал, срывая ногти, пытался вылезти наверх.

Мохнаков плеснул в рот чего-то горячего, и этим горячим словно бы прочно заткнуло дыру в мерзло дребезжащем нутре Бориса. Что-то скребло его, отдавалось в ушах — он глядел не понимая. Старшина ножом очищал шинель на нем.

— Не... Не... Не...

— Экий ты, ей-богу какой! — Старшина с досадой щелкнул трофейным ножом. — Война ведь это, война, не кино! Пойми ты! Тут, видал, голый голого тянет и кричит: «Рубашку не порви!» — принюхавшись по-собачьи, старшина совсем уж обыденно закончил: — Славяне борова палят! Пищу варят, бани топят... Живой о живом... А ты? — Он громко высморкался, достал кисет. Кисета у него оказалось два: один красный из парашютного шелка, другой холщовый, с кисточками, вышитый кривыми буква-

ми. Какие-то далекие и милые девчушки посылали такие кисеты на фронт с трогательными надписями: «Давай закурим!», «На вечную память и верную любовь!», «Любовь моя хранит тебя!»...

Старшина раздернул тесемки на красном кисете, поднес его под нос взводному. В кисете были колечки с примерзшей к ним кожей, золотые зубы, вывернутые вместе с окровавленными корнями, ладанки, крестики, изящный портсигар.

— Видал, нюхай вот. И молчи.

Борис словно вывернутой слабой рукой отводил, отталкивал от себя кисет.

— Нет, ты смотри, смотри, мотай на ус.

— Да не хочу я этого видеть, не хочу! — через большое время подавленно, но уже внятно заговорил Борис. — Зачем тебе это?

— А ты будто и не знаешь?

— Догадываюсь. Ребята уже давно заметили неладное. Пафнутьев раньше всех, да я-то не верил.

— Теперь поверишь! — старшина харкнул в снег. — Курить будешь? И не надо, не учись. Храни здоровье. И честь смолоду. Ох-хо-хо-хо-о-о! Ох-хо-хо-хо-ооо, — вдруг захохотал, завыл, захохал старшина и, упав на землю, начал биться лицом в мерзлые комки: — Ох война, ох война, ох война-а-а, война-а-а, пахла-а-аа!.. Ох, блядь!..

— Мохнаков! Мохнаков! — топтался вокруг него Борис. — Да Мохнаков! Перестань. Ну что ты, ей-богу. Ну перестань! Ну старшина же...

Когда, из чего, чем развели они огонек, Борис помнил плохо, но тепло почувал. Потянул к нему руки, морщась от кислого бурьянного дыма, приходил в себя. Воткнув на винтовочные шомпола по куску полузамерзшего кислого хлеба, старшина отогревал хлеб, отогревался сам и отдаленно, глухо повествовал:

— Я, паря, землячок мой дорогой, в тятю удался. Он у меня, родимый, все хвалился, что с пятнадцати лет к солдаткам хмель-пиво пить ходил, а я, паря, скромнее его был, только в шестнадцать оскоромился. В семнадцать тятка давай меня женить поскорее, а то, говорит, убьют обормота мужики иль бабы от любви задушат. В восемнадцать у меня уж ребенок в зыбке пицал и титьку тре-

бывал, в девятнадцать второй явился, да все девки — Зойка, Малашка, а я уж парня начал выкраивать да вытачивать, а тут меня хлоп — и в армию, и с тех пор я, почитай, дома и не видел. В отпуске после Халхин-Гола был, и все. Правда, парня все-таки успел за отпуск смастерить — мастак я все-таки на эти дела, о-ох, мастак. Мне вот юбку на бочонок с селедкой надень иль платье на полевую кухню с горячей топкой надень и скажи — баба, дай выпить — и полезу, никакой огонь меня не остановит!

Хлебушек совсем раскис, но был горяч, пах дымом, хрустел угольком, тепло расходилось по нутру.

— ...Тебе уже двадцатый, — напрягся слухом Борис, — но ты еще и не знаешь, куда она комлем ляжет. Немцам вон и бордели, и отпуска... А у нас потаскушку свалишь, и праздник тебе.

«Чего это он? — снова заставил себя слушать Борис. — А-а, про баб опять...»

— К потаскушкам бы и приставал. Зачем же к честной-то женщине лезешь? Озверел?

— Все они честные. Такая вот «честная» и наградила трофейным добром. Столько поубило и столько сведено народу, чего там какая-то бабенка... А ты бы вправду застрелил бы меня? — испытующе, сбоку глядел Мохнаков на лейтенанта.

— Да!

— Светлый ты парень! Почитаю я тебя. — Мохнаков пальцем раздавил сигарку, вытер руку об валенок. — За то почитаю, чего сам не имею... Э-эх. Шибко ты молод. Не понять тебе. Весь я вышел. Сердце истратил... И не жаль мне пикого. Мне и себя не жаль. Не вылечусь я. Не откуплюсь этим золотом. Так это. Дурь. Блажь. Баловство.

Чувствуя себя совсем виноватым, Борис произнес:

— Может, полкового врача?... Я бы... мог...

— Ду-ура! Не суйся уж куда тебя не просят!.. Эх ты, Боря, Боря, разудала голова! Меня ж в штрафную запердят.

— В штрафную?

— Ну а куда ж еще?

— Да за что в штрафную-то?

— За смелость. Понял?

— Пойдем отсюда, Мохнаков, а? Пойдем!

Старшина хотел стряхнуть снег и землю с обвислой спины лейтенанта, руку уж протянул было, но спохватился, убрал руку, еще запоет: «Не... не... не...»

По слепому отростку оврага, до краев забитому ярко-белым рыхлым снегом, пер старшина с выпущенными поверх валенок брюками, торил дорогу. Во всей его с размаху, топором рубленной фигуре, в спине, тугой, как мешок с мукою, и в крутом медвежьем загривке чудилось что-то сумрачное. В глуби его, что в тайге, которая его породила, угадывалось что-то затаенное и жутковатое, темень там была и буреломник.

Борису даже не хотелось привыкать к мысли, что такого диковинной силы человека можно потерять из-за пустяка. Богатырь и умирать должен по-богатырски, а не гнить от паршивой болезни морально ущербных морячков и портовых проституток.

Старшина начал отступать еще с границы, не однажды валялся в госпиталях, знал голод и холод, окружения, прорывы, но в плен не угодил. Везло, говорит, наверное, оттого везло, что он придерживался старинного правила русских воинов — лучше смерть, чем неволя.

Старшина вжился в войну, привык к ней и умел переступить те мелочи, которые часто бывают не нужны на войне, вредны фронтовой жизни. Он никогда не говорил о том, как будет жить после войны. Он мог быть только военным, умел только стрелять и ничего больше. Так дуьмалось о нем. А что теперь? Что дальше?

Борис уткнулся лицом в жестяную твердь полушубка Мохнакова.

Старшина остановился у среза земли, упершись во что-то глазами. Лейтенант проследил за взглядом Мохнакова. Втиснувшись задом в норку, выдолбленную в стене оврага, толсто заваленную снегом, сидел немец. Рукавица с кроличьей оторочкой была высунута из снега, и на ней лежали часы. Дешевенькие, штампованные часы швейцарской фирмы, за которые больше литра самогона цивильные люди не давали.

Старшина валенком разгреб ноги немца. Снег сверху был чист и рассыпчат, но внизу состылся в кровавые комки. Ноги немца, игрушечно повернутые носками сапог в разные стороны, покоились ровно бы отдельно от человека.

Немец дернулся к старшине, но тут же перевел тусклый взгляд на Бориса, шевельнул обметанным щетиной ртом:

— Хильфе!..

Под недавней остренькой, но уже седой щетиной ше-

душились коросты, впалые щеки земляно чернели, всюду, в коростах, в бровях и даже в ресницах, копошились, спешили доесть человека вши.

— Хильфе! Хильфе!.. Зи мир битте... реттен зи мих...

— Чего он говорит?

— Просит спасти.

— Спаси! — Мохнаков покачал головой. — С двумя-то перебитыми лапами? — Старшина снова отхаркнулся в снег. — Своих с такими ранениями хоронить сегодня будем.

Борис начал без надобности заправлять шинель, шарить руками по поясу.

Немец ловил его взгляд:

— Реттен зи виллен... Хильфе...

— Иди-ка отсюдова, лейтенант.

— Ты что? Ты что задумал?

— Я тебе сказал, иди! — снимая автомат с плеча, повторил Мохнаков: — И не оглядывайся.

Борис понимал, немец этот обречен. Добивший его Мохнаков сотворит большую милость, иначе такой живущий человек примет еще столько нечеловеческих мук. Пронеси судьба такую долю! Самая страшная и последняя мука, когда эти твари ползучие доедают человека. Они будут спускаться по остывающему телу, с головы, из ушей, с бровей, под одежду, облепят пояс, кипеть будут под мышками и, наконец, в комок собьются в промежности, будут жрать бесчувственное тело, пока оно еще теплое, потом сыпанут с него, серой пылью покопошатся и застынут вокруг трупа. Они тоже подохнут! Напьются крови, нажрутся и передохнут! Пере-до-о-охнут!..

Какое-то неистовое, мстительное чувство охватило Бориса, вызвало в нем прилив негодования, но голос еще живого человека, испеченного морозом, царалал сердце.

Немец вывалился из норки, дергался в снегу живым до пояса туловищем, пытался ползти за Борисом и все протягивал ему руку. Он еще надеялся выкупить свою жизнь такими крохотными, такими дешевенькими часами.

— Да иди же ты ...твою мать! — гаркнул Мохнаков.

Рванувшись вверх, Борис приступил полу шинели, упал и замолотил, замолотил руками и ногами, словно выбивался вплавь из давящей глубины.

Донеслось хриплое, надтреснутое завывание — так кри-

чат в тайге изнемогающие звери, покинутые своим табуном.

Борис прикрыл уши рукавицами, но он слышал, слышал и предсмертный вой, и коротенькую экономную очередь, оборвавшую его.

Под ясным холодным солнцем, окольцованным стужей, укатывающимся за косогор, двигались по дорогам люди. Снежно и тихо вокруг до звона в ушах.

Мохнаков догнал Бориса в поле, подвел к повозке, опрокинул ее, вытряхнув, будто из домовины, окоченевшего раненого, хлопнул по дну повозки ладонью, с исподу и вовсе на домовину похожей, разулся и начал вытряхивать из валенок снег.

— Чё сидишь-то? Маму вспомнил? Переверни портянки сухим концом!

Борис стягивал валенки, вытряхивал и выбирал из них горстями снег, а в голове его само собой повторялось и повторялось: «Больную птицу и в стае клюют. Больную птицу...»

От хутора к местечку тянулись колонны пленных. В кюветах, запорошенных снегом, валялись убитые кони и люди. Кюветы забиты барахлом, мясом и железом. За хутором, в полях и возле дороги скопища распотрошенных танков, скелеты машин. Всюду дымились кухни, уже налажены были прожарки: бочки из-под бензина, под которыми пластался огонь; в глухо закрытых бочках, на деревянном решетье прожаривалось белье, гимнастерки и штаны. Солдатня в валенках, в шапках и шинелях плясала вокруг костров. Так будет полчаса. Затем белье и гимнастерки — на себя, шинели, валенки и шапки — в бочку.

Миротворно постукивали движки. Буксовали машины. В полях темнели пятна сгоревших скирд соломы. Возле густого бора, вздымающегося по склону некрутого косо-лобка, стояли закрытые машины и палатки санрот. Здесь показывали кино на простыне, прикрепленной к стволам сосен. Лейтенант и старшина немного задержались, посмотрели, как развеселый парень Ангоша Рыбкин, напевая песни, запросто дурачил и побеждал затурканных, сутегливых врагов.

Зрители чистосердечно радовались успехам киношного вояки.

Сами они находились на совсем другой войне.

«Идем в крови и пламени, в пороховом дыму».

Скрипели и скрипели шаги по снегу. Тянулись и тянулись колонны пленных по дороге, отмеченной реденькими столбами с обрезью вислых проводов, втянутых в снег. Столбы либо уронены и унесены на дрова, либо в наклон, редко-редко где одиноким истуканчиком торчал сам по себе бойкий подбоченившийся столбик.

Старшину и Бориса согнали на обочину дороги «студебекеры». В машинах плотно, один к одному, сидели замотанные шарфами, подшлемниками, тряпьем пленные. Все с засунутыми в рукава руками, все согбенные, все одинаково бесцветные и немые.

— Ишь, — ругался Мохнаков, — фрицы на машинах, а мы пешком! Хоть дома, хоть в плену, хоть бы на том свете...

— Часы-то взял?

— Не, выбросил.

Вечер медленно спускался. Синь проступала по оврагам; жилистой сделалась белая земля. Тени от одиноких столбов длинно легли на поля, под деревьями загустели. Даже в кювете настоялась синь. Ходили саперы со щупами и тоже таскали за собой тени — синие, бесплотные. Поля — в танковых и машинных следах, будто перепоясанные ремнями. Снег из края в край искрился. Радио по лесу слышалось. Тихими сумерками накрывало израненную, безропотную землю.

Хозяйки дома не было. Солдаты все уже спали на полу. Дневалил Пафнутьев. Морда у него подозрительно покраснелась. Ушлые глазки сияли возбужденно и лучезарно. Ему хотелось беседовать и даже петь, но Борис приказал Пафнутьеву ложиться спать, а сам примостился у припечка, да так и сидел, весь остывший изнутри, на последнем пределе усталости, время от времени облизывая губы, шершавые, что еловая шишка. Ни двигаться, ни думать не хотелось, только согреться и забыть обо всем на свете. Жалким, одиноким почему-то казался себе Борис и рад был, что его сейчас не видят: старшина снова остался ночевать в другой избе, хозяйка по делам, видать, куда-то ушла. Кто она? И какие у нее дела могут быть, у этой одинокой, нездешней женщины.

Дрема накатывает, костенит холодом тело взвального. Чувство гнетущего, нелегкого покоя наваливается на него.

Непознающая, еще вялая мысль о смерти начинает червяком шевелиться в голове и не пугает, наоборот, как бы пробуждает любопытство внезапной простотой своей — вот так бы заснуть в безвестном местечке, в чьей-то безвестной хате и от всего отрешиться. Разом, незаметно и навсегда...

Было бы так хорошо... разом и навсегда.

А дальше пошло-поехало, полусон, полубред, он и сам понимал всю его нелепость, но очнуться, отогнать от себя это липкое, полубредовое состояние не мог, не было сил.

Видалась ему в ломаном, искрошенном бурьяне черная баня, до оконца вросшая в землю, и он даже усмехнулся, вспомнив сибирскую поговорку: «Богатому богатство снится, а шшивому баня...»

Вот баня оказалась на льду, под ней таяло, и она лепехой плавала в навозной жиже, соря черной сажой и фукая пламенем в трубу. Из бани, через подтай — мостки, неизвестно куда проложенные. По мосткам, зажав веник под мышкой, опасно пробирался тощий человек. Борис узнал себя. В бане докрасна раскаленная каменка, клокочет вода в бочке, пар, жара, а на стенах бани куржак. Человек уже не Борис, другой какой-то человек, клацая зубами, рвет на себе одежду и, подпрыгивая, орет: «Идем в крови и пламени...» — пуговицы булькаются в шайку с водой. Человек хлещет прямо из шайки на огненно горячую каменку. Взрыв! Человек ржет, хохочет и пляшет голыми ногами на льду, держа на черной ладони сверкающие часики, в другой руке у него веник, и он хлещет себя, хлещет, завывая: «О-о-ох война-а-ааа! Ох война-а-ааа!» Весь он черный делается, но голова белая, вроде бы в мыльной пене, но это не пена, куржак это. Человек рвет волосы на голове, они не рвутся, а ломаются мерзло, сыплются, сыплются. Человек выскочил из бани — мостки унесло. Прислонив руку к уху, человек слушает часы и бредет от бани все глубже, дальше не по воде, по чему-то черному, густому. Кровь это, прибоем, валом накатывающая кровь. Человек бросает часики в красные волны и начинает плескаться, ворохами бросает на себя кровь, дико гогоча, ныряет в нее, плывет вразмашку, голова его чем дальше, тем чернее...

Никогда, наверное, ни один человек не радовался так своему пробуждению, как Борис обрадовался ему. Впрочем, было это не пробуждение, а какой-то выброс из чудовищного помутнения разума. Казалось, еще маленько,

чуть-чуть еще продлись этот кошмар, и сердце его, голова, душа его или то, что зовется душой, не выдержат, взорвут и разорвутся в нем, разнесут в клочья всю его плоть, все, в чем помещается эта самая человеческая душа.

«Во, довоевался! Во налюбовался видами войны!» — тихая, раздавленная зашевелилась первая мыслишка в голове Бориса после того, как он, чуть не упавши с припечка, очнулся и для начала ощупал себя, чтобы удостовериться, что он это, он, жив пока, все свое при нем, разопрел он и утрелся возле печки, растрескавшейся от перегрева.

Воинство спит, Шкалик бредит, Ланцов рукой по солоте водит — выступает, речь говорит, философствует. Пафнугьев допился-таки на дармовщинку до полных кондиций и как хрястнулся со скамьи под стол, так там между ножек и заснул, высунув наружу голову, как петух из курятника.

«Что это я? Что за блажь? Что за дурь в голову лезет? Так ведь и спятить можно. Люди как люди, живут, воюют, спят, врага добивают, победу добивают, о доме мечтают, а я? «Книжков начитался!» Правильно, Пафнугьев, правильно, ни к чему книжки читать, да и писать тоже. Без них убивать легче, жить проще!..»

Придерживаясь за стены, ощупью Борис пробрался в маленькую комнатку. Не открывая глаз, разделся, побросал амуницию куда-то во тьму, упал на низкую кровать.

Никакие потрясения не могли еще отнять стремления молодого тела к отдыху и восполнению сил.

И снова виделся ему сон, снова длинный, снова нелепый, но этот начинался хорошо, плавно, и, узнавая этот сон-воспоминание, лейтенант охотно ему отдался, смотрел, будто кино в школьном клубе: земля, залитая водою, без волн, без трещин и даже без ряби. Чистая-чистая вода, над нею чистое-чистое небо. И небо и вода оплеснуты солнцем. По воде идет паровоз, тянет вагоны, целый состав, след, расходясь на стороны, растворяется вдали. Море без конца и края, небо, неизвестно где сливающееся с морем. И нет конца свету. И нет ничего на свете. Все утопло, покрылось толщей воды.

Паровоз вот-вот ухнет в глубину, зашипит головешкою, и корбочки вагонов ссыплются туда же вместе с

людьми, с печами, с нарами и с солдатскими пожитками. Вода сомкнется, покроет гладью то место, где шел состав. И тогда мир этот, залитый солнцем, вовсе успокоится, будет вода, небо, солнце и ничего больше! Зыбкий мир, без земли, без леса, без травы. Хочется подняться и лететь, лететь к какому-нибудь берегу, к какой-нибудь жизни.

Но тело приросло к чему-то, вкоренилось. Ощущением безнадежности, пустоты наполнилось все вокруг. Усталые птицы, изнемогая в непрерывном полете, падали на крыши вагонов, громко бухали крыльями по железу. Их закруживало, бросало в двери, они шарахались по вагону.

И опять тот же человек из бани, нагой, узластый, явился, начал махать веником, гоняться за птицами, сшибать их веником, свертывал им головы, бросал их под нары. Птицы предсмертно там бились, хрипло крича: «Хильфе! Хильфе!» Лейтенант хватал человека за руки, пробовал отобрать у него веник. «Жрать чего-то надо?! — отбивался от него, отмахивал его веником человек. — Приварок сам в руки валит!» А птицы все хрипели: «Хильфе! Хильфе!» Выскальзывая из вагона, они беззвучно хлопали крыльями по воде. Были они все безголовые, игрушечно кружились на одном месте, из черенков шей ключом била кровь, и снова волны крови заплескались вокруг. И паровоз уже шел не по воде, а по густой крови, по которой вразмашку плыл человек, догоняя безголовую утку, он ее хватал, хватал ртом, зубами и никак не мог ухватить...

Сон крутился на одном месте. Жутко, невыносимо было. Борис занес ногу над пустотой, чтобы выпрыгнуть из бешено мчавшегося вагона, чтобы не видеть, избавиться от этой жути, и замер, почувствовав на себе пристальный взгляд.

Он вздрогнул, схватился за кровать и привстал, поднятый этим взглядом.

Рядом стояла Люся.

— У вас горел свет, — заговорила она поспешно. — Я думала, вы не спите... Я выстирала верхнее. Белье бы еще постирать...

Он еще не вышел из сна, ничего не понимал. Когда он ложился спать, света не было.

— Я думала, вы... — снова начала Люся и остановилась в замешательстве. Долго стояла она над ним, склонившись, смотрела, смотрела на него и досмотрелась.

Быстро, быстро, мешая русские слова с украинскими, чтобы не дать себе остановиться, она продолжала: как хорошо, что пришли ночевать те же военные. Она уже привыкла к ним. Жалко вот, не смогла их снова уговорить пойти в чистую половину. На кухне устроились... А на улице морозно... А солдаты где-то раздобыли сухих дров.

Сегодня они неразговорчивые, сразу спать легли, и выпивал только один пожарник-кум...

— Какой я сон видел!

Нет, он ее не слышал, не отошел еще ото сна, говорил он сам с собою или за кого-то ее принимал.

— Страшный, да? Других снов сейчас не бывает... — Люся поникла головой. — Я думала, вы больше не придете...

— Почему же?

— Я думала, вдруг вас убьют... Стрельба такая была...

— Это разве стрельба? — отозвался он, протер глаза тыльной стороной руки и внезапно увидел ее совсем близко. В разрезе халата начинался исток груди. Живой ручеек катился стремительно вниз и делался потоком. Далеко где-то, оттененное округлостями, таинственно мерцало ясное женское тело. Оттуда ударяло жаром. А рядом было ее лицо, с вытянутыми, смятенно бегающими глазами. Борис слышал, слышал — кисточки кукольно-загнутых ресниц щекочат кожу на его щеке. Сердце взводного начало колотиться, укатываться под гору. Приглушая разрастающееся в груди стучание, все ускоряющий бег, он сглотнул слюну.

— Какая... ночь... тихая... — И минуту спустя уже ровнее: — Снилось, как мы по Барабинской степи на войну ехали... Степь, рельсы — все под разливом. Весна была. Жутко так... — Он чувствовал: надо говорить, говорить, говорить и не смотреть больше туда. Нехорошо это, стыдно. Человек забылся, а он уж и заподглядывал, задрожал весь! — Какая ночь... глупый сон... какая ночь... тихая... — Голос его пересох, ломался, все в нем ломалось: дыхание, тело, рассудок.

— Война... — тоже с усилием выдохнула Люся. Что-то замкнуло и в ней. Слабым движением руки она показала — война откатилась, ушла дальше.

Глаза плохо видели ее, все мутилось, скользило и укатывалось куда-то на стучащих колесах. Женщина качалась безликой тенью в жарком, все сгущающемся пале, который клубится вокруг, испепеляя воздух в комнате,

сознание, тело... Дышать нечем. Все вещее в нем сгорело. Одна всесильная власть осталась, и, подавленный ею, он совсем беззащитно пролепетал:

— Мне... хорошо... здесь... — и, думая, что она не поймет его, раздавленный постыдностью намека, он показал рукой: ему хорошо здесь, в этом доме, в этой постели.

— Я рада... — донеслось издали, и он, так же издали слыша себя, откликнулся:

— Я тоже... рад... — И, не владея уже собой, сопротивляясь и слабея от этого сопротивления еще больше, протянул к ней руку, чтобы поблагодарить за ласку, за уют, удостовериться, что эта, задернутая жарким туманом тень, качающаяся в мерклом, как бы бредовом свету, есть та, у которой стремительно катится вниз исток груди, и кружит он кровь, гремящее набатом сердце под ослепительно мерцающим загадочным телом. Женщина! Так вот что такое женщина! Что же это она с ним сделала? Сорвала, словно лист с дерева, закружила, закружила и понесла, понесла над землю — нет в нем веса, нет под ним тверди...

Ничего нет. И не было. Есть только она, женщина, которой он принадлежит весь до последней кровинки, до остатного вздоха, и ничего уж с этим поделать никто не сможет! Это всего сильнее на свете!

Далеко-далеко, где-то в пространстве, он нащупал ее руку и почувствовал пупырышки под пальцами, каждую, даже невидимую глазом пушинку тела почувствовал, будто бы не было или не стало на его пальцах кожи и он прикоснулся голым нервом к ее руке. Дыхание в нем во все пресеклось. Сердце зашло в яростном бое. В совсем уж бредовую темень, в совсем горячий, испепеляющий огненный вал опрокинуло взводного.

Дальше он ничего не помнил.

Обжигающий просверк света ударил его по глазам, он загнанно упал лицом в подушку.

Не сразу он осознал себя, не вдруг воспринял ослепительно яркий свет лампочки. Но женщину, прикрывшую рукой лицо, увидел отчетливо и в страхе сжался. Ему так захотелось провалиться сквозь землю, сдохнуть или убежать к солдатам на кухню, что он даже тихо простонал.

Что было, случилось минуты назад! Забыть бы все, сделать бы так, будто ничего не было, тогда бы уж он не посмел обижать женщину разными глупостями — без них вполне можно обойтись, не нужны они совершенно...

«Так вот оно как! И зачем это?» — Борис закусил до боли губу, ощущая, как отходит загнанное сердце и выравнивается разорванное дыхание. Никакого такого наслаждения он как будто и не испытал, помнил лишь, что женщина в объятиях почему-то кажется маленькой, и от этого еще больше страшно и стыдно.

Так думал взводный и в то же время с изумлением ощущал, как давно копившийся в теле, навязчивый, всегдашний груз сваливается с него, тело как бы высветляется и торжествует, познав плотскую радость.

«Скотина! Животное!» — ругал себя лейтенант, но ругань вовсе отдельно существовала от него. В уме — стыд, смятение, а в тело льется благодать, сонное успокоение.

— Вот и помогла я фронту.

Борис покорно ждал, как после этих, внятно уроненных слов женщина вlepит ему пощечину, будет рыдать, кататься по постели и рвать на себе волосы. Но она лежала мертво, недвижно, от переносицы к губе ее катилась слеза.

На него обрушились неведомые доселе слабость и вина. Не знал он, как облегчить страдание женщины, которое так вот грубо, воспользовавшись ее кротостью, причинил он ей. А она хлопотала о нем, кормила, поила, помыгься дала, с портянками его вонючими возилась. И, глядя в стену, Борис повинился тем признанием, какое всем мужчинам почему-то кажется постыдным.

— У меня... первый раз это... — И, подождав немного, совсем уж тихо: — Простите, если можете.

Люся не отзывалась, ждала как будто от него еще слов или привыкала к нему, к его дыханию, запаху и теплу. Для нее он был теперь не отдаленный и чужой человек. Раздавленный стыдом и виною, которая была ей особенно приятна, он пробуждал женскую привязанность и всепрощение. Люся убрала щепотью слезу, повернулась к нему, сказала печально и просто:

— Я знаю, Боря... — И с проскользнувшей усмешкой добавила: — Без фокусов да без слез наш брат как без хлеба... — Легонько дотронулась до него, ободряя и успокаивая: — Выключи свет. — В тоне ее как бы проскользнул украдчивый намек.

Все еще не веря, что не постигнет его кара за содеянное, он послушно встал, прихватив одеяло и заплетаясь в нем, прошлепал к табуретке, поднялся, повернул лампочку, потом стоял в темноте, не зная, как теперь быть. Она

его не звала и не шевелилась. Борис поправил на себе одеяло, покашлял и мешковато присел на краешек кровати.

Над домом протрещал ночной самолетик, окно процертило зеленым пятнышком. Низко прошел самолетик — не боится, летает.

За маленьким самолетиком тащились тяжелые, транспортные, с полным грузом бомб. А может, раненых возили. Одышливо, трудно, будто лошадиное сердце на подъеме, работали моторы самолетов, «везу-везу» — выговаривали.

Синеватый, рассеянный дальностью луч запорошился в окне, и сразу, как нарисованная, возникла криволапая яблоня на стеклах, в комнате сделалось видно этажерку, белое что-то скомканное на стуле, и темные глаза прямо и укорно глядящие на взводного. «Что же ты?»

Нет, уйти к солдатам на кухню нельзя. А как хотелось ему сбежать, скрыться, однако вина перед нею удерживала его здесь, требовала раскаянья, каких-то слов.

— Ложись, — обиженно и угнетенно, как ему показалось, произнесла Люся. — Ногам от пола холодно.

Он почувствовал, что ногам и в самом деле холодно, опять послушно, стараясь не коснуться женщины, пополз к стене и уже собрался вымучить из себя что-то, как услышал:

— Повернись ко мне...

Она не возненавидела его, и нет в ее голосе боли, и раскаянья нет. Далеко и умело упрятанная нежность как будто пробивалась в ее голосе.

«Как же это?..» — смятенно думал Борис. Стараясь не дотрагиваться до женщины, он медленно повернулся и скорее спрятал руки, притаился за подушкой, точно за бруствером окопа, считая, что надо лежать как можно тише, дышать неслышно, и тогда его, может быть, не заметят.

— Какой ты еще... — услышал Борис, и его насквозь прохватило жаром — она придвигается к нему. Люся подула Борису в ухо, потрепала пальцем это же ухо и, уткнувшись лицом в шею, попросила: — Разреши мне тут, — точно показывала Люся рубец на шее, — разреши поцеловать тут, — и словно боясь, что он откажет, припала губами к неровно заросшей ране. — Я дура?

— Нет, почему же? — не сразу нашелся он и понял, как глупо вышло. Рубец раны, казалось ему, неприятен

для губ, и вообще блажь это какая-то. Но уступать надо — виноват он кругом. — Если хочешь... — обмирая, начал лейтенант. — Можно... еще...

Она тронула губами его ключицу, губами же нашла рубец и прикоснулась к старой ране еще раз, еле ощути-мо, трепетно.

Дыхание у Бориса вновь пресеклось. Кровь прилила к вискам, надавила на уши и усилила все еще не унявшийся шум. Горячий туман снова начал наплывать, захлесты-вать разумение, звуки, слух, глаза, а шелест слов обезору-живал его, ввергая в глухую пустоту.

— Мальчик ты мой... Кровушка твоя лилась, а меня не было рядом... Милый мой мальчик... Бедный мальчик... — Она целовала его вдруг занывшую рану. Удивительно было, что слова ее не казались глупыми и смешными, хотя ка-кой-то частицей сознания он понимал, что они глупы и смешны.

Преодолевая скованность, захлестнутый ответной не-жностью, Борис неуверенно тронул рукой ее волосы — она когда-то успела расплести косу, зарылся в них лицом и ошеломленно спросил:

— Что это?

— Я не знаю. — Люся блуждала губами по лицу Бори-са, нашла его губы и уже невнятно, как бы проваливаясь куда-то, повторила: — Я не знаю...

Горячее срывающееся дыхание ее отдавалось неровны-ми толчками в нем, неожиданно для себя он припал к ее уху и сказал слово, которое пришло само собой из его расслабленного, отдалившегося рассудка:

— Милая...

Он почти простонал это слово и почувствовал, как оно, это слово, током ударило женщину и тут же размягчило ее, сделало совсем близкой, готовой быть им самим, и, уже сам готовый быть ею, он отрешенно и счастливо вы-дохнул:

— Моя...

Снова было тихо и неловко. Но они уже не отстраня-лись друг от друга, тела их, только что перегруженные тяжестью раскаленного металла, остывали, успокаивались.

Наступило короткое забытье, но они помнили один о другом в этом забытии и скоро проснулись.

— Я всю жизнь, с семи лет, может, даже и раньше, любила вот такого худенького мальчика и всю жизнь ждала

его, — ласкаясь к нему, говорила Люся складно, будто по книжке. — И вот он пришел!

Люся уверяла, что она не знала мужчины до него, что ей бывало только противно. И сама уже верила в это. И он верил ей. Она клялась, что будет помнить его всю жизнь. И он отвечал ей тем же. Он уверял ее и себя, что из всех, когда-либо слышанных женских имен, ему было памятно лишь одно, какое-то цветочное, какое-то китайское или японское имя — Люся. Он тоже мальчишкой, да что там мальчишкой, совсем клопом, с семи лет, точно, с семи, слышал это имя и видел, точно, видел, много раз Люсю во сне, называл ее своей милой.

— Повтори, еще повтори!

Он целовал ее соленое от слез лицо:

— Милая! Милая! Моя! Моя!

— Господи! — отпрянув, воскликнула Люся. — Умереть бы сейчас!

И в нем сразу что-то оборвалось. В памяти отчетливо возникли старик и старуха, седой генерал на снопах кукурузы, обгоревший водитель «катюши», убитые лошади, одичалая собака, раздавленные танками люди — мертвецы, мертвецы.

— Что с тобой? Ты устал? Или?.. — Люся поднялась на локте и пораженно уставилась на него: — Или ты... смерти боишься?

— На смерть, как на солнце, во все глаза не поглядишь... — слышал я. Беда не в этом, — тихо отозвался Борис и, отвернувшись, как бы сам с собою заговорил: — Страшнее привыкнуть к смерти, примириться с нею... Страшно, когда само слово «смерть» делается обиходным, как слова: есть, пить, спать, любить... — Он хотел еще что-то добавить, но сдержал себя.

— Ты устал. Отдохни. Отдохни. — Люся не могла поймать его взгляд. Он отводил глаза. Тогда она легла щекой на его грудь. — Ох, как сердчишко-то! — и придавила ладонью то место, где сердце. — Тихонько, тихонько, тихонько... Вот та-ак, вот та-ак...

— Не надо говорить больше о смерти.

Люся отдернула руку, потеряла ладонью висок и повинулась:

— Прости... Я забыла про войну.

Опять самолетик затрещал над хатою, чиркнул огоньком по стеклу и замолк вдали. Сделалось слышно улицу. Не спала улица.

За стеной хаты жили, шевелились войска. Донесло песню:

Сур-ровый голос раз-да-ет-ся:
«Кля-а-а-не-ем-ся-а зе-е-земляка-а-ам:
Па-ку-уда сер-ердце бье-о-о-отся,
Па-ща-ды нет врага-ам!»

Завыла машина. Свет фар закачался в окне, и зашевелилось деревце. Оно то прибивалось к окну, почти касаясь ветками стекла, то опадало в снеговую темень. На стеклах вспыхивали и гасли морозные искры, обостренно чувствовалось, как хорошо и тепло в избе. Загрохотал танк или трактор. Рывкнул, остановился, мотор забухал обузданно, на холостых оборотах.

— Взяли! Взяли! Взяли! — разнобойно покричали за окном, и голоса начали удаляться.

«К фронту. Фронт догоняют», — отметил Борис.

На кухне кто-то громко стал отплеиваться, сморкаться. «Карышев, — догадался лейтенант, — закаленный табакур. Он и ночами встает жечь махорку». Заскрипела, хлопнула дверь — вернулся Карышев с улицы, брякнул ковшом, выпил холодной воды, покашлял еще и стих.

Где-то за рекой, в оврагах, ударил взрыв, брякнуло гулко, будто по банному тазу, раскатился гул по морозной ночи, задрезало окно, с деревца порхнул снежок, на кухне вскрикнул Шкалик и замычал, успокаиваясь.

— Еще чьей-то жизни не стало... — послушав, не повторится ли взрыв, проговорил Борис.

Люся прикрыла ладонью его рот, и так они лежали, вслушиваясь в ночь. Борис признательно тронул губами ее ладонь, пахнущую щелоком и мылом, простым мылом. И такой доступный, домашний запах, вошедший в него с детства, что-то стронул в нем. Досадуя на самого себя за возникшее отчуждение, он опять по-ребячьи зарылся в ее волосы и с удивлением вспомнил, что брезговал когда-то волосами, оставленными на гребешке. И, смешно вспомнить, еще брезговал споротыми пуговицами.

— Я думала, ты на меня сердишься, — чутко откликнулась Люся на ласку и обняла его за шею уже уверенно. — Не надо сердиться. Нет у нас на это времени...

В какой-то миг они потеряли стыдливость. Жарко дышали раскрытые губы Люси, грешно темнели гнездышки грудей, опали, спутались вокруг шеи ее длинные волосы. Опустошенная, она устало ткнулась лицом в его плечо и, задремывая, говорила:

— Ты все-таки уснул бы, уснул бы...

«Не спи. Побудь еще со мной! Не спи!..» — слышалось ему, и, чтобы угодить ей, а угождать ей было приятно, он просунул руку под ее голову, заговорил:

— Ты знаешь, когда я был маленький, мы ездили с мамой в Москву. Помню я только старый дом на Арбате и старую тетюшку. Она уверяла, что каменный пол в этом доме, из рыжих и белых плиток выложенный, сохранился еще от пожара при Наполеоне, который был... — Он прервался, думая, что Люся уснула, но она тряхнула головой, давая понять, что слушает. — Еще я помню театр с колоннами и музыку. Знаешь, музыка была сиреневая... Простенькая такая, понятная и сиреневая... Я почему-то слышал сейчас ту музыку, и как танцевали двое — он и она, пастух и пастушка. Они любили друг друга, не стыдились любви и не боялись за нее. В доверчивости они были беззащитны. Беззащитные недоступны злу — казалось мне прежде...

Люся слушала, боясьдохнуть, знала она, что никому и никогда он этого не расскажет, не сможет рассказать, потому что ночь такая уже не повторится.

— И ты знаешь, — усмехнулся Борис, и Люся обрадовалась, что он все-таки помнит о ней, — знаешь, с тех пор я начал чего-то ждать. Раньше бы это порчей назвали, бесовским наваждением. — Он прервался, вздохнул, как бы осуждая себя. — Видишь вот...

— Мы рождены друг для друга, как писалось в старинных романах, — не сразу отозвалась Люся. — Если тебе хочется, я расскажу о себе. Потом. А сейчас мне хорошо. Я слышу твою музыку. Между прочим, я училась в музыкальном училище. Да-да. — Она тронула пальцем удивленно открывшийся рот Бориса. — Я уж и сама этому мало верю. Да и какое это имеет значение, — дремотно приваливаясь к нему, тихо вздохнула она. — Я слышу тебя...

Уходила куда-то старая дорога, заросшая травой, и на ней два путника — он и она. Бесконечной была дорога, далекими были путники, чуть слышна, почти невнятна, сиреневая музыка...

Борис вскинулся, сел, стиснул руками лоб.

— Я, кажется, опять заснул?

— Ты так забился, так забился... Тебе опять снилась война?

Обрадованный тем, что он опять смог пересилить себя, отогнать сон, что рядом живой, бесконечно уже дорогой ему человек, Борис притиснул ее настывшее тело к себе.

— У меня голова кружится...

— Я принесу тебе поесть и выпить. Ты ведь вечером не ел.

— Откуда ты знаешь? Тебя и дома не было.

— Я все знаю. Вот поешь и отдохай.

— Наотдыхаюсь еще. Без тебя. А поесть не помешало бы. Никого не разбудим?

— Не-е. Я сторожкая! — Люся лукаво улыбнулась, погрозила ему пальцем: — Не смотри на меня! — Но он смотрел на нее, и она взяла обеими руками его голову, отвернула лицом к стене. — Не смотри, говорю!

Они дурачились, позабыв о том, что шуметь-то особенно и не надо бы.

— У-у, какой! Нельзя так! Я тоже проголодалась, — попрекнула она его и, схватив халат, выскользнула и зашуршала за дверью одеждой.

— Эй, человек!

— Борька, не балуй! — просунула она лицо меж занавесок, и было в ее быстрых, совсем уж приблизившихся черных глазах столько всего, что Борис не выдержал, ринулся к ней, но она сомкнула перед ним занавески и, когда он ткнулся лицом в ее лицо сквозь жесткую занавеску, выпалила:

— Я тебя люблю!

Мальчишество напало на него. Он ударил в подушку кулаком, подбросил ее, упал на подушку грудью, будто на теплую еще птицу, и увидел на простыне, точно в гипсе, слепок ее тела.

Он осторожно дотронулся до простыни.

Под ладонью была пустота.

Люся объявилась в дверях с посудиною, с хлебом, с картошкой, хотела сказать, что, слава Богу, кум-пожарник не всю самогонку выдул, и замерла, увидев растерянность на лице Бориса. Он будто не узнавал ее, нет, узнавал, но видел как бы уже со стороны.

— Ты что?

К глазам его подкатывали слезы, лицо страдальчески заострилось.

— Я здесь! — тронула она его.

Он передернулся, до хруста сжал ее руку.

Люся рывком притиснула его к себе и тут же оттолкнула, принялась налаживать еду. Они молча пили самогонку из одной кружки, выпив, всякий раз целовались. Молча же закусывали картошкой и салом. Он чистил картошку для нее, она для него.

Поели, стало нечего делать, не о чем уж вроде говорить. Молча смотрели они перед собой в пустоту идущей на убыль ночи. Борис виновато погладил ее руку. Люся признательно сжала его пальцы, тогда он диковато схватил ее, прижал к кровати:

— Смерти или живота?!

— Ах, какой ты! — прикрыла она завлажневшие глаза.

— Дурной?

— Псих! И я псих... Кругом психи...

— Просто я пьяный, но не псих.

— Нельзя так много, — увернулась Люся от его рук.

— Можно! — заявил он, дрожа от вымученной настойчивости.

— Ты слушайся меня. Мне уж двадцать первый год!

— Поду-умаешь! Мне самому двадцатый!

— Вот видишь, я старше тебя на сто лет! — Люся осторожно, как ребенка, уложила его на подушку. — А времени-то третий час!..

Кто-то из солдат опять зашевелился на кухне, пошел, запнулся за корыто, выругался хрипло. И они опять, притихнув, переждали тревогу. От окна падал рассеянный полумрак, высветляя плечи Люси, пробегая искристыми светляками по стеклу, взблескивая снежно в ее волосах. Накаленно светились ядрышки ее зрачков. Под ресницами, под маленьким, круто вздернутым подбородком притемнилось. Уже предчувствуя утро и разлуку, прижавшись друг к другу, сидели они. И ничего им больше не хотелось: ни говорить, ни думать, только сидеть так вот вдвоем в полудрежном забытии и чувствовать друг друга откровенными, живыми телами, испытывая неведомое блаженство, от которого душа делалась податливой, мягкой, плюшевой делалась душа.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ



ПРОЩАНИЕ

•

Горькие слезы застлали мой взор,
Хмурое утро крадетя, как вор,
ночи вослед.
Проклято будь наступление дня!
Время уводит тебя и меня в серый
рассвет.

Из лирики вагантов

Окно засветилось, и комната стала наливатья красным светом. Одноголосо зарыдала соседская дворняга в переулке, морозно дребезжа, звякнул колокол. Яблонька за окном начала дергаться, шевелиться, приближаясь к окну. Все в комнате сделалось живое, задвигалось тенями, замельтешили кресты от рам на полу и на стене.

Люся больно вцепилась ногтями в Бориса. Он прижал ее к себе. «Ну что ты, что ты, маленькая! Не бойся...» Бояться нечего, — опасность лейтенант сразу бы почувствовал — нюх у него вышколен войною.

По ту сторону узких топольков, стеной стоявших за огородом в проулке, ярко, весело горела хата, заваливаясь шапкой крыши набок, соря ошметками пламени по огороду.

«Высушили славяне портянки!» — подумал Борис почему-то весело — уж очень резво пластала хата. Борис знал, что в хатах этих матица — она и дымоход. Пока топят соломой — ничего, но как запалят дрова или скамейки да еще и бензинчику плеснут солдаты — ни жилья тогда, ни портянок.

— Полицая жарят! — глухо произнесла Люся и стала кутаться в одеяло, кинутое на плечи. — Шкура продажная! Так ему и... На пересылке служил, на подхвате у фашистов. Наших людей, как утильсырьье, там сортировал: кого в Германию, кого в Криворожье — на рудники, кого куда...

Голос Люси дрожал. Блики метались по лицу ее и по груди. Лицо делалось то бледным, то серело, заваливаясь

в тень, и лишь глаза, зачерненные ресницами, светились накаленно и злобно.

— Как заняли местечко фашисты, на постой к нам определился фриц один. Барственный такой. С собакой в Россию пожаловал. На собаке ошейник позолоченный. Лягуха и лягуха собака — скользкая, пучеглазая... Фашист этот культурный приводил с пересылки девушек — упитанных выбирал... съедобных! Что он с ними делал! Что делал! Все показывал им какую-то парижскую любовь. Одна девушка выпорола глаз вальяжному фрицу, за парижскую-то любовь... Один только успела. Собака загрызла девушку... — Люся сдавила лицо руками и так его сдавила, что из-под пальцев покатились бледность, — на чело века, видать, притравленная... Перекусила ей горло разом, как птичке, облизнулась и легла к окну... там!.. Там!.. — показывала Люся одной рукой, другой все сжимала глаза. Чувствуя, как холодеют у него спина и темя, понимая, что Люся видит что-то страшное, Борис приглушенно спросил:

— На твоих глазах?!

Она тряхнула головой раз-другой, видно, не могла уже остановиться, все трясла, трясла головой, закатившись в сухих рыданиях.

Он притиснул ее к себе и не отпускал до тех пор, пока она не успокоилась. «Бить! Бить так, чтобы зубы крошились! Правильно, Филькин, правильно!» — вспомнив командира роты, утренний бой, овраги, Борис вспомнил и собаку с дорогим ошейником, рвущую убитого коня: «Она! Надо было пристрелить...»

— Поймали его партизаны. — По зловещей и какой-то мстительной улыбке Люси Борис заключил — не без ее участия. — Повесили на сосне. Собака его выла в лесу... Грызла ноги хозяина... До колен съела... Дальше допрыгнуть не могла. Подалась к фронту. Там есть чем питаться... А вражина безногий висит в темном бору, стучит скелетом, как кашей злобный, и, пока не вымрет наше поколение, — все будет слышно его...

Собака в переулке уже не рыдала, хрипела, задохшись на привязи, и больше никаких голосов не слышалось, и колокол не звонил.

— Всех бы их, гадов! — стиснув зубы, процедила Люся. — Всех бы подчистую...

Борис не узнавал в ней ту женщину, восторженную и преданную в страсти своей, что пришла к нему в далекий-

далекий вечерний час. Он отвел ее обратно на кровать, укрыл одеялом и, успокаивая, приложил ладонь к гладкому, покатоному лбу. Она притихла под его рукою, и спустя время ознобная дрожь перестала сотрясать ее.

— Боря, расскажи мне об отце и матери. Кто они у тебя? — попросила Люся.

— Учителя, — не сразу, но охотно отозвался Борис. — Отец — завуч теперь, мать преподает русский и литературу. Школа наша в бывшей гимназии. Мама училась в ней еще как в гимназии. — Он прервался, и Люся женским чутком, особенно обострившимся в эту ночь, уловила, как он снова отдаляется от нее. — Когда-то в наш городок был сослан декабрист Фонвизин. С его жены, генеральши Фонвизиной Пушкин будто бы свою Татьяну писал. Мама там десятая или двенадцатая вода на киселе, но все равно гордится своим происхождением. Я, идиот, не запомнил родословную мамы. — Он улыбнулся чему-то своему, закинув руки за голову, глядя в какую-то свою даль. — Улицы, переулки в нашем деревянном городке зарастают всякой разной топтун-травой. Набережная есть. Бурьян меж бревен растет, птички в щелях гнезда выют. Весной на утре медуница цветет, летом — сорочья лапка и богородская травка и березы растут старые-старые. А церквей!.. Золотишники-чалдоны ушлые были: пограбят, пограбят, потом каждый на свои средства — храм! И все грехи искуплены! Простодушные все-таки люди! Ну а теперь в церквях гаражи, пекарни, мастерские. По церквам кусты пошли, галки да стрижи в колокольнях живут. Как вылетят стрижи перед грозой — все небо в крестиках! И крику!.. Крику!.. Ты не спишь?

— Что ты, что ты?! — ворохнулась Люся. — Скажи... мама твоя косы носит?

— Косы? При чем тут косы? — не понял Борис. — У нее челка. Косы у молодой были. Я у них поздныш, вроде бы как сын и внук сразу... — Он поправил подушку, навалился на нее грудью.

Воспоминания далекие, безмятежные. Они приклеили к сердцу, растворились в крови, жили в нем, волнуя и утешая его, были им самим. А разве себя перескажешь?

Вот он слышит, как пахнет утро в родном городишке.

Росами и туманами — холодными, травянистыми пахли летние утра. Под завалившимся срубом набережной скапливался туман, конопатил щели меж бревен, заячьими шапками надевался на купола церквей, на прибреж-

ные будки и бани, на рекламные тумбы, на кусты. От реки шел запах прелой коры, днем туманы пахли убитым лесом. Коренная вода подбиралась к дамбе, вымывала изпод срубов землю, отрывала гнилые сутунки.

Когда река укатывалась в берега, под дамбой оказывалось столько таинственного добра: бутылочных стекол, черепушек, озеленелых от плесени монет, костей, медных крестиков. В лужах под дамбой бедовала прозевавшая отход реки рыба мелочь. Вороны прыгали вдоль распертой землею дамбы, хищно совали головы под бревна и заглатывали рыбешек с жадным клетотом.

Ребятишки били ворон камнями, вытаскивали рыбешек из луж, засоренных гнильем. Рыбешки измученно бились в теплых руках, лезли меж пальцев. Отпущенные, лежали они поверх воды, пошептывая судорожными ртами, и, пьяно качаясь, уходили ненадолго в глубину. Но их, как сухие ивовые листья, выталкивало наверх. Набравшись сил, с уже осознанным страхом, малявки шильцами втыкались вглубь, припадая ко дну, высматривая корм и клубящуюся в воде родную стайку.

Осенью к дамбе скатывали бочки, торцами прислоняли их к стене, туманы в эту пору да и весь городишко пахли рыбой, плесенью мхов, вянущей огородиной. Штабеля бочек поленицами росли выше и выше, пароходов, баржей приставало все больше и больше обветренного, истосковавшегося народа — северных рыбаков, — людно и густо делалось. Играли гармошки на берегу, повизгивали за омулевыми и муксуньими бочками женщины, ребятишки подсматривали стыдное. Ночи делались шаткие, беспокойные, все в городе пело и гуляло, как при древних золотишниках, вернувшихся с фартом.

— Пареваны и девки любят у нас встречать пароходы. Каждый пассажирский. Парят себя ветками — комары и мошки заедают, — улыбаясь, заговорил Борис, и Люся догадалась, что перед ним прошли какие-то лишь ему известные картины, и он продолжал их видеть отдаленно от нее.

Она отодвинулась, но Борис даже не заметил этого, он все так же глядел куда-то, блаженненько улыбаясь.

— Гонобобелью — это у нас голубику-пьянику так называют, или черницей, или орехами кедровыми потчуют девок пареваны. Рты у всех черные. Городишко засыпан ореховой скорлупой... Да что про комаров да про ягоды?!

— спохватился Борис. — Давай лучше мамины письма читаем.

Люся не без грусти отметила: он решился на это не сразу. Еще не привык свое делить пополам, время нужно, чтобы все у них стало одним: и жизнь, и душа, и мысли.

— Только тебе опять придется идти. Письма в сумке.

Она поднялась, ввернула лампочку и, зажмурившись от света, подумала, что он всю жизнь будет вот так посылать ее, и она не устанет быть у него на побегушках.

— Этому пузырьку-то вашему плохо. Со вчерашней гулянки все никак не отойдет. Мучается. Зачем такого мальчика поить? — выговаривала лейтенанту Люся, вернувшись с сумкой. — Ох, Борька! — Она погрозила ему пальцем. — Балованный ты!

— В самом деле? Это мама... Знаешь, — улыбнулся он, — папа меня в секцию бокса отдал, в лесокомбинатовский клуб. И мне там сразу нос расквасили. В секцию меня мама больше не пустила. Но папа везде с собой брал: на рыбалку, на охоту, орехи бить. Однако пить никогда не позволял. А этот, чердынский, дорвался...

Люся развела складки на его переносице, пальцем прошла по бровям, которые начинались тонко, и, взлетев к вискам, круто спадали вниз.

— Ты на маму похож?

Не понимая, какая приятность для женщины открывать мужчину — иногда на это занятие уходит вся жизнь, и считается, что это и было истинной любовью, он отбился сконфуженно:

— Не стоит заниматься моей персоной...

— Какой ты воспитанный мальчик! — толкнула его Люся. — Читай. Только я растянусь. Читай, читай! — Он заметил темные полукружья под ее глазами и пожалел женщину непривычной мужской жалостью.

— Утомилась?

— Читай, читай!

Писем накопилась целая пачка, мятых, пухлых, запачканных в сумке, захватанных руками. Борис выбрал одно, не самое толстое письмо, расправляя уголки, погладил бумагу, как во вспышке зарницы увидел мать с белым полушалком на покатых плечах, с желтой деревянной ручкой в припачканных чернилами пальцах, почудилось даже — услышал, как скрипит перо, вывязывая ровные строчки прилежно учившейся гимназистки.

«Родной мой!

Ты знаешь своего отца. Он притесняет меня, говорит, чтобы я часто тебе не писала — ты вынужден отвечать и станешь отрывать время от сна, а я не могу не писать тебе каждый день.

Вот проверила тетради и пишу. Отец чинит мережу на кухне и думает о тебе. Я-то читаю его, как ученическую тетрадку, и вижу каждую пропущенную запятую и эти вечные ошибки на «а» и «о». Отец твой переживает — был сдержан и сух с тобою, недолюбил, как ему кажется, недосказал чего-то. Он чинит мережу, думая, что ты вернешься к весне. Он до того изменился, что иногда называет меня «девочка моя». Так он называл меня еще в молодости, когда мы встречались. Смешно. Нам ведь и тогда уже было за тридцать...

Я писала тебе, как трудно нынче в школе. Удивляться только приходится, что в самые тяжелые дни войны школы не закрыты, и мы учим детей, готовим к будущему, значит, не теряем веры в него, в это будущее...

Боренька! Вот снова вечер. Письма от тебя и сегодня нет. Как ты там? У нас печка топится, чайник крышкой бренчит, отца сегодня нет. Он еще математику в вечерней школе ведет. Почему ты, Боренька, вскользь написал о том, что тебя наградили орденом? Даже не сообщил — каким? Ты же знаешь своего отца, его понятие о долге, чести, он был бы рад узнать, за что тебя наградили. Да и я тоже. Мы оба гордимся тобою.

Между прочим, отец твой рассказывал мне, как он тебя учил ходить в лодке с шестом. И увидела я тебя: в трусишках, худенького, с выступившими ребрами. Лодка большая, а ты бьешься в подпорожье, а отец ловит этих несчастных пескарей и видит, как тебя развернуло и понесло. Ты поднимался пять раз, и пять раз тебя сносило. У тебя вспотел нос (всегда у тебя потел нос). На шестой раз ты все же одолел преграду и с ликованием: «Папа! Я лодку привел!» А он: «Ну что ж, хорошо! Привяжи ее к камню и начинай удить пескарей — надо к вечеру успеть наживить перемет».

Что за комиссия, создатель, — быть ребенком педагогов! Вечно они дают ему уроки. И вырастают у них, как правило, оболтусы (ты — исключение, не куксись, пожалуйста!). Беда с твоим отцом. Как он переживал, когда в армии ввели погоны! Мы, говорит, срывали погоны, — детям нашим их навесили! А я потихоньку радовалась, когда погоны ввели. Я радуюсь всему, что разумно и не

отрицает русского достоинства. Может быть, во мне говорит кровь моих предков?

Закругляюсь. Раз вспомнила о предках — значит, пора. Это как у твоего отца: если он выпивши пошел танцевать, значит, самое время отправляться ему в постель, танцевать-то он не умеет. Это между нами, хотя ты знаешь.

Родной мой! У нас уже ночь! Морозно. Может, там, где ты воюешь, теплее? Всю географию перезабыла. Это потому, что я рядом тебя чувствую.

Вот как кончать письмо, так и расклеюсь. Прости меня. Слабая я женщина и больше жизни тебя люблю. Ты вот тут — я дотронулась до сердца рукою... Прости меня, прости. Надо бы какие-то другие слова, бодрые, что ли, написать тебе, а я не умею. Помолюсь лучше за тебя. Не брани меня за это. Все матери сумасшедшие... Жизнь готовы отдать за своих детей. Ах, если бы это было возможно!..

Отец твой изобличил меня. Я на сон шепчу молитву, думала, отец твой спит. Не таись, говорит, если тебе и ему поможет... Я заплакала. «Девочка моя!» — сказал он. Да ты же знаешь своего отца. Он считает, что у него не один, а двое детей: ты и я.

Благословляю тебя, мой дорогой. Спокойной тебе ночи, если она возможна на войне. Вечная твоя мать — Ираида Фонвизина-Костяева».

Письмо кончилось, но Борис все еще держал его перед собой, не отрываясь, смотрел на бегущую подпись матери и явственно видел ее: носатенькую, с оттопыренными ушами, в белом полушалке, сползшем с покатых плеч; и по-старомодному заколотые на затылке волосы видел, и реденькую челку надо лбом, закуталась мать в полушалок, раздвинула занавески на окне, пытаясь мысленно покрыть пространство, отделяющее ее от сына.

За окном дробятся негустые огни старенького городка, за ними угадывается темный провал реки, заторошенный льдами, и, дальше — мерклые очертания гор с мрачной, немой тайгой на склонах и колдовской жутью в обвально-глубоких распадках. Тесно сомкнулось пространство вокруг городка, вокруг дома и самой матери. Где-то по другую сторону непроглядной, обрывающейся за рекой земли — он и где-то, отдаленная окопами, тысячами верст расстояния, между двумя враждующими мирами, — она, мать.

Борис спохватился, свернул письмо в треугольник, изношенный по краям.

— Старомодная у меня мать, — сказал он нарочито громким голосом. — И слог у нее старомодный...

Люся не отозвалась.

Борис повернулся и увидел — все лицо ее залито слезами, и почему-то не решился ее утешить. Люся схватила жбан с этажерки, расплескивая на грудь самогон, глотнула из горлышка и прерывисто заговорила:

— Я должна о себе... Чтоб не было между нами...

Борис пытался остановить ее.

— Было все так хорошо. Психопатка я, в самом деле психопатка! — вытирая лицо ладонью, будто омывая плечи и грудь, полуприкрытую одеялом, продолжала она: — Какой ты ласковый! Ты в мать. Я теперь знаю ее! Зачем война? Зачем? За одно только горе матери... Ах, Господи, как бы это сказать?

— Я понимаю. До фронта, даже до вчерашней ночи, можно сказать, не понимал.

...Матери, матери! Зачем вы покорились 'дикой человеческой памяти и примирились с насилием и смертью? Ведь больше всех, мужественнее всех страдаете вы в своем первобытном одиночестве, в своей священной, звериной тоске по детям. Нельзя же тысячи лет очищаться страданиями и надеяться на чудо. Бога нет! Веры нет! Над миром властвует смерть. На что нам надеяться, матери?

А за окном кончалась ночь. Земля неторопливо поворачивалась тем боком к солнцу и дню, где чужое и наше войско спали в снегах.

Хата догорела, обвалилась. Куча уже хиреющего огня умиротворенно дожевывала остатки балок, пробегая по ним юрким горностаишком и занырявая в оттаявшую яму.

Люся распластанно лежала на кровати, остановившись глазами глядела в потолок. В окне красным жучком шевелился отсвет пожарища, но комната уже наполнилась темнотою, и темнота эта уже не сближала их, не рождала таинство. Она наваливалась холодной тоскою, недобрый предчувствием.

— Я бы закурила. — Люся показала на этажерку. Не удивляясь и опять же не спрашивая ни о чем, Борис нашарил в деревянной шкатулке пакетик с табаком и, как умел, скрутил сигарку. Люся сунула руку под матрац, вынула зажигалку. Чему-то усмехнулась, переделала сигарку, склеенную вроде пельменя, свернула ее туже и, прикурив, осветила лицо Бориса огоньком. Усмешка все не сходила с ее губ.

— Зажигалка того самого фрица. — Люся щелкнула по ней ногтем и загасила огонек, дунув на него. — Хозяйина повесили в бору на сосне, а зажигалочка осталась... Заправленная зажигалочка, костяная... — У Люси клокотало в горле. Она затыгивалась табаком по-мужицки умело и жадно. — Девоч он, между прочим, потрошил на этой самой кровати...

— Зачем ты мне это?

— О-ох, Борька! — бросив на пол сигарку, срубленно упала Люся на него. — Где же ты раньше был? Неужели войне надо было случиться, чтоб мы встретились? Милый ты мой! Чистый, хороший! Страшно-то как жить!.. — Она тут же укротила себя, промокнула лицо простыней. — Все! Все! Прости. Не буду больше...

Он невольно отстранился от нее, и опять его потянуло на кухню, к солдатам — проще там все, понятней, а тут черт-те какие страсти-ужасы, и вообще...

— Чого сыдышь тай думаешь? Чого нэ йдэш, не гуляешь? — усмехнулась Люся и запустила руки в волосы лейтенанта. — Так и не причесался? Волосы у тебя мягкие-мягкие... Не умеешь ты еще притворяться...

— А ты... Ты все умеешь? — Борис пугливо замер от своей дерзости.

— Я-то? — Она опять глядела на свои руки, и это раздражало его. — Я ж тебе говорила, что старше тебя на сто лет. Женщинам иногда надо верить... — и треснуто, натужно рассмеялась. — Ах, Господи, до чего я умная!.. Ты чувствуешь, у нас дело к ссоре идет? Все как у добрых людей.

— Не будет ссоры. Вон уже светает.

Окно и в самом деле обрисовалось квадратом, в комнате просочился рассеянный свет.

— На заре ты ее не буди... — прошептала Люся и замерла, поникнув. Затем подняла голову, откинула с лица волосы и опустила руки на плечи Бориса: — Спасибо тебе, солнышко ты мое! Взросло, обогрело... Ради одной этой ночи стоило жить на свете. Дай выпить и ничего не говори, ничего...

Борис поднялся, налил в кружку самогона. Люся передернулась, отпив глоток, подождала, когда выпьет он, и легонько, накоротке приникла к нему.

— Ты меня еще чуть-чуть потерпи. Чуть-чуть...

Борис дотронулся губами до ее губ, она дрогнула веками. И снова размягчилась его душа. Хотелось сделать что-

нибудь неожиданное, хорошее для нее, и он вспомнил, что надо делать. Неловко, как сноп, подхватил ее в беремья и стал носить по комнате. Люся чувствовала, как ему тяжело, неловко носить ее, но так полагается в благородных романах — носить женщин на руках, вот пусть и носит, раз такой он начитанный!

Млея, слушала она, какую он мелет несбыточную, но приятную чушь: война кончилась, он приехал за нею, взял ее на руки, несет на станцию на глазах честного народа, три километра, все три тысячи шагов.

«Ах ты, лейтенантик, лейтенантик!» — пожалела его и себя Люся и, тронув губами проволочно-твердый рубец его раны, возразила:

— Нет, не так! Я сама примчусь на вокзал. Нарву большой букет роз. Белых. Снежных. Надену новое платье. Белое. Снежное. Будет музыка. Будет много цветов. Будет много народу. Будут все счастливые... — Люся прервалась и чуть слышно выдохнула: — Ничего этого не будет.

Но он не хотел ее слушать и бормотал, как косач-токовик, всякую ерунду про верную любовь, про счастье, про вечность.

Очнувшись, они услышали, как ходят по кухне солдаты, топают, переговариваются, кто-то вытряхивает шинель.

Люся сползла к ногам лейтенанта.

— Возьми ты меня, товарищ командир, — прижавшись к его коленям щекою, просила она, глядя, снизу вверх. — Я буду солдатам стирать и варить. Перевязывать и лечить научусь. Я понятливая. Возьми. Воюют ведь женщины.

— Да, да, воюют. Не смогли мы обойтись на фронте без женщин, — отвернувшись к окну, отрывисто проговорил взводный. — Славим их за это. И не конфузимся. А надо бы.

— Жутко умный ты у меня, лейтенант! — Люся чмокнула взводного в щеку и ушла, завязывая поясок халата.

Борис лег на кровать и мгновенно провалился в такой глубокий и бездонный сон, каким еще не спал никогда.

Часа через два Люся на цыпочках вошла в комнату. Пристроила на спинку стула гимнастерку, отглаженную, с уже привинченным орденом, с прицепленной медалью, брюки и портянки, тоже простиранные, но еще волглые, положила и присела на кровать, тронула Бориса за нос. Он проснулся, но, не открывая глаз, нежился.

— Вот, — откидывая рукой выбившиеся из-под платка волосы, заговорила Люся, кивая на гимнастерку. — Ухаживать за любимым мужчиной, оказывается, так приятно! — и сокрушенно покачала головой: — Баба все-таки есть баба! Никакое равноправие ей не поможет...

Румяная, раскрасневшаяся от утюга, очень домашняя и уютная была она сейчас. Борис ладонью утер с лица ее пот, обнял, с уже отмякшей, восковой страстью, потянул к себе.

— Нельзя! Все встали! — уперлась она в его грудь руками.

Но Борис не выпускал ее.

— А если узнают?

— Солдаты хоть о немецком, хоть о нашем наступлении раньше главного командования узнают, а уж про такое...

Борис одевался, Люся заплетала косу, когда за занавесками послышалось деликатное, предупреждающее покашливание.

— Товарищ лейтенант, я насчет винишка! — раздался бойкий голос Пафнутьева. — Если осталось, конечно.

— Есть, есть.

— Чё, без горючего зажигание не срабатывало?..

— Болтаешь много! — с напускной строгостью отозвался Борис.

«Ох, не оберешься теперь разговоров! Одобрять его будут солдаты, мол, взводный-то у них — парень не промах, хотя с виду и мямля! Все происшедшее будет восприниматься солдатами как краткое боевое похождение лейтенанта, но он не сможет ничего поправить и должен будет соглашаться, потакать такому настроению. Расспросы пойдут, как да чего оно было? И ох трудно, невозможно будет отвертеться от пронизательных вояк!»

Борис просунул меж занавесок жбан, кружку.

— Шкалику не давать! Тебе и остальным тоже не ковшом.

— Ясенько! — Пафнутьев подморгал взводному.

— Чего все мигаешь? Окривеешь ведь! — буркнул Борис.

Люся нарядилась в желтое платье. Черные цыганские ленты скатывались по ее груди, коса перекинута через плечо. Рукава платья тоже отделаны черным. На ногах мало надетые туфли на среднем каблуке. Похожа была Люся на девочку-воструху, которая тайком добралась до

мамино сундука и натянула на себя взрослые наряды. За спиной ее, на стеклах, переливалась изморозь, росли белые волшебные кущи, папоротники, цветы, пальмы.

— Какая вы красивая, мадам!

Она потерела ленточку, намотала ее на палец.

— Я сама еще в девчонках это платье шила.

— Да ну-у-у! Шикарное платье! Шикарное!

— Просмешник! Ладно, все равно другого нет. — Люся уткнулась носом в мятый, будто изжеванный погон лейтенанта и дрогнула: стойкий запах гари, земли, пота не истребило стиркой. — Мне хочется сделать что-нибудь такое... — подавляя в себе тревогу, повертела она в воздухе рукой, — сыграть что-нибудь старинное и... поплакать. Да нет инструмента, и играть я давно разучилась. — Она шевельнула раз-другой кисточками ресниц и отвернулась. — Ну, поплыла баба!.. Как все-таки легко свести нашего брата с ума!..

Борис тронул косу, шею, платье, — ровно бы уносило ее от него, эту грустную и покорную женщину, с такими близкими и в то же время такими далекими глазами, уносило в родившийся день, в обыденную жизнь, а он хотел удержать ее, удержать то, что было с ними и только у них.

Она ловила его руки, пыталась прижать к себе: вот, мол, я, вот, с тобой, тут, рядом...

Завтракали на кухне. Люся хотя и прятала глаза, но распорядилась за столом бойчее, чем прежде. Солдаты многозначительно и незлобно подшучивали, утверждая, что лейтенант шибко сдал после тяжких боев, один на один выдерживая натиск противника, а они вот, растяпы, дрыхли и не исполнили того, чему их учили в школе — на выручку командиру не пришли. А тоже ведь пели когда-то: «Вот идет наш командир со своим отрядом! Эх, эх, эх-ха-ха, со своим отрядом!» Отряд-то спать только и горазд! Нехорошо! Запущена политико-воспитательная работа во взводе, запущена, и надо ее подтянуть, чтобы командир один за всех не отдувался.

Только Шкалик ничего понять не мог. Выжатый, мятый, дрожа фиолетовыми губами, он сидел за столом смиренным стриженным послушником, подавленный мирскими грехами. От опохмелки он закрылся руками, как от нечистой силы. Дали человеку капустного рассола с увещанием: «Не умеешь, так не пей!»

Люся убрала посуду, поворошила в столе. Среди пуговиц, ниток и ржавых наперстков отыскала тюбик губной помады. Прикрыв за собой дверь в переднюю, она послушав засохшую помаду и, подкрасив стертые, побаливающие губы, выскользнула из дому с жестяным бидоном.

Солдаты изготавливались стирать, бриться, чистили одежду, обувь, нещадно дымили махоркой, переговаривались лениво, донимали Шкалика юмором. Лейтенант слушал их неторопливую болтовню и радовался, что к ротному пока не вызывают, никаких команд не делают и, глядишь, задержатся они здесь.

Разговор вращался вокруг одной извечной темы, к которой русский солдат, как только отделается от испуга и отдохнет немного, неизменно приступает. Пафнутьев правил бритву, посасывая сигарку, щурил глаза от дыма, по-вествуя:

— Отобедали это мы. Ребятишек нету дома. Тятя и мама уже померли в те поры. Зойка со стола убирает, я курю и поглядываю, как она бегаёт по избе, ногами круглыми вертит. Окна открыты, занавески шевелятся, назьмом со двора пахнет. Тихо. И главное, ни души. Убрала Зойка посуду. Я и говорю: «А чё, старушонка, не побаловаться ли нам?» Зойка пуще прежнего забегала, зашумела: «У вас, у кобелей, одно только на уме! Огород вон не полотый, в избе неприбрано, ребятишки где-то носят...» — «Ну-к чё, — говорю, — огород, конечно, штука важная. Поли. А я, пожалуй, к девкам подамся!» В силах я ещё тогда был, на гармошке пилил. Вот убегла моя Зойка. Минуту нету, друту, пята... Я табак курю, мечтаю... Пых — пара кривых! Влетает моя Зойка уж на изготовке, плюхнулась поперек кровати и кричит: «Подавился, злодей!..»

Хата качнулась от гогота, и сам Пафнутьев закатился, прикрыв замаслившиеся от сладостных воспоминаний глаза, едва ремень бритвою не перехватил. Шкалик капусту ел и чуть не подавился. Малышев завез ему по спине кулаком — слетел солдатик со скамейки и капусту незаметно проглотил. Карышев моторно фукнул ноздрями — со стола спорхнула и закружилась луковая шелуха. Даже застенчиво помалкивающий и больной с похмелья Корней Аркадьевич смял в улыбке блеклые губы.

Возвратилась Люся, потаенно улыбнулась, стала манить Бориса в переднюю. Там она сунула ему бидон и заставила пить парное молоко. Не переставая многозна-

чительно улыбаться, вытерла его наметившиеся усы, смоченные молоком, с придыхом сообщила ему на ухо:

— Я узнала военную тайну!

У лейтенанта от удивления открылся рот и лицо сделалось недоверчиво-глуповатое.

— Ваша часть еще день или два простоит здесь!

Взводный издал гортанный звук, схватил Люсю, закружил по комнате, да и смахнул с окна зеркальце.

— Ой, — воскликнула Люся. — Это к несчастью!

— Какое несчастье? — рассмеялся Борис. — Ты веришь в приметы? Суеверная ты! Отсталая! Двое суток! Это, что ли, мало?!

Люся молча собирала осколки зеркала. Борис помогал ей и пересказывал байку Пафнутьева. Громко стукнула дверь. Люся сунула стекла в кадку с цветком и поспешила на кухню.

— В ружье, военные! — наигранно бодрясь, хриплым голосом гаркнул старшина и, стукнув валенком о валенок, доложил Борису: — Товарищ лейтенант, приказано явиться на площадь. Подают машины.

— Машины? Какие машины? Двое ж суток!..

— Кто натрепал? — Мохнаков побуровил народ покрасневшими глазами. Солдаты пожимали плечами. Пафнутьев сверлил пальцем у виска и подмигивал старшине. Мохнаков собрался отколоть что-нибудь по этому поводу, но очень уж слиняло лицо взводного. — Колонна! — пояснил старшина. — Та самая колонна, что перевозила пленных, отряжена полку. Пехом и за зиму фронт не догнать.

Люся прижалась спиной к двери. Белый платок разошелся, сделались видны на груди черные ленты и вырез платья. Борис пеньком торчал посреди кухни. «Что это вы?» — вопрошал взгляд Мохнакова.

Солдаты ворчали друг на друга, ругали войну, собирая пожитки, толкали лейтенанта. Шкалик рылся в соломе — ремень искал. Старшина поворошил валенком солому, зацепил ремень, похожий на избитую камнями змею, и валенком же закинул его на голову Шкалика.

— Няньку тебе!

Невелик скарб при солдате. Как ни волюнили, но все же собрались. Прощаться начали, все разом заговорили, пожимая руку хозяйке. Привычное дело: тысячу, если не две, сменили они ночевок, двигаясь по фронту.

— Запыживай, запыживай, славяне! — чем-то недово-

льный, подбрасывал монету старшина. — Машина не конь, ждать не любит!

Солдаты закурили и потянулись, растащив валенками солому по кухне. В хате сделалось пусто, выстуженно. Люся двинула спиной дверь и провалилась в комнату.

— Мне извиниться или как?

Заталкивая в полевую сумку пачку писем и полотенце, Борис пустогазо уставился на Мохнакова.

Старшина что-то глухо пробормотал, прихлопнув шапку на ухо, подкинул монету до потолка, но не сумел ее поймать и, саданув дверью, удалился.

Борис проводил взглядом воинство, выжитое из теплого жилья, и, прежде чем войти в переднюю, постоял, будто у обрыва, затем рывком надел сумку, поправил ворот шинели и толкнул дверь.

Люся сидела на скамье, отвернувшись к окну. Подбородок она устроила на руках, кинутых на подоконник. Она смотрела в окно. Петелька на рукаве платья соскользнула с пуговицы, черные крылья разлетелись на стороны. Борис застегнул пуговку, соединил крылышки и тронул руку Люси. Надо было что-то говорить, лучше бы всего шутку какую выдать. Но на ум не приходило никаких шуток.

— Тебя ведь ждут, — повернулась Люся. У нее снова отделились глаза, но голос был буднично спокоен.

— Да.

— Так иди! Я провожать не буду. Не могу. — И отвернулась, опять устроив на руки подбородок со вдавленной в него ямочкой. В позе ее, в плотно сомкнутых губах, в мелко подрагивающих ресницах было что-то трогательное и смешное. Школьницу, раскапризничавшуюся на выпускном вечере, напоминала она.

Время шло.

— Что же делать-то? — Борис переступил с ноги на ногу, поправил сумку на боку. — Мне пора. — Он еще переступил, еще раз поправил сумку. Люся не отзывалась. Подбородок ее смялся, ресницы все чаще и чаще подрагивали, снова расстегнулся рукав, хвостик косы упал в мокрый желобок рамы. Борис отжал смокшие волосы и с сожалением опустил косу на ее спину.

— Я же не виноват... — задержав руку выше выреза платья, чуть слышно сказал он. Нежное, пушистое тепло настоялось под косой. «Милая ты моя!» — Борис боль-

шим усилием заставил себя сдержаться, чтобы не припасть губами к этому теплу, к этой нежной детской коже.

— Конечно, — почувствовав, что он пересилил себя, сказала Люся, глядя на свои руки. Она тут же начала ими суетиться, поправлять ленты, зачем-то сдавила пальцами горло: — Виноватых нет.

— Прощай тогда... — Борис неуклюже, будто новобранец на первых учениях, повернулся кругом, осторожно, будто в больничной палате, притворил дверь и постоял еще, чего-то ожидая, обшаривая кухню глазами — не забыл ли кто чего?

Никто ничего не забыл.

«Солому не убрали. Насвинячили и ушли. Вечно так... Ладно, чего уж... Долгие проводы — лишние слезы...» Борис подпинал солому в угол и отправился догонять взвод.

Отовсюду тянулись к площади бойцы. Снег хрупал под ботинками, что свежая капуста. Беловатые дымы — топят соломой — облаком стояли над местечком. Располагалось оно меж двух лесистых холмов, в широкой пойме раздвоившегося ручья, который впадал в речку пошире. За речкой вдоль берега тянулись хаты и сады с церковкой посередине.

Борис подивился этой церковке, он почему-то прежде ее не заметил. Заречье побито. Сшиблен купол церкви. Деревянный гужевой мост сожжен, перила обвалились, лед темнел лоскутьями, парило из пробоев. В хуторе тоже топились печи, дымы оттуда тянулись вдоль реки, в местечке еще чадил за огородами сгоревший ночью дом.

Почему, отчего не оборонялись немцы по эту сторону реки, а подались в голоземье, забрались в овраги и решили прорываться оттуда? У войны свой особый нрав, своя какая-то арифметика. Иной раз выбьют взвод, роту, но один или два человека останутся даже непоцарапанными. Или расщепают снарядами и бомбами селение, но в середине хата стоит. Вокруг нее голые руины, в ней же и окна целы!

Ротный командир Филькин, получивший в свое распоряжение технику, чувствовал себя полководцем и сразу зафорсил. Он глядел на Бориса как бы уже издалека, будто выявляя в нем и в себе значительность перемен. Рукою, туго-натуго обтянутой хромовой перчаткой, по всем видам дамской, Филькин повелительно указывал: кому на каких машинах ехать, какую дистанцию держать.

Весело, с прибаутками, военные рассаживались по ма-

шинам. Нет народа благодуснее солдат, выпавшихся, поевших горячей пищи, да еще к тому же узнавших, что не топтать ножками до передовой.

Откуда-то взялись две хохлушки в одинаковых желтых кожушках с меховым подбоем, в цветастых платках. Белозубые, спелые, будто сошли дивчины эти с картин Малявина или Кустодиева, точнее, с довоенных выставочных плакатов. Ни один солдат не проходил мимо дивчин просто так. Каждый оделял их вниманием: кто слово подходящее бросал, кто похлопывал, кто норовил и под кожушок рукою влезть.

Хохлушки повизгивали, отражая атаки пехотинцев: «Гэть, москаль! Гэть!», «Та що ж ты, скаженный кацап, робышь?!», «Ну ж, ну ж! Ой, лихо мэни!», «Та ихайте скорийше!»

Но по всему было видно — не хотелось им так скоро отпускать москалей и нравилась вся эта колготня вокруг них.

Никакого душевного потрясения Борис еще не испытывал, лишь чувствовал, что непросохший, затвердевший на морозе воротник обручем сдавил шею, да шинелью снова жгло, пилило натертое место, да от холода ли, от заостенелого ли воротника было трудно дышать, мысли ровно бы затвердели в голове, остановились, но сердце и жизнь, пущенные в эту ночь на большую скорость, двигались своим чередом. До остановки было далеко, до горя и тоски чуть ближе, но лейтенант пока этого не знал. Он суетливо бегал вокруг машины, возбуждался с каждой минутой все больше, даже потрепал хохлушек по красивым платкам. Прежде не только дотрагиваться, но и взглянуть вожаденно на дивчин не решился бы.

— Мужаешь, Боря! — изумился Филькин.

Лейтенант собрался ответить шуткой же, но увидел Люсю. В наспех брошенном на голову шерстяном платке, в тех самых черных туфлях налетела она и принародно стала целовать Бориса, затем забралась в машину и солдат, ночевавших в ее доме, всех перецеловала, — какие они ей стали родные, — говорила; чтобы лейтенанта берегли, — наказывала, — чтобы Шкалику больше пить не давали.

Солдаты, ночевавшие в других хатах, завистливо ахали и громко требовали, чтобы им тоже было уделено внимание. Корней Аркадьевич снял с Люси туфлю, вытрях-

нул снег. Опираясь на плечо Малышева, Люся стояла на одной ноге, смеялась сквозь слезы и что-то говорила, говорила.

— Храни тебя Бог, дочка! — надев на нее туфлю, сказал Корней Аркадьевич. Карышев поправил на ней платок и вскользь погладил по голове.

Машины двинулись резво, будто застоявшиеся кони. Борис притиснул Люсю к груди, надавил пряжкой полевой сумки ей на нос, и какое-то время она чувствовала только эту боль.

— Лейтенант! Лейтенант! — торопил взводного шофер, сдерживая машину. — Колонна уходит, а я маршрута не знаю.

Что-то с хохотом кричали солдаты с проходивших машин. Кто-то бросил в них снежком. По другую сторону машины курил и топтался на месте Мохнаков, не решаясь лезть в кузов.

— Раньше бы хоть помолились, — сказала Люся, теребя отвороты его шинели, — но мы же неверующие. Атеисты мы несчастные. Осталось только завять во весь галос...

— Вот еще! Только этого и недоставало! — боязливо оглядываясь на машины, забормотал Борис и начал отстранять ее от себя: — Озябла. Ступай!

Взводный оторвался-таки от женщины, точнее, оторвал ее от себя, запрыгнул в машину, саданув железной дверцей, и тут же открыл ее, готовый виниться за обиду, нанесенную ей. Но «студебекер», сыто заурчав, рванулся с места в карьер — взводного вдавило в сиденье. Люсю отбросило назад, заволокло дымом выхлопов — она осталась в его памяти потерянная, недоумевающая, с судорожно перекошенным ртом.

Бойцы на машинах пели, ухали, подсвистывали сами себе. В истоптанном снегу еще дымились окурки, кружился над головой синеватый бус, а колонна уже взнималась за местечком на косогор, голова ее ползла к лесу.

— Адрес! — сорвалась и побежала Люся. — Батюшки! Адрес-то!..

Оглушенная, растерянная, она мчалась следом за колонной. Да разве машины догонишь.

На опушке соснового бора, равнодушно тихого, мрачного, того самого, где висел на сосне рассыпающийся скелет чужеземца, тупорылая заморская машина задела

кабиной ветку сосны, другую, третью — снег, будто занавес в театре, упал, закрыв от нее все на свете.

Люся остановилась обессиленная, задохнувшаяся.

Что мог значить какой-то адрес? Зачем он? Время поеддило, остановилось на одну ночь и снова побужало, неудержимо ведя свой отсчет минутам и часам человеческого жизни. Ночь прошла, осталась за кромкой народившегося дня. Ничего невозможно было поправить и вернуть.

Все было и все минуло.

Мимо двигалась другая колонна. Бойцы показывали на снег, на хаты, на ноги женщины. Не в силах поднять руку, помахать им, Люся качалась всем телом в поклоне, твердя одно и то же:

— Воюйте скорее, миленькие. Живые будьте все... Воюйте... Живые будьте...

Вернулась она домой полузамерзшая. Туфли на ней каменно стучали. На волосах лежал снег. Конец намерзлой косы свинцовым грузилом бился в спину. Не раздеваясь, по-звериному подвывая, Люся залезла в постель, неосознанно надеясь, что там еще хранится тепло.

Хату заняли солдаты тыловой части. Пожилой, но молодцеватый сержант постучал в дверь, вошел и начал оправдываться:

— Было открыто. Мы думали — хата брошена.

— Живите.

Страхивая туфли с ног, Люся пыталась натянуть на себя одеяло, прижаться к чему-нибудь, стучала зубами и все протяжней завывала не отверделым ртом, а всем нутром своим — там, в опустошенном нутре, возникал звук тоски, горя и вырывался наружу воем — долгим, непрерывным. На этот вой снова явился пожилой сержант.

— Вам, может... — хотел предложить он помощь женщине.

Она подняла голову и, не переставая завывать, глядела и не видела его. В глазах ее, отдаленно темных, возник переменчивый блеск, будто искрила изморозь по сухим зрачкам, из которых выело зерно, они сделались пустотелыми.

Сержант вежливо упятился из комнаты, на цыпочках ушел на кухню и шепотом сообщил команде, что хозяйка у них сошла или сходит с ума.

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ



УСПЕНИЕ



И жизни нет конца,
И мукам — краю.

Петрарка

Подбирая изодранный белый подол, зима поспешно отступала с фронта в северные края. Обнажалась земля, избитая войною, лечила самое себя солнцем, талой водой, затягивала рубцы и пробоины ворсом зеленой травы. Распускались вербы, брызнули по косогорам фиалки, заискрилась мать-и-мачеха, подснежники острой пулей раздирали кожу земли. Потянули через окопы отряды птиц, замолкая над фронтом, сбивали строй. Скот выгнали на пастбища. Коровы, козы, овечки выстригали зубами еще мелкую, низкую травку. И не было возле скотины пастухов, все пастушки школьного и престарелого возраста.

Дули ветры, теплые и мокрые. Тоска наступала солдат в окопах, катилась к ним в траншеи вместе с талой водой.

В ту пору и отвели побитый в зимних боях стрелковый полк на формирование. И как только отвели и поставили его в резерв, к замполиту полка явился выветренный, точно вобла, лейтенантишко — проситься в отпуск.

Замполит сначала подумал — лейтенант его разыгрывает, шутку какую-то придумал, хотел прогнать взводного, однако бездонная горечь в облике парня удержала его.

Стал разговаривать со взводным замполит, а поговоривши, и сам впал в печаль.

— Та-ак, — после долгого молчания протянул он, дымя деревянной хохляцкой люлькой. И еще протяжней повторил, хмурясь: — Та-а-ак. — Взводный как взводный. И награды соответственные: две Красные Звезды, одна уж с отбитой глазурью на луче, медаль «За боевые заслуги». Все-таки было в этом лейтенантишке что-то такое...

Мечтательность в нем угадывалась, романтичность. Такой народ он порывистый! Этот вот юный рыцарь печального образа, совершенно уверенный, что любят только раз в жизни и что лучше той женщины, с которой он был, нет на свете, — возьмет да и задаст тягу из части без спросу, чтобы омыть слезами грудь своей единственной...

«Н-да-а-а! Умотает ведь, нечистый дух!» — горевал замполит, жалея лейтенанта и радуясь, что не выбило из человека человеческое. Успел вот когда-то втюриться, мучается, тоскует, счастья своего хочет. «А если потом в штрафную...»

Смутно на душе замполита сделалось, нехорошо. Он поерзал на скрипучей табуретке и еще раз крепкой листовухой набил люльку. Набил, прижег, раскочегарил трубку и совсем не по-командирски сказал:

— Ты вот что, парень, не дури-ка!

Тоска прожгла глаза лейтенанта. Никакие слова ничего не могли повернуть в нем. Он что-то уже твердо решил, а что он решил, замполит не знал и повел разговор дальше, про дом, про войну, про второй фронт, надеясь, что по ходу дела что-нибудь обмозгует.

— Стоп! — замполит даже подпрыгнул, по-футбольному пнул табуретку. — Ты в рубашке родился, Костяев. И тебе везет. Значит, в карты не играй, раз в любви везет... — Он вспомнил, что политуправление фронта собирает семинар молодых политруков. Поскольку многих политруков в полку повыбило за время наступления, решил он своей властью отрядить в политуправление взводного Костяева и впоследствии назначить его политруком в батальоне — парень молодой, начитанный, пороху нюхал.

— Дашь крюк, но к началу занятий чтобы как штык! Суток тебе там хватит?

— Мне часа хватит. — Лейтенант как будто и не обрадовался. Терпел он долго, минуты своей ждал. И чего и сколько в нем за это время перегорело...

— Давай адрес. Надо ж документы выписать.

— А я не знаю адреса!

— Не зна-а-е-ешь?!

— Фамилию тоже не знаю. — Лейтенант опустил глаза, призадумался. — Мне иной раз кажется — приснилось все... А иной раз нет.

— Ну ты силе-о-о-он! — с еще большим интересом

всмотрелся в лейтенанта замполит. — Как дальше жить будешь?

— Проживу как-нибудь.

— Иди давай, антропос! — безнадежно махнул рукой замполит. — Чтобы вечером за пайком явился. Помрешь еще с голодухи.

О чем он думал? На что надеялся? Какие мечты у него были? Встречу придумал — как все получится, какой она будет, эта встреча?

Приедет он в местечко, сядет на скамейку, что неподалеку от ее дома стоит, меж двух тополей, похожих на веретешки. Скамейку и тополя он заметил, потому что возле них видел Люсю в последний раз. Он будет сидеть на скамейке до тех пор, пока не выйдет она из хаты.

И если пройдет мимо...

Он тут же встанет, отправится на станцию и уедет. Но он все-таки уверил себя — она не пройдет, она остановится. Она спросит: «Борька! Ты удрал с фронта?» И чтобы поугатать ее, он скажет: «Да удрал! Ради тебя сдезертировал!..»

И так вот сидел он на скамейке под тополями, выбросившими концы клейких беловатых листочков, запыленный от сапог до пилотки. Ждал. Люся вышла из дому с хозяйственной сумкой, надетой на руку, закрыла дверь. Он, не отрываясь, смотрел. Диво дивное! Она в том же платье желтеньком, в тех же туфлях. Только стоптались каблуки, сбились на носках туфли, на платье уже нет черных лент, нарукавнички отлиняли, крылья их мертво обвисли.

Люся похудела. Тень легла на глаза ее, коса уложена кружком на затылке, строже сделалось лицо ее, старше она стала, совсем почти взрослая женщина.

Она прошла мимо.

Ничего уже не оставалось больше, как подаваться на станцию, скорее вернуться в часть, тут же отправиться на передовую и погибнуть в бою.

Но Люся замедлила шаги и осторожно, будто у нее болела шея, повернула голову:

— Борька?!

Так и не снявши сумку с локтя, она сползла к ногам лейтенанта и самым языческим манером припала к его обуви, исступленно целуя пыльные, разбитые в дороге сапоги...

Ничего этого не было и быть не могло. Стрелковый полк не отводили на переформировку, его пополняли на ходу. Теряя людей, к иным солдатам не успевая даже привыкнуть, Борис топал вперед со своим взводом все дальше и дальше от дома, все ближе и ближе к победе.

По весне снова заболел куриной слепотой Шкалик, отослан был на излечение и оставлен работать при госпитале, чему взводный радовался. Да вот днями прибыл на передовую Шкалик, сияет, радуется — к своим, видите ли, попал.

Неходко, мешковато топает пехота по земле, зато податливо.

Привал. Залегли бойцы на обочине дороги. Дремлет воинство, слушает, устало смотрит на мир Божий. Старая дорога булыжником выстелена, по бокам ее трава прочикнулась, в поле аист ходит, трещит клювом что пулемет, над ставком, обросшим склоненными ивами, кулик кружит или другая какая длинноклювая птица. Свист, клекот, чириканье, пенье. Теплынь, красота. Весна идет, движется.

Карышев сходил к ближней весенней луже. Котелком чиркнул по отражению облака, разбил его мягкую кучу, попил бодрой водички. Куму принес, тот попил, крякнул, другим бойцам котелок передал. До лейтенанта Костяева дошел котелок, он отвернулся, сидит, опустив руки меж колен, потерянный какой-то, далекий ото всех, уже солнцем осмоленный, исхудалый.

Старшине Мохнакову котелок с водой не дали, в отдалении он лежал, тоже отрешенный ото всех, мрачный — не досталось ему воды.

— Ох-хо-хо-оо-о, — вздохнул Карышев, соскребая густо налипшую черную землю с изношенных ботинок. — Этой бы земле хлеб рожать.

— А ее сапогами, гусеницами, колесом, — подхватил кум его и друг Малышев.

— Да-а, ни одна война, ни одна беда этой прекрасной, но кем-то проклятой земли не миновала, — не открывая глаз, молвил Корней Аркадьевич Ланцов.

— А правда, ребята, или нет, что утресь старую границу перешли? — вмешался в разговор Пафнутьев.

— Правда.

— Мотри-ка! А я и не заметил.

— Замечай! — мотнул головой Ланцов на танк, вросший в землю, пушечкой уткнувшийся в кювет. Машину

оплело со всех сторон сухим бурьяном, под гусеницами жили мыши, вырыл нору суслик. Ржавчина насыпалась холмиком вокруг танка, но и сквозь ржавчину просунулись острия травинок, густо, хотя угнетенно светились цветы мать-и-мачехи. — Если завтра война! Вот она, граница-то, непобедимыми гробами помечена...

Старшина Мохнаков молча подошел к Пафнутьеву, взял его карабин, передернул затвор, не целясь, ударил в бок танка. На железе занялся дымок и обнажилась черной звездочкой пробоина. Старшина постоял, послушал, как шумит ржавчина, засочившаяся из всех щелей машины, и бросил карабин Пафнутьеву:

— А мы на таких гробах воевали.

— И довоевались до белокаменной, — ворчал Ланцов.

— Было и это. Все было. А все-таки вертаемся и бьем фрица там, где он бил нас. И как бил! Сырыми бил, и не бил, прямо сказать, по земле размазывал... Но вот мы вчера, благословясь, Шепетовку прошли. Я оттудова отступить начал. — Старшина недоуменно огляделся вокруг, что, мол, это меня понесло? Набычился, снова отошел в сторону, лег на спину и картуз старый, офицерский на нос насунул.

— Постой, постой! — окликнул его Пафнутьев. — Это не там ли родился какой-то писатель-герой?

— Там! — буркнул из-под картуза Мохнаков.

— А как же его фамиль? И чё он сочинил?

— Горе без ума! — усмехнулся Корней Аркадьевич.

— «Горе от ума» написал Грибоедов, — не шевелясь и не глядя ни на кого, тусклым голосом произнес лейтенант Костяев. — В Шепетовке родился Николай Островский и написал он замечательную книгу «Как закалялась сталь».

— Благодарствую! — приложил руку к сердцу Ланцов.

— Что за люди? — с досадою хлопнул себя по коленям Пафнутьев. — Где шутят, где всурьез? Будто на иностранном языке говорят, блядство.

— А такие, как ты, чем меньше понимают, тем спокойнее людям, — лениво протянул Ланцов.

— Зачем тоды бают: ученье — свет, неученье — тьма?

— Смотря кого и чему учат.

— Убивать, напริมөр, — снова едва слышно откликнулся Борис.

— Самая древняя передовая наука. Но я другое имел в виду.

— Уж не марксистско-ленинскую ли науку? — насторо-

жился малограмотный, но крепко в колхозе политически подкованный Пафнутьев.

— Я ученье Христа имел в виду, ученье, по которому все люди — братья.

— Христа-то хоть оставьте в покое! Всеу да на войне... — поморщился Костяев.

— И то верно! — решительно поднялся с земли старшина Мохнаков. — Разобрать имущество! Ш-гом арш! Запыживай, славяне. Берлин недалеко.

Появился на передовой капитан из какого-то штабного отдела, молодой еще, но уже важный. Он принес ведомость на жалованье. Солдаты шумно изумлялись — им, оказывается, идет жалованье. Расписались сразу за все прошедшие зимние месяцы, жертвуя деньги в фонд обороны. После этого капитан прочитал краткую лекцию о пользе щавеля, содержания витаминов в клевере, в крапиве, так как последнее время с кухни доставляли зеленую похлебку, поименованную бойцами дристухой. Солдаты грозились заложить гранату в топку кухни. Лекцию насчет пользы витаминов капитан провел как бы в шутку и как бы всерьез, на вопросы отвечал шуткою, но построжел, когда его спросили: не с клевера ли у него брюшко? От больного сердца, сообщил капитан. Бойцы и это сообщение почли шуткой, очень удачной и, главное, к месту. Разговор сам собою перешел на второй фронт. Крепкими словами были обложены союзники за нерасторопность и прижимистость — все сошлись на том, что из-за них, подлых, приходится жрать зеленец и переносить все более затягивающиеся временные трудности.

Капитан пострелял из снайперской винтовки по противнику, даже в легкую атаку на село ходил, занявши которое, солдаты подшибли гуся, якобы отбившегося от перелетной стаи. Важный капитан понимающе посмеивался, глодая вместе с бойцами кости дикого гуся.

Мясцом капитана попотчевал Пафнутьев. Он притирался к гостю, таскал его багажишко, выкопал ему щель, принес туда соломки, вовремя, к месту интересовался: «Может, еще покушаете, товарищ капитан? Может, вам умыться наладить?»

Увел Пафнутьева капитан с собой. «Кум с возу — кобыле легче!» — решили во взводе.

Во время затиший Пафнутьев навещал родную пехоту, всех без разбора угощал папиросами из военторга. Поболтав о том о сем, поотиравшись на переднем крае, он уволокивал узел трофейного барахла: одеял немецких, плащ-палаток, сапог. Барахлишко — догадывались солдаты — Пафнутьев менял на жратву и выпивку, словом, ублажал начальство. И ублажил бы, да заелся.

Мохнаков мрачно бухнул Пафнутьеву:

— Ты вот что, куманек! Или выписывайся из взвода, или бери лопату и вкалывай до победного конца. Уж двадцать лет как у нас холуев нет.

— Холуев, конечно, уж двадцать лет как нет, — не вступая в пререкания со старшиной, поучительно отвечал Пафнутьев, — да командиры есть, и кто-то должен им приноравливать. Товарищ капитан не умеют ни стирать, ни варить. Антиллигент они. — Докурив папироску, Пафнутьев посмотрел на нейтральную полосу, за которой темнели немецкие окопы, — туда ночью в разведку ходили боем штрафники. — Штрафников-то полегло э сколько! — захохот Пафнутьев. — Грех да беда не по лесу ходят, все по народу. Хуже нет разведки боем. Все по тебе палят, как по зайцу. — Мохнаков взял Пафнутьева за ворот гимнастерки, придавил к стене траншеи, поднес ему гранату-«лимонку» под нос и держал гостя до тех пор, пока тот не захрипел.

— Понюхал?! — старшина подкинул вверх и поймал гранату. — Все понял?

— Как не понять? Ты так выразительно все объяснил.

— Тогда запыживай отсюда!

— Я-то запыжу, — отдышавшись, начал мять папироску пляшущими пальцами Пафнутьев. Закурив, он устался на трофейную зажигалку, излаженную в виде голы бабы со всеми ее предметами и подробностями. Огонь у нее высекался промеж ног. — Я-то запыжу, — убирая зажигалку в нагрудный карман, нудил Пафнутьев. — Вот как бы ты вместе с Боречкой не запыжил туда... — кивнул он головой на нейтралку, где с ночи лежали и мокли под дождем убитые штрафники.

Старшина снова хотел дать ему гранату понюхать, но в это время его окликнули к командиру, и он, погрозив пальцем Пафнутьеву: «Мотри у меня!» — удалился. «Да, а если не потрафишь товарищу капитану, да ежели он сюда меня вернет, да ежели бой ночью...»

— Не страшай девку му... она весь видала! — задержался, завизжал Пафнутьев.

Однако Мохнаков его уже не слышал.

Между тем наступление продолжалось, хотя и шло уже на убыль. Части переднего края вели бои местного значения, улучшали позиции перед тем, как стать в долгую оборону.

Из штаба полка приказано взводу Костяева разведать хутор, ежели возможно, захватить высотку справа от него и закрепиться. Мохнаков день проторчал в ячейке боевого охранения, с биноклем — высматривал, вынюхивал. Ночью, тихонько ликвидировав ракетчиков и боевое охранение немцев, пробрался с отделением автоматчиков в хутор, поднял невообразимый гам и пальбу такую, что хутор фашисты в панике оставили и высотку тоже.

Стрелки забрались в избы, от которых тянулись хода сообщений на высотку, и блаженно радовались тому, что не надо копать. На высотке брошен был живехонький еще наблюдательный пункт, даже печка топилась в блиндаже, на ней жарились оладьи, телефон был подсоединенным. «Гитлер — капут!» — орали в телефон бойцы, макая горячие оладьи в трофейное масло, вкус которого они начали забывать. С другой стороны им отвечали: «Русиш швайне!» Вырывая друг у друга трубку, удачливые автоматчики лаяли немцев, дразнили их, чавкая ртом, потом пели похабные песни с политическим уклоном.

Поверженный противник не выдержал полемики и телефон свой отцепил, пообещав сделать русским иванам «грос-капут».

Тут как тут явились на отвоеванный НП артиллеристы и выперли веселую пехоту из уютного блиндажа. Коря артиллеристов, всегда, мол, мордатые заразы лезут на готовенькое, стрелки подались в хутор и начали варить картошку, возбужденно рассказывая друг другу о том, как остроумно беседовали с фрицем по телефону.

Для взаимодействия и связи с артиллеристами на высотке остались Мохнаков и Карышев. Утром установлено было, что весь скат высоты и низина за огородами хутора, да и сами огороды хутора с зимы минированы: еще один оборонительный вал сооружали немцы.

Около полудня появился в поле боец и попер напропалую по низине.

— Кого это черти волокут? — Карышев приложил ко лбу руку козырьком.

Старшина повернул стереотрубу, припав к окулярам.

— Сапер запыживает, — почему-то недобро усмехнулся он и еще что-то хотел добавить, но в низине хлопнуло, вроде бы как дверью в пустой избе, подпрыгнула и рассыпалась травянистая кочка, выплеснулся желтый дымок.

— А-а-ай! Мамочка-а-а! — донеслось до окопов. Карышев, тужась слухом, всполошенно хлопнул себя по бокам:

— Это ведь Пафнутьев! — и заругался: — Какие тебя лешаки сюда ташшыли, окаянного? Трофеи унюхал, трофеи!

— А-а-а! А-а-а-ай! Помоги-и-ы-ыте-е-е-е! Помоги-и-ы-ыте!

Карышев перестал ругаться, засопел, мешковато полез из окопа. Старшина одернул его за хлястик шинели обратно:

— Куда прешь, дура! Жить надоело?

Старшина обшарил в артиллерийскую трубу всю низину. Была она в плесневелых листьях, на кочках серели расчесы вейника, колоски щучки и белоуса, под кочками уже обозначились беловатые всходы калужника, прокололись иголки свежего резуна. В кочках бился Пафнутьев, разбрызгивая воду и грязь и все кричал, кричал, а над ним заполошно кружился и свистел болотный кулик.

— Будь здесь! — наказал старшина Карышеву.

Мохнаков отполз за высотку, поднялся и, расчетливо осматриваясь, выверяя каждый шаг, будто на глухарином току, двинулся в заболоченную низину. Его атаковали чибисы, стонали, вихляясь возле лица.

— Кшить, дураки! Кшить! — старшина утирал пот со лба и носа. — Рванет, так узнаете!

Он добрался до Панфутьева, выгнул его из грязи. Ноги Пафнутьева до пахов были изорваны противопехотной миной. Трава от взрыва побелела и пахла порченным чесноком. Мохнаков неожиданно вспомнил, как дочка его, теперь уже невеста, отдававши первый раз в жизни колбасы, всех потом уверяла, что чеснок пахнет колбасой. Дети, семья так редко и почему-то всегда внезапно вспоминались Мохнакову, что он непроизвольно улыбнулся этому драгоценному озарению. Пафнутьев перестал кричать, испугавшись его улыбки.

— Не бойся! — буркнул Мохнаков. — На вот, кури. — Засунув сигарету в рот солдата, старшина похлопал себя по карманам — спички где-то обронил. Пафнутьев суетливо полез в нагрудный карман — там у него хранилась знатная зажигалка.

— Возьми зажигалку на память.

— Упаси нас Бог от тебя и от твоей памяти.

— Прощенья прошу, Миколай Васильевич, — запричитал Пафнутьев. — Наклепал я на товарища лейтенанта. На тебя наклепал. Мародерство... Связь... Связь командира с подозрительной женщиной...

— Его-то зачем? Ну я, скажем, злодей. А его-то?..

Перевязывать было много и неловко. Старшина вынул из кармана свой пакет, разорвал его зубами. Пафнутьев все причитал, каялся:

— Гадина я, гадина! Скоко людей погубил, а вот погибель приспела — к людям адресуюся..

— Ладно, не ори! В ушах аж сверлит! — прикрикнул старшина. — Люди на войне братством живы, так-то...

— Выташшы, Миколай Васильевич! Ребятишки у меня, Зойка. Сам семейный... Всю жизнь... молиться всю жизнь... И эту... гадство это... спозаброшу... замолю... грех... молитвой жить... — Мохнаков хотел сказать: «Хватился, когда молиться», но Пафнутьев пискнул, захлебнулся и умолк — старшина туго-натуго притянул бинтами к паху его мошонку. «Чтобы не укатилось чего куда», — мрачно пошутил он про себя, взваливая на загорбок податливую, будто разваренную тушу солдата.

В траншее наладили носилки из жердей и плащ-палатки. Перед тем как унести Пафнутьева из окопа, влили ему в рот глоток водки. Он поперхнулся, открыл захлестнутые, плывущие жаром глаза, узнал Бориса, Карышева и Малышева.

— Простите, братцы! — Пафнутьев попробовал перекреститься, но его отвалило на носилки, и он заплакал, прикрыв лицо рукой. Кадык его, покрытый седой реденькой щетиной, ходил челноком.

Карышев и Малышев подняли носилки. Борис проводил их взглядом до низинки. Старшина чего-то недовольно бубнил, оттирая соломой гимнастерку и штаны.

Досадный был кум-пожарник Пафнутьев, притчеватый, как называли его алтайцы, и пострадал за него, притчеватого.

Доставив Пафнутьева живым до санбата, они, утомленные ношей, уже вечером благостно-теплым неторопливо возвращались на передовую, подходили к хутору, утратив осторожность.

Хлестко, но без эха ударил выстрел.

Карышев сделал шаг, второй, все с тем же ощущением в душе благости деревенского вечера. Не выстрел это, нет, с оттяжкой щелкнул бичом деревенский пастух, гнавший из-за поскотины, с первой травки, залежавшихся в зимних парных стайках коров. Ноги солдата, уже подламывались в коленях, но он все еще видел избы, тополя, резко очерченные в предсумерье, жиденькую, еще ненаспелую вечерницу-зорьку, слышал запах преющей стерни на пашне и накатисто волною плывущий из лога шорох молодой травы — ремень траншеи стегнул его по глазам, все вокруг стало на ребро, опрокинулось на солдата: дома, деревья, пашня, небо...

— Ку-у-у-ум! — дико закричал Малышев, подхватывая рухнувшего земляка.

— Западите! Западите! — ссаженным голосом кричал, спеша по траншее, Мохнаков.

Карышев и Малышев, опытные вояки, поняли его, запали в кочках, чтобы снайпер не добил их.

Пуля угодила Карышеву под правый сосок, искоренив угол гвардейского значка. Он был еще жив, когда его доставили в хуторскую избу, но нести себя в санбат не разрешил.

— Уби-тый я, — проговорил он, прерывисто схлебывая воздух.

Малышев старался подложить под голову и спину Карышева что-нибудь помягче, чтобы тому легче дышать, вытирал ладонью вспыхивающую на губах друга красную пену и все насылался:

— Попьешь, может, кум? Может, чего надо? Ты не терпи, ты спрашивай... — Губы Малышева разводило, лицо его было серое, лысина почему-то грязная, весь он сузился, исхудал разом, сделалось особенно заметно, какой он пожилой человек.

Борис махнул рукой, чтобы бойцы уходили из избы. Все, понурясь, ушли. Встав на колени перед Карышевым, взводный поправил солому под ним и затих, не зная, что сказать, что сделать. По хате поплыл тонкий, протяжный звук, будто из телефонного зуммера. Это Малышев за-

шелся в плаче, из деликатности стараясь придавить его в себе.

Карышев отходил. Он прижмурил глаза с уже округлившимися глазницами и открыл их, сказав этим лейтенанту «прощай», перевел взгляд на кума. Борис понял — ему надо уходить. Взводный распрямился и не услышал под собою ног.

— Моих-то, — прошептал Карышев.

— Да об чем ты, об чем... Не сомневайся ты в смертный час! — по-деревенски пронзительно запричитал Малышев. — Твоя семья — моя семья... Да как же мне жить-то теперича-а-а! Зачем мне жи-ить-то?..

Борис шагнул в пустоту, нащупал перед собою стойку или столб, уперся лбом в его холодную твердь и, ровно бы грозя кому, повторял: «Так умеют умирать русские люди! Вот так!»

В хуторе тихо. За хутором реденько и меланхолично всплывали ракеты, выхватывая мертвым светом из темноты кипы садов, белые, затаившиеся хатки, уткнувшиеся в небо утесами придорожные тополя.

— Преставился.

Борис прижал Малышева к себе и почему-то стал гладить его по голой, прохладной голове. Шумно работая носом, Малышев рассказывал, как жили они душа в душу с кумом до фронта: женились в один день, в колхоз записались разом. Бывало, гуляют, так кум домой утайкой волокется, а он, Малышев, дурак такой, орет на всю улицу: «Отворяйте ворота, да поширше!..»

Ночью, без шума, без лишней возни, под звездами схоронили Карышева, сделали крест из жердей, и последний приют алтайского крестьянина как-то очень впору пришелся на одичалом хуторском погосте, реденько заселенном разномастными крестами и камнями с непонятной вязью слов, придавившими чьи-то древние могилы. Кусты бузины клубились на закрайках погоста, низкий колючий терновник, уже набравший цвет, окаймлял его вместо ограды. С единственного старого дерева, стоявшего среди могил, шарахнулась в темноту зловеющая птица.

На этом же кладбище было еще три свежих креста с надетыми на них рогатыми касками. Малышев, возвращаясь в хутор, с глухим рычанием бросился на тополевые кресты, пустившие побеги, выворотил их, покидал за ограду, туда же пустил и ржавые каски. Они громко звякнули в темноте.

Замкнулся, умолк, совсем отделился от людей старшина. От висков, из-за ушей прострелили его лицо пучки морщин. Рот стянуло. Губы потрескались. Ходил он неловко, будто прихватывало морозом мокрые втоки. Спал мало, ел из своей посуды, чтоб не заразить солдат, бросил пить совсем, в земляной работе сделался немощен, курил беспрестанно, да военное дело выполнял с лютостью — искал смерти.

Но и смерть его сторонилась.

Раздобыл старшина чистое белье, новый вещмешок. Белье надел, вещмешок упрятал в ячейке. В мешке было что-то круглое. Бойцы думали, домашний каравай хлеба. Но разнюхали — противотанковая там мина. Зачем она старшине, гадали.

Не отбив сгоряча взятую дуриком у них высоту, немцы пытались малыми силами взять ее обратно и были отброшены. Тогда они подготовились к атаке тщательней, заскребли все, что осталось под рукой, и даже четыре танка бросили в атаку. Артиллеристы ударили по танкам, один повредили, остальные россыпью рванули по окопам, достигли высоты. Пэтээрцики, побухав из ружей по лобовой броне танков, пали на дно ячеек, носом в грязную землю. Танки навалились, утюжат траншею, и никакой на них управы нету. Старшина Мохнаков не отрывался от стереотрубы артиллеристов, хотя те и ругались, прогоняя его.

Окутанный пылью, резво брэнча левой ослабшей гусеницей, покачивая надульником пушки, лез к наблюдательному пункту бывалый танк. На лобовой броне его всплескивали царапины, пестрая краска отваливалась лоскутьями, свежий сизый шов электросварки тянулся от переднего люка к поддону.

Давно воюет этот танк, умелый в нем водитель, маневрирует смело, в пыль прячется, боков не подставляет. Такой танк за десяток машин наработает!..

Мохнаков надел вещмешок на спину, затаился в последний разок от толстой сигарки, притоптал окурок. «Запьяживай, паря!» — сказал себе и выпрыгнул из окопа. Он подпустил машину так близко, что водитель отшатнулся, увидев в открытый люк вынырнувшего из дыма и пыли человека. И старшина Мохнаков увидел опаленное лицо водителя в детской розовой кожице — бровей и ресниц у него не было. Горел водитель, и не раз горел.

Они глядели друг на друга лишь мгновение, но по пред-

смертному ужасу, мелькнувшему в водянистых глазах водителя, нетрудно догадаться было — немец все понял: русский солдат с тяжелым, ссохшимся лицом идет на смерть.

Танк дернулся, затормозил. Но Мохнаков уже нырнул под гусеницу, она вмяла его в прошлогоднюю запыленную стерню. От взрыва противотанковой мины старая боевая машина треснула по недавно сделанному шву. Траки гусеницы забросило аж в траншею.

А там, где ложился старшина Мохнаков под танк, осталась воронка с испепеленной по краям землею и черными стерженьками стерни. Тело старшины, пораженное заразной, неизлечимой в окопах болезнью, вместе с выгоревшим на войне сердцем разнесло, разбросало по высотке, туманящейся с солнечного бока зеленою.

В полевой сумке Мохнакова, оставленной на НП, обнаружались награды, приколотые к бязевой тряпочке, и записка командиру взвода. Просил его старшина позаботиться о жене и о детях. Адрес: «Райцентр Мотыгино, Красноярского края, улица... номер дома...»

Но через несколько дней командира взвода и самого ранило в правое плечо осколком мины. Он почти сутки еще просидел в земляной норке на изопревшей соломе, баюкая прибинтованную к туловищу руку, налитую синенькой краской и клейковато заблестевшую. Замениться нечем: старшины не стало, младших командиров выбило за весеннее наступление, Ланцова Корнея Аркадьевича будто бы в армейскую газету забрали, но солдаты поговаривали, что совсем его в другое место забрали за чернокнижье, за приверженность к Богу и вредным разговорам. Грешили на Пафнутьева — он, змеина, заложил человека. Из старых солдат остались во взводе Малышев да Шкалик.

Усталые, издерганные боями, вымазанные окопной глиной, солдаты, большей частью вернувшиеся из госпиталей или собранные по украинским селам, из-за распутицы питающиеся чем попало, привычно и безропотно вели свои будничные фронтовые дела, изредка заглядывая ко взводному в норку, не за распоряжениями, нет, а просто узнать — не надо ли чего ему?

Вечером дежурный по взводу сунул в щель котелок, оставил на тряпочке ржаную лепешку собственной выпечки. Борис прилепился к теплому ободку и частыми глотками отхлебывал кипяток, запроваленный лежалыми буря-

ками. Лепешка хрустела на зубах. Солдаты толкли прикладами прошлогоднее зерно и пекли лепехи на саперных лопатках. Через силу домалывал Борис зубами захлаватое, крупнодробленое, еле склеенное в лепешку зерно, заставляя себя изжевать ее всю до крошечки — солдаты оторвали от себя последнее, — уважать фронтовое братство он научился.

Промочив спекшееся горло остатками свекольного чая, он свернулся в сырой щели. Трудился какой-то жук-землерой, обывавший после холодов. Комочки сыпались Борису на лицо, закатывались в ухо.

Наутро неистребимый, заросший малопородистой бородой командир роты Филькин привел во взвод пополнение — человек пятнадцать солдатиков двадцать пятого года рождения и с ними младшего лейтенанта, только что прибывшего из уральского военного училища.

Борис распрощался со взводом, пожелал новому командиру с комсомольским значком на гимнастерке долгой жизни и дружбы с солдатами.

Филькин обнял взводного, бережно по спине похлопал.

— Я буду ждать тебя, Боря!

В дороге лейтенанта догнала повозка. На ней стоял, бойко мотая вожжами, Шкалик, отъевшийся в госпитале, очень всем довольный, особенно тем, что сумели солдаты раздобыть повозку — выбросили пустые ящики, столкнули наземь ездового и велели догонять раненого товарища командира.

С радостью забрался лейтенант в повозку, ткнулся лицом в мышами пахнущую солому. Его подбрасывало на выбоинах, катало по повозке, когда она заваливалась в глубокие, танками прорытые колдобины, но Борис все равно дремал, отупев от боли и усталости.

Шкалик, чмокая губами, шлепал кривоногую лошадь вожжами по бокам и все рассказывал, как они ловко заполучили повозку, как повозочный хватался за оружие, но потом, когда ему дали лепешек и чаю из буряков, а товарищ командир роты угостил легким табаком, повозочный утешился.

В грязном, размешенном логу повозка застряла. Борис попробовал помочь Шкалику, да силенок у того и у другого оказалось маловато. Шкалик крикнул: «Я чичас, товарищ лейтенант!» — и прытко побежал впереди лошади, дергая ее за узду.

Лошадь, скрипя колесами, пошла в объезд, миновала бочажину, затрещала кустами. Борис, уронив голову, сидел по другую сторону лога, навалившись на ствол ветлы, изорванной колесами. Внезапно ударило пламя, развалило все вокруг грохотом, за клубился кислый дым. Кашляя, давясь удушьем, взводный слепо ринулся в лог. Перед ним, ломая чашу, упало и покатилося колесо от телеги, из редеющего дыма выпадало и шлепалось в грязь что-то мягкое, ударяя в голову запахом парной крови и взрывчатки.

Шкалик был всегда беспечен. Но он-то, он, окопный командир, ванька-взводный, с собачьим уже чутьем, почему позволил себе расслабиться и не почувствовал опасности? Вон же они, рядом стоят, дощечки с намалеванным черепом — ограждение минеров. Что это с ним? Почему отерпло и притупилось в нем все, чем держится человек в этой жизни?

— Бедный, бедный мальчик! — сказал, а может, подумал Борис и потер распухшие зудящие веки. Не зная, что делать, постоял еще, оглядываясь по сторонам, словно бы запоминая это безлюдное, неприметное место, истерзанное колесами, воронками, и побрел лесом в санбат, надсаженный, полуглухой.

Больно ему было от раны, ело глаза окисью взрывчатки, но страдания в сердце не было. Привык. Ко всему привык. Притерпелся. Только там, в выветренном, почти уже пустом нутре, поднялось что-то, толкнулось в грудь и оборвалось в устоявшуюся боль, дополнило ее свинцовой каплей.

Нести свою душу Борису сделалось еще тяжелее.

В санбате оказалось народу густо. Офицеров на перевязку вызывали вперед. Но Борис по окопной привычке везде быть с солдатами забрался в очередь и все пропускал тех солдат, которые казались ему тяжелее его ранеными.

На стол он попал спустя сутки.

Неповоротливая и молчаливая медсестра не стала отмачивать ссохшиеся рыжие бинты, отодрала их, будто фанеру, с плеча Бориса, промокнула тампоном ударившую кровь из раны, дала ему белую таблетку, оглянулась воровато и сама съела такую же. Бориса начало укутывать кудельно-волокнистым сном, у сестры тоже затума-

нились глаза, губы ее сделались мокрые, сонно распяленные.

Врач в старомодных очках в позолоченной оправе, за которой остро и сердито мерцали влажные глаза, расшевелил Бориса, постукав по плечу кулаком, спросил, где отдается боль. Борис вяло сказал: «Не знаю», потому что боль отдавалась везде.

Врач озадаченно глянул на больного:

— Наклюкаться где-то успел, сердечный, — и потыкал в рану зондом.

Кровь потекла бойчее, защекотало струйкой спину, живот. Бориса понесло со стола. Ему сделали укол, потеряли виски нашатырным спиртом и разрежали плечо крест-накрест.

Через неделю, от силы через две — завершила лейтенанта старшая медсестра санбата — он снова будет в строю. Что-то тут не так: ранение в плечо простым не бывает, при нем ни тряхнуться, ни ворохнуть — болит все. Да пусть — не все ль равно, где валяться, лишь бы покойно было. Борис не горлопанил, не ругался, эвакуации не требовал, привыкнув к боли, лежал в палатке или ехал в санбатовской машине, смотрел в небо, и жалостный, устойчивый покой пеленал его младенческой полудремой.

В солнечный незнойный день, когда по лесу тянуло снегом, из логов, где еще серели обмылки сугробов, — талой водой и горьковато-медовым запахом цветущей ивы, Борис выполз из палатки в бельишке, зашитом на животе, бросил чиненое одеяло на землю, опустил на него. Он сидел, прислонившись к чешуйчатому стволу дерева, названия которого не знал.

Мирно ему было. Деловито жужжа, вспыхивая крыльями на солнце, полосами тянули пчелы, оседали на распустившийся ивняк. Ивы гудели, шевелились от пчел, казалось, курились они, разбрасывая искры по сторонам.

Под хмельное гуденье пчел, переклик пичужек, возившихся над головой, под трещание аиста, который ходил по полю, пьяно качаясь, замирая на одной ноге, пуская клювом очереди в небо, под умиротворенный весенний шум, совсем не похожий на буйство вешней Сибири, Борис задремал.

Он слышал все звуки, чувствовал, как холодит сквозь

одеяло еще только сверху отмякшая земля, токи ее слышал, рост нарождающейся травы и в то же время ровно бы ничего не слышал, ровно бы все, что происходило вокруг, откликалось не в нем, а в другом каком-то человеке.

Что-то легкое коснулось руки, защекотало ее. Борис разлепил глаза. По запястью ползла узорчатая бабочка и с серьезностью молодого фельдшера ощупывала усиками зашелушившуюся от мыла кожу.

Борис глядел, глядел на сторожкую бабочку и увидел черные крылышки на рукавах желтого платья, окно в морозных узорах...

— Лю-у-у-у-уся-а-а!

Бабочка сорвалась с руки, села на синеватую былку нераспустившегося цветка.

— Лю-у-у-у-уся-а-а-а-а-а?!

Бабочка прилипла к голотелому стеблю, похожему на бескровную человеческую жилу, дышала крыльями, готовая вот-вот взлететь.

— Больной, ты не видел Люсю?

Борис глупенько улыбался, уставясь на коротконогую женщину с новым цинковым ведром на сгибе руки.

— Повариху не видел, спрашиваю?

Он силился что-то понять.

— Ты чего, совсем уже ослабоумел? Повариху не помнишь, которая тебя каждый день по три раза столует?

Бабочка успела улететь.

— Ничего я не помню, — с досадою сказал лейтенант.

— Оно и видно. — Женщина покатила на коротких ногах к ручью, заорала еще громче: — Лю-у-у-у-уся-а-а-а! Куда тебя черти унесли?

«Люся, куда тебя черти унесли? — Борис ткнулся лицом в пахнущее больницей одеяло. — Лю-у-у-у-уся-а-а! Да была ли ты, Люся? Была ли?!»

Он грудью ощущал, как из земли равнодушно текло в него едва ощутимое дыхание, и тоска его, и слабый бунт — не помеха, не помога земле. Она занята своим вековечным делом. Она на сносях, готовится рожать и, как всякая роженица, вслушивается только в себя, в жизнь, шевелящуюся в недре. До него, выдохшегося человечешка, нет ей никакого дела — земля вечна, он мимолетный гость на ней.

На очередном обходе главный врач санбата осмотрел Бориса, поворачивая его то передом, то задом, постучал

кулаком под правой лопаткой и, заметив, что лейтенант сморщился, сурово спросил:

— Болит?

Борис опустил голову:

— Болит.

Врач через очки бодуче смотрел на него, торопливо свертывая кровянисто-багровые жилы фонендоскопа на руку:

— Подзадержались вы у нас, подзадержались...

Борис уловил в голосе врача неприязнь и плохо спрятанное подозрение. Послышалось угодливое хихиканье той самой санитарки коротконогой, что искала повариху Люсю.

— У нас тут не курорт, у нас санбат! У нас каждое место на счету... — напористо заговорила старшая сестра, святоликая женщина с милосердными глазами, так опрометчиво определившая лейтенанту две недели на излечение, а он вот не оправдал ее надежд, лежит и лежит себе.

Распятый на казенной койке ранбольной Костяев Борис беспомощно и жалко улыбался. На его глазах однажды веселый сибирский пареван добывал гаечным ключом подраненную утку. Борису даже почудилось, что он слышит тупой, смягченный пером удар по хрусткому птичьему черепу. Вот ведь беда — утка еще эта несчастная в памяти воскресла!..

Да-а, выходит, он занимает чье-то место, понапрасну жрет чей-то хлеб, дышит чьим-то воздухом, запросто живет и живет, тогда как настоящие нужные люди сражаются, умирают за него и за Родину.

Сдерживая занявшуюся ярость, Борис негромко сказал:

— Так выбросьте меня... на помойку.

Сестру, избалованную лестью, властью и мужицким вниманием, передернуло.

У врача смятенно забегали глаза. Немолодой, заезженный войной врач этот побаивался старшей сестры по известным всем в санбате причинам. Не одного еще такого мямлю-мужика обрабатывает такая вот святоликая боевая подруга. Удобно устраиваясь на жительство, разведет его с семьей, увезет с собою в южный городок, где сытно и тепло будет жить, сладостно замирая сердцем, вспоминать будет войну, нацепив медали на вольно болтающуюся грудь, плясать и плакать на праздничных площадях ста-

нет да помыкать простофилей-мужем будет еще лет десять-двадцать, пока тот не помрет от надсады и домашнего угнетения.

— Я не хочу вашего двоедушного милосердия! — глядя прямо в надменный лик сестры, отчетливо произнес Борис и, вовсе уж задушенный яростью, добавил: — Уходите! Иначе я сорву с себя ваши бинты...

— Попробуй! — начала старшая сестра.

— Уходите!..

Врач, умоляюще глядя на старшую сестру, теснил следовавшую за ним челядь.

— Успокойтесь, успокойтесь!..

— Привязать этого героя к койке! Сделать укол! — громко, чтобы слышно было раненым в других палатках, объявила старшая сестра.

«Господи! Это — женщина?!» — чувствуя, как опадает гнев, опустошенно спрашивал себя Борис.

— Вот достукался!.. — проворчал кто-то из раненых. — Через тебя и нам жизни не даст эта пэпэжэ в белом халате.

С Бориса сдернули одеяло. Дежурная сестра наполненным шприцем целилась в него, сжимая в пальцах левой руки смоченную ватку. Лейтенант покорно подставил себя под укол.

— Не надо привязывать. Пожалуйста...

Украдкой прикрыв его одеялом, дежурная сестра громко сказала в приемной палатке, что все она исполнила, как велено было. Так-то, мол, оно надежней. Распустились, понимаешь, эти раненые, спасу нет.

Уже отмякший от укола, слипающимся сознанием Борис отметил: «Да-а, и это тоже женщина!..»

Проснулся он вялый, обессиленный. На улице крапал дождь, цыпушкой поклевывая палатку. Дальний шум леса слышался, шуршание ползущего по оврагам снега, голос куличихи.

Поздней ночью в палатку завернул врач. Был он в шинели, в пилотке, осевшей до ушей. Голенища сапог на нем глянцевито блестели, к мокрым передкам пристали прошлогодние истлевшие листья. Отчего-то все обостренно видел и слышал после нервной вспышки Борис.

— Не спите? — убрав полу серой шинели, врач присел на кровать лейтенанта, протер очки и объявил сухо: — Я назначил вас на эвакуацию. У вас началось обостре-

ние. — После долгой паузы он покривил губы в беловатых шрамах: — Души и остеомиелиты в полевых условиях не лечат. — И грустно добавил: — А милосердие, надо вам заметить, всегда двоедушно! На войне особенно!..

Врачу хотелось поговорить, но Борис отчужденно молчал, дожидаясь, когда он уйдет. Дождь сгущался, стучал по палатке монотонно, однозвучно, усыпляюще.

— Развезет дорогу совсем, — вслух подумал врач и встал, горбясь в низкой палатке. — Вот что я вам посоветую: не отдаляться от людей, принимайте мир таким, каков он есть, иначе вас раздавит одиночество. Оно страшнее войны.

На улице врач постоял. Донесло щелчок фонарика, вздох, и мягкие расползающиеся шаги поглотила ночь.

Совсем хорошо сделалось в палатке, покойно. Дождь и дыхание спящих раненых уплотняли этот покой. Борис смежил глаза, притих в себе.

Жажда жизни рождает неслыханную стойкость — человек может перебороть неволю, голод, увечье, смерть, поднять тяжесть выше сил своих. Но если ее нет, тогда все, тогда, значит, остался от человека мешок с костями. Потому-то и на передовой бывало: даже очень сильные люди вроде бы ни с того ни с сего начинали зарываться в молчание, точно ящерицы в песок, делаться одинокими среди людей. И однажды с обезоруживающей уверенностью объявляли: «А меня скоро убьют». Иные даже и срок определяли — «сегодня или завтра».

И никогда, почти никогда не ошибались.

В вагоне санпоезда Борису досталась средняя боковая полка, против купе сестры и няни, занавешенного латаной простыней. Сестра и няня, две заезженные поездом девушки, ставили градусники утром и вечером, разливали в своем купе похлебку, накладывали кашу, разносили посуду с горлышками, утешали раненых как могли. Общительная, необидчивая, терпеливая ко всему няня по имени Арина пыталась разговорить и Бориса, но он отвечал односложно, выжимая при этом извинительную улыбку. Арина отступилась от него, переметнувшись на более разговорчивых ранбольных.

Когда дрема покидала Бориса, он поворачивал голову к окну и видел, как пахут землю на быках, на коровах женщины, как они сеют по-старинному, из лукошка, пе-

вучим взмахом руки разбрасывая зерно. Трубы печей и скелеты домов виднелись среди полей, перелесков.

Потом пошли среднерусские деревни с серыми крышами, серой низкой городьбой из тонкого частокола или из неровного и невеселого серого камня. Лоскутья озими подступали к стенам скособоченных изб. Здесь уже, реденько правда, бегали тракторы с сеялками, лошади, опустив головы до борозды, тянули плуги и бороны.

Вечный труд шел на вечной и терпеливой земле.

Борису вспомнилось где-то и когда-то услышанное: «Только одна истина свята на земле — истина матери, рождающей жизнь, и хлебопашца, вскармливающего ее...»

Внизу под Борисом лежал худющий пожилой дядька, перепоясанный бинтами, словно революционный моряк пулеметными лентами. Он закоптил лейтенанта табаком, кашляя беспрестанно, с треском сморкался в подол казенной рубахи. Измаявшись лежать на брюхе, попросил дядька перевернуть его на бок. Арина перекатила мослы раненого по полке. Он отстонался, отругался, глянул в окно и ахнул:

— Весна-а!.. Батюшки, тра-авка! А земля-то, земля! В чаду вся! Преет. Гриб в назьме завелся. Хорошо!.. Ой, пигалица, пигалица! Летат, вертухается! Батюшки! И грач, и грач! По борозде шкандыбает, черва ишшет, да сурьезный такой... Нашел! Наше-ел! Рубай его, рубай! Х-хосподи...

Дядька затрясся, заплакал и сделался с этого дня малахольненьким. Суп ел торопливо, проливая на подушку и простыню, остатки выпивал через край. Кашу, хлеб заглатывал заживо и снова прилипал к окну, хохотал, высказывался:

— И тут на коровах пашут. Захудала Расея, захудала. Вшивец-Гитлер до чего нас довел, мать его и размать!..

— Отец-ец! Оте-е-ец! — остепеняли дядьку соседи. — Сестра и няня здесь, женщины все-таки.

— А я чё? Рази изругался? Вот мать твою ети...

Потешались над мужиком раненые. Он не обижался, балаболит, вертелся на койке, кадил махоркой и заметно шел на поправку.

— Скоро я, скоро, бабоньки! — кричал дядька в окно вагона, будто бабы, согнувшиеся над плугом, могли его слышать. — Вот оклемаюсь в лазарете и на пашню, на па-а-ашню! — Слово «пашня» он прямо-таки выстанывал. Дядька и Борису давал бодрый совет:

— Ты, парень, не скисай! Имайся за травку-то, имайся за вешнюю. Она вытащит. В ей, знаешь, какая сила. Камень колет! А это кто же, а? Кто же это?! Клюв-то кочергой?

— Кроншнеп это.

— Зачем птицу немецким словом обозвали, туды вашу мать? Кулик это! Кулик, и все!

— Ну кулик, кулик. Не лайся, ради Бога!

— А рази я? Все! Все! Теленок-то, теленок-то. Взбрыкивает. Женить бы тебя, окаянного!..

Так вот и ехали под стук колес, под говор дядьки. Затемненные станции остались под Москвою. Реденько прокалывали ночь огоньки российских деревень, набегали россыпью станционные фонари, вспышки их за окном были похожи на разрывы зенитных снарядов. Стук колес напоминал перестрелку, буханье вагонов по стыкам — разрывы бомб.

К звуку колес, к стуку, к углу, к бряку лейтенант скоро привык, поезд для него тоже онемел. Он смотрел на мир как бы уже со стороны. «Зачем все это? Для чего? Ну что он, вот этот мужичонка, радующийся воскресению своему? Какое уж такое счастье ждет его? Будет вечно копаться в земле, а жить впроголодь, однажды сунется носом в эту же землю. Но, может, в самом воскресении есть уже счастье? Может, дорога к нему, надежда на лучшее — и есть то, что дает силу таким вот мужикам, миллионам таких мужиков».

Слезливость напала на лейтенанта. Он жалел раненых соседей, бабочку, расклеенную ветром по стеклу, срубленное дерево, худых коров на полях, испытанных детишек на станциях.

Плакал сухими слезами о старике и старухе, которых закопали в огороде. Лиц пастуха и пастушки он уже не помнил, и выходило: похожи они на мать, на отца, на всех людей, которых он знал когда-то.

Раз Борис оживился, услышав, как под окном вагона осмотрщик кроет всех на свете, не выбирая выражений. Стучит молотком по крышке буксы и кроет, по-чалдонски растягивая букву «е». Нахлынуло: пристань, пропахшая соленым омулем, старая дамба, березы над нею, церкви с кустами на куполах, крестики стрижей в небе.

— Земля-ак! Землячо-о-ок! — сипло позвал Борис.

Арина, спавшая в купе, подняла голову от стола, вы-

терла губы косынкой, подошла к Борису, приложила ладонь на его лоб.

Губы лейтенанта светились, будто наляпанные алой краской на желтом картоне; глаза начищенно блестели, горя последним накалом; губы поплясывали — никак он не мог согреться, хотя температура держалась у него высокая.

— Чем же тебе помочь, не знаю, — прошептала Арина и, что-то надумав, засуетилась, сбегала в топку вагона, налила в грелку воды, услужливо присунула ее к ногам.

— Спи, миленький. Злосчастный ты, видать, уродился. Все люди как люди, а тебя что-то гнетет. — Арина похлопала по одеялу, байкала его, как малое дитя, но убаюкалась сама. Губы ее приоткрылись, веки беспокойно подрагивали во сне. Доверчивостью веяло от этой девушки с приплюснутым носом, с соломенно прямыми волосами, выбившимися из-под косынки на лоб.

Ничем не походила на Люсю эта простенькая из простеньких станичная девушка, но все-таки она приблизила к нему образ той женщины, которую память не удержала, сохранив лишь глубокие, невзаправдашно красивые глаза и ночной пожар за окном, да еще и дыхание теплое-теплое и слова, смысл, которых постиг он позднее: «Вот и помогла я фронту».

До конца не понятая, до конца не увиденная женщина больной тоской остановилась в нем, и тоска эта красной корью испекла его душу. «Я тоже маленько помог фронту».

Выпростав руку из-под одеяла, Борис с любопытством притронулся к Арине.

— Вот уходилась — стоя сплю! — испуганно отпрянула Арина.

— Ты минуточку-две и спала всего.

— А-а. Как птичка Божья — ткнулась, и готово. Ты, оказывается, разговаривать умеешь! Какая печаль-то у тебя?

— Не знаю. Ничего не знаю. Просто тут, — показал на грудь Борис, — выболело... — Мелкий кашель встряхнул его, защекотало нутро.

Арина попила лейтенанта из кружки. Кашель унялся, но дыхание его рвалось.

— Ладно, молчи уж, молчи, — сказала няня, укрывая лейтенанта. — Кашель-то какой нехороший.

На большой дымной станции, где сдавали работники

санпоезда белье, запасались продуктами, топливом и разным другим снаряжением, Борис вышел из забытья еще раз, услышав музыку, доносившуюся с крыши насупленного, темного от копоти вокзала. Он напрягся. Чумазый вокзал с облупленными стенами, черные грязные пути, грачи на черных тополях, и вагоны, и дома незнакомого города, раскиданные по пригоркам, и люди с голодной тупостью в глазах, — все начало окрашиваться в сиреневый цвет. Погружаясь в него, молодец, обновлялся, делался приглядней мир, а из станционного дыма вдруг явилась женщина с фанерным чемоданом, та единственная женщина, которую он уже с трудом, по глазам только и узнал, хотя прежде думал, что в любой толпе, среди всех женщин мира смог бы узнать ее сразу.

Женщина смотрела в окно санпоезда, встретила взглядом с его глазами. Дрогнуло лицо ее — она шагнула к поезду, но тут же отступила назад и уже без интереса пробежала взглядом по другим окнам, другим поездом.

Сила, ему уже не принадлежащая, подбросила Бориса. Арина о чем-то спрашивала лейтенанта, тряся его, а он тянулся к окну вагона, мычал и от усилия закашлялся. Музыка он уже не слышал — перед ним лишь клубился сиреневый дым, а в загустевшей глубине его плыла, качалась, погружалась в небытие женщина со скорбными глазами Богоматери.

Очнулся он от прохлады.

Шла весенняя гроза. Толчками, свободно дышала грудь, будто из нее выдувало золу, сделалось сквозно и совсем свободно внутри.

Весенняя гроза гналась за поездом, жала молний втыкались в крыши вагонов, пузыристый дождь омывал стекла. Впереди по-ребячьи бесшабашно кричал паровоз. В пристанционных скверах, мелькавших мимо, беззвучно кричали грачи, скворцы шевелили клювами.

Сердце лейтенанта, встрепенувшееся от грозы, успокаивалось вместе с нею и вместе с уходящими вдаль громами, билось тише и реже. Поезд оторвался от рельсов и плыл к горизонту, в народившийся за краем земли тихий, мягкий мрак.

Не желая останавливаться, сердце еще ударило раз другой в исчахлаю, жестяную грудь и выкатилось из нее, булькнуло в бездонном омуте за окном вагона.

Тело Бориса Костяева выпрямилось, замерло.

Под опустившимися веками еще какое-то время тайлась багровая широкая заря, возникшая из-под грозовых туч. Свет зари постепенно сузился в щелочку, потом сысподтихла и заря остыла в остекленевших зеницах.

Утром Арина подошла умывать Бориса, он лежал, сморщив рот в потаенной улыбке. Арина попятилась, закричала, уронила кувшин с водой, бросилась бежать по вагону и торкнулась в тамбурное стекло, забыв повернуть ручку двери.

Покойного перенесли в хозвагон, поместили в холодильное помещение. Прикрытый палаткой, среди полениц дров, среди ящичков, старых носилок и прочего скарба ехал он целую ночь по степи. Потом еще ночь, еще ночь — мертвого не могли сдать, с мертвым возни даже больше, чем с живым раненым. В безлесом южном Приуралье, на глухом полустанке мертвого выгрузили, оставили при нем Арину, чтобы она похоронила покойного лейтенанта по всем человеческим правилам и дождалась санпоезда обратным рейсом.

Покойник оказался и в самом деле несуразным: выгрузился в таком месте, где нет кладбища. Если кто умирал на полустанке, его отвозили в большое степное село. Начальник полустанка сказал, что земля в России повсюду своя, сделал домовину из досок, снятых с крыши старого пакгауза, заострил пирамидку из сигнального столбика, отслужившего свой век. Двое мужчин — начальник полустанка и сторож-стрелочник, да Арина отвезли лейтенанта на багажной тележке в степь и предали земле.

Закончив погребение, мужчины стянули фуражки, скорбно помолчали над могилой фронтовика. Арина, пронзенная печальной минутой, винась за бедный похоронный обряд, горестно покачала головой:

— Такое легкое ранение, а он умер...

Люди собрали лопаты и ушли, толкая впереди себя тележку. Арина все оглядывалась, ровно бы на что еще надеясь, утирала глаза рукой, измазанной землею.

Но ничего этого также не было и быть не могло.

Санпоезд, вырвавшийся в степные просторы, мчался на восток почти без остановок, сгружая на больших станциях больных с обострившимися ранениями. Ростов-на-Дону, Краснодар, станица Тимашевская, Балашов — всю-

ду госпиталя переполнены — война шла уже долго. В стационарных госпиталях скопились «отстойники», больные с трудноизлечимыми ранениями, и, хотя их комиссовали недолеченными домой, для дальнейшего лечения по месту жительства, пачками отсылали в нестроевые части с «остаточными явлениями», случалось — и на фронт, в действующую армию сплавляли с сочащимися ранами, со свищами, припадками — все равно госпиталя оставались перегруженными.

В Саратове взяли самых тяжелых больных, подзарядили санпоезд топливом, продуктами, медикаментами — погнали по новому адресу, в город Джамбул, намекнув, что в Джамбуле тоже могут раненых не принять.

Главсанупр не один этот поезд гонял по городам и весям огромной страны, надеясь на сознательность и патриотизм советских людей. Все равно где-нибудь да сжалятся, разбросают больных там-сям, разместят сверх всякой нормы, растычут по коридорам, подсобным и служебным помещениям, разделят лекарства, которых и без того катастрофически недостает, сварят суп и кашу пожиже, будут сутками стоять хирурги возле операционных столов, спасая загнивших в долгом пути раненых людей, будут медсестры и няни падать от свехусталости.

Потом деятели санупра отчитаются перед главным командованием, хорошо и умело отчитаются, их похвалят и наградят...

...Была в очередной раз проявлена находчивость.

Где-то, кто-то в безлесной степи вытащил из буксы мазутные тряпки, букса вспыхнула, ось колеса начало заклинивать, санпоезд ткнулся на каком-то безвестном полустанке, где и заправлена была букса, и поезд помчался дальше, пугая гудком немую степь, мелькая белыми занавесками и крестами, соря искрами из патрубков вагонов, клубя и расстилая по равнине тревожный черный дым паровоза.

А в мрачном товарном вагоне, отцепленном и брошенном на полустанке еще в начале войны эвакуированным с запада на восток предприятием, остался лейтенант Борис Костяев. Его подкинули, нечаянно забыли. Поскольку все деревянное в вагоне было выдрано и унесено, хозяйственники санпоезда расщедрились и оставили покойного на списанных носилках, поставив их на железную раму вагона.

Мертвый уже пахнул, в степи протяжно завывали волки

и ночью пришли на полустанок, окружили старый вагон в тупике.

Начальник полустанка догадался, в чем дело, — не первый раз такое случалось, подкидывали в брошенный вагон, да и на ходу выбрасывали из поездов заключенных, эвакуированных, воров, картежников, детей, женщин, больных стариков — все в той же надежде, что советские люди проявят сознательность, подберут трупы. Умные звери — вечно голодные волки тоже знали об этом, везде чуяли поживу и, случалось, опережали людей.

Матерясь, кляня войну, покойника и злодеев, его подкинувших, начальник полустанка со сторожем завалили начавший разлагаться труп на багажную тележку, увезли за полустанок и сбросили в неглубоко вырытую ямку.

Поскольку с покойного взять было нечего и помянуть его нечем, пьяница-сторож тоже проявил находчивость и снял с покойника белье. Променив белье на литр самогонки, сторож тут же и опорожнил посудину. Захмелев, он, как и полагается русскому человеку, разжалобился, выгесал из ручки санитарных носилок подобие столбика или пирамидки, сходил к безвестной могиле безвестного человека и спьяну, спутав ноги с головой, вбил топором свое изделие в глиняные комки в головах покойного.

Постоял сторож над могилкой, попробовал перекреститься, да забыл, откуда начинать класть крест, высморкался, вздохнул и поковылял в стрелочную будку, маячившую на исходе полустанка, где он жил и изредка исполнял обязанности стрелочника, да неизвестно кого и чего сторожил.

Могильный холмик скоро окропило травой. В одно дождливое утро размокшие комки просек тюльпан, подрожал каплею на клюве, открыл розовый рот. Корни жилистых степных трав и цветов ползли в глубь земли, нащупывая мертвое тело в неглубокой могиле, уверенно оплетали его, росли из него и цвели над ним.

...И, послушав землю, всю засыпанную пухом ковыля, семенами степных трав и никотинной полыни, она виногато сказала:

— А я вот живу. Ем хлеб, веселюсь по праздникам. — Низко склонившуюся над землею седую женщину с уже отцветающими древними глазами засыпало порошей семян. Солнце клонилось за горбину степи, все так же катила небо заря, и, слушая степь, она почему-то решила, что он умер вечером.

Вечером так хорошо умирать.

Закат неторопливо погас. Сок его по жилам трав скатился в землю. Сухо и чисто зашелестела степь. Скакало что-то на мохнатых лапах, то западая, то выпрыгивая на чуть уже заметный свет. Это вырвало и гнало ветром куст до тех пор, пока он не упал в дотлевающий костерок зари.

— Господи! — вздохнула женщина и дотронулась губами до того, что было могилой, но уже срослось с большим телом земли.

Костлявый татарник робкой мышью скребся о пирамидку. Покой окутывал степь.

— Спи! Я пойду. Но я вернусь к тебе. Скоро. Совсем скоро мы будем вместе... Там уж никто не в силах разлучить нас.

Она шла и видела не ночную, благостно шелестящую степь, а море, в бескрайности которого качалась одиноким бакенем острая пирамидка, и зыбко было все в этом мире.

А он, или то, что было когда-то им, остался в безмолвной земле, опутанный корнями трав и цветов, утихших до весны.

Остался один — посреди России.

РАССКАЗЫ

•

СТАРАЯ ЛОШАДЬ

— Стоит? — спросил сержант Данила у разведчика Ванягина, дежурившего возле стереотрубы.

— Стоит, — глухо ответил Ванягин, уступив место на чехле от стереотрубы сержанту Даниле — командиру отделения разведки.

Отделенный долго и сосредоточенно обозревал окрестности, затем остановил зоркие глаза прибора на одном месте.

— Скажи ты на милость, — заговорил он, раздраженно хлопая себя по карманам в поисках курева. — Три дня стоит! — и в голосе его просквозила жалость.

Ванягин вздохнул:

— Три дня... — и дал ему прикурить.

Они курили, яростно затягиваясь горькой махоркой, и молчали. Но и так понимали друг друга, оттого, что думали об одном и том же, хотя были разными людьми. Сержант Данила был в годах. Среди молодых, скорых на слово и ловких разведчиков он выглядел чужевато, смущался тем, что находится не у места, и два раза в году просился на обыкновенную службу, к обыкновенным пехотинцам.

Ванягин был из рабочих, специалист по шлифовке паровозных бронзовых вкладышей. На сержанта Данилу он походил только волосом — оба рыжие, да еще тем, что во время работы не любил разговаривать. К этому приучило его тонкое шлифовальное дело.

Он-то первый и назвал сержанта дядей Данилой, за что получил взыскание от щеголеватого комбата и полдня

спал без обмоток в глубокой щели, называемой «губой», куда принесли для него соломы дисциплинированные солдатки.

То ли понравилось Ванягину на «губе», то ли был он упорным человеком, но наказание не пошло ему впрок, и вопрос чинопочитания он решил по-своему — стал звать отделенного сержантом Данилой. Звание это разошлось по всему полку.

И тут уж ни комбат, ни кто другой не в силах были что-либо сделать.

Цигарка накалила нготь, затрещала в пальцах, и сержант Данила кинул ее под каблук.

— Как ты думаешь? — хриловато спросил он и прокашлялся. — Как, говорю, думаешь, долго она еще? — и кивнул головой в сторону нейтральной полосы.

— Кто ее знает, — пожал плечами Ванягин. — Они ведь живучие попадаются.

Сержант Данила на секунду прислонился к стереотрубе и опять полез за кисетом:

— Все стоит, все стоит...

На нейтральной полосе, среди бородавчатых, засохших кочек вот уже третий день стояла раненая лошадь. Стояла неподвижно, опустив голову. С дряблых, полуоткрытых губ ее тянулась кровавая слюна. Когда на нее смотрели в стереотрубу, она почти вплотную подвигалась к окулярам, и в большом глазу ее можно было заметить тупую боль, тоску и недоумение.

Земля поддерживала ее. Та земля, на которую она ступила когда-то белолобым жеребенком, приветствуя мир радостным, переливчатым голосишком. Когда ноги у жеребенка сделались резвыми и струйка гривы потекла по гибкой шее, он принялся покусывать круп матери и гонять молодых кобылиц. Когда он вырос, его стали запрягать. Он взвивался на дыбы и протестующе закричал, когда завели его первый раз в оглобли. Но в оглоблях, да еще с удилами во рту, трудно протестовать, и он побежал, а потом побрел по дороге, убегающей вдаль, к горизонту.

С тех пор ему всегда казалось, что там, у края земли, конец дороги, и он довезет тяжелую поклажу и увидит что-то неведомое.

Выпадали дни, даже целые недели, когда отпускали конягу спутанную на волю, и она култыхала одна себе по

прохладной траве, в прохладной темноте и слушала голос дергача.

Конюх водил ее на водопой к речке, и она долго, смачно тянула воду губами, а человек длинно посвистывал ей, может быть, думая, что под мерный и тихий свист коню слаще пьется.

Менялись поклажи: лес, дрова, сено, кирпичи, мешки, водовозная бочка, а дороге не было конца. Она вела конягу и вела, и вот привела туда, где грохот, сутолока, крики.

Сперва коняга прыдала ушами, пятилась и храпела, рвала со страха постромки. Ее то гоняли во весь дух люди с вытаращенными глазами, то заставляли шагать тихонько, с ленцой, убаюкивая длинной, как дорога, песней.

Однажды ее впрягли в повозку вместе с двумя молодыми, горячими лошадьми. Их гнали прямо по подсолнечнику, кукурузе.

Было дымно и жарко.

Молодые лошади скакали по бокам и на ходу хватили сочные побегов кукурузы и глотали их, захлебываясь слюной. А коняга не могла. Ноги слабели, заплетались, делались непослушными.

Та лошадь, что бежала справа, вдруг упала и взбила пыль ногами, а другая раскачивалась и сипло дышала, выворачивая мягкие ноздри, из которых ключами била кровь. И эта лошадь упала и потянула за собой старую конягу. Она шире расставила ноги, уперлась. Ее душила упряжь, но она не хотела падать.

С повозки поднялся человек, вынул нож, обрезал постромки. Дышать сделалось легче. Человек погладил ребра коняги, ободьями выступавшие на боках:

— Ну, милый, только на тебя надежда, выручай!

И старая коняга, видно, поняла человека, напряглась и потянула повозку дальше от грохота, сумятицы, воплей. Там, где попадались борозды или воронки, лошадь ступала осторожно, однако повозка все равно накренивалась, и с нее неслись стоны и ругань. Наконец, лошадь подсмотрела лесную дорогу и свернула на нее.

Возле палаток с красными крестами коняга остановилась, расслабила мускулы, задумчиво опустила голову.

Раненых унесли. Не ожидая, когда ее хлестнут и погонят, коняга отошла в сторону и принялась выстригать из

мятых кустов переросший пырей крупными, наполовину съеденными зубами.

Вскоре и ее зацепило. В бок тупо шибануло. Она ринулась было, но повозки сдвинуть не смогла. Еще раз рванулась, словно бы не поверив тому, что произошло, и почувствовала слабость в ногах и горячую боль внутри.

Это случилось на высохшем болотце. Здесь еще с весны остались отпечатки следов птиц, и рос небольшой пучок лабазника. Сгоряча она объела его, по давней привычке с толком используя остановку, но белый душистый цвет лабазника лишь обнюхала.

Пошумел, пошумел на нее с повозки прихрамывающий на одну ногу солдат, потом с кряхтением обошел вокруг, покачал головой. Сказав: «Когда эта война только и кончится?» — он снял с лошади хомут.

Вечером он привел другого коня, надел на него хомут. Потник на хомуте был вытерт до блеска шеей старой коняги.

— Отвоевался, трудяга! — тихо молвил повозочный и ушел, потрогав ее на прощанье за спутанную гриву.

Так она и осталась на поле одна, всеми брошенная, никому не нужная. Запах лабазника щекотал в ноздрях. Ей виделся прохладный лес и за ним волнующееся море овса, которого она давно уже не едала досыта.

До самой ночи она еще чего-то ждала, а затем, судорожно дергаясь, как спутанная, двинулась неизвестно куда. Ей хотелось к людям, но кругом было темно, и глаза тоже застилала темень. Природное чутье изменило ей, и она, выбившись из сил, остановилась. Она не заржала, а только робко зашелестела губами.

Никто не отозвался, никто не пришел на ее призыв. Так стояла она между двумя враждебными мирами, в самом центре войны. Она будто знала, что если упадет, то больше никогда не поднимется и не увидит той дороги, что звала ее вперед и обещала что-то...

Сержант Данила еще раз кинул сигарку под каблук и еще раз глянул в стереотрубу, должно быть на что-то надеясь.

— Хотел сам — рука не поднимается... — он опустил голову и после продолжительного молчания произнес: — Крестьяне бить лошадей могут вожжами там либо кнутом, но убивать — нет, потому он, конь, — работник.

Так длинно и с неловкими намеками он еще никогда не разговаривал.

— Конечно, конечно, — будто ничего не понимая, заторопился Ванягин. — Без коня у вас никуда. — И замолк, потому что сержант Данила поднял голову и пристально взглянул на него. Он мог бы приказать Ванягину, но не приказывал.

Ванягин не выдержал взгляда сержанта и опустил глаза. Лицо его сразу сделалось виноватым, будто у напроказившего парнишки.

— Скоро смену пришлю.

Ванягин слышал, как осыпалась земля с бруствера. Траншей для сержанта Данилы всегда были узкими. «Слава Богу», — облегченно подумал Ванягин, когда шаги сержанта Данилы затихли и стало ясно, что отделенный не вернется.

Еще никогда не тянулось так мучительно время на дежурстве, как в эти три дня.

Сменщик, Яшка Голоухин, побывавший в тылу врага с десантом и считающий, что ему теперь все нипочем, ввалился в ячейку с шумом:

— Артпривет наблюдателю! Дежури́м! Много точек засек?

— Одну.

— Маловато.

Он, не садясь, припал к окулярам стереотрубы, повертел колесико и засмеялся:

— Вот это я понимаю — советский конь! Стоит на виду у фашистов и показывает непоколебимость. Если, мол, умру, так стоя!..

— Ну ты, звонарь! — неожиданно замахнулся на него Ванягин.

— Ты чего? — попятился Яшка от Ванягина, разом пришедшего в свирепость.

— Ничего! — гаркнул Ванягин и, схватив карабин, вымахнул из окопчика.

Ползти было трудно — укрытий никаких. Ванягин плотно прижимался к земле, а потом понял, что это бесполезно, поднялся и пошел неторопливо и даже как-то задумчиво, словно бы на прогулке.

— Срежут! Псих ненормальный! — заорал Яшка, когда наконец пришел в себя.

Но Ванягин дошел до коняги, приложился и выстрелил ей в голову.

Старая коняга качнулась, узловатые, надсаженные колени ее надломились, и она рухнула на землю. Судорога пробежала от шеи до задних ног ее, и она вытянулась, протяжно, с облегчением вздохнув в последний раз.

Ванягин со злостью выбросил дымящуюся гильзу и пошел обратно.

Лошадь та снится Ванягину и по сей день...

ДИКИЙ ЛУК

Тих и задумчив заполярный Енисей в безветрие. Неукротимо свиреп в северный навальный ветер, от которого губительно быстро прибывает вода и кудлатятся, жмутся к земле сухопарые лиственницы, редколапые кедры, болезненные березки. И все тогда: деревья, кусты, люди поворачиваются к ветру спиной. И Енисей покрывается белыми лоскутьями волн.

От северного ветра наволочная — низкая — сторона вся в длинных ступенях. Начинаются они у далекого леса и спускаются к самой воде. Гуляла крутая волна в весеннее половодье, била в берег, подмывала его, гладила-выравнивала осыпь — получилась первая, верхняя, ступень. С разгаром лета спадала вода. Но вот взыграл северный ветер, и вздыбленные волны закладывали в береговой круче новый уступ. В межень оголялись пески, и волны уже не достигали ступеней. Они долго, тонко расстилались по песку, перекатывая гальку, подшибая куликов, плишек и чаек, которые тут пасутся, ожидая, когда волна вынесет ерша, гальяна или другую какую рыбешку-раззяву.

На другом берегу валами лежит камешник, образуя мысы. С крутых яров, прошитых корнями, упали лиственки, березки. Лежат вниз вершинами, и все же некоторые и в таком положении умудряются взяться зеленою. Гнуса тут спасается от ветра — тучи.

На каменной стороне уже с берега начинается темный лес и сразу, как только поднимешься на яр, видны

проплешины тундры. Седой ягельник, усыпанный морошкой и брусникой, как резиновый, скрипит под ногой и по нему — без конца реденький березник, на котором черного больше, чем белого, и моху на ветвях больше, чем листьев.

Неприветлива каменная сторона.

Зато не нарадуется глаз, когда глянешь на наволочную! От самых песков, до такого блеска промытых, что на них даже смотреть больно, начинается трава, сначала редкая, мелкая, а потом выше, гуще, и дальше — кустарники, да такие, что кулак не просунешь. В кустарниках — множество озер. Почти все они сообщаются между собой с половодья оставшимися горловинами. Здесь гнездуются утки и гуси.

А по берегу растет дикий лук. И не какой-нибудь хиленький лучишко, что выклеывается на каменных бычках в верховьях Енисея. Нет, здесь лук как огородный батун, и бывает его столько — хоть литовкой коси.

До войны, когда огороды в Игарке были только опытные, сильно выручались этим луком жители Заполярья. А нынче не то. Ныне настоящий, огородный лук растет в Игарке, да и завозят его отовсюду, даже из Грузии и из Китая.

Но по старой привычке некоторые игарчане еще заготавливают дикий лук — режут его и солят в бочки. Зима — прибериха, а зима здесь долгая, и соленый лук иной раз в охотку с картошкой идет за наипервейшую еду.

Подле берега на тихом газу тащилась лодка. Управлял ею Генка Гуцин — здешний, игарский, парень. Посреди лодки на мешках с луком лежала кверху лицом Катя и сонно щурила темно-серые глаза в низкое северное небо. Катя — гостя у Генки Гуцина и первый раз в Заполярье. Вот Генка и уговорил ее скататься на его лодке за луком.

Тарахтит моторишко, волна от лодки раскидывается на стороны. Одна в берег ударяется, другая катится по водной глади, но даже середины реки не достигнув, изнемогает, успокаивается. Широк Енисей. Тих Енисей. Неоглядна даль его.

Генка лениво рулит и щурится. Катя первый раз видит его таким присмирившим, утихомирненным и, кажется, только сейчас и разглядела по-настоящему. У Генки жесткие, почти светлые волосы. Они осыпаются на правый глаз, но он их не подбирает, привык видно. Брови и

ресницы у него тоже светлые, а лицо с прикипевшим обветрием. Удивительно живыми и яркими кажутся на этом лице глаза. Они у Генки, как недозрелые смородины — даже прожилки есть, коричневые.

Тарахтит моторишко. Бежит лодка. Сидит за рулем Генка, смиренный и тихий. Катя смотрела на него, улыбаясь. Генка, наконец, заметил ее пристальный взгляд и, немного смешавшись, спросил:

— Чего лыбишься?

— Да так, — пожала плечами Катя и рассмеялась: — Вспомнила, как мы познакомились.

— А-а, пужанул я вас тогда, х-хы!

Было это зимой в доме отдыха, близ Красноярска, где отдыхала Катя вместе с подругами. Отдыхали всей бригадой. У них стало законом все делать вместе, даже отдыхать. Сидели девушки как-то в сосновом бору на скамейке, подошел к ним парень в каракулевой шапке набекрень, в полупальто нараспашку и без лишних слов предложил:

— Давайте знакомиться, — и сунул руку той девушке, что с края сидела: — Гушин, стивидор!

Насладившись произведенным эффектом, Генка хохотнул и дал разъяснение:

— Это значит — грузчик.

Этот самый Генка-стивидор начинал говорить, как только просыпался, и кончал говорить, когда засыпал. Впрочем, и во сне он продолжал что-то бормотать и вертелся в постели так, что простыни к утру оказывались на полу.

Дружил он со всеми девчатами подряд и всех заговорил до смерти. На прощание переписал адреса и приглашал в гости на «край света». Все девчата дружно обещали приехать туда.

С Катей у него были такие же отношения, как и с остальными девушками, но она менее снисходительно относилась к его словесным вольностям, несколько раз обрывала его и поправляла, когда он произносил неправильно слова. Генка говорил «одеюсь», вместо одеваюсь, «обуюсь» — вместо обуваюсь, «лопотина!» — вместо одежда и так далее.

Генка не обижался, когда его поправляли. Он просто проглатывал замечания, раза три-четыре произносил слово, как ему велели, а потом опять дул по-старому.

И вдруг ни с того, ни с сего Катя стала получать от

Генки письма из Игарки. Короткие, написанные на чем попало, вплоть до рабочих нарядов. В письмах бывали шутки вроде такой: «Привет от старых щиблет». Но в конце каждого письма обязательно содержалась требовательная и серьезная приписка: «Жду ответа, как соловей лета».

Катя стала отвечать ему и дописались они до того, что вот решила съездить в отпуск «на край света».

Генка встретил ее на пристани, при всем народе схватил, поцеловал, и не успела она удивиться или возмутиться — широко развел рукой:

— Вот, гляди — Игарка! Про нее, может, стихов больше написано, чем про другой город областного масштаба, — и он даже попытался прочесть стихи:

Игарка, Игарка — ты город полярный,
На Севере вырос среди холодов...

Но дальше Генка стихов не помнил и пощелкал от досады пальцами, как будто ловил ускользнувшие строки:

— Ах, черт, забыл. Стихи-то законные, но забыл!

Генка тут же бросил мучаться со стихами и показал на здание, к которому вела длинная лестница с перилами:

— Во, речной вокзал! Здесь авиагидропорт был, а теперь все это на острове. Там, видишь мыс, — выкинул он руку в направлении устья протоки, — это называется — Выделенная. Интересное название? Все просто. Огородили это место и нефтебазу там сделали и никого не пускают. Палят в случае чего. Выделили место, понимаешь? Тут, Катюха, есть такие названия — умора. Вот, к примеру, магазин называется — Крыса. Почему крыса? Потому что в этом помещении раньше пушнину принимали. Есть еще магазин Комендатурский. Есть еще... А знаешь, у нас тут все хорошие помещения горят. Было два кинотеатра — сгорели. Был кинотеатр «Октябрь» — сгорел. Дотла. На его месте смородину посадили. Шито-крыто. Теперь Дворец культуры строят, в старом городе. Первое каменное здание в Игарке. Чуешь? Шестой год строят и никак не достроят. Но уж зато он не сгорит, каменный-то. А так все горит! Только горсовет ни разу не горел. Даже пожарка сгорела в тридцать девятом году. Ага, вместе с каланчой: Исторический город! Обрати внимание, — остановился Генка возле столовой и магазина, на широкой деревянной мостовой, указывая критическим жестом на скамейки, возле которых стояли ящики с песком и было оглашено по-русски и по-английски, что это место для курения.

А рядом, конечно, дощечка, на которой черным по белому изображена кругленькая сумма — штраф. И хотя на счет штрафа написано только по-русски, на иностранцев эта дощечка все равно действовала сильнее, чем на наших. Откуда иностранцам знать, что у нас везде и всюду ужасно любят грозиться штрафами? И дозволено это делать всем, кто грамоту имеет, а потому эти вывески давным-давно утратили всякий авторитет и никто на них внимания не обращает. — Престраховка! — заявил Генка Гуцин. — Иностранцам только пища: «Так и так, в Советском Союзе курить не дают — притеснение». Лучше бы город от опилок и щепья очистили. А вообще, Катюха, я тебе потом еще все покажу, и ты увидишь, что город наш все равно законный. Тут улица Шмидта есть. Да. Потому, что Шмидт приезжал. Я-то не помню. Вовсе мал был. Но приезжал. Еще улица Челюскинцев есть. Может, челюскинцы приезжали, да я этого не знаю.

Жил Генка с матерью, в большом доме, над Медвежьим логом. Еще из ограды он закричал:

— Мам, гляди, я Катюху привел! Приехала! Я думал — обманет.

Мать вышла на скрипучее крыльцо, вытирая руки передником, и осадила Генку:

— Ну чего ты орешь на всю Игарку?!

— Радуюсь, мам, Катюха приехала! Я с ней в доме отдыха познакомился. Во! Хорошая девка, а? — при этом Генка похлопал по спине Катю и подтолкнул к матери.

Катя поздоровалась с Генкиной матерью, хотела что-нибудь сказать и не успела. Генка сгреб чемодан, подцепил ее, и они очутились в избе.

— Мам! — на ходу руководил Генка. — Ты рыбу жарь, стерлядку, а я мигом за поллитровкой.

— Господи! Да уймись ты, уймись, оглашенный! И рыба уже готова, и поллитровка в шкапике.

— Вот это мать! Это настоящая мать! Я только подумал, а она уж — готово дело! — наговаривая так, Генка тащил Катю по избе и показывал все подряд. — Вот, гляди, — ткнул он пальцем на подоконник, где в горшках силились бороться с северными невзгодами унылые помидоры, — свои растим, — и начал сокрушаться: — Не спелые еще. Я говорю матери — укол им надо сделать, со спиртягой. Люди сказывают, как сделаешь укол по науке, так помидор мигом покраснеет...

— Иди ты с такой наукой, — отозвалась из кухни мать. — Сроду не едала пьяных-то помидор и не буду.

— Отсталая, — махнул рукой Генка в сторону кухни. — Хорошая мать, но отсталая. Она, знаешь, раньше какая была? Во! — раскинул Генка руки. — А теперь только остожье осталось. С горя. Отца на войне убили, брата убили, а еще одного в печке сожгли, живьем. Вот они все на портретах. Это я отдавал увеличить. Ух, я бы этих фашистов! — скрипнул зубами Генка.

Ни Катя, ни мать так и не сумели обмолвиться ни словом, пока Генка не угомонился. Он уже в двенадцатом часу ушел спать в дровяник.

Мать постелила на кровати, деликатно подождала, пока Катя разденется, и подсела к ней.

— Ну, вот, слава Богу, и поговорить можно, унялся наш-то, — и сокрушенно покачала головой: — И согрешила же я, милушка, с ним! Только ночью да когда он на смену уйдет, покой вижу. С самого дня рождения, как открыл рот, так вроде и не закрывал. Ей-богу. Да что со дня рождения, еще в животе помещался, так, бывало, как пнет, я чуть с тротуара не упаду. Вот хотите — верьте, хотите — нет, целых штанов он не нашивал. Всю жизнь у него на ягодицах по глазку. Заплаты, заплаты, милушка. Отец-покойник говаривал: «Ты ему, мать, на заднее-то место донышко от ведра пришивай». Да он и железо провертит.

Катя улыбалась, слушая Генкину мать, и думала о том, что он, наверное, еще не донес голову до подушки и уже уснул. Но Генка неожиданно объявился в одних трусах и закричал:

— Мать! Где Катюхе постелила? На кровати? Правильно! Мягко ли? — Генка тащил на плече за вешалку оленью доху-сокуй и бесцеремонно начал закутывать дохою Катины ноги: — Ты с другого климата, а тут Заполярье, вечная мерзлота, — укутывая Катю дохой, он между прочим ущипнул ее повыше колена, гыгыкнул и исчез так же стремительно, как и появился.

— Вот, видали, золото какое! — проводив сына взглядом, вздохнула мать: — Налетит, как вихорь, что к чему, — мать еще помялась, повздыхала и разоткровенничалась: — Он, милушка, все навыворот делает. Вот выключатель высоко, а он его не рукой, а ногой достает и выключает. Ногой, милушка, ногой. Жениться бы ему надо, авось усмиреет. Да ведь и то подумаю: ну, ладно, с ним я с ума

схожу всю жизнь, мне уж полагается, сама такого уродила, а другой-то человек за что же маяться станет? Ведь он же заговорит, заболтает. Ему бы надо бабу такую, чтоб она его узлом закрутила, а из смиренной он сам таких узлов навяжет, что и миром не развязать...

Катя долго не могла уснуть. И оттого, что так много услышала, и оттого, что было непривычно светло и ночь не наступала. Она осторожно поднялась, отодвинула занавеску, составила на пол горшки с помидорами и открыла окно. Прямо перед окном, как попало загороженный досками, огород. В нем кустилась еще низенькая картошка и были две грядки, на которых не бойко росли морковка, репа и лук, и совсем уже через силу тянулась капустаная рассада.

«Конец июня, а картошка и капуста только силу набирают, когда же они вырастут?» — подумала Катя.

Но тут она увидела молчаливое солнце, окутанное прозрачной пленкой, над гребешком леса, за Енисеем. «Ах, да, — спохватилась Катя, — свет круглые сутки. За два месяца здесь все вырастает быстрее, чем на магистрали за четыре».

Катя улыбнулась, вспомнив, что магистралью Генка называет все, что не относится к Северу — ту благословенную землю, о которой вечно с завистью вздыхают северяне, а выедут туда — и заскучают, закручинятся, да, глядишь, продадут последние монатки и двинут обратно в свой, неприветливый с виду, заполярный край.

За городьбой — Медвежий лог, в котором еще торчали источенные короедами и муравьями пеньки. Здесь был когда-то лес, и Генка говорил, что он еще в «молодые годы» — так он называл детские годы — вылавливал здесь силками куропаток. По ту сторону лога, уходя одним концом за поворот, а другим к причалам, стоял почерневший от времени и ветров забор лесобиржи. На бирже сплошь расселились под непромокаемыми крышами штабеля досок, брусков, плах, а дальше курился белым дымом выводок узкотельных труб.

В одном месте забор упал, в лог вывалились доски, обрезки, чурбаки, опилки. Никто их не подбирал. Дров у игарчан полно. Иные дома и не видать из-за полениц. Биржа была, как коробка, переполненная до краев добром, и крайние штабеля уже давно стояли на сгнивших и полусгнивших слоях опилок, щепья и макаронника — так здесь зовут отходы от лесозаводов.

Рядом с забором, похилившись набок, стояла баржа, и в ней росли лопухи. Весной в ледоход здесь отстаивались суда, и шкипер этой баржи загулял, а загулявши, позабыл о вверенном ему судне, и оно осталось на суше, да так вот и плавает по косогору. Об этом Кате тоже успел сообщить Генка.

Генка, Генка, Генка! На что бы ни глядела Катя, он глядел вместе с нею. Никогда бы и ни к кому не решилась поехать Катя, тем более что дальше дома отдыха она и не уезжала, а вот к Генке поехала. К Генке можно, он какой-то такой, сродственный ей, что ли. А чем? Только «мастью», так сказал однажды, еще в доме отдыха Генка потому, что волосы у нее такие же светлые, как у Генки.

Катя у матери и отца была единственной дочерью. Отец ее всю жизнь проработал сапожником, вначале в какой-то частной мастерской, а потом на фабрике, в цехе раскрытия. Мать в войну года три работала на заводе, а потом тяжело заболела и по сей день лежала в постели с отнявшимися ногами.

Все заботы по дому легли на Катю. Она не доучилась и тоже поступила на работу, на ту же фабрику, где трудился отец. Они ходили всегда в разные смены, чтобы дома постоянно кто-нибудь находился при матери.

И так бы они жили, уединенно, со своими невеселыми заботами, да вот все переменялось с тех пор, как бригада, в которой работала Катя, начала бороться за звание коммунистической. Кончилось ее одиночество. Девочки из бригады помогали ей по дому, она устроилась учиться заочно в техникум, сумела в дом отдыха съездить. Они же сделали все для того, чтобы Катя отправилась и «на край света» к Генке Гущину. Отец было в сомнение впал. Он уже привык к тому, что дочь постоянно дома, на глазах, но мать и девочки уломали отца.

— Не вековать же ей со мною, — сказала отцу мать, да и девчата очень уговаривали, — и он сдался.

А то бы и не побывать Кате в краю незакатного солнца, не повидать Генку и город этот, воспетый в стихах, и траву-пушицу. Вон ее сколько! Сплошь усеяла Медвежий лог махонькими облачками. Травка эта вроде длинной сапожной иглы, бледно-зеленая и пустая в середине. Стоит, стоит она, незаметная, тощенькая, и вдруг без всякой предварительной подготовки выстрелит пушком, и пушок болтается на ее острие до тех пор, пока ветер не оторвет его и не унесет туда, где он прорастает иголками.

Долго смотрела Катя на пушицу, на голубичник и карликовые березки, еще не вытоптаннные скотом подле огорода. Было все так же светло, и все так же неназойливо, осторожно светило солнце, будто и ему было известно, что по человеческим законам сейчас все-таки ночь и людям полагается спать.

В городе и впрямь тихо и спокойно. Только покрикивали на протоке пароходы, глухо шумел лесозавод. А потом по Медвежьему логу, крадучись, пополз туман, и на острове тоже появились пятна тумана. Там озера, и они, невзирая на солнце, туманились по утрам, как им и полагалось. Сделалось прохладно. Катя закрыла окно, поставила на подоконник горшки с зелеными помидорами и юркнула в постель, закрыла глаза. Перед ней замелькала пушица. Мягкая, шелковистая пушица.

Катя проснулась поздно, и первое, что ей бросилось в глаза, это записка, прицепленная рыболовным крючком к ее платью. «Катюха! — писал Генка. — Приходи на морпричалы, поглядеть на иностранцев. На причалах законно, не покается».

Катя позавтракала и отправилась на морпричалы. Дежурному на проходной было уже известно, что придет такая-то и такая-то, и ей беспрепятственно выдали пропуск.

Генка работал на погрузке кокетливо раскрашенного греческого парохода. Он еще издали заметил Катю, махнул ей рукавицей и закричал:

— Ребята! Катюха пришла, знакомая моя, почти что невеста! — и тут же хлопнул по пачке досок, которая спускалась на тросах лебедкою в люк. — Катюха, ты видишь законное соседство коммунизма с капитализмом. Из этих досок капиталист какой-нибудь кресло соорудит, будет сидеть и думать, когда придет Советская власть и с дому его выгонит. Или пушку сделает и по ним стрельнет...

— Ну уж, из дерева и пушку, — возразила Катя, заглядывая вверх.

— А что? Из нашей древесины все можно сделать. Запросто! Ты лезь сюда, Катюха. Посиди маленько. Скоро обед. Мы к одному норвегу кофий пить пойдем. Знакомый. Третью Карскую* в Игарку приходит. Здорово кофий делает!

* Карской в Игарке называют навигационный период.

Об этом «норвеге» и «кофие» Генка еще вчера не начинал рассказывать, да все не мог дорассказать.

Что уж за такой за «кофий» готовил иностранец, одному Богу известно, а только поглянулся он Генке до крайности. Купил однажды Генка самый дорогой кофе, сахару купил, молока, приволок все это домой и дал команду:

— Мама, орудуй! Я тебе буду говорить, а ты орудуй. Я высмотрел, как он все делает.

Генка руководил, мать заваривала, но кофе получился далеко не тот, что у иностранца.

— Нет, по кофию нам их еще долго не догнать, — сокрушался Генка. — Тут у них, Катюха, норма своя и секрет. А разом у буржуя разве секрет выпытаешь? Слушай, Катюха, ты, может, сумеешь? Все-таки глаз у тебя женский, приспособленный к таким делам. Давай, а? Главное — норма, понимаешь? Ты ему про норвегов говори, про знаменитых. Он и расплывется, и все выдаст. Я как скажу ему: «Амундсен, во! Нансен, во!» Он аж икру от радости мечет. Да я вот только двух этих и слышал. Может, еще есть знаменитые норвеги?

— Есть, Григ, например.

— Кто такой? Не фашист?

Катя захохотала:

— Да нет, композитор. Давно жил.

— Композитора давай. Композитор подойдет. А еще нет ли?

— Ну, Ибсен — драматург.

Генка замялся и сказал, что лучше про этого не помнить. По-ихнему, по-норвеговски, может-де, и ладно звучит, а по-русски — неприлично. Катя опять захохотала. А Генка повторил:

— Да-а, по кофию мы их не скоро догоним. Зато по табаку догнали. Знаешь, мы здесь вот, в этом порту, когда маленькие были, дни и ночи околачивались. Ага. Сигареты просили. Бегаем, как щенята, за иностранцами и твякаем: «Комрад — сигарет, комрад — сигарет». Ну, которые давали, которые — нет. Ребята все больше наперехвате были, там, на улицах стреляли, — махнул рукой Генка на город. — А я, понимаешь, проворный был. Я на пароход заберусь, бывало, и представляюсь. У меня зубы лопатой вышиблены, вот, — показал Генка рукавицей на два вставных зуба. — Ну я и шепеляваю, слова коверкаю. Они хохочут и сигарет дают. Полную горсть настреляю, бывало. И, понимаешь, обидно все ребятам отдавать, я и сам

засмолю. Я через них, через этих буржуев, сколько здоровья потратил — ужась! А что? Девяти лет курить начал. Сказывается, поди, на детском-то организме?

Катя покосилась на приземистого, плотного Генку, у которого грудь выпирала из тельняшки, а мускулы так и ходили, комками перекатываясь, и сказала, что не очень-то заметно, чтоб ему буржуи здоровье подорвали.

— Незаметно? Тогда хорошо. А то из-за каких-то сигарет паршивых веку бы не дожил. И чем брали-то? Завертками блескучими да всякими коробочками. Ну, наши все это научились делать и теперь у иностранцев сигареты никто не просит. А то ведь фотографировали. Да, для своих газеток. Вот, дескать, советские дети попрошайничают. Меня тоже пытались фотографировать. Я говорю: «Пожалуйста, гуд бай». А как они на меня аппарат наставят, я скосоротюсь и такую рожу сделаю, что ни на какую карточку не годится, — тут Генка остановился и схватил Катю за руку. — Слушай, Катюха! Ты не думай, что я к норвегу тебя за так веду. Я его тоже угощал. Ухой. Из налима. В прошлом году. Думаю: ты меня кофием пришиб, так я тебя ухой доконаю...

— Ген, Ген, — перебила Катя Генку, — кофе. Понимаешь — кофе. И не норвег, а норвежец.

— Ладно. Пусть норвежец, — подхватил Генка. — Все одно — буржуй. Ну вот, в гости я его зазвал. Уху сварил. Сам варил. Рыбацкую. Будь здоров, уха получилась! Поели мы с ним, выпили. Раздобрел он, вроде как бы малохольненький сделался. Плясать под радиолу ударился. Ну, думаю, сейчас самый момент — и давай я его агитировать: «Переходи, — говорю, — на нашу сторону». Ну, не в смысле границы. А чтоб он за трудящийся народ стоял до скончания. Но он ничего этого не понял. Язык-то ихний я не знаю, и он нашего не знает тоже. А то бы я из него сторонника мира сделал. Запросто!

Все, кто жил по ту сторону нашей земли, должно быть, казались Генке буржуями, а из политических деятелей колючей занозой застряла в Генкином мозгу фамилия одного Аденауэра.

— Ты знаешь, Катюха, после того разговора с норвегом, ну с норвежцем, решил я язык ихний учить. Книжек набрал. Долблю. Двадцать слов выучил. Через три дня забыл. Опять выучил. Опять забыл. Я к переводчику нашему. Так и так, хочу, мол, по-иностранному выучиться. Он мне толкует: «Надо, Генка, систематически, каждый день

заниматься». Ну, тут я и понял, что не по мне это дело, и бросил. Мне бы, понимаешь, такой язык, чтоб его сразу выучить. Привет передовикам коммунизма! — заорал Генка, проходя с Катей мимо большого английского парохода. — Комбригада здесь на погрузке работает Кости Путинцева, — пояснил он Кате. — Я в ней раньше тоже работал. Не подошел. По номенклатуре не подошел. Вижу, понимаешь, мнутя мои ребятки. А чего мнутя — не пойму. Потом услышал, что они бригаду сколачивают, которая, значит, будет за коммунизм бороться. Так бы сразу, говорю, и сказали: «Мы, Генка, такое дело затеваем, при котором ты будешь компрометирующей еденицей». Ну и все, а то жметесь, как девочки. Я, говорю, и в другой бригаде не пропаду. А для вас, я и сам знаю, что неподходящий. Ишачить я — пожалуйста. Пить — тоже могу бросить, не больно много пью. Курить даже могу бросить, если надо, а учиться не пойду. Чтоб я в таком возрасте пошел в четвертый класс — этого не будет! Ну и расстались. У нас бригада тоже законная. А что? Неужто мне сейчас учиться? Я шесть лет учился — четыре группы кончил, так через это учительница на четыре года раньше на пенсию пойдет. Зачем вред учителям делать? Я их уважаю. Но прижима никакого не люблю. За всю жизнь только в одной организации состоял. В пионерах. Неделю. Выгнали, а в комсомол уж и не приглашали. Я тоже не просился. Обрати внимание, — вдруг остановился Генка. — Обрати внимание на пароход, который грузит Костина бригада. — Катя внимательно осмотрела большой, угрюмый пароход. Краска на нем облупилась, по бортам вниз тянулись широкие ржавые полосы — это из галюнов и кухонь. Лебедки работали с визгом.

— Ты на флаг, на флаг посмотри.

Флаг выцвел и по краям растрепался до того, что цветастый жук уже с трудом угадывался на материи.

— А ты знаешь, какие до войны английские пароходы были? О-о! Войдет, бывало, в протоку чистенький, головистый, у капитана и у всей команды нос выше трубы. А теперь, ты видишь, полное увядание капитализма. На износ работают. Правда, нос они еще задирают. Но мы-то уж видим — карачун им подходит, карачун. У-у, аденауровец проклятый! — покосился Генка на рядом стоявший пароход. — Я бы им камней и то пожалел. А тут нашу древесину. У баб вон руки в кровь — и кому? Фашистам стараются. Не понимаю я, Катя, этого. Заедаются только.

Обзывают нас всяко. И обзывают-то как? Выучили два-три слова, которые у нас ребятишки на подступах к настоящему матюку употребляют, и этими детскими словами донимают. Слова — что, словами можешь. Но ты не лезь под руку, гад! Работать не мешай, не делай международный конфликт...

Катя уже знала: раз Генка зашумел, начал рукой рубить, значит, тут дело касалось его, и осторожно спросила, что же это за конфликт такой был.

— Не знаешь? Я тут одного аденаурца учил советский трудовой народ уважать.

У Кати даже спина похолодела, когда она это услышала.

Грузила бригада стивидоров прошлым летом западно-германский лесовоз на рейде. Лесовоз был хороший, лебедки исправные, и все было ладно. Шли стивидоры с перевыполнением плана. На заносчивость и недружелюбие команды грузчики уже привыкли не обращать внимания. Да и предупреждены они все строго: «Делайте свое дело и не отвечайте на вылазки. Вы — работники советского порта».

Но на этом лесовозе команда оказалась уж особенно едучая. Вахтенные матросы тем только и развлекались, что, свесившись через борт, плевали на баржу, норовя попасть в грузчиков, кричали обидные слова и даже показывали язык, как дети.

У причалов такие действия происходят редко. Там властей много и они быстро призовут к порядку, а на рейде совсем другое дело. Тут вся власть — дежурный вахтер. Он, бедняга, стоит на корме баржи с ружьем, видит все это мелкое издевательство над своими рабочими, и по лицу его желваки от бессилия ходят. Хоть он и с ружьем, а все равно что безоружный перед такими гадкими действиями, ибо нарушений-то в международном масштабе никаких нет, а так, плевки одни.

Видя такую выдержанность рабочих, на лесовозе во все обнаглели. В особенности один из штурманов. Он даже на баржу по стремянке стал спускаться и привязываться к грузчикам. А они отстранят его рукой или доской нечаянно пихнут, и все это молчком, с полным презрением.

Но однажды этот штурман спустился на баржу пьяненький, а может, и представился пьяненьким, и уж куражился он, куражился. Несколько раз вахтер вежливо просил его подняться на корабль, но он не подчинился власти.

Почему-то прилип этот немец, как банный лист, к Генке. Здоровяк Генка, в руках у него все горит, двигается, живет. Работает играючи. Возможно, зависть взяла немца. Вот он и привязался к Генке, мускулы его щупает, руки сгибает: «О-о, — кричит, — гут арбайтер», — а сам во лком на Генку смотрит, ну и Генка на него тоже соответственно.

По взгляду оба готовы съесть друг друга сырым, а нельзя. Генка так и рассказывал Кате:

— Гляжу на него — облизьяна, форменная облизьяна. Глаза возле ушей, а между глаз точь-в-точь две говядины висит. И вот так меня и подмывает закатать в эти говядины. А я терплю. Законно работаю. Работой только и дразню его, и зло срываю. От лебедки дым идет.

И стерпел бы, наверное, Генка всякие надругательства аденауэрского штурмана, да тот уж совсем распоясался и давай изображать, как он во время войны таких, как Генка, на штык подымал и через себя бросал. Прямо так и показывает: поддеваю, мол, и бросаю. И зубы ощеряет при этом.

Тут вахтер не вытерпел и сказал что-то тому недобитку по-немецки. Один стивидор немного знал немецкий язык и сразу перевел его слова.

— Что ж ты так ловко швырял наших, а сам за Эльбой очутился?

Штурман взбеленился. Начал орать, руками размахивать, а работяга тот с пятого на десятое переводил. В общем, грозился немец выйти из-за Эльбы и свести с нами счеты. Вахтер замкнулся и снова на корму ушел, чтоб уж больше не прорвало его. А Генка понял, что у вахтера тоже край нервов наступил, потихоньку к нему с просьбой.

— Товарищ, корешок родной, разреши эту подлюгу укоротить? Терпезу нет. Разреши?

Он подумал, подумал и сказал:

— Вали, только не сильно. Я ничего не видел, ничего не слышал.

— Пор-ря-док! — заликовал Генка. — Понимаю, все понимаю: открытый порт, дипломатия. Я его вежливенько, вежливенько.

Ушел Генка на нос баржи, за доски. Немец туда же, за ним увязался. Глянул Генка по сторонам — никого. Цап немца и посадил его на палубу, как на горшок.

— Тяжелый, спасу нет, — рассказывал Генка Кате. — У него одна задница в наш автобус не войдет. И как я его поднял, не знаю. Это уж я про отца и про братанов вспомнил, потому и поднял. Эх, как он сиганул с баржи! Где и прыть взялась. По веревочной этой лесенке быстрее облизваны перебирался. А работяги свистят ему вслед. Ну, думаю, пропал я. Работаю. Жду. Вижу и вахтер переживает. Проходит час, другой, ни гу-гу на корабле. Мы работаем. Немцы не плюются. Вижу, начальник вахты ихней на баржу спускается. Ну, думаю, все: сейчас меня и арестуют. Прошел этот начальник мимо нас, никого не заметивши, и прямо к вахтеру. Что-то прогавкал — и назад. Мы — к вахтеру, узнать, что и как. А он смеется. Извиняться, говорит, приходил. Человек, говорит, допустивший нарушение, наказан: до конца погрузки выход на берег ему запрещен. Так что работайте, ребята, спокойно. Рад вахтер, и мы рады. И тут я понял, как надо обращаться с этими людьми. Вежливостью их не проймешь, — Генка помолчал, вытер нос рукавицей, ловко цыркнул слюну сквозь зубы, аж за край причалов, и угрюмо закончил: — Ну, а меня все-таки вызывали к начальнику. Беседовали: «Так и так, товарищ Гуцин. Ты нам международные конфликты не устраивай». Слово дал. Терплю. Только неправильно все это. Ну, да ладно. Пока там суд да дело...

Доканчивал этот рассказ Генка уже после смены, когда они с Катей вышли на высокий берег протоки. Возле устья протоки сжатым кулаком высунулся в Енисей каменный мыс и замкнул протоку от ветров и бурь. За стрелкой острова и за этим мысом медленно, разморенно уходила вдаль река. На той стороне чуть виделись кубики домов поселка — старая Игарка.

— Завтра мы с тобой поплывем во-он туда, — показывал Генка за мыс правой рукой, а левую в это время как бы ненароком просунул Кате подмышку и тиснул ее за грудь.

Катя отпрянула, вспыхнула, хотела громко возмутиться, но Генка уже говорил:

— Там, вестах в пяти, у меня паромчик стоит. Проверим. Стерлядочек возьмем, а может, и осетра, на твое счастье? А что? Законно. Ты — девка фартовая! — и Генка снова попытался игриво обнять Катю.

— Геннадий! — сказала она. — Когда человек блудит словами — это еще куда ни шло, но руками...

Генка смутился, заморгал, улыбнулся, поцарапал затылок и даже поутих на время.

И сейчас вот за рулем он тоже сидит тихий, непривычно задумчивый и только ветерок перебирает его рассыпчатые волосы, бросает на глаза и все так же ярко, как крупные смородины, зреют эти глаза! Даже глядеть в них радостно. Столько там светится жизни, веселости, любопытства.

Катя еще ни у кого не видела таких ярких, таких переполненных через край жизнью глаз.

Тарахтит моторишко. Разбегается вода по бортам, кипит за кормою лодки. На подтоварнике лежат мешки с диким луком. Пахнет от них талым льдом, скудной береговой землей, студеным северным ветром, от которого все гнется, все трепещет. Только лук растет себе по берегам, корнями широкими и работающими подбирая комочки почвы и оберегая эти комочки от ветров и воды. Он даже цветет, этот лук. Красиво цветет. Берег плещет радостью, когда раскроются сиреневые мохнатые шишечки лука. Они подолгу не засыхают и не осыпаются. Но там, где осыплется шишечка, на следующий год непременно прорастет хоть одно зерно, прорастет не стеблем, а целым пучком стеблей.

Под мешками — доски, а под досками — немного воды, и в этой воде шлепаются, скребутся острыми гребешками стерлядки и костерки. Осетр не попался.

— Нефартовая ты, — сказал Генка, просмотревши две сети, связанные вместе, потому и названные паромом.

Паром этот Генка ставил без наплова и потому искал кошкой. Искал долго. Ругался. Рыбнадзор ругал, который свирепствует и принуждает «трудовой народ» ловить рыбу тайком.

Тарахтит моторишко. Бежит лодка. Катя думает о Генке. Все-то Генка умеет, все-то у него получается. Летели два чирка над водой, поравнялись они с лодкой, Генка трах-трах из ружья — и оба чирка лежат вон в багажнике. Отличный стрелок Генка. Стрелять, говорит, надо без промаха. Если фашисты снова нападут — пригодится.

Мать бедная до того запугала себя насчет войны, что и места себе найти не может. Двух сыновей потеряла, мужа. Один сын остался. И беспокойный он, переживания из-за него сплошные. Но один он, один. Вся жизнь в нем. Иной раз ночью мать подкрадется к его кровати,

пощупает — здесь ли? Цел ли? Генка проснется, испугается ее взгляда.

— Ты чего, мам?

— Да вот про войну вчера опять по радио говорили. А ну, как грянет. Пропадешь ведь ты, пропадешь, сорви ты голова, — и вот уже слезы у матери в горле бьются. А Генка, нет чтобы успокоить мать, спать ее отправить, начинает рассуждать:

— Я, мам, ежели она, проклятая, начнется, в разведку пойду, либо в снайперы налажу. Как шлепну вражину, так и зарубку на приклад поставлю, чтобы знал я — ухлопал их столько-то и столько-то, а чтоб не вообще там во-евал, может, убил, а может, нет. Мне надо точно — за отца, за тебя, за братанов и за себя. И тогда уж я посмотрю — пропадать мне или нет.

Эти рассуждения до того доводили мать, что наутро она бежала по магазинам, закупила мыло, спички и табак.

— Ты куда это, мам, столько добра запасла? — хмыкал Генка.

— Война ударит, опять постираться нечем будет, а табачишко-то тебе на дорогу, — разъясняла мать.

Генка падал на кровать и задира л ноги. Нахохотавшись, он с полной серьезностью толковал:

— Сейчас, мам, война вдарит так уж такая, что все разом сгорит. Как от молнии. И мыло твое сгорит. И мы сгорим вместе с мылом. И снайперов никаких не будет. Это я так, со сна тебе нагородил.

— Чтобы ты пропал, аспид ты этакий! Я ведь весь твой аванс убухала, — ругалась мать.

— Мыло ты соседям отнеси, а то еще заметут в милицию, как паникеров. Подумают, что со страху и корысти запас делали, — давал распоряжения Генка. — Откуда им знать, что ты войной ушибленная, — грустно заключал он.

Тарахтит моторишко. Бежит лодка по Енисею, вдоль бережка. Генка рулит и о чем-то думает. Он, оказывается, иногда тоже задумывается. О чем же? Катя тоже думала и смотрела на Генку. Он поймал на себе ее пристальный взгляд, встряхнулся и, потянув ручку руля на себя, глухо заговорил:

— А ты знаешь, Катюха, рулить меня учил Славка, братан мой, — Генка с минуту помолчал и с выдохом, как-то непривычно кротко улыбнулся: — Интересно же бывает в жизни! Вот было у меня два брата — Славка и

Петро. Славка и лупил меня, и ругал, а я его ни тютельки не боялся. А Петро, тот женатый был, никогда меня даже пальцем не тронул, а боялся я его, спасу нет. Почему это так, а?

— Не знаю, Геня, не знаю, — в тон Генке грустно отозвалась Катя. Генка уловил грусть в ее голосе, и тепло в ее взгляде, и даже то, что сказала она не Гена, а Геня. Мягко как-то у нее это получилось. И потянуло парня на откровенность.

— Я уж на бирже работал, когда Славку в печку бросили, в Мухаузене. Рабочим я был, но ревел. Мать дома все редела, а я на работе, за штабелями. Мастер как-то меня застал. Я ему доской по башке съездил.

Генка опять задумался, сомкнул губы, стиснул рукоятку руля так, что жилы напряглись на загорелой руке его, испачканной зеленою лука, Кате хотелось утешить Генку, но она подумала, что он, чего доброго, и ей съездит по башке и, вместо утешительных слов, назидательно сказала:

— Сколько раз я тебе говорила: произноси правильно слова. Ты же их приспособливаешь под свой быстрый язык. Все-то тебе некогда. Вот ты половину слова в употребление, а половину — на ветер, в отходы.

— К примеру? — покривил Генка губы.

— Ну вот, к примеру, сказал — Мухаузец, а правильно — Маутхаузен.

— А-а, — разочарованно протянул Генка и вдруг рассердился, и понесся вскачь: — За то, что поправляешь — спасибо. Всегда тебя послушаю, потому, как ты с образованием. И масло у тебя в голове имеется. Но это слово, — Генка стиснул зубы, — это слово я все равно не буду правильно говорить. Нехорошее слово. Там людей живьем в печку бросали, а я еще буду стараться? Ни в жисть!

Мотор взревел. У лодки поднялся нос, и она понеслась вдоль берега и неслась так километра два.

Вдали показался пароход. Он тянул матку. Матка — это огромный плот, бревна на котором скатаны в несколько рядов. На плоту бывает дом, а то и два.

Один с вышкой и антенной радиостанции. Когда нет парохода, матка плывет сама. Плывет по нижнему течению семь верст в неделю, и только кустики мелькают — как остряг сами сплавщики.

Поскольку эту матушку тащил пароход «Эвенк», то народ там занимался своими делами. Мужик в белой ру-

бахе колот дрова, женщина что-то варила на таганке, сделанном прямо на бревнах и пробовала варево из ложки. За плотом гнались с криком и падали чайки.

Генка-то знал, что они там на плоту варят. Раз чайки гонятся и дерутся, значит, рыбку там варят. По пути матка наезжает на наплава, к которым привязаны переметы и сети. Ну и плывут артельщики дальше, рыбку варят. Если рыбаки догонят, они добросердечно отдадут сети и переметы. Если никто не догонит, продадут снасти в станках на водку. Так и плывут артельщики до самой Игарки, припеваючи.

Этот плот шел дальше, в Дудинку, и «Эвенк» тужился изо всех сил, бурлил кормою и дымил на весь Енисей. И матка, и пароход уходили как бы в распахнутые ворота. Берега Енисея вдаль не смыкались. Они, постепенно снижаясь, вытягивались в узенькие полоски и словно бы повисали в воздухе. Енисей уходил в эти распахнутые ворота к самому окоему, сливался с небом, с облаками в далекой дали.

Катя так засмотрелась на Енисей и на пароход, что не слышала, когда Генка снова сбавил обороты мотора и позвал ее тихо несколько раз, а потом пронзительно свистнул и закричал:

— Катюха!

Катя вздрогнула и уставилась на него.

Генка отвернулся, черпнул воды ладонью, попил и буркнул:

— Я что хочу у тебя спросить. Вот если мне денег подкопить и за границу попроситься. Пустят меня или нет?

— А почему же не пустят?

Генка разом оживился:

— Ты думаешь, пустят, да? — и сбивчиво принялся пояснять: — Мать, понимаешь, все ноет. Хоть бы, говорит, косточку какую от Славки привезти и здесь похоронить. На чужой-то стороне, говорит, и в могиле тоскливше, — Генка потупился, покатав ногой ковшичек, — да и самому мне хочется поглядеть этот Мухаузен. Так пустят, говоришь?

— Я думаю, что да. Оформить документы, напишешь куда надо. С нашей фабрики вон рабочие в Болгарию и в Чехословакию ездили.

— Ездили, значит, и ничего?

— Ну, конечно, ничего. Хорошо, говорят, их принимали, как родных.

— А я ведь, Катюха, хотел еще в позапрошлом году, ссуду решил попросить, но ребята отговорили. И не пытайся, говорят, Генка, тебя не пустят. Туда, говорят, ездят люди с доблестью, герои труда.

— Ф-фу, глупости какие! — возмутилась Катя. — Да чем же они тебя-то забраковали? Чем? Что ты — головорез, пьяница, бандит?

— С детства так. С самой школы, — признался Генка. — Считают меня типом каким-то. А я ведь ничего парень, а? — дурашливо выпятил грудь Генка.

— Ах ты, Генка, Генка! — расчувствовалась Катя. — Да ты у меня просто... ну... законный парень!

Генка сначала захлопал ресницами, а потом покраснел, а покрасневши, догадался, что Катя увидела, как он покраснел, и вовсе стушевался. А стушевавшись, взял и заорал на всю реку:

Катя кофий попивала,
И с Прокофием гуляла.
Катя, Катя, Катенька!
Ды, отчего ж брюхатенька?
Ой, то ли от кофия,
То ли от Прокофия...

В довершение ко всему обнаружилось, что Генка еще и на частушки мастак. И частушки-то знает одну звонистей другой. Катя каталась по луку, слушая их. Но Генка внезапно смолк и уставился на нее. Что-то незнакомое манящее и хитроватое появилось в его глазах.

— Иди. Рулить научу, — напряженным голосом позвал Генка. И Катя, робея, чего-то боясь, сиюсь остановить себя, двинулась на Генкин взгляд. Он посадил ее рядом с собой на тесную скамейку, дал ей рукоятку и, полуобняв, прикрыл ее руку своей и стал учить:

— Назад ручку потянешь, значит, лодка вправо носом. Вперед ручку — влево носом. Во-от так, во-от та-а-ак, — Катя слышала Генкино дыхание на своей щеке, чувствовала, как напрягается и каменеет рука, она хотела рвануться с беседки, оттолкнуть Генку и никак не решилась. А когда, наконец, решилась и попробовала встать с места, Генка вдруг притиснул ее к себе, стал искать губами ее губы. Совсем близко Катя увидела его охмеленные, в страхе и отчаянии застывшие глаза.

— Гена! — испуганно прошептала она. — Генка, нель-

зя! Геннадий! — и уперлась руками в его комковатую грудь. Грудь была твердая, напористая: — Гена...

— Ну, что ты... что ты... жинкой станешь... Я тебя люблю и уважаю...

Лодка качнулась, накренилась на левый борт и побежала от берега, забирая все левей, левей. На середине реки она ударилась вниз по течению, плот догонять, потом еще левей, еще. Описала темный круг, другой и после этого порывисто ринулась к берегу, подпрыгивая на своей же волне.

Растрепанный и растерянный Генка прыгнул к рулю, выровнял ход лодки. Снова побежала лодка вдоль берега, тихого, песчаного, на котором стрелками целился в небо дикий лук. А возле кустов догорали цветы — жарки, топорщились метелки травы — гусятника. А тоньше всяких роз пахла, некорыстная с виду трава — кошачья лапка. А пароход и матка были уже там, где Енисей уходил в небо. И пароход, и матка, а точнее дом на матке, тоже повисли в солнечном воздухе и, казалось, вовсе не двигались, а так вот, висели и все.

Катя лежала вниз лицом на горько пахнущих мешках и молчала, боясь поднять лицо. Все-таки она пересилила Генку, все-таки пересилила! Грудь его оказалась слабее ее рук. Так и надо! Так и надо! Генка привык все делать с налета. Не должен он так делать, не должен. Обязан он научиться хоть на шаг вперед смотреть. А то идет по жизни верхоглядом. Но как он сказал: «Жинкой станешь!» Генка Гуцин — муж! Чудно даже.

Генке Гуцину — «мужу» было очень стыдно и неловко. Чтобы не смотреть на Катю, он задрал голову и увидел, что от реки к берегу, с рыбешкой в клюве, летит чайка. Генка схватил ружье и, почти не целясь, выстрелил. Чайка вскрикнула: «Криэ», — и как скомканный тетрадный лист, завертелась в воздухе, упала в воду, поплыла, волоча перебитое крыло. И все стонала, вскрикивала чайка с недоумением и тоской: «Криэ, криэ...»

Генка догнал чайку, подчерпнул рукой, словно клок пены и бросил в лодку. Чайка смолкла, с беспомощным гневом глядела на человека. У нее был яркий, как цвет жарка, клюв. Такие же яркие лапы и круглые, с красноватым ободком глаза, какие бывают у рыбы-сороги. Она поводила из стороны в сторону сорожьими глазами, и красные ободки ее то гасли, то вспыхивали.

— У-у, зараза, злая какая! — сощурился Генка и тро-

нул чайку сапогом. Она вцепилась в носок сапога кривым, ярко-желтым клювом и захлопала здоровым крылом, будто била, боролась кого-то.

Генка схватил чайку за шею, вынул из-под сиденья гаечный ключ и стукнул ее по голове. Она суматошно забила крыльями, попробовала крикнуть и выдула кровавую пену из клюва. Генка стукнул чайку еще раз, еще и вдруг услышал:

— Не смей!

Крик был такой жуткий и неожиданный, что Генка выронил ключ и чайку. Птица перекувыркивалась через голову, судорожно подлетала, кровавая лодку, мешки, весло. Катя пятилась к носу лодки до тех пор, пока не нащупала рукой багажник и пятиться стало некуда. Она не могла оторвать глаз от чайки, которая билась все тише и реже.

Но вот дрожь пробежала по чайке, она еще раз открыла окровавленный клюв и закрыть уже не смогла и вытянула лапы. Катя подняла голову. Генка, прищурившись, глядел на нее и надменно усмехался. Взгляд у него острый, и в этом взгляде еще не угасла жестокая искорка, которая вспыхнула, когда он бил чайку по голове, и ключ, как показалось Кате, оглушительно щелкал об ее череп.

— Ах ты, душегуб! Ах ты, душегуб! — вдруг зарыдала Катя и упала на мешки, прижав к груди мертвую чайку.

— Ну-ка,— грубо сказал Генка и, вырвав из Катиних рук птицу, швырнул ее, как тряпку, в носовой багажник. И, закрывая дверцу на деревянную вертушку, буркнул: — Нежности телячьи! Платье все перемазала.

— Душегуб! Душегуб! Душегуб! Что она тебе сделала? Что? — не унималась Катя, глядя на Генку потрясенно и яростно.

Генка ничего ей не ответил, пихнул ногой ружье на мешки и полез в карман за папиросой. А Катя все плакала и уже не ругалась, не кричала.

— Ну, будет, будет, — проворчал Генка, — виноват я, что ли? Сама на мушку летит.

Катя не отзывалась. Генка поерзал на сиденье.

— Для домашности старался. Чайкиным крылом пол хорошо мести. И золу из печки тоже... законно.

Долго ждал Генка хоть какого-нибудь ответа или звука от Кати, и не дождавшись, крикнул:

— Ну, хочешь, выброшу я ее? Мне, что ли, нужно?

Катя не отвечала, не шевелилась. Она лежала ничком

на мешках и уже, видимо, обессилела от слез. Плечи и спина ее больше не вздрагивали.

— Если ты хочешь знать, птица эта вовсе вредная, как ворона. Только водяная. Она, знаешь, сколько рыбы сжигает? О-го-го. А знаешь, их тут сколько? Тыщи тыщ. Вон колхоз в старой Игарке по рыбе на десять процентов план выполнил. Мелочь-то пожрали эти ваши чаечки, вот!

Но тут Генка что-то вспомнил и замолк. Может, он вспомнил, что в подтоварнике у него лежат стерлядки и костери, а это, между прочим, маленькие осетры костериты, и поймал он их, между прочим, недозволенным образом. А таким образом в Игарке рыбу многие ловят, да и возле Игарки тоже. Давно ловят. Наверное, об этом и вспомнил Генка, а потом повысил голос:

— Вот они какие, чаечки-то ваши! Насочиняли про них песенок да стишков: «Белокрылая чайка, белокрылая чайка!» А она вовсе не белокрылая, а серокрылая. Это у нее только туша белая. Вранье все!

Опять Генка замолчал, потому что начал-то он говорить сердито, на высокой ноте, а под конец голос его завыл и вовсе уж виноватым сделался.

— Слыш, Катюха, не серчай! Нечаянно я, чесслово, нечаянно. Ну, хоть скажи что-нибудь? — заорал он, выплонув за борт окурок. — Воспитывай, что ли! Ругайся! Я люблю, когда ты ругаешься.

Никакого ответа. Тогда Генка принялся ругаться сам:

— Да я чаек почти никогда не трогаю. Утку, гуся — другое дело. А на эту погань и заряда жалко. Я уток за весну по сотне бивал. А что? Жалей уток-то, жалей! Птичка тоже, бедная, безвредная. А жрать чего будешь? Жрать-то вы все мастера. А кто добывать-то? Охотники! Душегубы! А вы скушаете. Котлетки-то ешь, небось, в столовке? Из чего котлетки делают? Между прочим, из коровы. За что же корову убивают? Всю жизнь ее сердешную за дойки тягают. Деточек ее молочком выкармливают, а как перестанет текчи молоко, нож ей в горло и на котлетки, ноги на студень, язык в ресторан, а там его поэты с шампанским сшамают и еще стих про чайку сочинят. Чувствительный народ!

— Не болтай! Замолчи! Не имеешь права! — огрызнулась Катя, резко приподняв голову.

— Как это не имею? — поразился Генка. — Да я что, лишенец, что ли? Мне что, и говорить уж нельзя? Ты что

думаешь, я уж в самом деле только на пакости гожусь. Я вон учительницу у вербованных отбил. Ту самую, которой нервы в школе потратил. Да. Законно. Не веришь? Они у нее часы хотели снять, а я отбил. Они вон мне ножом в спину швырнули. А я матери сказал, что путь с причалов окорачивал и через забор биржи лез, а на оцепину наделся. Так и засохло. Тебе первой говорю, вот... А ты... — уже с упреком закончил Генка и попытался еще чего-нибудь такое положительное вспомнить про себя. И не смог.

Похвальных грамот ему не давали, медалей тоже. Даже когда всех сряду награждали медалями «За доблестный труд» в военные годы, его обошли, потому что несовершеннолетний еще был и работал на бирже почти тайком, по слезной просьбе матери. Мать уломала начальство, и его условно, без настоящего оформления приняли на укладку досок в штабеля. Все руки в занозах были — старался от взрослых не отставать.

Вот только занозы и достались ему, да еще несколько раз в приказах отмечали по праздникам. Но тогда почти всех отмечали и везде так отмечают, и этим Катерину не удивишь. Она вон комсомолка, в техникуме учится и работает, будь здоров, в коммунистической бригаде. А он ее лапаты принялся, расклевил этой чайкой, в нервное потрясение ввел. Недостоин он ее. Уедет она, плюнет на такого. И какой черт подсунил эту чайку? Летала бы стороной, а то на самую лодку, на ружье прет! Тут и не хотел бы, да стрелишь. И всю жизнь вот так. Мысли не удержишь даже, чтобы чего-нибудь такое сделать, а оно все равно сделается.

Так думал Генка. А Катя все не разговаривала с ним, но чувствовала: мается парень. А пусть мается, пусть! Легко живет, с хохотком, с шуточками. Надо же научить его хоть немного задумываться, хоть на шаг, на два вперед смотреть. Кто-то должен научить? Она? Сумеет ли? Пожалуй, не сумеет. Но она знает твердо лишь одно — Генка не должен так жить, чтобы знакомых у него было рой, а друга ни одного. А он от силы бесится. Не знает, куда ее деть. Сегодня в чайку пальнул, завтра может и в человека пальнет. Генка Гуцин все может. От него что угодно жди. «Генка, Генка! Откуда ты взялся такой озорной и неудобный парень на мою голову?!» Протяжно вздохнула Катя, и давно зрелее решение, еще с того дня, как они ходили

с Генкой по причалам, стало твердым и необходимым. Завтра же она пойдет на эти причалы, отыщет старый английский пароход, который грузит бригада Кости Пунтинцева, грузит с опережением графика, хотя и слабые лебедки на британском корабле. Она поговорит с этим Костей. Она еще посмотрит, что это за бригада, которая, двигаясь вперед, раскидывает на стороны таких вот парней, как Генка Гуцин. Она еще докопается и узнает — соответствует ли эта бригада тому званию, которое носит. У нее тоже есть характер, пусть несильный, пусть бабий, но упрямства в нем хватит и на двоих. Ее характер закаливался в работе и, значит, он чего-то стоит. И она тоже член бригады, борющейся за право называться коммунистической. Пусть этой бригады и нет здесь, но она-то есть. Неужели она отвечает за себя и за людей только там, на обувной фабрике, в своем цехе, в своей бригаде? Нет, конечно, нет, и не должно так быть. Она — человек. А человек, где бы он ни был, всегда ответствен за человека.

Лодка мчится по Енисею, почти наполовину поднявшись над водой. По сторонам разлетается вспененная вода. Ревет мотор. Вдали гостеприимно открывается устье Губинской протоки, с чащей корабельных мачт. Трубы лесозавода на бирже видны и низкодомный деревянный город на берегу, в котором часто случаются пожары. А под окнами домов, как и во всяком другом городе, растет картошка. Но только в тех городах рядом с огородами не синее ягода голубика, не накалется под солнцем морошка, не доцветает пахучий багульник, не кудрявятся мелколистныя карликовые березки, не стреллет крошечными облачками трава-пушица.

Лодка спешит к городу, в протоку, потому что поднимается ветер-север. Туда же, в протоку, спрячутся и другие лодки, мелкие пароходы, катеришки. Ветер пока еще пробует силу. Прилетит резкий, тугой порыв, сморщит угрюмое лицо Енисея, поднимет столбики сухого песка, палый лист тальника — бросит все это в воду, либо на камни, а потом усмирится на минуту, подумает и опять дунет.

Не торопясь, степенно, по-хозяйски расходится северный ветер, но бушует он иной раз суток по шести.

И не останется тогда на небе ни одного облачка, ни одной тучи. И песок уже не будет кружиться, и палая листва тоже, и утки улетят с Енисея на озера отсиживать

ся и пережидать непогоду. Деревья, кусты, каждый цветок, каждая травинка склонятся под ветром, подставят ему спину. Все усмирит северный ветер. Только чайки с ликующими криками станут кружиться над волнами, пересиливая встречный ветер, да дикий лук на берегах будет все так же упрямо целиться набухающими стрелками в небо, и на каждой стрелочке будет долго-долго дрожать клейкая капля, налитая горьким луковым соком.

И никакой ветер, даже север, не сломит стебли лука, не выдернет их из скудной прибрежной почвы, не собьет липкие капли. Их только солнце высушит. У дикого лука цепкий корень, живучий корень.

ЗАХАРКА

Лед на Енисее еще не тронулся, но перелетные птицы уже появились. В Заполярье всегда так — птицы опережают весну. Где-то в верховьях Енисея они прилетают на полоую воду, потом настигают ледоход и обгоняют его.

Колхозные бригады охотников в эту пору выезжают на промысел за птицей.

Захарка в колхозе еще не состоял, ему было всего двенадцать лет. Но он тоже засобирался на охоту: надо было помогать семье. А семья немалая — четверо ребят (себя Захарка к ребятам уже не причислял). Отца на войне убили, работница в доме одна мать. Она на рыбоприемочном пункте работала — резальщицей.

Станок Агапитово, где жил Захарка, совсем мал, всего несколько домиков. Работы здесь никакой сыскать невозможно, одна рыболовецкая бригада в Агапитове — и все. Самое большое начальство здесь бригадир и пекарь. А до правления колхоза и сельсовета более сотни километров. Заполярье — здесь такие расстояния между селениями не в диковинку.

Захарка ловил зимой силками белых куропаток и однажды заплутался и чуть не замерз. Мать после этого не пускала Захарку в лес.

К весне совсем трудно стало семье. Приварка нет, только рыбы иной раз бригадир давал, а без приварка ребятам пайка хлеба не хватало: растут. Паек же хлебный не растет. Все тот же, что и в войну. Но докатился и до Агапитова слух, что скоро карточки на хлеб отменят. А пока

Захарка прилачился к пекарю в помощники: дровишки пилит, колет, печь топит, пол моет — что заставит пекарь, то и делает Захарка. Лишь бы накормил. Поест Захарка в пекарне, значит, паек матери и братишкам с сестренкой достанется.

Надо жить, до лета дотягивать. Летом в Заполярье — лафа: дичь, яйца, рыба, ягоды, грибы, орехи. Летом в Заполярье жить можно.

А между тем пекарь совсем зазнался. Ну кто он такой в нашем нынешнем понимании — пекарь? Так себе — личность, вымазанная мукой. Но в те годы пекари пользовались большим авторитетом. Агапитовский пекарь, к примеру, жил по поговорке: «Сыт, пьян и нос в табаке».

Тут требуются некоторые пояснения: дело в том, что в маленьких поселках хлеб не только выпекался на пекарне, но и отпускался здесь же. Вот и выходило, что власть в ту пору у пекаря была полная. Захочет хлеб отпустить — отпустит, не захочет — не отпустит. Иди жалуйся на него — за сотню-то верст.

Ну а Захарку пекарь вовсе заездил, и плата парнишке одна — кусок хлеба.

Но все стерпел Захарка, дотянул до весны.

Птица пошла, собрался пекарь на охоту: гусятинки захотелось. Мать Захаркина попросила его:

— Возьмите Захарку, Ануфрий Пантелеймонович. После того случая боюсь я одного-то отпустить, а он рвется на охоту.

— Хлопот с ним не оберешься, — поморщился пекарь, — расхнычется.

— Да что вы! — Пекарь был единственным человеком в поселке, которого называли на «вы». — Он у меня ко всему привычный.

Мать хотела сказать, что и охотник Захарка удачливый, с семи лет ружьем владеет, а в ходьбе за ним и взрослому не утнаться, да не успела ничего разъяснить, пекарь недослушал ее.

— Ну, ладно, ладно, — кисло согласился он, — возьму. Будет обед готовить, вещи сторожить.

И вот они шагают по песчаному берегу — задастый, как баба, пекарь впереди, чуть кривоногий, коренастый Захарка сзади. У Захарки на ногах резиновые сапоги с калошами. Калоши на резиновые сапоги, конечно, не надевают. Но это когда сапоги целые. А если у них нет подметок, тогда с калошами тоже ничего.

Пекарь в болотных сапогах-вытяжках. Рюкзак у него казенный — с застешками, пряжками, железками. У Захарки просто мешок из-под муки, с опояской, вместо лямок. Ружье у пекаря — бескурковка заграничная, с выгравированными зайцами на щеках. У Захарки старая «тулка» без всяких зайцев. Но «тулку» эту Захарка ни в жизнь и ни за какие заграничные ружья не отдал бы, потому как отцовская она.

Километров пятнадцать отмахали пекарь с Захаркой. Пришли на огромный песчаный мыс. Через этот мыс каждую весну переваливают караваны птиц.

Пекарь приказал Захарке отабориваться: разводить огонь, устраивать ночлег, а сам принялся делать скрад на мысу.

Захарка, ловко орудуя топором, нарубил пихтача, сделал «kozyрек» и развел под ним огонь. Потом спустился на мыс и соорудил себе скрад. Пекарь посмотрел на мальчишку с любопытством, усмехнулся и спросил:

— Ты чего?

— Как чего?

— Делаешь, спрашиваю, чего?

— Скрад делаю, не видите, что ли?

— Скра-ад? Зачем?

— Известно дело зачем — стрелять.

— П-сс-ссых, — засмеялся пекарь, будто с натугой чихнул, и тут же боднул Захарку взглядом. — Стрелок сопливый! Мешать только! Сиди уж на стане, при багаже. Двeтри утки уделю потом.

— Мне вашего не надо. Я сам добуду.

— Ну, дело твое. Только гляди. Я лютый на охоте — упреждаю...

— Ладно пужать-то, пуганый уже, — буркнул Захарка и занялся своим делом.

Ночью пекарь ворочался с боку на бок. Привык в тепле нежиться и оттого мерз, хотя одет был толсто. А Захарка в телогрейке, под которую поддернута шерстяная кофта матери, в латаных ватных брюках и в сапогах с калошами спал крепко, но урывками. Через час-полтора он вскакивал — иначе застудишься. Подживив огонь, Захарка распахивал телогрейку, грел грудь, спину, потом сымал сапоги с калошами и калил портянки. Затем он засовывал руки в рукава и падал на пихтовые лапы и заставлял себя тут же заснуть, чтобы не терять ни минуты. Знал парниш-

ка, что при стрельбе влет нужно быть бодрым, хорошо отдохнувшим, чтобы и рука и глаз были верны.

Рано утром Захарка скинул телогрейку и побежал к воде. Он вымылся в Енисее почти до пояса. Пекарь съежился, глядя на Захарку, и даже губы у него посинели.

— Загне-ошься, — пообещал он парнишке.

— Ничего, ничего, — быстро натягивая на себя одежду, сказал Захарка, — зато потом жарче будет, а вас, как от огня отойдете, цыганский пот прошибет, помяните мое слово.

Утро пришло в Заполярье! Пески на берегах чуть курились. Снег с песков уже сошел, и они жадно, неутолимо вбирали солнечное тепло. В кустах и по закрайкам озер снег еще лежал, плотный, с поздреватой корочкой наста. Днем эта корочка рассыпалась со стеклянным звоном.

Сидит Захарка в скраде, поглядывает, птицу ждет.

Славный скрад у Захарки получился. Затащило еще в прошлую весну на мыс кусок земли с дерном, и весь он пиками тальника взялся, пальца не просунешь — так густ тальник. Захарка лозины тальника в середине вырубил, а вершинки крайние связал, вот и готов скрад. Главное, птицы помнят: в прошлом году осенью здесь этот островочек тальника был, и не станут облетать его.

Песчаный мыс изогнутым крылом врезался в Енисей. Темны, огромны забереги у Енисея. Две-три иных реки уместятся в одну такую заберегу. И с той, и с другой стороны уже давно оттаял лед от берегов. А вот стоит же. Держит его север и еще слабо нажимает юг.

Однако вон в тихой студеной забереге частые кружки, будто от дождя. Это селедка-зубатка — начала появляться, значит, не сегодня-завтра река тронется.

И вместе со льдом пойдет зубатка.

Будут пичкать льдины селедку, выталкивать ее на берег косяками — знай собирай в корзины. Ну что бы вот этой зубатке идти раньше или повременить день-другой и переждать ледоход? Нет, на смерть идет, а не отступает от своих законов.

Попробуй разбери их, эти законы природы.

Сидит Захарка, думает. Холод к ногам подбирается, не больно стойки калоши против стужи.

Высоко проходят громадные табуны уток. Эти идут еще дальше, им путь к Енисейской губе, к Диксону, к Ледовитому океану.

Но вот за мысом, над кромкой леса изломанный угол. Он растет, ширится. То был как будто простым карандашом отчеркнут на бледном небе, а теперь уж словно углем, вон уж и пунктир образовался. Дробно рассыпался косячок по небу, распался — точки, мячики, комки. Ближе, ближе. Га-га-га-га! Га-га-га-га! Гуси.

Идут гуси. Медленно идут, устало. Огромный путь одолели они. Горы, реки, моря оставили позади. Сейчас они почти «дома» и оттого летят без строя, неторопливо. Надоела им дисциплина, измотал изнурительный перелет — пора и подкормиться, пора передохнуть.

По всему видно, они норовят сесть на мыс. Вот уже снижаются, предупреждая друг друга, дескать, смотреть и еще раз смотреть!

И в это время — трах-пах!

Пекарь выстрелил, не утерпел.

Кольхнулась, рассыпалась и прошла над скрадом пекаря стая — под самым его носом. Захарка на колени привстал, выцепил одну птицу, ударил, и она грузно упала в песок, взбив легкое облачко.

Пекарь вдогонку гусям из обоих стволов саданул, но птицы были уже далеко, не достанешь дробью.

Прибежал пекарь к Захарке, глаза у него большие:

— Покажи гуся-то. — И стал вертеть птицу в руках, пальцами оглаживать. — Ха-арош, ах ха-арош! Ловко ты его. А я, понимаешь, поторошился.

— Ну, ничего, — успокоил пекаря благодушный от удачи Захарка. — Прилетят еще... Во! Слышите?

А вдали снова: га-га-га.

Юркнули в скрады Захарка и пекарь. Но этот табун прошел стороной. Зато тут же и один за другим низко промчались три табуна уток. Захарка выбил трех, а пекарь пять уток. Утки — не то что гуси — теряли друзей без криков и без паники. Казалось, они просто на ходу вытряхивали из табуна над скрадом одну-две птицы и, только слегка дрогнув, спешили без оглядки дальше.

Все шло как будто хорошо. Пекарь ликовал:

— Ка-ак я их, понимаешь, лупану — и посыпались они. Бой у ружья — сила! Да и стреляю я отменно. Это уж даве по гусям просто поазартничал...

Захарка молчит, только слегка морщится. Нехорошо это — трещать на охоте, похвально. К охоте Захарка относится со спокойной серьезностью — она для него не забава, а работа, дающая пищу, жизнь. Так же к охоте

относился и отец Захарки, а он был знатным промысловиком.

— Ша! — закричал сердито Захарка. — Летят! — И пекарь послушно затих в своем скраде.

Шла большая, туго сбитая стая гусей-ворогуек. Шла она ровно, без суеты, роняя редкую переключку на землю.

И на этот раз пекарь поторопился. Думал, должно быть, как бы Захарка не опередил его. Он уже убедился в том, что болтать и мазать Захарка не охоте не любит.

Плохо стрелял пекарь в табун, наудалую. Два гуся после его выстрела колыхнулись и пошли на сторону, к забереге. Вспахав лапами белые борозды на темной воде, гуси тоскливо закричали, провожая родную стаю.

Захарка прихватил последнего гуся. Шел он низко, на верный выстрел. Гусь упал чуть подалее скрада, но выправился и попробовал подняться на крыло. Захарка ринулся наперерез, и в это время — хлесть! Почти у самых ног Захарки прошла дробь. Парнишка оторопел.

А пекарь выскочил из скрада и на Захарку с кулаками, махается и орет:

— Ты чего это за чужой птицей гоняешься? Ишь, ловкий какой... Я их трех прихватил. Два-то вон на Енисей ушли, а этот упал. А ты — ишь...

Видел Захарка — врет пекарь. По глазам видел, по голосу слышал — врет.

— Как тебе не стыдно! — сказал он пекарю, сразу переходя на «ты». — Детишек голодишь...

Пекарь аж захлебнулся от таких слов. Он привык к почтению, привык, чтобы его на «вы» называли.

— Ну ты, оглодыш! — замахнулся он на Захарку. — Глади у меня! А то я властью отца твоего покойного оттаскаю за уши!

— Крохобор! — презрительно сощурился Захарка. — Властью отцовской... При отце ты не посмел бы у пацана отбирать. Властью! У меня еще полон патронташ зарядов. Срежу, как чирка! По-огань!

Пошел Захарка прочь, в свой скрад, коренастый, кривоногий, не по годам скроенный, не по летам рассудительный и злой. Жизнь сделала таким Захарку.

Больше не разговаривал Захарка с пекарем, и к хлебу его не притрагивался, хотя тот юлил и все время с едой насыщался.

А почему он юлил — выяснилось после.

Четырех гусей добыл Захарка и уток штук двенадцать, можно сказать, на месяц семью едой обеспечил. А пекарь так с одним захапанным гусем да с несколькими утками домой плелся. Идет и все разговор подводит к тому, чтобы разделить пополам добычу. Захарка делает вид, будто не понимает намеков пекаря. Прет тяжелый мешок, сопит, потом обливается и помалкивает.

Возле поселка пекарь без обиняков заявил:

— Слышь, ты, сосунок! Не будет того, чтобы меня весь станок срамил, чтобы я ославился из-за того, что ты меня обстрелял.

— По бутылкам да по консервным банкам мастер стрелять, теперь по птице поучись! — процедил сквозь зубы Захарка и тут же добавил: — А насчет дележа охолони и рот не раскрывай. У меня детишки и мать.

— Ах так! — рассердился пекарь. — Значит, охолони! Значит, ты понягтя того не имеешь, что кабы не я, так детишки твои и ты вместе с ними ноги бы давно протянули. Подкормил на свою шею, подкормил. Н-ну, погоди!

— Спаси-итель! — скривил губы Захарка и себе под нос: — Вша!

Пришел Захарка домой, супу наварил, ребят накормил, сам наелся и еще матери оставил.

Мать явилась в слезах.

— Что ты там наделал? Чем пекарю-то досадил? Зверем он на меня смотрит и говорит, что с сего дня никаких льгот нам не будет.

— Плевать на такие льготы! — рассердился Захарка. — Корочки, как собакам, подбрасывает, чтобы я батрачил на него, как на кулака при давнем времени. Вот через месяц-другой карточки отменят, и оплывет он, как червивый гриб. льго-о-ота!..

Прошлым летом ездил я в Заполярье и побывал на осенней охоте возле станка Агапитово. Довелось мне там ночевать у рыбацкого бригадира Захара Тунегова, того самого Захара, который уберег семью от голода и еще в детстве сделался взрослым.

— Ну и как вы тогда? — спросил я, когда Захар рассказал мне эту историю, не столь веселую, сколь грустную.

— Выжили. Тем же летом полегченье с хлебом стало, прибавили нам паек, как заполярным жителям, а потом вовсе карточки отменили. Но еще до отмены карточек посадили пекаря-то. Подмешивал он чего-то в хлеб — вот

и угодил, куда надо. — Захар вынул трубку, постучал ею о камень, набил табаком и добавил: — А я вот и по сей день его, подлого, забыть не могу, так-то он мазнул сажей по моему детству, так-то он отяжелил его, и без того нелегкое. — Захар помолчал, глубоко затянулся: — У самого вон трое сейчас растут, стараюсь, чтоб ни в чем нужды не знали. Жена иной раз говорит — балую. Может, и балую. За себя балую, за своих братьев и сестренку.

После этого Захар долго молчал. Сидел он на опрокинутой лодке и молчал. Над Енисеем торопко проносились стаи уток, куликов. Кружились и вскрикивали чайки. Начинался осенний перелет. Птицы отлетали на юг, в теплые края, замыкая свой ежегодный, великий путь.

СТАРЫЙ ДА МАЛЫЙ

Сто лет стояла на земле деревня Полуяры. И семьдесят лет прожила в ней Меланья Тимофеевна.

Сто войн, а может, и больше, гремело на земле, и все они стороной обходили Полуяры. Жила бабка Меланья Тимофеевна спокойно в своем доме, с дочерью и зятем, а потом осталась с внуком Колькой. Дни Меланьи Тимофеевны всегда были заполнены до краев привычными делами и заботами. Да и дней-то земных осталось у нее мало. Дожить бы их спокойно и отправиться к родителям своим. Потрудились на своем веку, никому свет не застила, добра людям немало сделала, и они ей тоже. Добрыми делами и красна жизнь.

Одна, самая большая война докатилась и до Полуяров.

Колька болел, и бабка Меланья Тимофеевна тоже болела. Забились они на печь и дрожали в ознобе или метались в жару. Бабка, преодолевая слабость, утрами спускалась с печи и подавала Кольке водицы, сыпала курам овса, топила печь.

Люди к ним не заходили. Людям было не до них.

Отец Кольки воевал, мать тоже: медицинской сестрой.

Фронт перевалил Полуяры, где теперь отец и мать, Колька не знал, и бабка тоже про них ничего не знала.

Однажды в избу ввалились они — враги. Трое. Носами потянули, потом бабку Меланью Тимофеевну за ногу дернули. Она с печи голову свесила:

— Чево нада?

— Млеко, яйки!

— Дьявола плешивого не хотите? — поинтересовалась бабка и, обнаружив, что чужеземцы не поняли насчет дьявола, крикнула: — Убирайтесь из дому! Больные мы. Тиф!

Немцы вытаращили глаза и попятились, будто кто на них грудью надвинулся и потеснил к двери. Во дворе они подняли пальбу.

— За курями охотятся! — встрепенулась бабка и наладилась вниз спускаться.

Колька схватил ее обеими руками и захныкал:

— Не ходи, баб, не ходи! Убьют.

Меланья Тимофеевна негодуяще размахивала руками, но все-таки смирилась, уступила больному внуку.

Насчет тифа бабка наврала.

Когда фронт подходил к Полуяркам, надоумил их один добрый человек отыскать госпиталь, в котором работала дочь Меланьи Тимофеевны. Долго колесили по земле бабка с внуком, много госпиталей видели, да не нашли того, который им нужен был. Разве госпиталь-то один на свете?!

Полосовало старого и малого дождем, секло ледяной крупой, а они все шли и шли, надеясь отыскать или же нечаянно встретить среди военной сутолоки, среди тысяч людей хоть кого-нибудь из двух родных человек. Но затерялись они, вовсе затерялись в людской коловерти, куда-то занесли их нерадостные военные дороги, дороги отступления.

Потеряли бабка с внуком всякую надежду на встречу и притащились домой. Простыли, ослабели, едва до деревни добрались. И тут скрутила внука, а потом и бабку хворь. Два человека в доме, и оба больные — плохо, совсем плохо. Бабка парит в печке до ярости жгучую траву, дает Кольке пить настой и сама пьет.

Ночью на печи шуршат тараканы, за окном, в трубе ветер воеет, и слышатся нерусские крики, хрип автомобильных гудков. Изредка хлопают, как деревья в мороз, выстрелы, да воют одичавшие собаки.

Бабка в бессонные ночи творила молитву на новый лад:

— Чтоб вам, смердящим мокрицам, ни дна ни покрышки! Чтоб вы, нехристи, околели все до единого!..

Напрасно бабка проявила находчивость и сказала на-

счет тифа — накликала беду, старая. Донесли, видно, те трое куда следует, и вот в избе появился немец с повязкой на рукаве, с чистенькими нашивками на воротнике мундира. За ним солдат с канистрой, наполненной керосином. Тот, что с повязкой на рукаве, был низенький, юркий. На щеках и на подбородке у него выводки бородавок, а в ушах рыжие волосы. Он деловито просеменил по избе, заглянул в горницу, затем ткнул пальцем в сторону Меланьи Тимофеевны, требуя внимания. Бабка свесила босые ноги с печки и подозрительно уставилась на чужеземца. А он весело и по-русски выкрикнул:

— Тиф! Будем сжигать.

Бабка смекнула — неладно дело. Однако никакого страха не выказала, а только насупилась:

— Сам тиф всемирный! Кто ты — лекарь или кто?

— Я есть доктор! — не без гордости отрекомендовался пришлый. — Доктор Кушке.

— Коновал ты, а не доктор, коли простуду от тифа отличить не умеешь, — буркнула бабка.

Не понравились Кушке такие слова, и он замахнулся на бабку. Она смерила его презрительным взглядом с высоты печки и выкрикнула:

— Но-но, не больно рукам волю давай, а то я возьму рогач да рогачом-то по башке и налажу. У меня хозяин поширше тебя костью был и нравом лютой, да и то пальцем не трагивал.

Кушке опять повысил голос, однако замахиваться уже не стал. Бабка и кричать ему не позволила, выставив довод, что, мол, если он в самом деле доктор, то не имеет никакого права гавкать. Она, бабка, в скольких больницах на своем веку побывала, и всегда доктора там были вежливые и полный порядок и тишину соблюдали.

— Это, может, у вас, в неметчине, доктора горластые, так туда и отваливай да там и ори, — прибавила она.

На это доктор Кушке ответил бабке, что германская медицина есть передовая медицина в мире, и что германская армия есть непобедимая армия, и что эта армия непременно наведет порядок в дикой стране — России. Кушке при этом напыжился, и бабка Меланья сокрушенно покачала головой:

— Звонарь.

— Что есть звонарь? — Кушке полез в карман за блокнотом.

Тут бабка не выдержала, махнув рукой, рассмеялась.

Немец тоже развеселился, назвал ее маткой, хлопнул по спине, пощупал у Кольки пульс, глядя на золотые наручные часы.

— Момэнт!

Кушке отдал какие-то распоряжения молчаливому солдату, называя его Генрихом. Тот вытянулся, гаркнул и ушел, прихватив с собой канистру. Бабка Меланья проводила его облегченным вздохом и стала терпеливо слушать Кушке. А он опять толковал о великой германской нации, называл бабку варваром, на что бабка отвечала такой ухмылкой, будто слушала придурковатого человека, от которого умных речей ждать — дело бесполезное.

Заскрипели ворота. В окно было видно: в ограду въезжала длинная, как гроб, повозка. Повозку тянул короткохвостый пегий конь, а вожжи держал тот самый немец, которого Кушке называл Генрихом.

Доктор Кушке, как потом выяснилось, был вовсе не доктор, а всего лишь фельдшер, но форсил и выламывался не хуже, чем иной профессор. Он дал бабке Меланье порошки, велел пить их регулярно и снова начал распространяться насчет благородства германской медицинской науки. Но бабка Меланья не захотела пользоваться внука германскими лекарствами и, когда Кушке ушел, бросила порошки в лоханку да еще и плюнула туда же.

Повозка и лошадь остались во дворе. Вечером заявился помощник Кушке — Генрих и занял горницу. Он быстро навел в передней комнате немецкий порядок, все переставил на свой лад, на заграничный. Над кроватью он повесил складной портрет Гитлера, пол и стены обрызгал вонючей жидкостью.

— Только появился и уже всю избу запоганил, — сердилась бабка Меланья, убирая со стены большую раму. В раме этой были тесно размещены фотокарточки покойных и живых родичей Меланьи Тимофеевны. Не желала бабка, чтобы достойные люди поганились в соседстве с такой нечистью, какую разместил постоялец на стене.

Генрих ткнул в одну из фотографий пальцем:

— Коммунист?

Это была фотография покойного мужа Меланьи Тимофеевны, убитого еще при Цусимском сражении. Снят он был в матросской форме, возле кокетливой тумбочки.

— А то не коммунист? — съязвила бабка. — Вон у

него и значок на бескозырке. — И тут же вполголоса прибавила: — Моли Бога, что в живых нет, он бы из тебя кишки-то выпустил...

Генрих был тыловой вояка — санитар. Он вместе с Кушке обосновался в Полуярах и вроде бы не собирался покидать деревню. Кушке больше не заглядывал в избу бабки Меланьи. Он занимался какими-то своими делами. А какими — бабка разузнала после.

Как-то пришла она домой вся в слезах и рассказала Кольке о том, что за селом немцы расстреляли молодых девушек и парней. Расстреляли и бабкину племянницу Полю, и бабка сама видела, как Кушке бродил меж побитых людей, щупал у них руку, как тогда у Кольки, и добывал из пистолета.

— Я сразу раскумекала, что он за доктор! — возмущалась бабка. — Самый что ни на есть помощник смерти, самый что ни на есть лиходей!

Ночью бабка потихоньку выбралась из дому и вместе с соседями похоронила тех, кого раньше кляла за агитацию и пропаганду против Бога, тех, кого срамила не раз в клубе принародно, называя супостатами и антихристами. Видно, понарошку гневалась на полуярских комсомольцев бабка, иначе зачем бы пошла их тайком хоронить, не боясь немецкой пули.

Дела у немцев на фронте не ладились. В деревню все чаще и чаще привозили раненых и школу превратили в госпиталь. Там хозяйничал Кушке. Санитар Генрих приходил из госпиталя поздно, снимал шинель, запятнанную кровью, молча пил шнапс и зверем глядел на бабку Меланью и на Кольку.

Однажды бабку Меланью унесла нелегкая куда-то, и она целый день не появлялась дома. Санитар пришел рано, залез в подвал, свернул головы двум курицам, которых бдительная бабка сумела-таки упрятать от немцев. В присутствии бабки Генрих не смел тронуть кур, а без нее вот добрался. Он бросил еще теплых кур на пол и заставил Кольку ощипывать перья.

Колька никогда кур не теребил. Перья летели по всей избе, но дело вперед продвигалось медленно. Кольке было жаль хохлаток и не хотелось угождать немцу, может, поэтому он и работал медленно.

Санитар смотрел, смотрел, а потом поджал тонкие синеватые губы и, схватив Кольку, стал выдергивать его волосы. Не торопясь, с чувством наматывал он на палец

клок кудельно-мягких Колькиных волос и, упершись другой рукой в затылок мальчишки, делал рывок, приговаривая:

— Так! Так! Так!

Таким методом он, должно быть, намеревался научить парнишку работать быстрее, а может, и слезы у него добыть. Но Колька не заревел, чем привел в исступление санитаря. Он сунул в нос Кольке клочок выдернутых волос, затем смазал упряму по затылку, затопал ногами.

Пока шлялась бабка по деревне, немец сварил кур и съел их. А вечером он сидел за столом и чесал голову гребнем. На бумагу сыпались крупные вши и прытко разбегались по сторонам. Немец давил их ногтем, и они хрустели, будто конопляные зерна. Бабка Меланья плевалась, поносила постояльца последними словами. Генрих сытно отрывивал и хохотал. Колька с ненавистью глядел на лысеющую голову чужеземца, а глаза его горели лютой, немальчишеской ненавистью.

Колька ждал. Но Генрих не торопился спать в этот вечер. Пил шнапс, напевал какую-то бравую песню, делал страшные глаза и орал на бабку, которая обнаружила, что он съел последних кур, и грозила ему кулаком. На этот раз дело дошло и до ухвата. Бабка выхватила его из-под печи и грохнула санитаря по спине. Тот вовсе освирепел, щелкнул затвором карабина. И чем бы все это кончилось, трудно сказать, если бы не вмешался Колька. Он оттолкнул бабку за печь и стал толковать немцу о том, что бабка старая, глупая, а он, Генрих, такой сильный воин и не к лицу ему вести бой со старухой. Генрих задумался, присмирел, но все-таки дал Кольке затрещину и пошел спать.

Оскорбленная бабка Меланья плакала на печи, намаливала всяческих напастей на голову всех ерманцев, а постояльцу желала даже килу и другие неудобные болезни. Кольке было жаль бабку. Он-то знал, какая она уже старенькая, немощная и добрая. Дивился мальчишка ее бесстрашию. И где только вмешалось оно в дряхлой старушонке! Колька обнял бабушку, утер дряблые щеки ее ладонью, отчего она совсем ослабела, уткнулась в его острое плечо мокрым лицом.

— Не плачь, баб... Не плачь...

— Как же не плакать? Бусурманин-живоглот в моем доме хозяйничает! А на деревне-то что делается: грабют, стреляют, вешают! И где это наши-то, где? Ушли, спок-

нули нас, сирот, на великую муку. Вот явятся зятек с дочкою, я их тоже рогачом отхожу, чтоб воевали как следует, раз взяли-ись...

— Чего ты городишь, старая? — заворчал Колька. — Они отступили по стратегическим соображениям.

— По каки-им? — всхлипнула бабка.

— По стра-те-ги-чес-ким!

— Ой, Колюшка, может, оно и так, может, я из ума выжила и ничего понимать не умею, только, по моим соображениям, не надо бы отдавать свою землю врагу на поруганье...

— Ну ладно, спи ты! Погоди вот...

Поворчала еще бабка Меланья и утихла, сжалась в комочек. Колька осторожно спустился с печи, медленно потянул столешницу, где хранились вилки и ножи. Ящичек стола скрипнул. Колька замер.

Что-то бормотала во сне бабка, храпел с прихлопом чужеземец. На дворе прерывисто выла буксующая машина, слышалась нерусская речь. Полосы от фар шарили по окнам, металась по избе, бросали на пол кресты от рам. И все время, словно из-под земли, доносились глухие удары. Это там, далеко, на фронте, били пушки.

Мальчишка дрожащими руками перебирал вилки, ложки и, наконец, отыскал нож, старый столовый нож, закругленный на конце и сношенный на середине от долгого пользования. Пальцы мальчишки стиснули плоскую ручку ножа. На цыпочках двинулся Колька в горницу, нащупал косяк, остановился. И вдруг он вздрогнул, услышав встревоженный голос:

— Колюшка, где ты? — И уже совсем испуганный: — Колька!

Метнулась бабка с печи, схватила Кольку, нож у него вывернула.

— Ты что? Ты что, Христос с тобой? — со страхом и гневом твердила бабка приглушенным шепотом. — Погубишь себя, аспид ты этакий! Батюшко, Колюшка, что ты надумал, родимый?! — заревела бабка снова, а Колька ей сквозь зубы:

— Все равно зарезу! Он куриц сожрал, голову оципал, на тебя с ружьем! Хоть одного угроблю!

— Колюшка, кровиночка, где же тебе совладать с ним? Он ведь гладкий, что кабан, а ты еще ребенок. Ты вон и ножик-то такой взял, что им даже цыпенка не зарезать. Потерпи уж...

— Не буду терпеть, не буду! Ты не терпишь!..

— Да я уж старая, мне уж все одно скоро помирать.

Заплакал и Колька. Бабка прижала его к сухонькой груди, дрожащей рукой по голове погладила, целовала в завихренную макушку, выщипанную злыми руками, и ворковала что-то ему на ухо нежное, убаюкивающее.

Уснули старый да малый в обнимку. Уснули со своей бедой и горем. А в трубе завывала, томилась метель, и снег сыпался на вьюшки, и скреблись о стены голые ветки кустов в палисаднике, и гудела вдали земля, и все так же громко, на всю горницу храпел пьяный враг, еще не разучившийся спать крепко.

С той поры бабка Меланья особенно пристально стала следить за внуком. Она даже в баню ходила вместо него и с отвращением натирала мочалкой глыбистую спину постояльцу-вражине. Кольку бабка посылать боялась. Еще возьмет малый булыжник с каменки да завезет этому вшивцу по башке.

Генрих мылся в бане по часу, а то и по два. Веником он не пользовался, а истязал тело ногтями и садился в шайку, чего на своем долгом веку бабка не наблюдала и пришла к выводу, что немец этот — человек дикий и во все пекультурный.

Когда развезло дороги весенней ростепелью, а на калине под окном, как в мирное время, содомно зачирикали воробы и на березе повисли похожие на птичьи следы сережки, вдали усилилась канонада. Гул орудий начал приближаться к деревне.

Однажды, чуть не сшибив трубы на домах, пронеслись два голубых самолета, развернулись над деревней, будто специально прилетели показать яркие звезды. Санитар Генрих юркнул в подполье и настойчиво требовал, чтобы бабка Меланья Тимофеевна захлопнула западню. Но бабка, уперев руки в бока, стояла над темным отверстием и вызывала постояльца наверх, чтобы он разъяснил ей, что за самолеты летают, так как она сослепу никак не разберет, чьи они.

— Да наши, наши, — свистящим шепотом пояснял бабке внук и тащил ее за руку к окну.

Бабка Меланья отбрыкивалась от Кольки, подмигивала ему старческими, но все еще озорковатыми глазами: дескать, я и сама с понятием, дай человеку душу отвести.

Из подполья Генрих поднялся с картошкой в подоле мундира. Бабка миролюбиво проворковала:

— Экой угодливой стал, за овощью вот слазил в подпол, удружил старой...

Бабка Меланья вообще неузнаваемо переменялась в отношении к постояльцу, сделалась услужливой, чем вызвала неприязнь, даже отвращение внука. Колька не умел таить своих чувств и по-прежнему глядел на немца с дерзким вызовом, говорил ему нехорошие слова по-русски и, когда санитар заставлял чистить ломового коня, давать ему корм, пытался не покоряться. Меланье Тимофеевне внук прямо и выпалил:

— Выслуживаешься, старая!

На что бабка отвечала его же словами:

— По стратегическим соображениям.

Генрих надивиться не мог той перемене, что произошла в старом и малом. Он сначала заподозрил их в нехорошем умысле, а потом решил, что эти двое русских боятся, кабы их не прикончили под шумок во время отступления, потому и задабривают его. И от этого он обнаглел еще больше, заставлял бабку стирать заношенное, вшивое белье, по всем видам снятое с тех солдат, что умерли в госпитале. А Кольку — драить пуговицы на мундире, чистить сапоги и безотлучно находиться при коне.

Немец называл Кольку незнакомым словом «жокей». Малый воспринимал его как «лакей» и бесился от унижения.

Но вот однажды на рассвете по деревне сухо затрещали автоматы, захлопали гранаты, брызнули пули по окнам домов. Постоялец бабки Меланьи прибежал бледный, трясущийся и закричал на Кольку:

— Лешадь!... Шнеллер!..

Прячась подле домов, он побежал обратно к школе, наверное, за ранеными или за госпитальным имуществом.

В деревне разгорался бой. Яростно рычали немецкие пулеметы, резко визжали мины в воздухе, грохотали разрывы, и уже не понять было, где наши стреляют, где враги: все перемешалось.

Колька кинул на голову шапчонку, не попадая в рукава, стал надевать шубенку и уже на ходу приказал:

— Бабушка, в подполье спрячься!

— Колюшка, осторожней! — крикнула ему вслед бабка, но внук уже не слышал ее.

Бабка Меланья и не думала спускаться в подполье. Она пала среди кухни на колени и, волоча разом ослабевшие ноги, поползла в горницу, отбивая земные поклоны Богородице-матери, которая умильно поглядывала из переднего угла на этот беспокойный мир.

— Сокруши супостата! — молила бабка Меланья. — Сниспошли победу воинам земли православной, покарай чужеземцев... Обнеси, пуля, чело людей родных, угоди в сердце ворогу...

Тут, в горнице, за молитвой и застали бабку Меланью Кушке и Генрих.

— Где мальшик? — заорал на бабку Кушке.

— Чего? — не поняла бабка.

— Где есть мальшик? Твой внук? Где?

— Да леший его знает, — отозвалась бабка. — Убежал, должно, куда. А зачем он вам понадобился?..

Пальба в деревне усилилась. Мимо дома Меланьи Тимофеевны промчалась машина, другая, разбрызгивая похлебку из парящей кухни, проскакали кони. Следом бежали немцы, отстреливались. Бабка, наблюдая краем глаз за тем, что творится на улице, засуетилась:

— Я счас сыщу внука-то, сыщу. — И быстренько засеменила из дому. — Колька! Ко-о-олька! Где ты, нечистый дух! Тебя лекарь Кешка спрашивает...

Но Колька не отзывался. Генрих громко выругался, догнал бабку в сенках, схватил ее за седые реденькие волосы и дернул так, что упала Меланья Тимофеевна.

— Где внук? — топал ногами на нее Кушке. — Он спрятал сбруя! Отвечай!

Бабка Меланья усмехнулась и ничего не ответила. Немцы принялись пинать ее сапогами, топтать, таскать за волосы по полу. А она вдруг поднялась и пригрозила врагам сухоньким, почти детским кулаком:

— Не уйдете с земли нашей! Проглотит она вас!..

Ударил санитар каблуком в лицо старушки, а Кушке из пистолета выстрелил в ее узенькую грудь. Дернулась Меланья Тимофеевна, судорожно царапнула ногтями половицы, вытертые за долгие годы ее руками до сучков, всхлипнула и замолкла. Струйка крови выкатилась из бабкиного рта, расплылась по полу и потекла в щель.

Пока бабка «заговаривала зубы» немцам, пока они били ее да суетились в ограде, отыскивая сбрую, обошли де-

ревню наши части, полоснули по ней из автоматов с другого конца. Кинулись Кушке с санитаром на улицу, а там уже от дома к дому красноармейцы перебегают и сыпят из оружия так, что головы не поднять.

Крикнул что-то Кушке санитару и, открыв задние ворота двора, побежал через огород к лесу.

Колька лежал за баней в бурьяне на хомуте и шлее. Кушке и долговязый постоялец, храпя, как загнанные лошади, пронеслись рядом, перемахнули через огород. Но из лесу, роняя сосны, сминая кусты, с рыком вынырнули танки, бухнули из пушек и понеслись к деревне. Те немцы, что успели убежать за деревню, бросились назад, начали руки поднимать. Кушке с Генрихом снова в огород ринулись и уже не через забор, а между жердями. Карабин санитар застрял в жердях. Должно быть, немцу почудилось, что его кто-то схватил сзади, он взвыл пудурному, яростно рванулся и побежал вслед за начальником уже без карабина. Оба заскочили в баню и там затаились.

Колька приподнял голову, огляделся. Дым над деревней клубился, стрельба утихла. Из домов начали выбегать люди. Мальчишка подпер дверь бани колом и помчался во двор.

В распахнутых дверях сеней Колька увидел бабушку Меланью и, поднимаясь по лесенке, тревожно спросил:

— Ты чё, баб? — и вдруг услышал: что-то капало на сухие веники, свешанные под крыльцом, где раньше любили нестись куры. Из-под крыльца по земле медленно расплывалось багровое пятно.

— Бабушка! — с ужасом закричал Колька и отпрянул в глубь крытого двора.

Рядом кто-то равнодушно засопел.

Пегий большеногий конь, невзирая на войну, жевал солому с громким смачным хрустом. Колька наморщил лоб, пытаясь понять что-то, затем одним прыжком вскочил на крыльцо, в сенки и стал торопливо щупать бабушкину руку. Но где находился пульс, Колька не знал, да и рука бабушки уже сделалась холодной. Тогда Колька стал пальцами открывать глаза Меланьи Тимофеевны, не веря и не желая верить тому, что она мертвая!

— Бабушка, открой глаза, открой! — упрашивал он, а потом заревел: — Ну, открой же!..

Бабка глаза не открывала. Говорунья бабка молчала. Колька попытался утащить ее из сенок в избу, в тепло,

перепачкался кровью, но тяжела сделалась маленькая бабушка, тяжела.

Тогда Колька сжал кулаки, почти спокойным и оттого сразу повзрослевшим голосом произнес:

— Я сейчас, бабушка, я их...

Он побежал к тому месту, где немец уронил карабин, схватил его и принялся палить в окно бани.

— Натe! Натe! Гады! Лиходеи!..

На выстрелы прибежали люди, отняли у Кольки карабин.

Глянул Колька — перед ним в шинели, с ремнем через плечо командир, свой командир, красный, русский, советский. Уткнулся Колька в пряжку ремня и разрыдался.

Командир гладил мальчишку по спине, и по скулам его перекатывались желваки. Сквозь рыдания Колька проговорил, показывая на баню...

— Они там... Они... бабушку...

Немцы забились на полок, на котором парятся люди русские веником. Вынули их оттуда красноармейцы, пистолет у Кушке отобрали. Увидел Колька постояльца своего и «благородного» Кушке с поднятыми руками, бросился на них, как зверек, царапать стал. Солдаты сначала вроде бы не замечали такого произвола в обращении с пленными, но потом со словами: «Будет, будет, малец!» — оттащили Кольку от немцев. Те в страхе прятались за спины красноармейцев от осатаневшего Кольки. Его они боялись больше.

Командир с бойцами и с Колькой вошли в избу, подняли бабу русские люди, положили на скамью, постояли над ней с обнаженными головами целую великую минуту. После этого накрыли Меланью Тимофеевну красноармейской плащ-палаткой, и командир, прокашлявшись, глухо сказал:

— Схоронить бабушку вместе с бойцами, павшими в бою за эту деревню.

Один остался Колька. Схоронили бабушку Меланью Тимофеевну. Над ее могилой, как и над могилами бойцов, залп из винтовок дали и столбик со звездочкой поставили.

Ходил Колька по избе как потерянный, не зная, что делать. Одно живое существо осталось с мальчишкой — немецкий конь. Колька сначала и на коня злился, вилами

по хребту его лупил, ругал всячески и есть ему не давал, а потом понял, что конь ни в чем не повинен, и принес ему с поля соломы.

Часть, которая отвоевала у немцев Полуяры, ушла дальше. В деревне остановилась артиллерия. Запряг Колька послушного немецкого коня, сел в повозку и доставил к тому месту, где кухня стояла. Колька так полагал: где кухня, там и штаб. Увидел Колька бойца с сытым лоснящимся лицом, поздоровался с ним и отдал ему вожжи:

— Сдаю коня в фонд обороны. В плен мы его с бабушкой взяли.

Боец не оценил Колькиного великодушия и пренебрежительно заявил:

— На что он нам, у нас машины!

Обиделся Колька. Боец его утешил:

— Береги, малый, конягу! Пригодится. Скоро пахота начнется, а колхоз у вас разоренный, вот и будет тягловая сила... — Подумал боец, подумал и со вздохом добавил: — Нам бы сейчас не лошадь, а картошки хоть центнер...

И рассказал он Кольке о том, что воюют бойцы почти голодные. Застряли где-то из-за бездорожья снабженцы — ни хлеба, ни табаку, ни продуктов нет. Кухня третий день не дымит. И он, повар Коротыч, есть сейчас последний человек в дивизионе, потому как дела своего не исполняет, ничего не варит и за это окружен, можно сказать, полным презрением со стороны героически сражающихся бойцов.

Выслушал Колька повара Коротыча, сел в повозку и уехал. Повар с тоской посмотрел ему вслед. Снег набух, порыжел, расплылся, дорога растерзана. Грачи над дорогой кружились, и совсем было непохоже, что скоро доберется сюда хоззводовская машина с продуктами. Ушел Коротыч в избу, с глаз огневикув долой.

А Колька выехал за деревню и повернул коня на глухую проселочную дорогу. Еще осенью, когда бродил мальчик с бабкой Меланьей, отыскивая госпиталь, видел он на дальних полях когаты — траншеи, куда на зиму ссыпается картофель и закрывается несколькими слоями соломы и земли. Они с бабкой-покойницей брали на вареве картошки из такого сооружения.

До поля Колька добрался уже к вечеру. Осмотрелся. Все поле в черных воронках. На меже танк с продырявленным боком, хобот в землю опустил. Убитые люди и

лошади лежат. Противогазы, ранцы, винтовки валяются. Вороны кружатся, каркают. Жутко.

Преодолевая страх, мальчик свернул на поле, отыскал когат. Но траншея оказалась раскрытой. Часть картошки из нее взята, а остальная замерзла. Поехал Колька дальше и вскоре наткнулся на другой когат, ненарушенный. Расковырял сырую землю лопатой, солому разбросал.

До полуночи грузил картошку малый, выдохся. Поспал здесь же, в когате, на соломе. С утра снова за работу принялся. Совсем обессилел Колька, а картошки в повозке все еще мало. Хорошо, что на поле пришли ребятишки с ближнего хутора за картошкой. Колька немедленно мобилизовал ребят и вместе с ними быстро догрузил повозку.

Когда Колька привез картошку, повар Коротыч принародно обнял его и громогласно объявил, что Колька является истинным советским патриотом. От таких слов мальчишка сконфузился и поспешил скрыться. Вечером он принес охапку табачных корней. Коротыч до того расчувствовался, что еще раз назвал его патриотом и самолично зачерпнул мальчишке полный черпак картофельного пюре. В толченую картошку взамен сала были брошены лавровые листья. Коротыч берег редкостную по тем временам приправу на всякий случай, а может, и для блюд начальства, но тут расщедрился.

А весна уже разгулялась вовсю, согнала снег с полей, дороги стали подсыхать, снабжение боеприпасами и продуктами налажилось.

Однажды с передовой пришла машина. На ней тесно сидели бойцы и пели песни. Все они были необычайно веселы и подтянуты.

Повар Коротыч придирчиво осмотрел Кольку, велел ему снять старые сапоги, принес почти новые ботинки и приказал обуться. Когда бойцы выстроились на поляне возле штаба, Коротыч еще раз осмотрел Кольку и велел следовать за ним.

У крыльца того дома, где размещался штаб, стоял стол, накрытый красной скатертью, и на нем коробочки. Колька догадался — награды. Он еще никогда не видел, как вручают награды, и был очень рад, что Коротыч предоставил ему возможность посмотреть такое торжественное дело.

Бойцы выходили из строя четким шагом, принимали коробочки из рук генерала и зычно гаркали:

— Служу Советскому Союзу!

И вроде бы ничего такого особенного не происходило, а у Кольки в горле щекотно сделалось, и было для него все это очень даже трогательно. Он жалел о том, что не присутствует при такой церемонии бабка Меланья. Она-то уж не усидела бы дома, непременно пришла бы подивиться. Бабка никогда и никаких общественных мероприятий не пропускала. Она была очень любопытная бабка, любила людей послушать и сама поговорить любила. Хорошая была бабка. Семьдесят лет прожила она в родной деревне и никому зла не делала. Но пришли враги и убили ее.

Над Полуярами кружились и громко кричали грачи, устраивая гнезда на тех деревьях, что уцелели от пожаров и бомб. По деревне шли и шли машины с пушками, кухнями, с минометами. А потом сделалось тихо на улицах.

Самая большая война прошла по деревне Полуяры, которая сто лет стояла на земле, а может, и больше. Прибавилось в деревне жителей, прибавилось могил на погосте. Весна спешила утопить побитую деревню в зелени, заполнить палисадники птичьим щебетом. Весна селась в Полуярах прочно и надолго.

БЕЛОГРУДКА

Деревня Вереино стоит на горе. Под горою два озера, и на берегу их, отголоском крупного села, ютится маленькая деревенька в три дома — Зуята.

Между Зуятами и Вереино огромный крутой косогор, видный за много десятков верст темным горбатым островом. Весь этот косогор так зарос густолесьем, что люди почти никогда и не суются туда. Да и как сунешься? Стоит отойти несколько шагов от клеверного поля, которое на горе, — и сразу покатишься кубарем вниз, ухнешь в накрест лежащий валежник, затянутый мохом, бузиною и малинником.

Глухо на косогоре, сыро и сумеречно. Еловая и пихтовая крепь надежно хоронит от худого глаза и загребущих рук жильцов своих — птиц, барсуков, белок, горностаев. Держатся здесь рябчик и глухарь, очень хитрый и осторожный.

А однажды поселилась в чашобе косогора, пожалуй, одна из самых скрытных зверушек — белогрудая куница. Два или три лета прожила она в одиночестве. Изредка появляясь на опушке, Белогрудка вздрагивала чуткими ноздрями, ловила противные запахи деревни и, если приближался человек, пулей вонзалась в лесную глухомань.

На третье или четвертое лето Белогрудка родила котят, маленьких, как бобовые стручки. Мать грела их своим телом, облизывала каждого до блеска и, когда котята чуть подросли, стала добывать для них еду. Она очень

хорошо знала этот косогор. Кроме того, была она старательная мать и вдосталь снабжала едой котят.

Но как-то Белогрудку выследили вереинские мальчишки, спустились за ней по косогору, притаились. Белогрудка долго петляла по лесу, махая с дерева на дерево, потом решила, что люди уже ушли, — они ведь часто мимо косогора проходят, — вернулась к гнезду.

За ней следило несколько человеческих глаз. Белогрудка не почувствовала их, потому что вся трепегала, прильнув к котяткам, и ни на что не могла обращать внимания. Белогрудка лизнула каждого из детенышей в мордочку, дескать, я сейчас, мигом, и вымахнула из гнезда.

Корм добывать становилось день ото дня трудней и трудней. Вблизи гнезда его уже не было, и куница пошла с елки на елку, с пихты на пихту, к озерам, потом к болоту, к большому болоту, за озером. Там она напала на простофилю-сойку и, радостная, помчалась к своему гнезду, неся в зубах рыжую птицу с распущенным голубым крылом.

Гнездо было пустое. Белогрудка выронила из зубов добычу, метнулась вверх по ели, потом вниз, потом опять вверх, к гнезду, хитро упрятанному в густом еловом лапнике.

Котят не было. Если бы Белогрудка умела кричать — закричала бы.

Пропали котята, исчезли.

Белогрудка обследовала все по порядку и обнаружила, что вокруг ели топтались люди и на дерево неловко лез человек, сдирая кору, обламывая сучки, оставляя разящий запах пота и грязи в складках коры.

К вечеру Белогрудка точно выследила, что ее детенышей унесли в деревню. Ночью она нашла и дом, в который их унесли.

До рассвета она металась возле дома: с крыши на забор, с забора на крышу. Часами сидела на черемухе, под окном, слушала — не запищат ли котятки.

Но во дворе гремела цепью и хрипло лаяла собака. Хозяин несколько раз выходил из дома, сердито кричал на нее. Белогрудка комочком сжималась на черемухе.

Теперь каждую ночь она подкрадывалась к дому, следила, следила, и все гремел и бесновался пес во дворе.

Как-то Белогрудка прокралась на сеновал и осталась там до света, а днем не решилась уйти в лес. Днем-то она и увидела своих котят.

Мальчишка вынес их в старой шапке на крыльцо и стал играть с ними, переворачивая кверху брюшками, щелкая их по носу. Пришли еще мальчишки, стали кормить котят сырым мясом. Потом явился хозяин и, показывая на кунят, сказал:

— Зачем мучаете зверушек? Отнесите в гнездо. Пропадут.

Потом был тот страшный день, когда Белогрудка снова затаилась на сарае и снова ждала мальчишек. Они появились на крыльце и о чем-то спорили. Один из них вынес старую шапку, заглянул в нее.

— Э, подход один.

Мальчишка взял котенка за лапку и кинул собаке. Вислоухий, дворовый пес, всю жизнь просидевший на цепи и привыкший есть, что дают, обнюхал котенка, повернул лапой и стал неторопливо пожирать его с головы.

В ту же ночь на селе было придушено множество цыплят и кур, на высоком заплоте задавился старый пес, съевший котенка. Белогрудка бегала по забору и до того раздразнила дураковатую дворнягу, что та ринулась за ней, перепрыгнула через забор, сорвалась и повисла.

Утят, гусят находили в огородах и на улице задавленными. В крайних домах, что ближе к лесу, птица вовсе вывелась.

И долго не могли узнать люди — кто это разбойничает ночами на селе. Но Белогрудка совсем освирепела и стала появляться у домов даже днем и расправляться со всем, что было ей под силу. Бабы охали, старухи крестились, мужики ругались.

— Это ж сатана! Накликали напасть!

Белогрудку подкараулили, сшибли дробью с тополя возле старой церкви. Но Белогрудка не погибла. Лишь две дробины попали ей под кожу, и она несколько дней таилась в гнезде, зализывала ранки.

Когда она вылечила себя, то снова пришла к тому дому, куда ее будто на поводе тянули.

Белогрудка еще не знала, что мальчишку, взявшего кунят, пороли ремнем и приказали отнести их обратно в гнездо. Но беззаботный мальчишка поленился лезть в лесную крепь, бросил кунят в овражке возле леса и ушел. Здесь их нашла и прикончила лиса.

Белогрудка осиротела. Она стала давить напропалую голубей, утят не только на горе, в Вереино, но и в Зуятах тоже.

Попалась она в погребке. Открыв западню погребка, хозяйка крайней в Зуятах избы увидела Белогородку.

— Так вот ты где, сатана! — всплеснула она руками и бросилась ловить куницу. Все банки, кринки и чашки были опрокинуты и побиты, прежде чем женщина сцапала куницу.

Белогородку заключили в ящичке. Она свирепо грызла доски, крошила щепу.

Пришел хозяин. Он был охотник. И когда жена рассказала, что изловила куницу, заявил:

— Ну и зря. Она не виновата. Ее обидели, осиротили. — И выпустил куницу на волю, думая, что больше она в Зуятах не появится.

Но Белогородка принялась разбойничать пуще прежнего. Пришлось охотнику задолго до сезона убивать куницу.

На огороде, возле парников, он увидел ее однажды, загнал на одинокий куст и выстрелил. Куница упала в крапиву и увидела бегущую к ней собаку с мокрым, гавкающим ртом. Белогородка змейкой взвилась из крапивы, вцепилась в горло собаки и умерла.

Собака каталась по крапиве, дико выла. Охотник разжимал зубы Белогородки ножом и сломал два пронзительно острых клыка.

До сих пор помнят в Вереино и в Зуятах Белогородку. До сих пор здесь строго наказывают ребятам, чтобы не смели трогать детенышей зверушек и птиц.

Спокойно живут и плодятся теперь меж двух сел, вблизи от жилья, на крутом лесистом косогоре белки, лисы, разные птицы и зверушки. И когда я бываю в этом селе и слышу густоголосый утренний гомон птиц, думаю одно и то же: «Вот если бы таких косогоров было побольше возле наших сел и городов!»

СТРИЖОНОК СКРИП

Стрижонок вылутился из яичка в темной норке и удивленно пискнул. Ничего не было видно. Лишь далеко-далеко тускло мерцало пятнышко света. Стрижонок испугался этого света, плотнее приник к теплой и мягкой маме стрижихе. Она прижала его крылышком к себе. Он задремал, угревшись под крылом. Где-то шел дождь, падали одна за другой капли. И стрижонку казалось, что это мама стрижиха стучит клювом по скорлупке яйца. Она так же стучала перед тем, как выпустить его наружу.

Стрижонок проснулся оттого, что ему стало холодно. Он пошевелился и услышал, как вокруг него завозились и запищали голенькие стрижата, которых мама стрижиха тоже выклевала из яиц. А самой мамы не было.

— Скрип! — позвал ее стрижонок.

— Скрип! Скрип! Скрип! — повторили за ним братья и сестры.

Видно, всем понравилось, что они научились звать маму, и они громче и дружнее запищали:

— Скрип! Скрип! Скрип!

И тут далекое пятнышко света потухло. Стрижата притихли.

— Скрип! — слышалось издалека.

«Так это ж мама прилетела!» — догадались стрижата и запищали веселей.

Мама принесла в клюве капельку дождя и отдала ее Скрипу — первому стрижонку.

Какая это была вкусная капля! Стрижонок Скрип проглотил ее и пожалел, что капля такая маленькая.

— Скрип! — сказал он. Еще, мол, хочу.

— Скрип-скрип! — радостно ответила мама стрижи-ха. Сейчас, дескать, сейчас. И опять ее не стало. И опять стрижата тоскливо запищали. А первый стрижонок кричал громче всех. Ему очень уж понравилось, как мама стрижиха поила его из клюва.

И когда снова закрылся свет вдали, он что было духу закричал:

— Скрип! — И даже полез навстречу маме. Но тут же был откинут крылом на место, да так бесцеремонно, что чуть было кверху лапками не опрокинулся. И каплю вторую мама отдала не ему, а другому стрижонку.

Обидно. Примолк стрижонок Скрип, рассердился на маму и братьев с сестренками, которые тоже, оказывается, хотели есть. Когда мама принесла мошку и отдала ее другому стрижонку, Скрип попытался отнять ее. Тогда мама стрижиха так долбанула Скрипа клювом по голове, что у него пропала всякая охота отбирать еду у других.

Понял стрижонок, какая у них серьезная и строгая мама. Ее не разжалобишь писком.

Так начал жизнь в норке стрижонок Скрип вместе с братьями и сестрами.

Таких норок в глиняном берегу над рекой было очень много. В каждой норке жили стрижата. И были у них папы и мамы. А вот у стрижонка Скрипа папы не было. Его сшибли из рогатки мальчишки. Он упал в воду, и его унесло куда-то. Конечно, стрижата не знали об этом.

Маме стрижихе было очень тяжело одной прокормить детей. Но она была старательная мать. С рассвета и до вечера носилась она над берегом и водой, схватывала на лету мошек, комариков, дождевые капли. Приносила их детям. А мальчишки, сидевшие с удочками на берегу, думали, что стрижиха и все стрижи играют над рекой.

Стрижонок Скрип подрос. У него появились перья, и ему все время хотелось есть. Иногда ему удавалось отобрать у братца или сестренки мушку, и тогда они жалобно и недовольно пищали. За это Скрипу попадало от мамы стрижихи. Но ему так хотелось есть, так хотелось есть!

А еще ему хотелось выглянуть из норки и посмотреть, что же оно там такое, дальше этого пятнышка света, откуда мама стрижиха приносит еду и ветряные запахи на крыльях.

Пополз стригонок Скрип. И чем дальше он полз, перебирая слабыми лапками, тем больше и ярче делался свет.

Боязно!

Но Скрип был храбрый стригонок, он полз и полз.

Наверное, он выпал бы из норки и разбился, как разбиваются такие вот неразумные птенцы. Но тут появилась мама стрижиха, схватила его, уволокла в глубь норки — и раз-раз его клювом по голове. Сказала сердито:

— Скрип-скрип! — И еще по голове, и еще по голове.

Очень рассердилась мама стрижиха, очень сильно была Скрипа. Должно быть, там, за норкой, опасно, раз мама стрижиха так волнуется. Конечно, откуда Скрипу было знать, сколько врагов у маленьких, проворных стрижей.

Сидит на вершине березы страшный быстрый сокол и подстерегает их. Скоком-прыгом подходит к норкам клюватая ворона. Тихо ползет меж камней черная гадюка.

Побольше подрос Скрип, догадываться об этом стал. Ему делалось жутко, когда там, за норкой, раздавалось пронзительное «тиу!» Тогда мама стрижиха бросала все, даже мошку или каплю воды, и, тоже крикнув грозное «тиу!», мчалась из норки.

И все стрижи с криком «тиу!» высыпали из норок и набрасывались на врага. Пусть этот враг хоть сокол, хоть коршун, хоть кто, пусть он хоть в сто раз больше стрижей, они все равно не боялись его. Дружно налетали стрижи, все, как один. Коршун и ворона скорей-скорей убирались в лес, а гадюка пряталась под камень и со страху шипела.

Однажды мама стрижиха вылетела на битву с врагом — разбойником соколом.

Сокол был не только быстрым, но и хитрым. Он сделал вид, что отступает. Вожак стрижей — Белое брюшко, дал отбой, крикнув победоносное «тиу!». Но мама стрижиха еще гналась за коршуном, чтобы уж навсегда отвратить его летать к стрижиным норкам.

Тут сокол круто развернулся, ударил маму стрижиху и унес в когтях. Только щепотка перьев кружилась в воздухе. Перья упали в воду, и их унесло.

Долго ждал стригонок Скрип маму. Он звал ее. И братцы и сестренки тоже звали. Мама стрижиха не появлялась, не приносила еду.

Потускнело пятнышко света. Настала ночь. Утихло все на реке. Утихли стрижи и стрижата, пригретые папами и

мамами. И только Скрип был с братьями и сестрами без мамы.

Сбились в кучу стрижата. Холодно без мамы, голодно. Видно, пропадать придется.

Но Скрип еще не знал, какой дружный народ стрижи! Ночью к ним нырнул вожак — Белое брюшко, пощекотал птенцов клювом, обнял их крыльями, и они пригрелись, уснули. А когда рассветало, в норку к Скрипу наведалься соседка-стрижиха и принесла большого комара. Потом залетали еще стрижи и стрижихи и приносили еду и капли воды. А на ночь к осиротевшим стрижатам снова залетал вожак — Белое брюшко.

Выросли стрижата — не пропали. Пришла пора покидать им родную норку, как говорят, становиться на крыло — самим добывать себе пищу и строить свой дом.

Это было радостно и жутко!

Скрип помнит, как появился в норке вожак — Белое брюшко. Вместо того чтобы дать ему мошку или капельку, он ухватил Скрипа за шиворот и поволок из норки. Скрип упирался, пищал. Белое брюшко не обращал внимания на писк Скрипа, подтащил его к устью норки и вытолкнул наружу.

Ну что было делать Скрипу? Не падать же! Он растопырил крылья и... полетел! И тут на него набросились все стрижи, старые и молодые. Все-все! И погнали они его от норки всей стаей навстречу ветру, навстречу ослепительному солнцу.

— Скрип! Скрип! — испуганно закричал стрижонок, захлебнувшись ветром, и увидел под собою воду. — Скрип! Скрип! «А если я упаду?» — с ужасом подумал он.

Но стрижи не давали ему упасть. Они гоняли его кругами над водой, над берегом, над лесом.

Потом крики стрижей остались позади, свист крыльев и гомон птичий утасли. И тут стрижонок Скрип с удивлением увидел, что он уже сам, один летает над рекой! И от этого сделалось так радостно, что он взмыл высоко-высоко и крикнул оттуда солнцу, реке, всему миру: «Скрип!» — и закружился, закружился, над рекой, над берегом, над лесом. Даже в облако один раз залетел. Но там ему не понравилось — темновато и одиноко. Он спикировал вниз и заскользил над водою, чуть не касаясь ее брюшком.

Хорошо жить! Хорошо, когда сам умеешь летать! Скрип! Скрип!

А потом Скрип и сам стал помогать стрижам — вытас-

кивал из норок стрижат и тоже гнал их над рекой вместе со всеми стрижами и кричал:

— Скрип! Скрип! Держи его! Догоняй!

И ему было весело смотреть, как метались и заполошно кричали молоденькие стрижата, обретая полет, вечный полет!

Скрип много съел в этот день мошек, много выпил воды. Ел и пил он жадно, потому что стрижи всегда в движении, всегда в полете. И оттого надо им все время есть, все время пить. Но день кончился. Он еще раз плюхнулся белым брюшком на воду, схватил капельку воды, отряхнулся и поспешил к своей норке. Но найти ее он не смог. Ведь снаружи он никогда не видел свою норку, а сейчас все норки ему казались одинаковыми. Норок много, разве их различишь?

Скрип сунулся в одну норку — не пускают, в другую — не пускают. Все стрижиные дома заняты. Что же делать? Не ночевать же на берегу! На берегу страшно. В норке лучше.

И Скрип начал делать свою норку. Вискребал глину остренькими ногтями, выклевывал ее и уносил к воде, снова возвращался к яру и опять клевал, скреб, а в землю подался чуть-чуть.

Устал Скрип, есть захотел и решил, что такой норки ему вполне хватит. Он маленько покормился над рекой и завалился спать в свою совсем еще неглубокую норку.

Неподалеку рыбачили мальчишки. Они пришли к стрижиному яру, один мальчишка засунул руку в норку и вынул Скрипа. Что только пережил Скрип, пока его держали в руках и поглаживали, как ему казалось, громадными пальцами!

Но ничего попались ребятишки, хорошие, выпустили Скрипа. Он полетел над рекой и со страху крикнул:

— Тиу!

Все стрижи высыпали из норок, глядят — никого нет. Ребятишки уже ушли, сокол не летает. Чуть было не побили стрижи Скрипа, но пожалели — молодой еще.

Тут понял Скрип, что в маленькой норке не житье, и принялся снова работать. Он так много раз подлетал к своей норке, чтобы унести глину, так пробивался в глубь яра, что норку эту отличал уже ото всех.

Как-то опять пришли мальчишки, засунули руку, чтобы вытащить Скрипа, а достать не могут. Скрип вертел

головою и, должно быть, насмешливо думал: «Шалишь, братцы-мальчишки! И вообще совесть надо иметь!»

Хорошо, спокойно жилось в своей норке. Теперь Скрип наедался и напивался досыта, сделался стремительным, сильным. Но вот отчего-то сделались беспокойными стрижи. Они почти не находились в норках, а все летали, кружились, лепились на проводах и часами сидели молча, прижавшись один к одному. А потом с визгом рассыпались в разные стороны, присаживались к осенним лужам, заботливо клевали глину и снова сбивались в стаи, и снова тревожно кружились. Эта тревога передалась и Скрипу. Он стал ждать, сам не зная чего, и в конце августа, на рассвете вдруг услышал призывный голос вожака — Белое брюшко.

— Тиу! — крикнул вожак. В голосе его на этот раз не было угрозы. Он звал в отлет. Взмыл Скрип и видит: все небо клубится. Тучи стрижей летят к горизонту.

— Тиу! — звал вожак. И стайка Скрипа помчалась вдаль, смешалась с другими стаями. Стрижей было так много, что они почти заслонили собой разгорающуюся в небе зарю.

— Скрип! Скрип! — тревожно и тоскливо кричали стрижи, прощаясь до следующего лета с родным краем.

— Скрип! До свиданья! — крикнул и стрижонок Скрип и помчался за леса, за горы, за край земли.

— До свидания, Скрип! До свидания! Прилетай в свою норку! — кричали вслед Скрипу мальчишки-рыбаки.

Стрижи улетают в одну ночь и уносят с собою лето. Прилетают они тоже в одну ночь и приносят с собою лето.

Скучно без стрижей на реке. Чего-то не хватает.

Где ты, маленький Скрип? В каких краях и странах? Возвращайся скорее! Приноси нам на крыльях лето!

КАПАЛУХА

Мы приближались к альпийским уральским лугам, куда гнали колхозный скот на летнюю пастьбу.

Тайга поредела. Леса были сплошь хвойные, покоробленные ветрами и северной стужей. Лишь кое-где среди редколапых елей, пихт и лиственниц пошевеливали робкой листвой березки и осинки, да меж деревьев развертывал свитые улитками ветви папоротник.

Стадо телят и бычков втянулось на старую, заваленную деревьями просеку. Бычки и телята, да и мы тоже, шли медленно и устало, с трудом перебирались через сучкастый валежник.

В одном месте на просеку выдался небольшой бугорок, сплошь затянутый бледнолистым, зацветающим черничником. Зеленые пупырышки будущих черничных ягод выпустили чуть заметные серые пылиночки-лепестки, и они как-то незаметно осыпались. Потом ягодка начнет увеличиваться, багроветь, затем синеть и наконец делается черной с седоватым налетом.

Вкусна ягода черника, когда созреет, но цветет она скромно, пожалуй, скромнее всех других ягодников.

У черничного бугорка поднялся шум. Побежали телята, задрав хвосты, закричали ребятишки, которые гнали скот вместе с нами.

Я поспешил к бугорку и увидел, как по нему с распущенными крыльями бегают кругами глухарка (охотники чаще называют ее капалухой).

— Гнездо! Гнездо! — кричали ребята.

Я стал озираться по сторонам, ощупывать глазами черничный бугор, но никакого гнезда нигде не видел.

— Да вот же, вот! — показали ребятишки на зеленую корягу, возле которой я стоял.

Я глянул, и сердце мое забилось от испуга — чуть было не наступил на гнездо. Нет, оно не на бугорке было свито, а посреди просеки, под упруго выдавшимся из земли корнем. Обросшая мохом со всех сторон и сверху тоже, затянутая седыми космами, эта неприметная хатка была приоткрыта в сторону черничного бугорка. В хатке, утепленное мохом, — гнездо. В гнезде четыре рябоватых светло-коричневых яйца. Яйца чуть поменьше куриных. Я потрогал одно яйцо пальцем, оно было теплое, почти горячее.

— Возьмем! — выдохнул мальчишка, стоявший рядом со мною.

— Зачем?

— Да так!

— А что будет с капалухой? Вы поглядите на нее!

Капалуха металась в стороне. Крылья у нее все еще разброшены, и она мела ими землю. На гнезде она сидела с распушенными крыльями, прикрывала своих будущих детей, сохраняла для них тепло. Потому и заостенели от неподвижности крылья птицы. Она пыталась и не могла взлететь. Наконец взлетела на ветку ели, села над нашими головами. И тут мы увидели, что живот у нее голый вплоть до шейки, и на голой, пупыристой груди часто-часто трепещется кожа. Это от испуга, гнева и бесстрашия билось птичье сердце.

— А пух-то она выщипала сама и яйца греет голым животом, чтобы каждую каплю своего тепла отдать зарождающимся птенцам, — сказал подошедший учитель.

— Это, как наша мама. Она все нам отдает. Все-все, каждую капельку... — грустно, по-взрослому сказал кто-то из ребят и, должно быть застеснявшись этих нежных слов, произнесенных впервые в жизни, недовольно крикнул: — А ну, пошли стадо догонять!

И все весело побежали от капалухино гнезда. Капалуха сидела на сучке, вытянув вслед нам шею. Но глаза ее уже не следили за нами. Они целились на гнездо и, как только мы немного отошли, она плавно слетела с дерева, запозла в гнездо, распустила крылья и замерла.

Глаза ее начали затягиваться дремной пленкой. Но вся она была настороже, вся напряжена. Сердце капалухи

билось сильными толчками, наполняя теплом и жизнью четыре крупных яйца, из которых через неделю-две, а может, и через несколько дней, появятся головастые глухарята.

И когда они вырастут, когда звонким зоревым апрельским утром уронят свою первую песню в большую и добрую тайгу, может быть, в песне этой будут слова, непонятные нам птичьи слова о матери, которая отдает детям все, иной раз даже жизнь свою.

БАБУШКА С МАЛИНОЙ

На сто первом километре толпа ягодников штурмует поезд Комарихинская — Теплая Гора. Поезд стоит здесь одну минуту. А ягодников тьма, и у всех посуда: кастрюли, ведра, корзины, бидоны. И вся посуда полна. Малины на Урале — бери не переберешь. Шумит, волнуется народ, гремит и трещит посуда — поезд стоит всего минуту.

Но если бы поезд стоял полчаса, все равно была бы давка и паника. Так уж устроены наши пассажиры — всем хочется быстрее попасть в вагон и там уж ворчать: «И чего стоит? Чего ждет? Рабо-о-тнички!»

У одного вагона гвалта и суеты особенно много. В узкую дверь тамбура пытаются влезть штук тридцать ребят-тишек, и среди них копошится старушонка. Она остреньким плечом «режет массы», достигает подножки, цепляясь за нее. Кто-то из ребят хватает ее под мышки, пытается втащить наверх. Бабка подпрыгивает, как петушок, взгромождается на подножку, и в это время случается авария. Да что там авария — трагедия! Самая настоящая трагедия. Берестяной туес, привязанный на груди платком, опрокидывается, и из него высыпается малина — вся, до единой ягодки.

Туес висит на груди, но уже вверх дном. Ягоды раскатились по щебенке, по рельсам, по подножке. Бабка оцепенела, схватилась за сердце. Машинист, уже просрочивший стоянку минуты на три, просигнализировал, и поезд тронулся. Последние ягодники прыгали на подножку, задев бабку посудой. Она потрясенно смотрела на улыва-

ющее красное пятно малины, расплеснувшееся по белой щеченке, и, встрепенувшись, крикнула:

— Стойте! Родимые, подождите! Соберу!..

Но поезд уже набрал скорость. Красное пятно мелькнуло зарницею и погасло за последним вагоном. Проводница сочувственно сказала:

— Чего уж там собирать! Что с возу упало... Шла бы ты, бабушка, в вагон, а не висела на подножке.

Так, с болтающимся на груди туесом, и появилась бабка в вагоне. Потрясение все еще не сошло с ее лица. Сухие, сморщенные губы дрожали и дрожали, руки, так много и проворно работавшие в этот день, руки старой крестьянки и ягодицы, тоже тряслись.

Ей поспешно освободили место — да и не место, а всю скамейку — притихшие школьники, видимо всем классом выезжавшие по ягоды. Бабка молча села, заметила пустой туес, сорвала посудину вместе со стареньким платком через голову и сердито запихнула его пяткой под сиденье.

Сидит бабка одна на всей скамейке и неподвижно смотрит на пустой фонарь, подпрыгивающий на стене. Дверца у фонаря то открывается, то закрывается. Свечи в фонаре нет. И фонарь уже ни к чему. Поезд этот давно уже освещается электричеством, а фонарь просто запомнили снять, вот он и остался сиротой, и дверца у него болтается.

Пусто в фонаре. Пусто в туесе. Пусто у бабки на душе. А ведь еще какой-то час назад она была совершенно счастлива. В кои-то веки поехала по ягоды, через силу лазила по чащобе и лесным завалам, быстро, со сноровкой собирала малину и хвастала ребятишкам, встретившимся ей в лесу:

«Я прежде проворная была! Ох, проворна! По два ведра малины в день насобирывала, а черницы либо брусники, да с совком, и поболее черпывала. Свету белого не видать мне, если вру», — уверяла бабка пораженных ребят. И — раз-раз, незаметно так, под говорок, обирала малину с кустов. Дело у нее спорилось, и удобная старинная посудина быстро наполнялась.

Ловка бабка и на диво говорлива. Успела рассказать ребятам о том, что человек она ноне одинокий, пережила всю родову. Прослезилась, помянув внука Юрочку, который погиб на войне, потому что был лихой парень и не иначе как на танку бросился, и тут же, смахнув платком слезы с реденьких ресниц, затянула:

В саду ягода малина
Под у-у-укрытием росла-а-а..

И даже рукой плавно взмахнула. Должно быть, компанейская бабка когда-то была. Погуляла, попела на своем веку...

А теперь вот молчит, замкнулась. Горе у бабки. Предлагали ей школьники помощь — хотели взять туес и занести его в вагон — не дала. «Я уж сама, робятки, уж как-нибудь, благословясь, сама, я еще проворна, ух, проворна!»

Вот тебе и проворна! Вот тебе и сама! Была малина — и нет малины!

На разъезде Коммуна-кряж в вагон вваливаются три рыбака. Они пристраивают в углу связки удочек с подсачниками, вешают на древние чугунные крючки вещмешки и усаживаются подле бабки, поскольку только подле нее и есть свободные места.

Устроившись, они тут же грянули песню на мотив «Соловей, соловей — пташечка»:

Калино, Лямя, Лёвшинно!
Комариха и Теплая Гора!

Рыбаки эти сами составили песню из названий здешних станций, и песня им, как видно, пришлась по душе. Они ее повторяли раз за разом. Бабка с досадой косилась на рыбаков. Молодой рыбак в соломенной драной шляпе крикнул бабке:

— Подтягивай, бабусь!

Бабка с сердцем плюнула, отвернулась и стала смотреть в окно. Один из школьников придвинулся к рыбаку и что-то шепнул ему на ухо.

— Ну-ну! — удивился рыбак и повернулся к бабке, все так же отчужденно и без интереса смотрившей в окно: — Как же это тебя, бабусь, угораздило?! Экая ты неловкая!

И тут бабка не выдержала, подскочила:

— Неловкая?! Ты больно ловкий! Я раньше знаешь какая была! Я ране... — Она потрясла перед рыбаком сухоньким кулачишком и так же внезапно сникла, как и взъерошилась.

Рыбак неловко прокашлялся. Его попутчики тоже прокашлялись и больше уже не запевали. Тот, что был в шляпе, подумал, подумал и, что-то обмыслив, хлопнул себя по

лбу, будто комара пришиб, вскочил, двинулся по вагону, заглядывая к ребятам в посуду:

— А ну, показывай трофеи! Ого, молодцы! С копной малины набрала, молодец!.. — похвалил он конопатую девочку в лыжных штанах. — И у тебя с копной!.. И у тебя!.. Молодцы! Молодцы! Знаете что, ребятки, — хитро, со значением прищурился рыбак, — подвиньтесь-ка ближе, и я вам очень интересное скажу на ухо.

Школьники потянулись к рыбаку. Он что-то пошептал им, подмигивая в сторону бабки, и лица у ребят просияли.

В вагоне все разом оживились. Школьники засуетились, заговорили. Из-под лавки был извлечен бабкин туес. Рыбак поставил его подле ног и дал команду:

— Налетай! Сыпь каждый по горсти. Не обедняете, а бабусе радость будет!

И потекла малина в туес, по горсти, по две. Девочка в лыжных штанах сняла «копну» со своего ведра.

Бабка протестовала:

— Чужого не возьму! Сроду чужим не пользовалась!

— Молчи, бабусь! — урезонил ее рыбак. — Какое же это чужое? Ребята ж эти все внуки твои. Хорошие ребята. Только догадка у них еще слаба. Сыпь, хлопцы, сыпь, не робей!

И когда туес наполнился доверху, рыбак торжественно поставил его бабке на колени.

Она обняла посудину руками и, пошмыгивая носом, на котором поплясывала слеза, все повторяла:

— Да милья, да родимья!.. Да зачем же это? Да куда мне столько? Да касатики вы мои!..

Туес был полон, даже с «копной». Рыбаки снова грянули песню. Школьники тоже подхватили ее:

Эх, Калино, Лямино, Лёвшино!

Комариха и Теплая Гора!..

Поезд летел к городу. Электровоз рывкнул озорно, словно бы выкрикивал: «Раздайся, народ! Бабку с малиной везу!» Колеса вагонов поддакивали: «Бабку! Бабку! С малиной! С малиной! Везу! Везу!»

А бабка сидела, прижав к груди туес с ягодами, слушала дурашливую песню и с улыбкой покачивала головой:

— И придумают же! Придумают же, лешие! И что за востроязыкай народ пошел!..

РУКИ ЖЕНЫ

*Верному другу и спутнику —
Мане*

Он шагал впереди меня по косогору, и осклизлые камни по макушку вдавливались в мох под его сапогами. По всему косогору сочились ключи и ключики, загородившись от солнца шипучей осокой, звонко ломающимися купырями, ветками смородины. Над всей этой мелочью смыкались вершинами, таили чуть слышные, почти цыплячьи голоски ключей черемухи, ивы и ольшаники. В них перепархивали птицы, с мгновенным шорохом уходили в коренья мыши, прятались совы, вытаращив незрячие в дневном свете глаза. Здесь птицы и зверьки жили, плодились, добывали еду, пили из ключей, охотились друг за другом и потому жили постоянно настороже. Петь улетали в другое место, выше, на гору, откуда птицам раньше было видно всходившее и позже закатывающееся солнце. И когда они пели, на них никто не нападал.

Я видел только спину Степана Творогова. Он то исчезал в кустах, то появлялся на чистине. На спине его под вылинялой рубахой напряженно глыбились лопатки, не в меру развитые. Шел Степан, чуть подавшись вперед, и правое плечо его тоже было выдвинуто чуть вперед. Он весь был напружинен, собран в комок, ноги ставил твердо, сразу на всю ступню. Рук у него не было, и он должен был крепко держаться на ногах.

Иногда он все же падал, но падал обязательно на локти или на бок, на это, чуть выдвинутое вперед плечо. Падал легко, без шума и грохота, быстро вскакивал и шел дальше.

Я с трудом поспевал за ним, хватаясь за кусты, за осоку и за все, что попадалось на пути. Об осоку, по змеиному шипящую под ногами, я порезал руки и про себя ругался, думал, что Степан нарочно выбрал этот проклятый косогор, чтобы доказать мне, как он прытко ходит по тайге.

Один раз он обернулся, спросил участливо:

— Уморились? — и, не дожидаясь ответа, предложил:

— Тогда давайте посидим.

Я сел возле ключика, который выклевал себе щелку в косогоре и кружился в маленькой луночке под мохом, а потом ящеркой убежал в густую траву. В ней он отыскивал другой ключик, радостно проворковав, бросался к нему с крутобокого камня. В луночке, где рождался ключик, был крупный, добела промытый песок. И чуть шевелился и вместе с песком плавал то вниз головой, то кверху брюшком муравей. Должно быть, луночка казалась ему огромным стихийным морем, и он уже смирился с участью и только изредка пошевеливал лапкой, стараясь уцепиться за что-нибудь.

— Охмелел, — улыбнулся Степан. Он взял култышками сучок, сунул его в луночку. Муравей уцепился за сучок, трудно выполз на него, посидел, посидел и рванул в траву, видно, вспомнил про жену и семейство. Степан выкинул сучок и упрятал обрубки рук в колени. Я уже заметил, что, когда он сидит, обязательно прячет култышки с подшитыми рукавами. Лицо его было задумчиво. Морщин на лице немного, но все они какие-то основательные, будто селились они не по прихоти природы и были не просто морщины, а вехи, отмечающие разные, непустячные события в жизни этого человека. Белесые ресницы, какие часто встречаются у людей северного Урала, были смежены, но сквозь них меня прощупывал внимательный, строгий взгляд.

Я напился из ключа и курил. Степан вроде бы дремал, а может, давал мне возможность отдохнуть на природе. Рядом лежало его ружье, а на груди, возле самого подбородка висел патронташ. Патроны он доставал зубами и зубами же вкладывал их в стволы ружья. Курок спускал железным крючком, привязанным ремнями к правой култышке. Он целый год придумывал это приспособление и однажды увидел на двери собственной избы обыкновенный дверной крючок из проволоки. Сено Степан косил, засовывая култышку в железную трубку, приделанную к

литовищу вместо ручки, а другую культю он просовывал в сыромятную петлю. Это он изобретал около двух лет. Топорище приспособил быстрее — всего за полгода. Длинное топорище, с упором в плечо и с петлей возле обуха. В петлю он вставлял культышку и рубил, тесал, плотничал. Сам избу срубил, сам сено поставил, сам пушнину добывает, сам лыжи сынишке смастерил, сам и флюгер-самолет на крышу дома сладил, чтобы как у соседского парнишки все было. Как-то на Новый год один заезжий железнодорожник полез двумя лапами к его жене — Наде, Степан отлупил его. Сам отлупил. Железнодорожника еле отобрали, и теперь он в гости к Феклину, свояку, больше не приезжает.

Руки Степану оторвало на шахте взрывчаткой. Было ему тогда девятнадцать лет. Нынче нет шахты в поселке — выработались пласты, заглох и опустел поселок. Осталось всего несколько жилых домов: лесника, работников подсобного хозяйства и охотника Степана Творогова — бывшего шахтера.

Обо всем этом я уже расспросил Степана, и все-таки оставалось еще что-то, оставалось такое, без чего я не мог писать в газету, хотя имел строгий наказ привезти очерк о безруком герое, лучшем охотнике «Райзаготпушнины».

— Поздно вы приехали, — с добрым сочувствием проговорила Надежда. — Вёснись надо было. Степа тогда пушнины на три годовые нормы сдал. А сейчас никакого процента мы не даем. Я при доме, Степа тоже до зимнего сезона своими делами занимается.

— У человека наказ, — строго сказал Степан, — есть ли, нет ли у нас процент — это начальства мало касается. Отдай работу и все. Обскажите, что и как. Может, он сообразит, — и, помедлив, тоже посочувствовал: — И попало же вам заданье! Ну что о нас писать? Мама, ты покажи фотокарточки всей родни нашей, может, там чего подходящее сыщется...

Я знаю теперь всю родословную Твороговых. Знаю и о том, как тяжело и долго переживала мать грянувшее горе. Степан у нее был единственным сыном, а «сам» без вести пропал в «нонешнюю» войну. И все-таки, все-таки...

— Вы на охоту набивались, чтобы посмотреть, как это я без рук стреляю? — прервал мои размышления Степан.

— Да. Собственно, нет, — смешался я, — просто хотелось пройтись по уральской тайге, посмотреть...

— Посмотреть? — сощурился Степан. Он наклонил

голову, откуда-то из-за ворота вынул губами рябчиный манок, привязанный за ниточку, и запищал. В кустах тотчас ему задорно откликнулся пегушок и, хлопнув крыльями, поднялся с земли. Глаза Степана оживились, и он подмигнул мне: — Сейчас прилетит! Тут их пропасть, рябков-то...

Степан еще пропищал, и рябчик, сорвавшись с ели, подлетел к нам, сел на гибкую иву, закачался, оглядываясь с задиристым видом, дескать, которые тут подраться звали.

Степан сшиб его с куста, неторопливо продул ствол ружья, вложил новый патрон, подобрал птицу и, ничего не сказав, пошел дальше.

Когда мы поднялись на гору, он остановился и тихо молвил:

— Вот, смотрите, раз хотели...

Я смотрел. Передо мной, насколько хватало взгляда, были горы и леса, дремные горы, тихие леса в осенней задумчивости. Паутина просек, дорог и высоковольтных трасс изморщинила лицо тайги с нездоровым и оттого ярким румянцем. Горечь надвигающегося увядания угадывалась во всем. Речки кружились, затягивали в желтые петли горы с суземным лесом, и казалось, что в расщелинах, логах и распадках обнажились нервы земли. Все кругом было величаво, спокойно. Предчувствие долгого сна таилось в лесах, и шорох облетающих листьев уже начал усыплять его, нашептывая об осенних дождях, о глубоких снегах и о весне, которую надо долго и терпеливо ждать, потому что все живое на земле и леса тоже живут вечным ожиданием весны и радости. Очарованные печальной музыкой осени, обнажались леса, роняя листья в светлые ручьи, застилали зеркала их, чтобы не видеть там отражения своей неприютной наготы.

Земля надевала шубу из листьев, готовилась к зиме, утихали звуки на ней, и только шорох был всюду от листа, и шум от речек, заполневших от больших рос, инеев и часто перепадающих, но пока незатяжных дождей.

Но гора, на которой мы стояли, жила вроде бы отдельно от всего леса. Она была обрублена лет десять назад, и пней на горе было много, гнилых, с заплесневелыми срезами и сопревшими опятами по бокам. Вокруг пней густо взошел липняк, рябинник, березки. Они уже заглушили всходы малинника и кипрея, заняли полянки покосов, соединились меж собой и как-то играючи, без грусти со-

рили вокруг листьями, желтыми, бордовыми, рыжими, а тонкие рябинки были с первым урожаем, с первыми двумя-тремя пригоршнями ягод и показывали их всем хвастливо, доверчиво. На рябинник этот валились дрозды, и кричали громко, деловито, склевывая крупные ягоды, и перепархивали клубящимися стаями с деревца на деревце, и оставались после них рябинки без ягод. Вид у них был растерзанный. Тогда в них начинали тонко, успокаивающе наговаривать синицы, затем, мол, и родились вы, рябинки, чтоб кормить птиц ягодами.

— Так что же вы решили? — неожиданно задал мне вопрос Степан.

Я пожал плечами, проводил взглядом заполошно взметнувшуюся стаю дроздов.

— Не знаю. — И тут же признался: — Мне будет трудно писать о вас. Наверно, ничего не выйдет.

— Конечно, не выйдет, — уверил меня Степан, тоже провожая глазами птиц. — Что обо мне писать-то? Что я — калека и не пошел милостыню просить, а сам себе хлеб зарабатываю? Так это мамкина натура — мы никогда чужеспинниками не были, всегда своим трудом кормились. — Он немного помолчал, повернулся ко мне, посмотрел на меня пристально и, ровно бы в чем-то убедившись, спросил мягко: — Вы не обидитесь, если я вас маленько покритикую? Как говорится, критика — направляющий руль, да?

— Где уж мне обижаться? И называй меня, пожалуйста, на «ты».

— Ты так ты, это даже удобней. Так вот. Четвертый день ты у нас живешь и все потихоньку выведываешь — что к чему. И все возле меня да возле меня. А что я? — Он тут же посмотрел на себя, на сапоги, на патронташ, на ружье и только на култышки не посмотрел. — Надо было, дорогой человек, к Надежде присмотреться. Руки ее — вот что, брат, главное. И всего их две у нее, как и у всякого прочего человека. Но зато уж руки! Да что там толковать! Говорю — главное. — Он доверительно придвинулся ко мне. — А как ты об них напишешь? Ну, как?

Если же не напишешь о главном, значит, нечего и бумагу портить. Так? Я вот про себя скажу. Вот я ее люблю. Другой раз думаю: выпью и скажу ей про это. И все равно ничего не выходит. Вот кабы ты сумел так написать, как я в уме своем иной раз говорю про нее. Или как вот в песнях поют. А так едва ли получится. — Он на минуту

задумался, лицо его сделалось добрым и простоватым. — Да-а, хитрое это дело — высказать все, что на сердце. Нету слов-то подходящих, все какие-то узенькие, линиялые. Ну да шут с ними, иной раз и без слов все понятно. Знаешь что? — Он опять поглядел на меня, ровно бы взвел глазами. — Ладно, пойдем. Покажу я тебе кое-что, и не ради чего там, а как мужик мужику...

К поселку шла высоковольтная линия. Ногастые, костлявые опоры растолкали на стороны лес и кусты. Под опорами окопано. Меж опорами грузно осевшие стога сена. На их прогнутые спины намело листья с деревьев. Лежат они, догорают. А стога затягивает темнотою, и оттого вид у них среди зеленой отавы угрюмый, одинокий.

В одном месте широкоую просеку с линией наискось пересекал ручейшко, прячущийся в торфянистых кочках и под изопревшей сланью. Ручейшко безголосый, робкий, а все же с живою водой. И оттого тесно жметя к нему мелочь. А одна кособокая черемуха выползла из урманной темени вслед за ручьем на трассу. Контролер участка отчего-то не срубил черемуху, думал, видимо, покорытяться с нее в урожайный черемушный год или по каким другим причинам.

Степан остановился подле черемухи, сделавшей несмелый шаг из тайги, оглядел ее с комля до вершины, но не так, как меня оглядывал. Мягким, теплым взглядом он ровно бы огладил всю черемуху и приветливо улыбнулся ей. Я еще никогда не видел, чтоб улыбались дереву, тем более черемухе, и тоже с интересом взглянул на нее. Черемуха как черемуха, одна из тех, о которой поют, стихи сочиняют и ломают ее иной раз до смерти.

Птичьими глазками глядели с ее ветвей блестящие от сока ягоды на побуревших кистях. Листву уже тронула коричневая рябь, и один ее бок, что был к солнцу, подпало. Под черемухой доживала лето тощая трава и прела с листвою вместе, распространяя грибной запах.

— Сломи-ка, — попросил Степан, глянув на черемуху. Я с охотой взялся за дело, наломал много веток с тяжелыми кистями и бросил их на колени Степану. Он подносил ко рту ветки, срывал губами маркие ягоды и благодушно ворковал:

— Сладка, холера! Рябина да черемуха — уральский

виноград! — Он тут же отбросил ветку в сторону и брезгливо сморщился: — Фу, погань!

На полуобсохшей ветке сереньким комком соткана паутина, и в ней копошились, жили в липком уюте зеленые червяки. Так вот они и обитают в этой паутине, начисто сжирая листву и молодые побеги черемухи, а когда подрастут, народят такое же зеленое, гнусное потомство, которое целиком дерево не губит, но расти и плодоносить ему мешает.

Степан больше не трогал черемуху, а смотрел поперек леса, на голубоватое, но уже тоскующее о дождях и снеге небо и о чем-то неторопливо думал. Потом повернулся в мою сторону:

— Ты чего притих-то?

— Ягоды вот ем.

— А-а, ягоды на этой черемухе добрые и мне памятные.

И он стал рассказывать о том, как в конце солнечного августа, на закате лета шли они с Надеждой из больницы вдоль этой линии высоковольтной.

Они не были женаты. И познакомились не так давно, в однодневном доме отдыха, куда за добрые дела время от времени посылали рабочих отоспаться, поесть вкусной пищи и развлечься. Надежда работала тогда уборщицей в конторе шахты и мыла разрядку, с черными от угля стенами, с черным от угля и шахтерских сапог полом. А до возраста, пока не получила паспорт, жила лет шесть в няньках.

Раза три или четыре они ходили вместе в клуб, смотрели кинокартины. Раза три или четыре Степан провожал Надежду домой. В Троицу они были на лугах, праздновали лето по старинному русскому обычаю, с самоваром. В этом поселке, как и во многих других уральских поселках, охотно отмечались праздники новые и старые, и пили на них одинаково много. Там, на лугах, Степан первый раз поцеловал Надежду, а назавтра ему оторвало кисти обеих рук.

Беда заслонила от Степана все: и шахту, и свет, и Надежду. Все, кроме матери. Он вспомнил о ней сразу, как только пришел в себя после взрыва, и потом уже не переставал мучиться ее горем. Сгоряча ему было не больно и не страшно. Страшно сделалось потом, когда в городской больнице захотелось помочиться. Он терпел два дня, боялся заснуть, чтобы не сделать грех под себя. Му-

жики в палате предлагали ему свои услуги. Он отказывался. Пылая жаром от стыдливости, думал: «Вот так всю жизнь?..»

Ночью Степан встал, подкрался к окну, но палата была на первом этаже. Он застонал, прижался лицом к марле, натянутой от мух, и вдруг услышал:

— Степа, ты не мучайся. Я здесь, около тебя. Дома все в порядке. Мать не пуцаю к тебе. Сердце у нее...

Он ткнулся в марлю, порвал ее, в темноте нащупал раскаленными от боли култышками Надю, притиснул к себе и заплакал. Она, еле видная в потемках, зубами рвала марлю, не отпуская его, рвала, чтобы коснуться губами лица его, чтобы он чувствовал — живой человек, вот он, рядом.

— Худого в уме не держи, — настойчиво шептала она ему в ухо. — Ладно все будет. Не держи худого-то...

И он от этого плакал еще сильнее и даже пожаловался:

— Руки-то жжет, жжет...

И Надя стала дуть на забинтованные култышки, как дуют детишкам на «ваву», и гладить их, приговаривая:

— Сонный порошок попроси. Как-то он мудрено называется, не помню. Во сне скорее заживет. Попроси уж, не гордись. И худого не думай... — а сама дула и дула ему на култышки.

И то ли от Надиных слов, то ли от выплаканых слез пришло облегчение, и он уснул на подоконнике, прижавшись щекой к крашеной оконной подушке.

Утром он сам попросил мужика, что был попроще с виду, помочь ему справиться нужду.

Надя каждую ночь приходила под его окно — днем она не могла отлучаться с работы.

Он отговаривал ее:

— Ты хоть не так часто. Все же восемнадцать верст туда да обратно...

— Да ничего, ничего, Степа. Я привычная по ночам не спать. Всю жизнь детишек байкала, чужих.

В день выписки она пришла за Степаном, первый раз появилась в палате и стала деловито связывать в узелок его пожитки. Степан безучастно сидел на кровати, спрятав в колени култышки, и молчком глядел на нее. И все мужики в палате тоже глядели на нее. Надежда смущалась от такого внимания, спешила. А когда собрала все, улыбнулась больным и скованно раскланялась:

— Поправляйтесь скорее. До свиданьца. — И еще

раз поклонилась. Больные недружным хором попросились с ней и сказали несколько ободряющих слов Степану, от которых он еще больше попасмурнел и спешно вышел из палаты.

Половину пути они прошли молча. Лишь один раз Надежда, заглядывая сбоку, робко спросила:

— Может, попить хочешь?

Он угрюмо помотал головой:

— Нет.

По печальному тихому небу беззвучно летел реактивный самолет с комарика величиной, растягивая за собой редеющую паутину, а потом из этой паутины завязал восьмерку над их головой и взвился искоркой к солнцу.

— Ишь ведь мчится! — заговорила Надежда. — Как только перепонки в ушах у этих летчиков не лопаются?

Степан пожал плечами — при чем тут перепонки? Лето вон к концу идет, скоро картошку копать надо, дрова запасать, сено с делян привезти, а чем, как?

Совсем некстати вспомнился Костя-истребитель. Этого Костю не раз видел Степан в городе. Сидел Костя посреди тротуара в кожаной седухе, коротенький, бойкий, с модными бакенбардами, и не просил, а требовал, заученно рассказывая о своей беде: «Три «мессера» на одного «лавочкина»... и вот приземлили, с-суки! Кинь рублевку на опохмелку, если совесть есть...»

Совести у наших людей допална, последнее отдадут, разжалобить их дважды два, особенно култышками, особенно безрукому. И потом что же? Вывалиться вроде Кости-истребителя из пивнушки, гаркнуть: «А-любимый город может спать спокойно-о-о!» И самому лечь спать тут же, у пивнушки?

«Тьфу ты! Навязался еще этот истребитель!» — отмахнулся Степан от Кости и попытался думать о другом. Но и о другом ничего веселого не думалось.

Скоро вот, через час-два, придет в поселок, и высыплет все малочисленное население этого поселка встречу. Бабы начнут сморкаться в передники, сочувствовать ему, а мать будет боязливо гладить его по плечу и прятать слезы, чтобы «не растревлять» душу ему и себе.

Скупой пасечник Феклин с подсобного хозяйства принесет банку меду. Тайнственно и многозначительно сунет он ее матери на кухню. С протяжным бабьим вздохом скажет: «Ох-хо-хо, судьба ты судьба — кобыла крива, куда

завтра увезет — не знаешь!» — и станет деликатно переминаться и чего-то ждать.

Мать засуетится, спроворит закуску, вынет из сундука поллитровку. Феклин будет отнекиваться для приличия, а потом скажет: «Ну уж если по одной», — и затешется на весь вечер за стол. Выпьет первую, подставляя под рюмку ладонь, а потом вторую, третью, уже не подставляя руки, и поведет разговор на тему: «Как надо уметь жить». И станет приводить себя в пример, удивляя людей своей пронизательностью, ловкостью, бережливостью.

И все будут терпеливо слушать Феклина, хотя и знают, что мужик он нехороший, любит выпить на дармовщинку, что трепло он и скупердый, и липкий, как та банка с медом, которую он приносит всем, будь то погорелец, хворый или жених.

Совсем стало тошно Степану от этих мыслей. «Может, Надька турнет Феклина-то из избы?» — он посмотрел на Надежду сбоку. Брови у нее сомкнулись на переносье. Лицо было скуласто, строго, а губы широкие, улыбочивые. Что-то доверчивое, доброе было в этих губах. Степан отвернулся, подавил вздох — не мужицкое это дело — вздыхать на весь лес. И вообще, поговорить бы с Надеждою. Как теперь быть? Что делать? «Эх, лучше бы уж одному все переживать. Зачем она на себя взвалила мою беду? Зачем?»

Под ногами зачавкал разжужльканный торф. Они подошли к ручью.

— Какая черемуха чернущая! — воскликнула Надежда и бросилась к дереву, подпрыгнула, пересилила толстую ветку, наклонила: — Держи!

Степан боднул ее взглядом: чем держать-то? Но тут же придавил ветку коленкой и совсем близко увидел быстрые руки Надежды, обрывающие кисточки, сбитый набок ситцевый платок и проколотую мочку уха, которую уже затянуло, заволокло, потому что сережек Надежда так и не сподобилась приобрести. Уборщицы зарабатывают на хлеб и на мыло, а нянькам вместо зарплаты отдают недоношенные платья и стоптанные ботинки.

Она нарвала полный подол кисточек с ягодами, села на траву и скомандовала:

— Отпускай, будем есть.

Степан отпустил ветку, и та, взъерошенная, общипанная, поднялась над их головами, качнулась и растерянно замерла.

— На! — сказала Надежда и поднесла к губам Степана кисточку.

Холодноватые ягоды обожгли его губы. Он отстранился:

— Не хочу.

— Как хочешь. А я поем. Я люблю черемуху и, пока до отвала не намолочусь, с места не подымусь.

— Дело твое.

Она ела ягоды и больше не заговаривала с ним. И по всему было видно, что ей вовсе уж и не хочется ягод и что молчанием она тяготится и чего-то настороженно ждет.

Степан неотрывно смотрел перед собой на стрекозу, которая застряла в скошенной осоке и трещала, трещала, выбиваясь из сил. Захотелось подойти или помочь ей, или раздавить сапогом. Он отвел взгляд от изнемогающей стрекозы. Прямо перед ним, за опорами высоковольтной линии, стоял стеною лес с обрубленным подлеском по краям. К лесу этому меж торфяных кочек пробирался через запретную линию ручейшко, боясь забормотать. Прихваченные первыми инеями, к нему клонили седые головы цветочки, они были квелые, грустные. И все вокруг не радовало глаз, все было на перепутье между летом и осенью.

— Так как же мы будем, Надежда? — прервал тяжелое молчание Степан. Она, должно быть, устала ждать от него разговора, вздрогнула, но сказала спокойно:

— Как все, так и мы.

Он еще больше нахмурился:

— Это как понимать?

— Обыкновенно.

— Сказала.

Надежда покосилась на него, сердито шевельнула перелестнувшими переносицу бровями:

— Эх, Степан, ты Степан, Степка Николаевич! И чего ты все сторожишься? Видно, чужая я тебе? А вот у меня совсем другое отношение.

— Рук у меня нету, Надя.

— Ну и что?! — быстро вскинулась она. — А это чего? Грабли, что ли? — и показала на свои, замытые водою, иссаженные занозами от половиц руки с коротко остриженными ногтями. — Да ну тебя! — рассердилась она, вытряхнула из подола черемуху и поднялась: — Пошли уж, чего травить самим себя.

Он не поднялся, а глядя под ноги, на брошенные кисточки черемухи, глухо произнес:

— Прости.

— Да за что прощать-то? Глупый ты, глупый, — и взъерошила его мягкие, ласковые, словно у дитенка, волосы. Он обхватил ее култышками, ткнулся лицом в живот, как тыкался когда-то в передник матери.

— Так как же нам быть-то?

Надежда прижала его к себе, поцеловала в голову, потом в щеку, потом в губы, которые с готовностью и жаром ответили ей на поцелуй.

— Степанушко!

— Надя, стыдно-то как!..

— Когда любишь, ничего не стыдно, — шептала она, припадая к нему. — Ничего не стыдно. Ничего...

— Стыдно, сты-ыдно, — плакал он и скрипел зубами.

Пораженная тем, что она сделала, Надя лежала отвернувшись и молча кусала траву, чтобы задавить те задолго припасенные обвинительные слезы, которыми прощаются с девичеством и встречают неотвратимую бабью долю. На слезы эти она уже не имела права.

Степан шевельнулся и снова произнес, как из-под земли:

— Прости.

Она резко поднялась, поправила юбку, сказала: «Не смотри» — и долго возилась у ручья. Вернулась прибранная, суровая, уронила руки:

— Вот и поженились, — помедлила секунду, тронула черемуху, потрепала ее дружески: — Черемуха венчала нас, только она и свидетель. Так что, если угодно, можно и по сторонам — черемуха не скажет...

— Да ты что, Надя! — чувствуя, что говорит в ней невыплаканная бабья обида, заторопился Степан. — Пойдем к матери, объявим, все честь честью...

— Чего же объявлять? — усмехнулась Надежда. — Я манатки свои давно к вам перенесла. В тот день, когда беда стряслась, я и переехала с котомкой: чем кручиниться старухе одной, лучше уж вдвоем. — Она закусила губу, потупилась: — Видишь, какая я настырная да расторопная. Окрутила мужика...

— А вот это ты зря говоришь, Надежда, — упрекнул ее Степан. — Зря и все! — Заметив, что у нее дрогнули губы, добрые, теплые губы, он поднялся с земли, прикоснулся щекой к ее щеке. — Да если ты хочешь знать, я

могу влезть на гору и кричать на весь поселок и на всю землю, какая ты есть баба и человек! И могу я воду выпить, в которой ты ноги помоешь, и всякую такую ерунду сделать...

— Ну, понес мужик! — отмахнулась Надежда и утерла ладонью глаза, рассмеялась. — Броде бы и не пил, а речи, как у пьяного. Пошли уж давай до дому.

— А и правда пошли, чего высказываться, — опамятовался Степан и крутнул головой: — Прорвет же...

— Вот так, брат,— задумчиво протянул Степан после того, как рассказал все, и мы прошли километров пять молча. — Так вот две руки четыремь сделались. Сын растет. Тошка. Во второй класс нынче пойдет. Все, брат, в русле, ничего не выплеснулось. Надя — матица, весь потолок держит. Без нее я так и остался бы разваренной картошкой. И завалился бы, глядишь, под стол. Смекай!..

Мы подходили к дому Степана. Вдруг он кинул мне ружье, а сам кубарем покатился с косогора, повторяя:

— Вот баба! Вот баба! Никак ее не осаврасишь, все из шлеи идет!

Внизу Надежда везла из лога на самодельной тележке сено. Степан подбежал к ней, что-то горячо заговорил. Когда я спустился ниже, до меня долетели слова Надежды:

— Преет сено-то.

— Мне коня в собесе дадут. Чего ты запрягаешься? Я вот поеду и потребую.

— Так я и позволила тебе в собесе пороги околачивать, — возражала Надежда. — И не шуми. Я последний промежек догаскиваю. А коня в собесе пусть инвалиды немощные возьмут, им он нужней.

— Во, характер! Якорь ее задави! — как будто сокрушенно пожаловался мне Степан и впрягся в тележку сам, решительно отстранив жену. Она воткнула вилы в копну сена и принялась толкать тележку сзади.

Все так же, с тихой печалью обнажались лиственные леса в распадах и над речками; все так же мохнатились суземной тайгой горы, пряча в ее пазуху последнее тепло и линяющих перед снегом зверьков; все так же стояло

над миром доброе пока еще небо, но уже с набухающими облаками.

А те двое, как бы слитые воедино со всем, что было вокруг них, толкали тележку с сеном, медленно и упрямо поднимались в косогор. На склоне его стоял срубленный в лапу дом, а на крыше носом в небо целился деревянный самолетик с жестяным пропеллером. Ветра не было, и пропеллер не шевелился, не звенел, но мне казалось, самолетик вот-вот вырвется из тайги, поднимется выше гор и полетит далеко-далеко.

О ЧЕМ ТЫ ПЛАЧЕШЬ, ЕЛЬ?

О чем ты плачешь, ель? О чем ты плачешь? Ель скреблась веткой о стекло. Скреблась несмело и почти неслышно. Ветка была мокрая, капли скатывались на кончики ее лапок, на бородавочки. В каждой клейкой бородавочке хоронилась новая лапка — новая жизнь дерева. Бородавочки были не больше капель, что суетились на оконном стекле, вспыхивали на мгновение и угасали.

«Неужто и в жизни так вот! — думал дядя Петр. — Вспыхнет жизнь человеческая или какая другая, займется ярким светом да и погаснет?..»

Так рассуждал дядя Петр, глядя на лядащую елку, которая царапалась в окно, как приبلудная нищенка. И зачем он ее оставил, когда рубил избушку? Добрые деревья свалил, раскряжевал, скатал на сруб избушки, а эту — старую, мослатую — оставил?.. Пожалел? Нет. Чего ж ее жалеть-то? Просто оставил и оставил. А она взяла да оправилась, загустела хвоя на ней, закучерявился колючий лапник, а нынче вон даже шишки появились, желтые, изогнутые...

Света больше доставаться стало дереву, молодняк не теснил. Кроме того, половина корней попала под пол избушки. Там всю зиму земля талая, соков больше.

В избушке душно и жарко. Вместо печи стоит бочка из-под бензина и занимает почти половину охотничьего помещения. Мало дров положишь — печка вроде бы обижается, шипит только. Больше подбросишь — сердито гудит, краснеет, и в избушке хоть парься.

Если уже дышать нечем становится, дядя Петр сползает на пол и лежит на полосах бересты, чувствуя сквозь нее потным боком приятно охлаждающую землю.

Не спится. Забыл, спокинул охотника сон. О стекло царапается ветка, оставляя махонькие, недолговечные капли. Они тяжелеют, наполняются и, как опившиеся пауты, отваливаются вниз, в темноту.

Длина ноябрьская ночь. Длинна и переполнена еле ощутимой тревогой.

Сторожко спят в хвойных лапах рябчики, еще вылетающие с зарей на кормежку, кратковременную и вороватую. К ближним осинам или в малинник пошелушить мерзлых ягод выбегает заяц, за которым в лесу не охотится только ленивый. Тропят к рассолам отошальные за осенний свадебный гон сохатые, оставляя на сучках клочья толстой шерсти. Залез в берлогу и медленно, надолго засыпает благодушный от сытости и уюта медведь. Недоверчивой, хитрой сделалась белка, которая совсем недавно сидела на вершине ели, кокетливо вертела хвостиком, игривым цоканьем дразнила грибников. Начала петлять и ходить лесными грядами белогрудая куница.

Наступил первослед, страдная охотничья пора.

Вот из-за куницы-то и не спал дядя Петр.

Утром кобель Ураган взял след самца-куницы на Дунькиной гриве и, хрипловато вскрикнув, ударился в чащу.

Самец-кот спал в беличьем гойне. Белку он поймал на рассвете, задавил, съел и завалился спать в еще теплую квартиру. Так всегда поступают сильные, не любящие рассуждать захватчики. До этого коту удалось прихватить на пути всего одну мышку. Он проглотил ее одним вдохом и даже снежок с капельками крови слизал с валежины. Кот был голоден.

Год от года в этих местах становилось все меньше и меньше белки. Только привязанность к родным, до последней веточки знакомым лесам удерживала здесь кота, а то бы он уже давно откочевал.

Прикрыв мордочку хвостом, спал зверек, но не спали его слух и нюх. Вот дрогнули мокренькие дырочки ноздрей, и сразу воспрянули, насторожились уши. И еще не успел кот проснуться, открыть глаза, как уже почувствовал собаку. Он пружинисто вымахнул из гойна, темной молнией метнулся по снегу и пошел, легкий, сноровистый, увертливый.

Вдали простуженно и хрипло вскрикнула собака. Кот

знал этот вскрик, мало похожий на собачий лай. Кот поднялся на дерево, надеясь сбить Урагана со следа. Куницу, идущую по таежной гряде, Ураган чуял хуже, и этот кот в прошлом году дважды ушел от него.

Умен был кот, стреляный был кот. Под кожицей на шее у него перекатывалась дробина, и он подергивал иногда головой, чихал по-кошачьи, не понимая, что это ему мешает.

Но за ним шли очень чуткий кобель и умудренный годами охотник. Кот удлинил прыжки, сделал скидку на другую грядку, перемахнул к речушке, заваленной выворотнем-лесом, плотно скрытым крапивой, оцетинившейся от мороза.

Кот, конечно, не знал, что Ураган износил сердце на охоте и научился беречь его. Пес уже не горячился, не бегал зря, умел окорачивать след, срезать круги, распутывая хитромудро нарисованные куницей петли.

Когда солнце обняло полукружьем крохотный день и стало сваливаться за горы, кот совсем близко услышал дыхание Урагана. Надо было выходить из леса, бросать родной урман. А уходить из леса было боязно. Какое-то время кот шел вдоль опушки, прыгал с дерева на дерево, с сучка на сучок. Его легкое тело, управляемое коротким хвостом, плавно опускалось на сучки, и все же комья кусты падали вниз, дырявили тонкий слой первого снега.

Ураган вел гон по опавшей кухте. Шел точно и споро. Кот прыснул на вершину самой высокой ели, припал грудью с белым фартучком к стволу, огляделся. Куда уходить?

Впереди виднелась черная лента реки, испятнанная заплатами льдин. Подле реки, то взбегая на утесы, то опадая в межгорья, тянулась узкая полоска леса, местами порванная тракторными волоками или простреленная тропинками. А между этой полоской и еще не сведенным островком леса, где мчался кот, чуть припрятанные снежком, лежали без конца и края поваленные деревья.

Кот всегда боялся подходить к этому мертвому лесу. Здесь развелось много жуков-короедов, лесной блохи, черных муравьев и всякой другой заразы. Загубленные деревья прели, впивались сломанными сучками в болотистую жижу, хрустели, оседали. Там постоянно слышались шорохи, стоны, будто понапрасну загубленные деревья, умирая, скрипели зубами.

Дядя Петр сидел на валежине подле опушки и тупо

смотрел на раздвоенный след-копытце, уходящий в поваленный, захламленный лес. Кота здесь не взять. Ушел. Страх вынудил спуститься в поверженный лес, пахнущий порченым вином и гнилым болотом. Но куда было деваться коту? Живой лес кончился, кот скрылся в мертвом.

Дядя Петр снял шапку, и от его редковолосой головы валом плеснулся пар. Руки и ноги дрожали. На глаза наплывали желтые круги. И солнце, вздремнувшее перед закатом на вершинах леса, за рекой двоилось, сердце, вроде бы разбухшее от натуги, опадало вниз, уходило из горла, высвобождая дыхание. Начала остывать мокрая спина.

У ног охотника, с закрытыми глазами, с разом обозначившимися ребрами, уронив костистую голову на поврежденные лапы, лежал Ураган. Хриплое дыхание вырывалось из его ноздрей.

— Ну что, Урагаюшко, — сказал дядя Петр. — Ушел кот-то, умотал, варнак?

И столько глубокой горечи почудилось в голосе охотника, что Ураган, преодолевая слабость, поднялся и положил голову на колени хозяина.

Возле порванных ноздрей Урагана шерсть была седая и редкая. Обозначилось множество беловатых шрамов — это следы укусов куницы, барсуков, рысей и собак.

Ураган в молодости был лютым драчуном. Если он хотел, всегда первым становился на собачьей свадьбе. Шавки и разные дворняги тонко и горестно завывали, топя на расстоянии от Урагана. Оборони Бог подвернуться. Сцапает кобелина зубами и кинет в канаву либо в огород. Почему-то яростно ненавидел Ураган овчарок. Может быть, в нем говорила злость вечного работяги, трудно добывающего свой собачий хлеб?

Относился он к овчаркам примерно так же, как в прежние времена мужики относились к дворянам. На его совести было несколько загубленных овчарочьих душ.

— Вот так, Урагаюшко, — со вздохом закончил разговор с собакой дядя Петр, — остарели мы, видно, с тобой, уходились.

Они брели в избушку. Дядя Петр впереди, Ураган сзади. Кобель сник, опустил голову и часто присаживался выкусывать из лап напитанные кровью ледышки.

Через порог избушки он перемахнуть не мог. Перелез, будто пьяный мужик. Чувствуя, как стиснуло сердце, дядя Петр закричал:

— Какова лешева ползешь? Околевать — так околевай!

После этого дядя Петр зло рвал пилою сухостоину, колол чурки так, будто сокрушал зверя лютого. Наготовил дров столько, что хватило бы в русскую печь на неделю. Работа немного успокоила.

...В охотничьей суме, пропитанной жиром и всевозможными запахами, хранилась четвертинка водки. Дядя Петр каждую осень брал с собой четвертинку водки и распитием ее отмечал первую добычу.

Этот сезон начался с неудачи. Ну так что же? Обрати нести четвертинку? Сердито высморкавшись за печку, дядя Петр подержал в руках, как птичку, стеклянную посудину и решительно хлопнул ее по уютному доньшку. Пробка шлепнулась в стенку, брызги водки шипнули на печке, и охотник мрачно крикнул. Под нарами беспокойно завозился Ураган.

Суетливо ходит по окошку ветка ели, и когда в печи вспыхивают дрова, она кажется белой, а капли, текущие по стеклу, черными. Но стоит притухнуть печи, сразу светлеют капли, которыми плачет за окном черная ель.

О чем ты плачешь, ель? О чем ты плачешь?

Дядя Петр ведет молчаливый разговор с елью.

«Ты осталась живая, елка. На тебе даже шуба замохнатила, шишки появились. Плодиться начнешь. Глядишь, год-другой — и появятся этакие ребятенки-ельчонки вокруг тебя. Жизнь твоя будет нескончаема. Когда состаришься, опадет с ветвей хвоя и корни твои один по одному станут отпускаться от земли, однажды качнет тебя ветром, может быть слабым, и ты, видевшая на своем веку бури и ураганы, упадешь, обламывая со звоном голые сучки. Может быть, дети твои — мохнатые ребятенки — подставят свои гибкие плечи и смягчат твой удар о грудь земную?»

О чем только не переговоришь в осеннюю длинную-предлинную почву!..

О чем только не передумаешь?!

Вечор ходили грудастые, непричесанные тучи. Они оседали все ниже и ниже, пока не коснулись лесистых гор мелкой, быстро тающей крупой. Потом плюхнулись на землю густым и липким снегом, а после этого высеяли мелкий белый бус — не то туман, не то дождь.

Притих, ужаслся лес, знобко передернул плечами и покорился. Стоит беспомощный, голый во тьме.

А к утру ударит заморозок, и тогда защелкают обледенелые ветки, хрустко начнут обламываться под ветром отягченные затвердевшим снегом лапы пихтача и ельника, станет лопаться тугая кора на липах и понурится, обвиснет унылый березник.

Только елке подле избушки будет хорошо, безопасно.

«Елка ты, елка! — глубоко вздыхает охотник. — Помнишь, как пришел я сюда ранней весной? Не пришел, а, прямо говоря, приполз и сыскал вот это уединенное, от глаз скрытое местечко для избушки. Раньше ставили избушки на охотничьем перепутье. Оставляли в них истоплю дров, узелок с солью, серники и сухаришки. Обязательно на перепутье, чтобы человек отдохнул, спасся от непогоды и голода. А теперь нельзя.

Иные люди (да и не люди они вовсе!) почему-то рассыпают соль, сжигают дрова, выбрасывают сухари и оправляются в избушке перед уходом, как животные. Мало того, они балуются огнем и сжигают пристанище охотников. Глянь по Уралу. Сожжены и порублены избушки на Вильве, на Яйве, на Усьве, на Койве, на Чусовой — на всех таежных реках. Остались только те избушки, что от глаз скрыты. Почто так?»

В двух верстах от этой избушки давным-давно был поселок. Здесь когда-то плавил руду каторжане, копали они ее вокруг поселка, названного нерусским словом — Куртым. От поселка осталась лишь кирпичная печь. На ней вырос ивняк и пихтач. И кладбище на бугорке осталось.

Дядя Петр любил заходить на это одичалое, умирающее кладбище. Как и всякое другое человеческое жилье, оно требовало догляда. Лишь три креста и две оградки из тонких, подолбленных дятлами жердочек остались там.

Позавчера дядя Петр завернул на Куртымское кладбище. Кто-то был до него здесь дней за пять, выворотил оставшиеся кресты, сломал оградки и развел костер на могилах.

С недоумением и болью огляделся охотник по сторонам, как бы отыскивая того, кто обобрал и без того бедные могилы, и вдруг увидел что-то блестящее в траве. Думал, шляпка гриба, наклонился, а это двадцать копеек. Поднял дядя Петр монетку, сжал ее в кулаке и круто выругался, хотя никогда, даже пьяный, в лесу не матерился, а на кладбище тем более.

— Хозяева! В душу вас!..

Вокруг него подчистую обрубленные горы, и, может

быть, потому, что стоял он над прахом каторжан, напоминали они стриженные арестантские головы. Как-то еще в детстве дядя Петр видел людей, этапом идущих за Урал. У них были головы в шрамах, рубцах, шишках и струпьях. Сняли красу с гор, забрили им лбы, и обозначились овраги, болотца, ржавые ручьи и тракторные волокни вкось и вкривь, будто был никем не управляем трактор, и колесил он по земле как хотел и куда хотел.

«Что же это за человек такой появился, который может развести огонь на кладбище из крестов и оградок, срубить лес и бросить его, уронить и не поднять двадцать копеек? Где он взрос? Чей он хлеб ел?»

На печи зашипело. Просочился дождь с потолка. Течет по горячей трубе. Парит. Духота в избушке.

Дядя Петр ложится на пол, смотрит в окошечко, где еще вздрагивает, слезится ветка ели.

Люди построили мосты, железные дороги, пароходы, стрельнули в небо мудрой штуковиной с собакой. Они лечатся у докторов и оберегают детей от микробов. Да, да, его родная дочь, прежде чем кормить сынишку, кладет ложку на горячую плиту и накаляет ее, говорит — дезинфекция. Микроба-бактерия представлялась дяде Петру вроде таракана, только посрамнее на вид. Он несколько раз тайком глядел на ложку внука и никаких бактерий не обнаружил, однако относился ко всем этим причудам уважительно.

Но почему же этот нынешний народ не уважает обычай леса? А ведь они, эти обычаи, создавались тысячами, и мудры они, полезны, потому как те, что оказались непригодными, отбрасывались нещадной таежной жизнью.

Из-за лесного варначества, беспутства и корысти набродных людишек гибнут геологи, гибнут туристы, гибнут иной раз даже охотники и пастухи-оленоводы. А ведь для всех людей, кроме подлых, тайга всегда была кормилицей и спасителем.

Так неужто лесное варначье свои законы на земле установит? Неужто умные люди так и будут бороться с ними только красивыми словами? Что же останется на земле детям нашим? Одни красивые слова о красоте и жизни или вот эта самая жизнь и красота? Очень давно известно, что из слов, даже самых красивых, шубы не сошьешь. Вошь надо давить, особенно лесную вошь. А разумного человека учить надо видеть трудное рождение жизни. Взять

то же дерево: по вершочку, по сучочку растет оно, а срубается одним махом. Сколько придумано человеком машин и всяких разных штуковин для того, чтобы свалить самое обыкновенное, живое дерево. А много ли мудрили люди над тем, чтобы помочь скорее расти дереву, быть ему здоровым и сильным? Сколько срублено и сколько посажено? Подсчитать надо, баланс под это дело подвести, пока не поздно.

Такие вот примерно мысли все чаще и чаще появлялись у дяди Петра. И еще другие думы бывали. Разные. Например: почему есть в школах учителя по физкультуре, по пению. Есть, которые учат рубить, строгать, пилить, гайки нарезать и завинчивать. Шоферить даже кое-где учат. Но почему нет таежному делу учителя?

Вот взять его, дядю Петра, и назначить на эту должность. Да он ее, эту ребятню, за один месяц научил бы тайгу слышать, видеть и понимать. И не стали бы, глядишь, люди после этого размахивать топором в лесу, как в битве с чужеземцами. Нет, что ни говори, машины, ракеты — все это хорошо, но должен появиться на земле заступник и радетель леса. Обязательно должен. И ему надо поторопиться, пока еще есть что беречь. Надо помочь ему вырасти, этому заступнику. Ох, как надо!

Под нарами завозился и застонал Ураган. Постонал виновато и даже чуть заскулил. Точно так же он заскулил давеча у мертвой лесосеки, в которую безвозвратно ушел кот. Должно быть, увидел Ураган во сне этого недобытого кота.

Да, ушел кот, ушел. А сколько на своем веку выследил таких котов дядя Петр! Сколько кошек, рысей, белки! Город можно одеть в добытые им меха, целый город!

Помнит, в начале тридцатых годов встречали его, дядю Петра, на заготпункте, как роднейшего человека. И стульчик ему поставят, и договорчик поднесут, и отоваривание всевозможное предложат, и о здоровье спросят. А он, дядя Петр, на вопросы лениво отвечает, насчет здоровья вовсе ничего не говорит, договор не подписывает, требует самого Евстигнея Ивановича.

Вот так. Потому что был человек безвылазно месяц, а то и два в тайге, ел чего попало, в бане не парился, спал где придется, не раз заскакивал в гости к смерти и чуть башку себе не свертывал в гоне за зверем. Мог он после всего этого позволить себе маленький кураж?

Евстигней Иванович, заведующий «Заготпушиной»,

во всем этом имел тончайшее понятие, потому что сам полжизни в тайге провел. Он не полезет к тебе сразу с договором и со здоровьем. Он, бывало, жманет лапу, саданет по плечу и скажет: «Ну, как промышлял?» И дядя Петр ему ответил: «Обыкновенно, помаленьку». И все. Больше никаких слов не надо.

Евстигней Иванович кинет на ходу приказ: «Принять пушнину от Петра Захарыча и премию соответственно начислить, а мы пока с ним чаишком побалуемся».

Примут пушнину конторские по совести, без обмана, без подвоха, потому что шкурка к шкурке, ворсинка к ворсинке, волосок к волоску подобраны.

А дядя Петр тем временем, обласканный, сидит в гостях у Евстигнея Ивановича и не то чтобы пьянствует, а так, для уважения хозяина, выпивает с ним поллитровку, и вовсе ему не интересно это винище. По сердцу ему оказанный почет и беседа. Беседа нешуточная, про мировой капитализм. И выходило так, что лишние нормы по пушнине, выполненные дядей Петром, — это удар под самое дыхало капитализму.

Да после этих слов дядя Петр, бывало, себя почти до смерти гонял. Другой раз можно куницу или соболя ударить из ружья, а он пройдет две-три лишние версты, из-за этого в снегу заночует, но шкурку дырывать не станет.

— Э-эх, как все переменилось! Нынче на приемном пункте работает девка, техникум по пушнине кончила. Девка — спец по пушнине! Господи! Да это ли не измывательство?! Ну что она может знать в таком умственном и хитром деле! Губы у нее накрашенные, ногти тоже. Берет она двумя пальчиками шкурку: «Первый сорт, второй сорт», а сама при этом никакого интереса не проявляет к работе. — Хочется дяде Петру треснуть по столу так, чтобы доска проломилась. Только что и удерживает, что сидел за этим столом когда-то Евстигней Иванович, великий знаток охотничьей души.

Девку ту охотники надувают, сплавляют ей невышедшие шкурки, брак сплавляют и вводят ее в конфуз и в убыток. Дядя Петр никогда себе такого не позволял и не позволит. Но и оскорблять себя тоже не даст. А его в прошлом году оскорбили, по самому нутру гвоздем цапнули. Во-первых, дали худой договор, как начинающему промысловнику, и главное (эх, даже вспоминать тошно!), главное — заставили три дня обивать пороги, ждать деньги. Банк, видите ли, не выдал по какой-то причине

деньги, и он был вынужден сидеть в конторе и смотреть, как конторские девки щелкают на счетах и прыскают, рассказывая про какие-то свои, вовсе не охотничьи дела. Да будь бы жив Евстигней Иванович, да он бы этих девок самолично выбросил из конторы в окно. А если бы узнал, что охотник Петр Захарович ждет трудовые рубли и теряет попусту третий день в горячую пору промысла, да он бы и контору ту по бревну раскатал...

О чем ты плачешь, ель?! О чем ты плачешь?

Дядя Петр покачивает головой, беседует:

«Ты-то будешь жить. У тебя половина корней согрета. Только половина — и уж совсем другое дело, другой оборот. Приберег тебя человек, потому и ожила. И сам-то я, глядя на тебя, ожил. Ты помнишь, чуть тепленький явился на это место? А отчего? Оттого, что почти побывал на том свете».

Летом, в межсезонье, дядя Петр нанялся на лесопилку точить пилы и другие режущие инструменты. На лесопилке практикант — парнишка с отвислой губой — воткнул рубильник, не поглядевши по сторонам. Заволокло дядю Петра в пилораму и стало мять. Полотен он еще не успел навесить, а то вмиг развалило бы его. Мяло секунды две-три, а в больнице лежал полгода. Сперва и вовсе был недвижим. Когда рабочие вынули его из пилорамы и положили на опилки, то накрыли мешковиной с лицом и ногами, как закрывают покойника, и стали ждать конфликтную комиссию.

Парнишка-практикант, винясь перед всеми, плакал и вытирал кровь с лица дяди Петра и обнаружил, что тот еще немного дышит.

После больницы охотник лежал на полатах, синий, слабый, и плевал в старую онучу кровью. Он явственно ощущал, как угасает в нем что-то и все ему вокруг становится неинтересным и даже надоедным.

Ранней весной, когда над окном, вниз корешком, вроде остренького хрена, выросла сосулька и сырой ветер саданул ставней, словно бы рассердившись на лежебоку-хозяина, словно бы требуя выйти, еще раз поглядеть да уточнить, стоит ли жить на этом свеге, дядя Петр слез с полатей.

— В лес хочу!

— Какой тебе лес? — запротестовала всю жизнь понапрасну протестовавшая жена. — Ты погляди на себя. Краше в гроб кладут...

— В лес хочу! — уже сердито повторил дядя Петр.

Семейство дяди Петра знало: если «сам» начал сердиться, значит, дело клонится вроде бы к лучшему. Даже вполне может быть: после этого он пойдет на поправку.

Провожал дядю Петра зять, лесничий, с которым он не разговаривал уже года три, потому что тот однажды клянул на взятку и принял у конторы Кабардалес неприбранную лесосеку, ту самую, в которой скрылся кот.

Зять помог срубить охотнику избушку в семь рядов, верней, помог скатать бревна на мох, а все остальное дядя Петр уже делал без него.

И как-то получилось, что сухопарая, всего о две-три лапы, елка с сучками-шильцами очутилась подле окна. Осталась и живет себе.

Видно, весна воскресила их.

Какая это была весна! Дядя Петр словно бы заново рождался на свет. Рубил избушку — топорище в мыле, но он, стиснув зубы, работал до полного изнурения, до ломоты в костях. И скоро перестал пятнать красными плевками снег вокруг постройки.

Березник швырял в него отрубями сережек, допыана опаивали его хвойным духом сосняк, пихтач, ельник. Кровь по жилам гнало, как вешние потоки в половодье. Шумела тайга, звенел от птичьих песен небосвод, дятлы весело барабанили по сухостойникам, зорянки делали охотнику побудку. Казалось охотнику — все птицы хором славили его труд и вместе с ним радовались его выздоровлению, упивались непоборимой, могучей, солнечной жизнью.

По ночам дядя Петр слушал лес. И не было еще в жизни ничего приятнее этого великого, слитого воедино шума тайги.

Порой ему казалось, что он сойдет с ума, не переживет такую небывалую весну.

...Лапку ели тронул чуть заметный, далекий свет. Там, за рекой, за горными горами, над туманящимся, озябшим лесом, медленно прорастал желтый стебель рассвета. Седая от дождя и мокрого снега ветка ели тускнела в предутренней мгле, сливаясь с нею. Дождь перестал шуршать о стекла и долбить железную трубу наверху.

С рассветом захолодало. Стекло подернуло белыми травинками и жилистым листом. Скрыло елку мутным стеклом.

Оцепенел мокрый лес. В гуще его зябко продрожал в последний раз и с покорным вздохом сник ветер.

Дядя Петр взял чайник и вышел к ключу. Ключ здесь же, почти у самого порога избушки. Испуганным зверьком он трясся возле неохватного пихтового пня и казался пестрым от упавших в него листьев. Дядя Петр потрянул головой, чтобы избавиться от наваждения, опустил кружку начерпать воды. Послышался топенький звон до невидимости прозрачного ледка.

Наполнив чайник до краев, дядя Петр стоял неподвижно, раздумывая. Перед его глазами в разлапнике пихтовых корней возился, жил, дрожал ключик. Маленький ключик, почудившийся охотнику зверушкой.

Давило сердце. Забыв умыться, дядя Петр ушел в избушку.

Неторопливо, раздумчиво пил охотник чай, запаренный прутиками малины. И почему-то все время виделся ему медведь, с которым он в прошлом году нос к носу столкнулся неподалеку отсюда, в старой лесосеке. Дядя Петр косил сено на вырубках и вечером пошел набрать кружку ягод. Самое странное было в том, что он вроде бы и не испугался медведя и тот вроде бы тоже не испугался его. Они ошарашенно смотрели друг на друга.

Совсем не сознавая, что делает, дядя Петр сорвал ягоду, положил в рот и нажал на нее языком. Сладко! Медведь помедлил, затем прижал одной лапой кусты к пню, другой лапой деловито сорвал горсть ягод вместе с листьями и запихал их в розовую пасть. Сладко!

Дядя Петр деликатно отщипнул вторую ягоду и, глядя немигающими глазами в оцепенелые зрачки медведя, отступил на шаг. Так, обирая кустик за кустиком, они уходили друг от друга. И только после того, как саженях в ста, уже за логом, медведь по-дурному рывкнул и, затрепав кустами, ринулся прочь, дядя Петр тоже хватил во все лопатки, не бежал, а летел, можно сказать, вроде бы и земли ногами не касался. Откуда и прыть взялась!

Чудные, памятные штуки в жизни бывают. Четырнадцать медведей положил дядя Петр, а отчетливо помнил только этого, неубитого, пятнадцатого.

Совсем рассветало. От жары опять оплыло стеклышко в окне. Снова видна еловая ветка. Перестала она плакать, сникла, успокоилась. На кончике каждой иголки остекленела крупная капля. Елка несмело играла искрами.

Дядя Петр насыпал в пол-литровую банку молотой соли,

а на полочке оставил две пригоршни сухарей и коробок спичек. Выбрав смолистые поленья, он клеточкой сложил их под парами. Долго драл на тоненькие ленточки бересту и, когда истопля дров была готова, постоял, подыскивая еще работу.

Никакой работы больше не было.

В изголовье на нарах лежал старый-престарый буденовский шлем, найденный дядей Петром когда-то возле поселка Куртым. Охотник собрал с полки сухари и высыпал их в шлем. Туда же бросил коробок спичек и добавил к этому добру пять комочков сахара. Шлем он подвесил на железный крючок, на котором обычно сушил шкурки. Так лучше, не доберутся твари.

Охотник подпер избушку березовым колом, вместе с Ураганом обошел вокруг нее, мимоходом коснулся щекой колючей ели, перешагнул через ключик и ушел.

Над избушкой долго струился дымок, но постепенно поредел, распаутился, и его не стало. Еще какое-то время шипели снежинки на трубе, потом и шипение утихло.

Прилетела вертоголовая воровка-ронжа, огляделась, крякнула и стала искать еду подле избушки. Нашла в снегу голову соленой трески, разрыла ее, исклевала и запрыгала к ключу.

Ронжа напилась и с интересом глядела на ключ. Оттуда, из воды, на нее смотрела озороватым глазом такая же, как она, рыжеголовая птица. И все бормотал, бормотал под пеньком чуть слышно, почти невнятно ключишко, бормотал и шевелился...

БЕРИ ДА ПОМНИ

Арсений Каурин познакомился с Фисой летом сорок пятого года, после того как прибыл с нестроевыми на смену девушкам в военно-почтовый пункт.

Фиса работала здесь сортировщицей писем и одновременно ведала библиотекой. Арсения, как наиболее грамотного человека, «бросили» на библиотеку.

Книжки пересчитывали после работы. Засиживались допоздна. Вообще-то книг было не так уж много, их можно было пересчитать быстро. Но как-то так получалось, что дело это растянулось на несколько вечеров. Если какой-либо книжки не доставало, Фиса со вздохом говорила, как будто точку ставила:

— Девочки зачитали. — Потом спохватывалась, испуганно тарасила на Арсения большущие, младенчески голубые глаза: — Ой, что мне будет, Арся?

Характер у Фисы был безоблачный, до наивности детский. Сердиться она не умела, настаивать и перечить не могла, и потому почти половину книг у нее растащили.

Когда весь «фонд» был пересчитан и Арсений хмуро думал, как ему быть: докладывать ли начальству о нехватке книг или как-то выкручиваться, Фиса заявила как о само собою разумеющемся:

— Теперь меня посадят в тюрьму... — И, подождав какого-нибудь ответа от Арсения, сама себя утешала: — Ну, ничего. Там тоже люди сидят. У меня дядя сидел. Живой вернулся. Да за книги много и не дадут. Кабы я деньги или хлеб растратила... — И, совсем уж успокоив-

шись, попросила: — Арся, ты бы проводил меня домой. Я одна боюсь идти — темно.

Арсений надел пилотку, и они отправились на окраину местечка по безлюдным, заросшим колючим можжевельником улочкам, которые то спускались вниз, вроде бы к ручью, то поднимались вверх, вроде бы от ручья. Но никаких ручьев нигде не было. Лишь тоскливо маячили бадьи на колодезных журавлях, падали капли и звонко булькали в срубах, да чернела вытоптанная подле колодцев земля с пятнышками белеющего под луной мха. Молчаливые украинские сады ломились от яблок и груш. Совсем близко с тяжелым кряхтеньем осела на низкий плетень ветвь яблони. Фиса приостановилась, протянула руку в темноту и вынула из нее два тронутых прохладной росой яблока. Яблоко покрупнее она отдала Арсению и, когда он взял его, со смехом крикнула:

— Бери да помни!

Это у нее игра такая, тоже детская, тоже наивная. Арсений уже давно забыл о той игре и вообще о многом забыл в окопах, а она вот помнила. Чудная девка, непонятная, сумела сохранить все-все: чистоту, способность радоваться, без оглядки воспринимать мир и все в этом мире. О таких вот говорят: душа нараспашку. После боев и смертей, после госпиталей и пересылок всегда тянет к светлomu, радостному, и Арсения тянуло к этой девушке, так тянуло, что он уже с трудом сдерживался, чтобы не наговорить ей всякой нежной всячины, чтобы не зацеловать ее, не затискать.

Арсений взял согревшееся в ладони яблоко, отвернулся от Фисы и стал глядеть на небо. Ничего там особенного не было. Неполная луна зацепилась рогом за крайние сады на бугре, и как будто сомлела от густых запахов и тишины, и задремала, забыв про службу. Подле нее тоже дремно помигивали обесцвеченные и оттого мелкие звезды.

Мирная ночь стояла над украинским местечком. Все как на картинах, все как в книжках, все как у Гоголя. Словно не было никакой войны, и стояла вечно здесь вот эта тишина, и ничего не горело, не польхало, не рушилось от снарядов и бомб, и люди не обмирали от страха, а спали себе под соломенными крышами на лежанцах за печкой, и никто их не тревожил, кроме блох.

«И всего-то нужно людям малую малость — мир, — подумал Арсений, — и все приходит в норму, и мать-земля окружает нас покоем. Дорогим, долгожданным поко-

ем! А книжки сама разбазарила, сама пусть и расхлебывает. Так-то».

Он сердился, но как-то несерьезно сердился. Он ведь знал, что вслед за девчонками вот-вот отправят по домам и их, нестроевиков, и, конечно же, спишут эту походную, очень маленькую библиотеку. Списывают кое-что и поценней. А стоило бы накрутить хвост этой самой Фисе, чтоб поумней в другой раз была. Да разве ей поможет? Это ж ангелица! Глянет разок — и уже все, сердиться невозможно.

«Что-то уж очень много стал я думать о ней», — поймал себя Арсений, а не думать уже не мог, и, откровенно говоря, ему уже не хотелось, чтобы она вот так взяла и уехала. Как-то уж очень просто и прочно они встретились. Бродили, бродили по свету, колесили по земле, и вот круг замкнулся, и искать вроде бы уж больше ничего не надо.

Ребята, прибывшие вместе с Арсением из госпиталей на смену девушкам, наверстывали утерянное, «крутили любовь» направо и налево. Девушек в местечке, военных и гражданских, было много, лишковато даже.

Арсений же разом успокоился. Девушка с удивительными тихими глазами была рядом, разговаривала без всякого смущения о чем угодно, мурлыкала песню, невзирая на растрату, и вообще вела себя так, будто они давно-давно вместе, и все у них как надо, и в запасе еще целая вечность, и никуда они друг от друга не денутся.

А между тем день отъезда Фисы приближался. Арсению было за двадцать, уже подкатывало к двадцати одному. Близость девушки волновала его все больше, и так тянуло обнять ее, так тянуло, но он стыдливо увиливал. За этим могло последовать такое, о чем и думать-то было до сладости жутко...

Будь бы Фиса другой, пожалуй, и все сложилось бы по-другому. А с такой как быть? Сделай чего не так — оскорбишь, стыда не оберешься, — дитятя и дитятя. Ангелица, одним словом. «Нет уж, ну ее подальше, если чему быть, пусть уж как-нибудь само собою сделается», — урезонивал себя Арсений.

Фиса дохрумкала яблоко, по-мальчишески пнула огрызок, утерла губы, одновременно прикрывая зевок, и спросила:

— Сорвать еще? Тут их гибель! Ты чего хмурый, Арся?

— Ничего, — напряженно ответил Арсений, отводя

взгляд от груди девушки, оттопырившей гимнастерку, на которой поблескивала медаль.

— Ой, Арся, а мне ведь скоро уезжать, — печально сказала Фиса, — девочки из штаба говорили — документы уже заготовлены.

— Тебе что, не хочется?

— Я не знаю.

— А кто знает?

— Пушкин, наверно, — с беззаботным смехом ответила она, уже справившись с накатившей было на нее грустью.

— Послушай, — сказал Арсений. И когда Фиса внимательно уставилась на него, он схватил ее, прижал к себе, впился губами в ее губы.

Она слабо уперлась руками в его грудь и медленно, чтобы не обидеть, отстранилась.

— Ты, поди, прокусил мне губу? Ты все делаешь сердито, даже целуешь сердито...

— Как умею. (Какой же мужчина признается в том, что он не умеет целоваться!)

— Да, конечно, — вздохнула она. — Вы — фронтовики, люди нервные, вы много пережили. Я на тебя не сержусь...

— Не сердись, да? — обнял ее Арсений, и она согласнo тряхнула головой на его груди.

Он целовал ее теперь нежно, бережно и чувствовал, как она слабеет и все тяжелее обвисает на его руках.

Луна покончила с дремотой, уже выпуталась из садов, прорезала плоским серпом вершины дальних тополей и повисла над ними. Было все так же тихо. Арсений стискивал Фису все яростней, целовал жарче.

— Не надо, Арся, — жалобно попросила она. — Не надо этого. Я никогда...

Арсений еще не знал женщины, и если ему говорили: «Не надо», — он думал, что и в самом деле не надо. Потому он и выпустил ее, растрепанную, мятую, и, злясь на себя, буркнул:

— Ты же военная...

Фиса отступила в тень плетня:

— Ну и что?

Он ничего не ответил. Фиса грустно уронила:

— Да, я знаю, военным девушкам не верят. Но ты же сам видел, что у нас почти нет в части мужчин. Которые были — поженились...

— Кто хочет, тот всегда найдет!

— Но есть еще — кто умеет. А я все ждала чего-то, все ждала. Нет у меня ни жениха, ни знакомого даже. А я все ждала. Я тебя ждала, Арся.

— Так чего ж ты тогда?

— Я не знаю, Арся.

— Вот все у тебя так: я не знаю, я не знаю... Ангелица! Вот твоя хата! До побаченья!

Фиса осталась у калитки, виноватая, одинокая, помедлила и, на что-то решившись, позвала его обреченным, сдавленным голосом. Он закуривал на дороге, сердито брызгая искрами от зажигалки. Ему стоило только подбежать к ней, и, наверное, и ее судьба, и его повернулись бы совсем по-другому. Но он был самолюбивым парнем и считал себя в чем-то оскорбленным. И кроме того, у него было неоконченное высшее образование, и он падеался все-таки окончить его. А вдруг будет ребенок, что тогда? Нет уж, лучше перекурить это дело, превозмочь себя. Мужчина он или нет?

Поздно ночью он вернулся к ее хате, постоял у калитки, потом зашел в садик и, опершись спиной о белый ствол яблони, глядел в низкое, темное окно. Кажется, он высказал этому окну все глупости, какие скопились в душе, и почувствовал облегчение и прилив неслыханной нежности к себе, к Фисе, ко всему на свете. Блаженно-усталый, расслабевший от неведомой до сих пор нежности, он вернулся в свою квартиру под утро. Осторожно снял сапоги и вытянулся на кровати рядом с госпитальным другом, безмятежно и удовлетворенно храпевшим на всю хату. Тот на минуту поднял голову и сипло спросил:

— Ну как, порядок?

— Порядок, порядок, спи.

Арсений проспал на работу, и за это ему отвалили наряд вне очереди. Он уже домывал пол в помещении сортировки, когда явилась Фиса и стала отбирать у него тряпку:

— Чего ж ты не сказал! Я бы вымыла. Ой, Арся, у тебя спина в известке. Где это ты? Дай отряхну!

— Иди ты! — гаркнул Арсений. — Путаешься тут, лезешь!

Растерянный, мокрый, с грязной тряпкой в руках, он шел на Фису, будто собирался ляпнуть этой тряпкой в лицо. Таким Фиса его еще никогда не видела.

— Я ж помочь хотела.

— Помо-очь! Помогла уж. Уваливай!..

И она ушла, вся как-то разом завянув. Ее и в самом деле легко было обидеть.

Вечером он отыскал ее, хотел попросить прощения, даже слова какие-то заготовил, но Фиса сделала вид, будто ничего и не произошло, и он с облегчением забыл эти слова и вел себя подчеркнуто весело, шутил, смеялся, Фиса тоже смеялась, но глаза у нее были грустные-грустные, и она поспешила в этот вечер рано уйти домой.

Есть такие люди, которые умеют прятать свою грусть, переживают ее в одиночку и оттого кажутся на людях всегда веселыми и беззаботными.

И назавтра она уже была прежней Фисой, безмятежной Фисой — и все-таки что-то уже произошло. Она сделалась чуть сдержанней с Арсением, и это «чуть», не высказанное словами, оказалось той границей, через которую Арсений уже не мог переступить.

Он провожал ее до дому, целовал. Но она не давала ему очень увлечься этим приятным занятием, убегала от него.

Арсений не задерживал Фису и даже чуть упивался собственным благородством. Вот, мол, и мог бы, а не стану, потому что есть у меня сила воли, потому что мужчина я, а не бочонок с квашеной капустой. И характер я выдержу. И вообще, может, все это к лучшему. Жизнь моя впереди. Встретятся еще и девушки, и женщины, и не одна. Пристал к первой попавшейся. Пройдет это, пройдет. Вот уедет она, и все пройдет.

Настал день отъезда.

Машины стояли возле штаба. Сброшены в них нехитрые пожитки военных девушек, и солдаты, уже не таясь, в открытую прогуливались подле машин со своими «симпатиями», часто заворачивали за угол штаба и, несмотря на близость начальства, целовались там напропалую, целовались до того, что вспухали губы.

Арсений держал Фису за руку и за штаб не уводил. Она перекаtywала сапогом обломок кирпича и как никогда пристально всматривалась в лицо Арсения. Он прятал глаза, балагурил, обещал писать ей по два раза в день.

Она молчала.

От этого молчания Арсению сделалось не по себе, и он поспешно сорвал пилотку с головы, покидал в нее яблоки, которыми были набиты его карманы, и, когда она приняла пилотку, рассмеялся:

— Бери да помни!

— Спасибо, — тихо огозвалась Анфиса. — У меня память хоть и девичья, короткая, как говорится, но буду помнить. — Лицо ее немного побледнело, рука была вялая и холодная, маленькие и реденькие конопатинки на носу обозначились резче, и в глубоких дитячьих глазах было недоумение. Она, кажется, не совсем верила, что вот скоро, сейчас, возьмет и уедет, и потому, должно быть, ни с того ни с сего начинала улыбаться шутливым словам Арсения, и тогда скуластенькое лицо ее озарялось сполохом румянца, который тут же пугливо гас.

Она была так мила сейчас, так застенчива, что вся красота, подаренная ей природой, до капельки объявилась и ничего не осталось про запас. Такая красота может держаться, если беречь ее. Очень уж хрупкая, очень уж вещь она: дунь холодный ветер — и ничего не останется, все облетит, осыплется, завянет.

Арсений примолк, стал отогревать ее руки своими ладонями, и она вдруг попросила:

— Арся, не забывай меня! — И отвернулась. — Не забывай, пу? — И опять принялась катать сапогом кирпичик. — Я знаю, со мной трудно. Ненормальная какая-то. И если бы я... Мы были бы вместе... — И, подняв голову, взглянула на него с тревогой: — Разве я виновата, Арся?

— Нет, Фиса, ты ни в чем не виновата. Ты хорошая девушка.

— Давай не будем об этом!

Кругом суетились люди, что-то говорили друг другу на прощанье, шоферы занимали места в кабинах, заигрывая напоследок с девочками.

— Скоро уж машины пойдут, — проговорила Фиса.

— Кажется, скоро.

— Арся, ты все еще сердись на меня?

— Я? Откуда ты взяла? Это ты дуешься чего-то.

Но она не обратила внимания на его последние слова:

— Я вижу. Я все вижу. Я знаю, ты не напишешь мне ни одного письма. Да и зачем? Ну встретились. Ну расстались. Говорят, вся жизнь состоит из этого.

— Да, говорят. Знаешь что, давай не будем выяснять отношений сейчас. Не время. Простимся как люди, без фокусов.

— Ладно, Арся, ты иди. Не надо, чтобы ты ждал, когда машины пойдут. Мне нехорошо как-то. Я, наверно, запла-

чу. А я не хочу, чтобы ты видел, как я заплачу. Мне чего-то жаль, очень жаль...

Они поцеловались. Арся помог забраться Фисе в кузов, чуть задержал ее руку в своей, хотел еще что-то сказать, но махнул рукой: всего, мол, хорошего! — и пошел от машины. Но тут Фиса окликнула его и протянула разрисованный цветными карандашами конвертик:

— Вот... На память...

Он протянул было руку, но Фиса по-мышинному юркнула в кузов, сунула конверт за ворот гимнастерки.

— Нет, Арся, это я так. Я пошутила. Иди уж, — голос у нее дрогнул. — Все равно уж...

Семнадцать лет спустя Арсений Каурин, преподаватель педагогического института, плыл с группой туристов вниз по Каме на шлюпках до Куйбышевской ГЭС. Настроение было прекрасное оттого, что погода стояла солнечная, и весь отпуск впереди, и ни о чем не надо было заботиться, и хоть на время можно скрыться с глаз ревнивой жены, со скрипом отпустившей его в поход.

В старинном районном селе, где, кажется, церковей было больше, чем домов, туристы остановились и рассыпались кто куда в поисках достопримечательностей, съестного и курева. Арсению было поручено купить соленых огурцов. Загорелый, в войлочной с бахромой шляпе, в рубахе-распашонке, с наляпанными на ней лунами и яблоками, он шлялся по рынку, весело прицеливался к товару, шутил с торговками, разморенными духотой и бездельем.

Покупателей на рынке мало, лишь суетились пассажиры с только что причалившего парохода и возле пивного ларька на бочках уютно расположились и потягивали из стеклянных банок бледное пиво колхозные шоферы. Возле них митинговал безногий инвалид:

— Гитлера распатронили? Распатронили! И Чомбе распатроним! Чомбе — тьфу! Мизгирь!..

Тетка с накрашенными губами торговала щавелем, прошлогодним хреном и кудрявистыми таежными ландышами. Ландыши у нее пассажиры раскупали нарасхват, а хрен никто не брал. Тетка обратилась по этому поводу к Арсению:

— Чудной народ! Цветочки берут, а хреном пренебрегают. А хрен — это ж такая закуска, это ж... — Она, как гранату, подняла длинную скобленную хреновину и с пьяненьким вздохом кинула обратно: — Э-эх, сады-садоочки, цветы-цветочки, над страной проносится военный ура-

ган! — И тут же с песни переключилась на инвалида: — Митька! Я те дам Чомбу! Крой до дому и организуй цветки! Чтоб одна нога здесь, другая — там! Чего ты около шоферни отираешься? Я сама в состоянии тебя опохмелить!

Арсений улыбнулся и пошел дальше, обмахиваясь мягкой шляпой. Пот лил с него, катился за распахнутый воротник рубахи.

Духота все густела и густела.

Но тучи были еще где-то далеко, и дождь никак не начинался. По рынку бродили пыльные куры с беспомощно открытыми клювами, привычно шуровали лапами шелуху от семечек. У ног торговок, под прилавком, беспечно лежала облепленная репьями коза, полураскрытым глазом наблюдая жизнь.

На Каме сердито взревел пароход, пассажиры заторопились. Арсению на рынке тоже надоело. Он направился к овощному ряду, остановился подле колхозной машины. Парень с папироской в зубах прямо из бочки зачерпывал склизкие, перекислые огурцы тарелкою от весов.

Арсений почувствовал на спине своей пристальный взгляд. Он подумал, что опять глазают на модную рубаху, но взгляд проникал, кажется, дальше, внутрь, тревожил его. Он настороженно осмотрелся и встретился глазами с женщиной, спустившей от жары полушалок на плечи. По правую руку от нее лежали редьки величиной со двадцатимиллиметровые снаряды, поточенные на острие червяками, грудка моркови с кудряшками бледной зелени и стоял ведерный туес с солеными огурцами, из которого свесились стебли укропа.

— Может быть, попробуете моих огурчиков? — тихо, не спуская глаз с Арсения, поинтересовалась женщина. И его что-то совсем уж встревожило и обеспокоило. В глазах женщины, чуть сощуренных, была не то усмешка, не то испуг, в уголках губ задумчивые, горестные складки. Руки женщины в земляных трещинках и под ногтями земля. Руки были мыты, хорошо мыты, но это была та земля, что впитывается в кожу надолго, иногда навечно, — пашенная земля.

— Что ж, можно и ваших, — отозвался Арсений с наигранной веселостью. Так уж почему-то принято разговаривать с торговками.

Женщина усмехнулась, подала ему на кончике ножа коренастый, на диво сохранившийся огурчик и что-то при

этом сказала одними губами, какие-то незнакомые слова. Но Арсений не обратил особого внимания на слова, он с хрустом откусил огурца и зажмурился:

— Класс!

— Сколько вам?

— Немного. Вот, — все так же беспечно сунул он модную шляпу. — Сколько сюда войдет, столько и сыпьте.

— Ну, зачем же такую вещь портить? Это ж не яблоки, выпачкают. Для вас готова и газету схлопотать, — напевно, с каким-то скрытым смыслом говорила она, не переставая загадочно улыбаться. Она вылавливала огурцы из туюса. Усмешка, так тревожившая Арсения, разом как-то сваяла на губах женщины, и она, уронив деревянный черпак, подалась к нему. — Арся, ты неужели меня не узнаешь?

Арсений оторопел:

— Вас? Простите... Э-э, нет, простите...

— Да я же Анфиса.

— Какая Анфиса?

— Ну, Фиса.

— Фи-иса!

Теперь уже он пробежал по лицу ее торопливым и цепляющимся взглядом, словно пролистал книгу, и только по глазам, в которых далеко-далеко еще таилось полудетское простодушие, по голубым глазам, как бы уже тронутым ранним инеем, узнал ее.

— Ангелица?!

— Не забыл! — радостно и в то же время горько улыбнулась она. — Она самая.

И тут наступила та самая минута, которая всегда наступает в такие моменты. Надо бы говорить, а говорить-то и не о чем. И вот появились, как обычно, самые неподходящие, самые ненужные слова, и он, потоптавшись, сказал эти слова:

— Ну как живете-можете?

— А что, Арся, разве по мне не видно? — снова усмехнулась женщина и, помогая ему справиться со смущением, поинтересовалась, глядя на яркую рубашку-распашонку: — Сам-то как? Хотя тоже видно. Здоров, бодр. Отдыхать едешь? Поседел вон только. — Она чуть было не протянула руку, чтобы дотронуться до его волос, но вовремя опомнилась и спрятала руки в рукава телогрейки, будто ей разом сделалось холодно. — Умственная, видать, у тебя работа?

— Да, трудная работа. Преподаю. В институте преподаю. Студенты, они, знаете... — И, стыдясь чего-то, добавил: — Седеть начал рано. Всякое было. Учился после армии, на одной стипендии тянул, трудно было... — И чувствуя, что разоткровенничался, закончил: — Сами знаете, жизнь нашего брата не баловала.

— Да, не баловала, — подтвердила Анфиса и тут же словно бы встрепенулась. — Ну, все равно в люди выбился. Я знала, ты не пропадешь. А я вот, — у нее опять появилась усмешка, только на этот раз усталая, вымученная, — право, ангелица, сразу и в пути. — Анфиса обернулась, тряхнула за рукав стоящую за другим прилавком торговку: — Тетка Александра, присмотри за моим товаром, — и предложила Арсению: — Пойдем, Арся, отсюда, провожу тебя маленько. Ты ж провожал меня когда-то... Извини, что я с тобой на «ты» — по старой памяти.

— Ну, что ты, что ты, пожалуйста.

Вышли с рынка. Тетка с накрашенными губами, облокотившись на прилавке, жевала лист щавеля и что-то пробормотала, подмигнув им вслед. Торговки за прилавком громко захохотали.

Далеко-далеко буркнул коротко гром, и сделалось совсем тихо.

— Вот где довелось встретиться, — прервала молчание Анфиса и, глядя на подернутую маревом реку, призналась: — Поначалу я тебя все ждала, все встретиться надеялась. Сюда, на пристань, часто бегала. После во сне только видела, а потом уж и сны стали другими, все стало другое... — Арсений не мог найти слов, чтобы поддержать разговор, и Анфиса задумчиво прибавила: — Время, время. Вот ты уж и седой, а все такой же на слово скупой.

— Да нет, почему же, я тебя слушаю.

— Меня? Что ж меня слушать? Ничего интересного. Как за русской печкой: пыль да лучина, темь да кручина. — И она опять, в который уже раз, искоса поглядела на его рубаху с намалеванными на ней желтыми лунами и красными яблоками по голубому фону. И он вдруг вспомнил луну над садами, тронутое росой яблоко, вынутое Фисой из темноты. Ему сделалось неловко и жаль чего-то. Он подсадовал на себя, на жену. Это она купила рубаху с невзаправдашними лунами и яблоками. Модно! Она и себе и ему покупает все только модное. Все еще молодится. Он знает — молодится для него. И как-то услышал, она призналась подружке, которая позавидовала ей: «Ах,

милая, мне все трудней и трудней становится быть молодой!»

«Но зачем все это вспоминать сейчас? И к чему? Теперь уже ничего не изменить. Да и молчание становится неловким. Надо разговаривать, разговаривать, и отстанут эти воспоминания. Неловкость пройдет. Подумаешь — рубаха! Разве в рубахе дело? Она вон в телогрейке, и руки можно бы тщательно вымыть, и не обманул же я ее, в конце концов. Ничего такого не было. Ну, обещал писать и не написал, так это ж пустяк, да и как давно это было! Очень давно».

— Ты замужем? — спросил у Фисы Арсений.

— Давно. Полгода после демобилизации подевичилась, и дядя сосватал меня. У меня ведь никого нет, кроме дяди. А сам он ребятами оброс. Куда-то надо было голову приклонить. В возрасте уж девка. Молоко брызжет. Семью надо, детей надо. Бабе бабье мнится. А ты женат?

— Женат. С ребенком взял женщину. Трудно было. Но она ничего... добрая женщина. Тоже в институте работала. Там и сошлись. Дочь нынче в консерваторию поступила.

— А родное дитя есть?

— Есть. Как же.

— Сын, да?

— Сын.

— Как зовут?

— Валерием.

— Валерием? Славно. А моего — Пашкой. А дочь — Нина. Тоже двое у меня.

Снова стало не о чем говорить. Над городом томилась все та же душная тишина, и от каменных плит тротуара, меж которых росла трава и тощие цветки шалфея да пуговки утарной мяты, несло, как от раскаленных печек. Арсению жгло подошвы сквозь кеды, и он обрадовался, когда они сошли на прибрежный песок с засохшими на нем коровьими лепешками.

Река кипела у берегов. Купались ребяташки. А вдали, в густой медовой пелене, бурлил винтом пароход. Он словно бы стоял на месте и растворялся в колеблющемся маре, делаясь все меньше и прозрачней. Перед дождем свирепствовал овод. Детсадовские ребяташки были в волдырях и до шейки закапывались в песок. Воспитательница сидела на обносе изуродованного катера, до палубы вросшего в песок, обмахивалась веткой полыни, безот-

рывно читая толстую книгу, должно быть, роман про любовь, и время от времени нудно твердила:

— Дети, не забредайте глубоко. Дети, утонете.

— Хорошо это — дети, — как бы найдя повод для продолжения разговора, с облегчением сказал Арсений. — Для них живем. Нам время тлеть, а им — цвести.

— Да-а, им цвести, нам тлеть. Верно. Пушкин, кажется, сочинил? Мудрый был человек! А муж-то у меня, Арся, пьяница. Бьет меня и детей бьет, — глухо проговорила Анфиса и отвернулась. И он опять не знал, что делать: утешать ли ее или не мешать ей молчать.

Впрочем, Анфиса быстро укротила себя, сломала звон в голосе и посмотрела на него сбоку с виноватой улыбкой, с той улыбкой, которая ему запомнилась издавна.

— Ну вот, расчувствовалась. Баба и есть баба. Не обращай внимания, Арся. — И быстро, быстро, сглатывая слова: — Да ничего такого и нет. Ребята зимой учатся в школе, летом на огороде и в поле работают. Я по домашности. Муж — тракторист. Он и ничего бы, только не любила я его никогда. А он это чувствует, вот и лютует пьяный. Кулаками любовь-то добывает. — Скороговорка ее неожиданно сменилась тоскливым возгласом: — Эх, Арся, Арся! Зря я тогда сберегла себя. Зря тебя мучила. Ему ведь все равно, лишь бы баба. Ну, ладно, Арся, наговорила я тебе семь верст... Расстроила вижу. Вон красными веслами машут. Тебя небось зовут. Прощай, Арся!

— Прощай, Фиса.

— Я в деревне Куликовой живу, недалеко отсюда. Заходи, если случится быть.

— Хорошо, хорошо, — поспешно согласился Арсений, — непременно. Мы иногда бываем в деревнях, картошку копать ездим...

Анфиса, кажется, не слушала его. Она подала ему руку, тряхнула головой:

— Нет, не надо. Пусть уж будет, как было. Пусть останутся воспоминания... — Голос у нее осекся, тень легла на тронутое морщинами лицо. — У меня ведь это лучшее, что было в жизни, Арся. Никому дотронуться не даю. В себе таю. Прощай!

Арсений давнул ее руку и, как тогда, у машины, кивнул: всего, мол, хорошего, — но внезапно вспомнил:

— Послушай, какой ты конверт хотела мне отдать тогда и не отдала?

Анфиса наморщила все еще красивые, сломанные у висков брови и вдруг просветленно улыбнулась:

— А-а, вон чего ты вспомнил?! Клочок волос упаковала. В книжках про это вычитала и вот... Тогда я еще читала книжки. — Она застенчиво потупилась, махнула рукой, словно бы не прощая себе такого чудачества, и проворчала: — Слепота я, слепота... — быстро пошла от него, черпая стоптанными сандалиями песок.

Арсений постоял минуту, пытаясь вникнуть в смысл этих вполголоса оброненных слов, и оттого, что не мог понять скрытого в них смысла или не хотел понять, раздраженно пожал плечами:

— Вот так встреча! Бывают же чудеса в жизни!..

Он попытался настроиться на шутливый лад и даже помурлыкал на ходу: «А я сам! А я сам! Я не верю чудесам!» — но тут на него разом навалились стыд, растерянность, зло, и он почувствовал такую усталость, что едва добрался до своей шляпки и обессиленно опустил ее на борт.

— Где ты шлялся? — напустились на него попутчики.

Он смотрел на них, но слова не доходили до него.

— Почему не принес огурцы?

— Какие огурцы? Ах да, огурцы. Забыл. Оказывается, забыл... — беспомощно развел руками Арсений. Заметил шляпу, нахлобучил ее до бровей и не знал, что делать дальше.

— Вот тебе и раз! А мы водки взяли.

Арсений встрепенулся, услышав об этом, отыскал глазами бутылку, по-солдатски ударил ее о колено. Пробка хлопнула, взлетела и поплыла по воде. Он налил себе полный стакан и выпил одним духом под веселые возгласы попутчиков — товарищей по институту, которые знали, что пьет он редко и тайком от супруги — побаивается. Но когда он налил себе второй стакан, они зароптали:

— Что ты! Не дури! Захмелеешь ведь с непривычки. А нам плыть, и гроза надвигается.

Но Арсений выпил и второй стакан, чтобы оглушить себя, забыться. Однако хмель не брал его и забыться никак не удавалось.

И дождь все не шел и не шел, задержался где-то за горами. Хоть бы скорее грянул дождь, крупный, холодный, с громами и молниями, и смыл бы всю эту застоявшуюся, густую духоту.

САШКА ЛЕБЕДЕВ

Всю ночь санитарные машины шли без огней по шоссе. Впрочем, от шоссе осталось одно название. Несколько дней назад здесь сосредоточивалась для наступления танковая армия и разворотила бульжник на тихом древнем пути, наделала на нем рытвин и бугров.

По такой дороге санитарная колонна за ночь с трудом прошла семнадцать километров и в городе Жешуве оказалась ранним осенним утром.

Тяжелораненых и тех, что были похитрей да попрорней, разместили в переполненных госпиталях Жешува. Остальных кое-как подбинтовали на эвакуационном пункте, дали им по стакану молока и начали снаряжать дальше.

Если бы у Олега Глазова была хоть какая-нибудь солдатская сноровка, он зацепился бы в прифронтовой полосе или сразу же постарался бы попасть в колонну, идущую в глубокий тыл.

Но он был еще молод и мало бит, и потому предстояло ему добираться до тылов на «перекладных».

Пока же Олег с радостным облегчением забрался в польский автобус и тотчас задремал на мягком сиденье. Он не слышал, когда тронулся автобус. Шофер-поляк вел машину тихо, чтобы бойцы, оглушенные и разбитые в ночном рейсе, хоть немного передохнули.

За городом Жешувом автобус остановился. Шофер отворил дверцу:

— Проше, паньство.

«Паньство» — около двадцати раненых солдат — дре-

мали и не сразу сообразили, что от них требуют. Русский санитар, сопровождавший автобус, в тон шоферу повторил:

— Проще.

Намытарившиеся солдаты не вдруг вылезли из автобуса. Сначала они изучили обстановку, кто с места, кто в окно высунулся.

Вдаль убежал изрытый гусеницами большак, обсаженный пыльными деревьями. К нему текли с полей и от деревьев хилые тропинки и бугристые дороги. В кювете у большака вверх колесами лежала немецкая легковушка, чуть подальше — с раздутым брюхом конь. За деревьями — тополями, сомкнувшими вялые ветки над дорогой, — стояла большая круглая палатка с красным крестом наверху. Возле нее толнился народ.

— Эвакуационный пост, — пышно назвал палатку автобусный санитар и, видя, что на пассажиров это не очень подействовало и они не трогаются с места, пояснил: — Отсюда специальным транспортом вас будут отправлять по госпиталям.

Многие из солдат как были перевязаны на передовой, так с теми повязками и мотались. Если проступала кровь, случавшиеся в пути санитары накладывали поверху новый бинт, но повязок не меняли. Почти у всех раненых была высокая температура, все одурели от бессонницы, голода и мечтали о заслуженном в бою блаженстве — о госпитале, о чистой перевязке, сделанной добрыми женскими руками, и о койке, о настоящей, железной койке, может быть, с простынями и, может быть, даже с подушкой.

Упоминание о госпитале подействовало. Опережая один другого, с охами и бранью, раненые вывалились на большак. Автобус развернулся, юркнул в коридор тополей и убежал обратно, к Жешуву, оставив унылую пыль. Она медленно, как дым после залпа, оседала на листья и траву, и без того уже покрытую толстым слоем и потому бесцветную.

Сиротливой кучкой стояли солдаты на дороге. Никто к ним не подходил, и никто не обращал на них внимания.

Возле деревьев за большаком и около опрокинутой легковушки сидели и лежали раненые. Некоторые спали головами к стволам тополей, закрыв лица пилотками и шинелями, у кого они были, а если не было, то просто локтем или ладонью.

У входа в палатку вкопан в землю стол и вокруг него рамою скамейки. За столом сидел солдат с перевязанной грудью, в хромоных, не по чину, сапогах.

Позолоченным трофейным карандашиком солдат что-то писал на потрепанном листе бумаги, придерживая его рукой. Время от времени он поднимал голову, со значением щурился, устремляя взгляд в осенние прозоры на тополях. В прозоры эти проглядывало успокоенное, перетомившееся в легких трудах и жаре солнце, в ветвях возились воробьи, стряхивая листья и пыль. Воробьи содомили из-за ворона, который взялся откуда-то и терпеливо ждал в ветвях, когда можно будет подлететь к душному коню и начать его с выпуклых глаз. На них уже давно хлопотали черно-синие мухи.

Вид у солдата, сидевшего за столом, был такой занятой и отсутствующий, что нетрудно было догадаться — ни солнца, ни деревьев, ни птиц, ни людей он не видел.

Олег заглянул через плечо солдата и чуть было не сел от неожиданности. На истерзанном листе роились столбцы стихов. Буквально роились: каждая строчка в четыре, а то и в пять этажей. Сбоку, на полях, тоже пошатнувшаяся городьба строчек. Стихи солдату давались трудно.

Осенний лист, кружась, падает на лист бумаги.

Где грусть и трепет сердца моего.

Где по любви лишь сладкие мечтания,

А больше нету ничего.

Две последние строчки столько раз черкались и подчеркивались, что Олег, тоже баловавшийся в школьные годы стихами, скорее угадал их, чем прочел.

«Контуженая муза!» — улыбнулся Олег и предупредительно кашлянул, зная, какой щепетильный народ поэты.

— Рифма хромает. Чувство в стихе есть, но техника отсутствует, — как бы между прочим заметил он, кособоко усаживаясь на скамейку.

Солдат прихлопнул стихи, как муху, и обернулся, засовывая лист под гимнастерку в бинты. У него был горбатый кавказский нос, остальное все русское: серые глаза, жидкая белесая челка, белесые брови, с пяток крупных конопатин на переносье. Он смерил Олега пробуждающимся, недовольным взглядом:

— Откуда взялся грамотей такой? Из газетки, что ль? — И, заметив удивление Олега, пояснил: — Учено говоришь.

— А ты догадливый! — хмыкнул Олег и позвал «своих» солдат: — Давай сюда, братцы. Здесь хоть пыли меньше. — Повременив, с грустной усмешкой добавил, глядя мимо солдата: — Я цитировал рецензии на свои творения.

— Тоже стихи сочинишь?

— Было дело, — с нарочитой, не идущей ему небрежностью ответил Олег. — Быстро эвакуируют отсюда?

— Чего? — удивился солдат и захохотал. Но тут же схватился за грудь, перегнулся, подавил стон и рассердился: — Лопухи! Будто вчера на свет родились? Зачем из автобуса вылезали? Теперь позагораете. Вон, — кивнул он на спящих под тополями людей, — видите?

— Как так? — рассердился пожилой дядька, вместе с которым ехал ночью Олег. — Где здесь начальство? Боль, видимо, приотпустила солдата, и он уже спокойно сказал:

— Ты чего на меня-то орешь? Я сам отсюда умотать не могу. — И тише буркнул: — Стихи вон с голодухи кропаю.

Когда дядька перестал плеваться, ругаться и стучать о землю сделанным из кривой вишни костылем, солдат дал ему место рядом с собой на скамейке, зевнул, помахал кулаком у рта, как бы крестясь, пробормотал: «Прости нас, мать твою, богородица!» — и стал неторопливо рассказывать.

— Начальство здесь в двух лицах представлено — медицинский лейтенант и чуть живой сержант — не сегодня завтра концы отдаст. Вот в таком разрезе, войны, насчет начальства. А насчет транспорта тут тоже полная ясность — уезжать надо на попутных. Во-он пылят машины.

Из палатки, прихрамывая, проковылял кривошеей сержант с высокими, до коленей, обмотками, обернутыми без форса, что отличает бывалых солдат, умеющих даже вшивой гимнастерке, если потребуется, придать такой вид, что хоть стой, хоть падай.

Сержант утвердился посреди дороги, решительно раскинул руки и втянул в плечи тощую шею, отчего сделался похожим на нахохленную музейную птицу.

Из тополей вынырнули три ЗИСа, в них разом грохнули ящики.

— Чего тебе? — высунул запыленную, может, и небритую личность шофер передней машины, почти ткнувшейся радиатором в грудь сержанта.

Объяснить ничего не пришлось. Из-под тополей высыпал раненый народ и, волоча тощие рюкзаки, мятые шинели, развязавшиеся бинты, полез в машины, непочтительно поминая бога, богородицу и всех, кто подвернется под руку.

— Да как же я вас повезу, братцы? — взмолился шофер. Но его никто не слушал. Легкораненые быстро оказались в машине и уже устраивались поудобней, расталкивая в кузовах ящики и пустые гильзы. Раненные потяжелее неловко карабкались в машины, цеплялись за борта, срывались. Сержант суетился, помогал бойцам забраться в кузов, кидал туда вещмешки, шинели, костыли. Солдат, писавший стихи, сначала кричал разные прибаутки, потом замолк, лицо его сделалось острым, злым. Он побежал к машинам, бодливо согнувшись в груди, принялся подсаживать людей, рассчитывая, видимо, прыгнуть в машину после всех. Но шофер переднего ЗИСа вдруг рванул с места. Раненые отскочили в стороны. Опять побрели под тополя и стали укладываться — кто где. Сержант спрятался в палатку.

— Спектакль окончен, воины, — грустно сказал горбоносый солдат, которого, как потом выяснилось, звали Сашкой Лебедевым.

— Имя у тебя какое, мальй? — неожиданно обратился он к Олегу. — Курева нет ли, часом? — без всякой надежды полюбопытствовал он после того, как Олег назвался.

Олег повернулся к Сашке левым боком:

— Доставай.

— Так что же ты молчишь? — изумился Сашка. — Сидит с табаком и помалкивает! Одна сигарка три сухаря заменяет, — подмигнул он и, кажется, первый раз внимательно присмотрелся к Олегу: — Весь-то ты в кровище! — Сунул руку в карман Олега, достал слипшийся табак и вовсе удивился: — Даже в кармане кровь? Куда тебя?

— Не видишь? В плечо. — И Олег тоже, пожалуй, в первый раз после передовой внимательно оглядел себя. Гимнастерка разделана в распашонку, в крови от ворота до подола. На брюках тоже насохла красная корка. Даже на ботинках сквозь пыль рыжели капли. Олег зажимал правой рукой рану, пока добирался до своей траншеи. Сгоряча он не чувствовал боли и не понимал, что к чему, только плакал по-девчоночьи тонко и возил липким кулаком по залитому слезами лицу. Земляк-старшина, перевя-

зывавший его, не мешал Олегу плакать, лишь хватал за руку и отводил ее: «Окровенишься весь, чучело!»

«Да-а, должно бытъ, видец у меня!» — конфузливо подумал Олег.

Солдаты, приехавшие с Олегом, разбрелись кто куда. Тая боль и стоны, Олег едва сидел у стола. Притупившаяся в пути боль опять закогтила плечо, и снова Олегу показалось, что кто-то раздувает уголь, спрятанный под бинтом, и печет от него всю грудь, пересыхает в горле. Рука ниже плеча залубенела, едва чувствовалась, силы нигде уже не было, и шея никак не держала голову, сламывалась. Хотелось пить, хотелось есть, но смутно, отдаленно хотелось. Вялость, беспомощность и беззащитность от боли притупили все в молоденьком солдате. Он качнулся на скамье. Сашка подхватил его.

— Кемаришь? — спросил он, протягивая Олегу окурок. — На, зобни.

От сигарки пахло жареным мясом. Олег сморщился:

— Не могу. Мутит. — И, переваливая словно бы уже не свой язык, в вязком рту, силым, перекаленным жарою голосом сказал, не открывая глаз: — Плевать я хотел на этот пункт, на машины. Я спать хочу, Лебедев, спать.

Сашка пощупал его лоб, сказал что-то издалека, побегал в палатку.

Олег поднялся и, шатаясь, побрел в сторону от дороги и все бормотал, сглатывая полубредовые слова. Последним проблеском сознания он ощутил впереди себя какие-то кусты и здоровой половиной тела упал, как ему показалось, в листву, провалился в нее — в горячую, темную, мягкую.

На самом же деле он уснул под дикой яблоней, почти на дороге, идущей к большаку из деревушки, чуть видной за полями, испорченными воронками и гусеницами танков.

Олег спал, как ходил после ранения, кособоко, словно перешибленный пополам, спал до тех пор, пока заполошно не загудел «виллис», едва не наехавший на него. В машине сидели полковник и лейтенант. Оба запыленные от пят до макушки, полковник к тому же еще и сердитый.

— Чего на дороге валяешься? — заорал он.

У Олега возникло желание огрызнуться, сказать что-нибудь вроде: «Нравится, вот и валяюсь», — но такая слабость была во всем теле, так болела голова, так было жалко самого себя, что он с трудом отполз с дороги, прижал-

ся к корявому стволу яблони и снова устало закрыл глаза, уронил голову на грудь.

— Постой, да ты вроде раненый?

— Разве заметно? — открыл глаза Олег и, чтобы не расплакаться, отвлечься, пащупал под деревом яблоко-пдалицу, с луковичку величиной, откусил, покривился.

— Болит? — уже мирно спросил полковник, наклонившись над солдатиком.

— Яблоко кислое.

Перебарывая неловкость, полковник тоже поднял яблоко, вытер его о широкие галифе, куснул и тут же выплюнул.

— Фу! В самом деле глаз воротит. Ты вот что, вояка, грузись, и поедем. Тебе в госпиталь?

— Не мешало бы.

— Это в Ярославле? — обернулся полковник к лейтенанту.

— В Ярославле, товарищ полковник.

— Значит, по пути.

Олег, придерживая руку, залез в «виллис», пока полковник не передумал, уселся рядом с лейтенантом на заднем сиденье и боязливо прислонился толсто забинтованным плечом к холодной спинке.

— Сашку бы прихватить, — попросил он.

— Какого Сашку?

— Лебедева. Познакомились тут.

— Во друг! — громыхнул полковник. — Может, еще и бабушку твою прихватить? Посадили, так сиди. Сашка сам доберется куда надо.

— Сам так сам, — покорно согласился Олег. — Только не скоро он отсюда выкарабкается. — И, показав на расположившихся вдоль большака раненых, рассказал полковнику о том, как они добираются до госпиталей.

Полковник много километров крыл боевыми словами «тыловых крыс» и грозился, что он этого так не оставит, и доберется до самого командующего фронтом, и расскажет ему, как обращаются с ранеными на перепутье между передовой и госпиталями.

Олег подпрыгивал на заднем сиденье «виллиса», кусал губы, мычал, когда особенно сильно встряхивало, но закричать боялся, чтобы не обеспокоить полковника. Хороший попался полковник. Как выехали на асфальтированное шоссе, он перестал ругаться и предложил папиросу, настоящую, фабричную.

Олег отказался. Ему и без курева было тошно. А полковник подумал, что не курит солдатик по молодости, и похвалил его.

На ровном, спокойном шоссе обсушило встречным ветром испарину на лбу Олега, он перевел дух и решил воспользоваться благоприятным расположением полковника — намекнуть ему насчет еды, но так намекнуть, чтобы вышло непринужденно, чтобы с шуткой: мол, одна сигарка заменяет три сухаря или, наоборот, три сухаря заменяют сигарку. Пока Олег придумывал каламбур, пока краснел да набирался пахальства, они примчали к Ярославу. Олег обрадовался — не пришлось ничего клянчить — и так был благодарен полковнику, что не нашелся чего сказать, только слабо кивнул всем головою, когда шофер помог ему выбраться из машины.

В Ярославле порядки были другие. У въезда в город раненых встречал санитар с белым флажком и белой повязкой на рукаве. Если раненый был один, санитар объяснял ему, как найти распределительный пункт, если их было больше, сам сопровождал туда.

Олег Глазов очень быстро разыскал пункт, где распределяли раненых по госпиталям, и еще раз убедился, что ведомственные люди не любят называть вещи своими именами. То, что называлось пунктом, было на самом деле табором.

Территория гектаров в восемь, огороженная кое-где досками, кое-где проволокой и рамами разбитых машин. В загородь попали часть сада с нахохленным панским домом, часть огорода с только что выкопанной картошкой, два барака, построенные на скорую руку немцами, и несколько палаток, поставленных нашими медиками. За бараками дымило. В панском доме чадило. Кругом было густо людей и шума.

По всей территории, притоптанной до копытной твердости, лежал, сидел, стоял, кашлял, курил, балагурил, ругался, стонал, плакал и смеялся раненый народ. Посредине, на самом солнцепеке, буквою П стояло несколько столов. За каждым столом сидела военная девушка в халате, доведенная до полного изнеможения, и заполняла карточку, по-солдатски — подорожную.

Олег долго отыскивал в очереди последнего к одному из столов и нашел его за бараком, под крупнолистным деревом. Такие деревья Олег видел только в кино и, как они называются, не знал. В бараке была столовая. Под

бараком подкоп. В яме шуровал лопатою солдат-кочегар. Он осаживал раненых, норовивших испечь картошку, и терпеливо разъяснял, что топит он котел углем, каменным углем, и картошка в момент сгорит, потому что ее, картошку, надо печь на дровах. Солдаты все равно приспособаблялись. Они пекли картошку в горячем шлаке, недавно выброшенном из топки, и поносили тыловика-кочегара: побывал бы, дескать, «там», так сознавал бы.

Закопана в шлак своя доля и у «последнего». Он легко подстрелен, мог промыслить харч и оттого никуда не तो-ропился и уже успел обжиться под деревом. Круглые листья на дереве были величиной с лопушные, почернели, скорчились с одной стороны и редко, печально опадали.

На вопрос Олега: «Когда же подойдет очередь?» — «последний» спокойно ответил:

— К завтраму, даст Бог, подойдет. — Выкатив из золы пяток картошек, он чуть отодвинулся в сторону, освободил местечко рядом с собой на листьях: — Устраивайся.

Подумал, подумал и бросил в колени Олега самую маленькую картофелину с обуглившейся бородавкой.

— Когда ел последний раз? — спросил он, отсыпая ему в ладонь крупной соли из чехла от зажигалки.

— Вчера, на передовой.

— Н-да-а... — перестал двигаться солдат и тут же встряхнулся, захопота: — Ну, ничего. Раненому не так уж еда и требуется, как здоровому. Червяка вот заморишь. Ты ее круче, картофель-то, соли, не жалеи соли-то. — И вдруг вставил грустно: — Соли и слез в Расее всегда вдосталь. Н-да-а. Однако ничего, бланку заполнят, и ты с нею в столовую двинешь. Здесь не как в Жешуве. Порядок церковный.

Олег хотел сказать, что соли нынче тоже не хватает. В тылу ее рюмочками да стаканами продают на базаре, а вот насчет слез верно.

Но зачем это говорить? Зачем без дела языком молоть?

— Ты тоже был в Жешуве? — только и сказал он.

— В Жешуве-то? В самом не был. А на подступах двое суток загорал. Мне что? Я — легкий, мне неторопно. Другим-то какво?

— Послушай, — перебил говорливого солдата Олег. — Ты не знаешь, приехал или нет Сашка Лебедев?

— Лебедев? Лебедев? — прижмурился солдат, вспоминая. — Куда раненный?

— В грудь.

— Ах, в грудь! Горбоносый такой? Приехал, приехал. Вместе и ехали. Четыре поляцких автобуса под нас лейтенант выхлопотал.

Олег доел картофелину, подобрал кожурки, солинки, покидал в рот, подождал добавки, но солдат больше его не замечал, бормотал что-то сам себе и бережливо облупливал картошку, выгрызая из кожурок рассыпчатую мякоть.

Солдатик проглотил слюну, сказал, что пойдет поищет Сашку и чтобы солдат не забыл, что в очереди он, Олег, за ним.

Олег вовсе не надеялся найти Сашку в таком людском скопище. У него опять горячей чугуниной придавило плечо, щипало солью растрескавшиеся губы, и хотелось просто пошляться, постараться заглушить боль или отвлечься от нее, а может быть, где и на еду опять наткаться. Мало ли! О машине вон не думал, не мечтал, а она сама на него наехала. Картошку вот тоже — раз и съел. На войне из ничего берется чего. Убить могло? Могло — и не убило. Видать, в рубашке родился, иначе бы конец.

Олегу сегодня явно везло. Лишь только, кособочась, вышел он из-за барака и остановился оглядеться, думая о своей удачливости, сзади послышалось:

— Эй, малый, ты куда провалился? Автобусы пришли, я тебя искал, искал.

«Точно, в рубашке!» — окончательно решил Олег, но виду не подал.

— Что мне автобусы! — небрежно сказал он и похвастался: — Я на иностранной машине прикатил в обнимку с полковником!

— Эка невидаль! Кабы с полковничихой! С полковником-то и я ездил. Как рана?

— Болит, но терпимо...

— Терпимо? И у меня тоже. Слушай-ка, боец Глазов, а ведь ты мне нужен, — сказал Сашка, цепко, оценивающе оглядывая Олега, будто видел его впервые. — Жрать хочешь?

— Спрашиваешь!

— Спать?

— Спрашиваешь!

— Тогда не задавай больше вопросов и действуй как скажу.

...К столу, за которым сидела девушка с невыспавши-

мися серенькими глазами, почти автоматически тыкающая пером в чернилку, в бумагу, в чернилку, в бумагу, — к столу этому продвигались двое раненых. Один из них, с двумя орденами Славы, тремя медалями и гвардейским значком, вел в обнимку молоденького солдатика без медалей. Был тот в сохлой кровище с ног до головы, в разорванной гимнастерке. На плече толсто напуганы бинты. Глаза захлопнуты густыми девчоночьими ресницами, губа закушена. Тот, что с орденами, скорбно-озабоченным голосом просил:

— Минуточку, товарищи, одну минуточку. Прошу прощения, — и, не слишком торопясь, но и не особенно задерживаясь, продвигался к столу по неохотно раздвигающемуся коридору. Девушка с усталыми глазами, завидев этих раненых, без разговора взяла два бланка.

— Фамилия?

— Моя Лебедев, а его, — кивнул он на Олега, — Глазов. Извините, что я за двоих. Растрясло его в дороге.

Девушка быстро заполнила подорожные и крикнула вправо, через плечо, тонким властным голосом:

— Этих в первую очередь в санпропускник!

Но Лебедева и Глазова как-то заносило и заносило в сторону от санпропускника и занесло к столовой.

Увидев, что на крыльцо столовой они не ползут, а идут, и довольно проворно, один из раненых восхищенно прошептал:

— Ловкачи-и!

На каждого человека в столовой был приготовлен стакан какао и порция белого хлеба с тонким брусочком масла. Сашка размял масло пальцем по куску, помог то же самое сделать Олегу. У того совсем отяжелела и не шевелилась левая рука. А с одной рукой Олег еще не приспособился жить.

В один прихват, без всяких слов они проглотили еду. Сашка облизнулся, ковырнул ногтем в зубе, глядел при этом заинтересованно на соседний стол.

— Пикирнем?

Съели по второй порции. Сашка уже не ковырял в зубе, а просто всеми ногтями прошелся по зубам, как по клавишам. Получалось у него что-то похожее на веселый марш.

— Пикирнем?

Они побывали еще за двумя столами и почувствовали,

что наконец-то их проняло. Сашка больше не играл на зубах, а уютно зевнул:

— Попили, поели, табачку б теперь найти!

Он захватил еще одно место и, немного порядившись с одним молоденьким сержантом, уступил его за две щепотки махорки.

— Так жить можно! — заключил Сашка и по-домашнему развалился за столом, припрятав дымящуюся сигарку в рукав.

— Товарищ боец, покушали и ступайте в санпропускник, дайте возможность другим покушать, — сделал Сашке вежливое замечание дежурный по столовой, тощий-тощий ефрейтор с почти фиолетовыми губами. Можно было подумать, что он не в столовой работает, а в протезной мастерской.

— Покушали! — недовольно фыркнул на ефрейтора Сашка. — Кормили бы тебя дети так под старость лет.

— А что я могу сделать? — виновато развел ефрейтор руками. — Норма есть норма...

Сашка хотел еще покуражиться над ефрейтором, но Олег вытеснил его из столовой.

Санпропускник размещался в старом панском доме с мезонином и пристройкой для оранжереи. Весь он был увит плющом. Вокруг дома ползла, тянулась вверх, змеилась, переплеталась, дурманила, воняла, исходила диковинными ароматами невиданная растительность. Многие деревья тут, не соглашаясь с осенью, вызываясь зелеными, иные кусты даже цвели.

Видимо, любил пан-хозяин природу, но это не помещало ему сбежать с немцами, кинуть все эти райские кущи на произвол судьбы. Солдаты хмуро и отчужденно колготились в саду, устраиваясь отдохнуть. Больше всего народу лежало вдоль живой степы, которую образовали кусты с брусничным листом. Кусты давно не подстригали, они повыкидывали вверх и сторону стрелки да и оробели — кустам этим никогда не позволяли так вольничать, не давали расти, как им хотелось.

Под крыльцом и под верандою тоже лежали солдаты. Все уже давно перегорели, отругались, отшумели, попяли, что порядок есть порядок и горлом тут не возьмень. Смирно ждали очереди и оживлялись, когда выходил на высокое крыльцо распаренный старший сержант с дорожными в руках. Он вызывал в пропускник очередной десяток. Все тогда кричали друг на друга: «Тише! Тише!

Товарищ старший сержант выкрикивать будут!» И если не откликался какой-нибудь солдат-дрыхало, дружно помогали старшему сержанту.

Вот в сто глоток закричали: «Сиптымбаев! Сиптымбаев! Где ты, азият проклятый?» — и готовы были растерзать Сиптымбаева за задержку, потому что всем хотелось быстрее в госпиталь, а без санобработки туда не пустят.

Сиптымбаев оказался почти мальчишкой, кривоногим, целеглазым, по-русски мало разумеющим и совсем олохшим от жара. Ему помогали подняться на крыльцо, а он не понимал, куда его везут, что от него требуют, упирался, шевелил заперкшимися губами:

— Бумашка! Кидэ мой бумашка? Дохтуру пада...

Должно быть, крепко внушили Сиптымбаеву насчет бумажки, и понимал он, что без нее ничего не значит.

Сашка где-то сорвал красную розу, нюхал ее и становился все сумрачней и смурней. Когда слабо сопротивляющегося Сиптымбаева уволокли в санпропускник, Сашка сердито забросил розу в кусты и выругался. Олег поморщился. Не любил он похабщины, не приучен к ней. Отец грузчиком был — не Боже упаси при сыне облаяться. И на войне Олег сопротивлялся как мог этой дикости, которой подвержены были даже большие командиры и вроде бы иной раз щеголяли ею.

— Не правится? — точно угадал настроение солдатишка Сашка.

— Чего ж хорошего? Поможет, что ли?

— А вдруг поможет? Вдруг легче станет?

— Сомневаюсь.

— Сомневаешься? — Сашка сжал тонкие губы, и в углах его рта зазмеилась усмешка. — Юный пионер, к труду и обороне будь готов!

— Всегда готов! — стараясь удержаться на шутливом тоне, ответил Олег. — Ты чего пузыришься-то?

— Заузыришься тут.

Голос Сашки уже совсем стал спокойным, даже чуть грустным, усмешка с губ исчезла. Он подгрел под себя кем-то наломанные ветки каштана, морщась от боли, улегся, подобрал приплюснутый блестящий каштан, подкинул его, как монету, поймал.

— Такая аппетитная с виду штука, а сожрать нельзя, — с сожалением проговорил Сашка и скосил глаза на Олега — спит или нет.

Олег не спал, думал о чем-то, прикрыв глаза пушисты-

ми ресницами. Лицо Олега было в сохлой крови под носом, у глаз, в ушах. Хорошо, что он не видел своего лица.

— Пайку я свистнул, Олик, за то и мантулил в трудовой колонии.

В санпропускнике кто-то выл, ругался, брякали тазы. По другую сторону каштана, привалившись спиной к стволу, солдат, тот самый, что угощал Олега картошкой, муслился карандашом, нашептывал: «Ранило меня другорядь и опять в мяготь, слава Богу...»

Сашка разомкнул ресницы. Олег все так же неподвижно сидел против него, навалившись здоровым плечом на зеленую оградку. Он слушал письмо солдата, сумевшего-таки пройти регистрацию без очереди и снова подомашнему расположившегося под деревом, но уже под другим. «Видно, везде дом бывалому человеку», — уважительно подумал Олег.

«И чего я к этой святой душе привязался? И чего меня все тянет к этим юным пионерам?» — думал в это время Сашка, глядя на Олега.

«...Берсги ребятишек, — тоскливо выдыхал за деревом солдат, — терпи, я вернусь уж живой, пока в госпитале да чё — и войне конец».

— И чего это я в тебя такой влюбленный? — тихо произнес Сашка и быстро закрыл глаза.

— Что? — встрепенулся Олег.

— Да ничего, — притворно зевнул Сашка. — Спектакль я один вспомнил, комедию. Когда в детдоме был, Яшку-артиллериста в ней представлял.

— Ты и в детдоме был?

— Спроси, где я не был!.. — Сашка обернулся, потрянул солдата за стволом каштана: — Эй, друг, передай от нас привет своей Марье.

— Матрена у меня, — сумрачно поправил солдат Сашку. — Закурить надо, что ли?

Сашка за догадливость назвал солдата молодцом, принимая от него кисет. Не жалея чужого самосада, завинтил из газеты вместительную козью ножку и протянул кисет Олегу. Тот опять замотал головой. «Да, видать, худо малому, раз от табаку совсем отбило», — решил Сашка.

— Может и еще сманеврируем? — предложил он Олегу.

— Заместили. Не выйдет, — глухо отозвался Олег, облизывая сухие губы. — Рассказывай лучше о своей жизни, если не в тягость.

— В тягость не в тягость, а развлекаться чем-то надо, — сказал Сашка и ровным, даже чуть тягучим голосом, будто совсем о другом человеке, поведал о себе.

В двенадцать лет осиротел Сашка. Сначала забрали отца, потом мать. Была она женщина крутого характера, ринулась отбивать мужа, что-то сказала там, говорят, следователю в морду плюнула.

— А я подзаборником сделался, уркой. И прибрали меня в детдом. Хорошо там было — ни заботы, ни печали... А после — самостоятельная жизнь. Долго рассказывать...

— Э, друзья, — не поворачивая головы, вмешался в разговор солдат, дописавший письмо.

Сашка оглядел солдата. Был он ранен ниже колена, прибран, даже побрит, и погоны были на месте, и все пуговицы тоже. Добрые, глубокие морщины лучились возле его глаз, и задумчивая складка навечно поселилась между бровей.

Они разговорились.

— Ох-хо-хо! — вздохнул солдат, спросил у Сашки: — В штрафной спасся?

— Ага. Мы всей колонией в Москву писали. Разрешили нам вину искупить кровью. Радости было!..

— А как же! — задумчиво вставил солдат. — Там за счастье люди почитают фронт-то... Хоть в штрафную, хоть в каюку...

Из-за кустов вывернулся младший сержант с забинтованной шеей, приткнулся сигаркой к Сашкиной козьей ножке, с трудом прикурил, потому что его било трясухой — коштузией. Он ушел, оставляя за собой сипенький вкусный дымок от легкого табака.

Сашка проводил его грустным взглядом, запустил увесистым, как камень, каштаном в воробья, мирно чирикавшего на ветке.

— И скоро ли этот сержант-подлюга в предбанник выйдет? Олик, ты еще живой? — крикнул Сашка.

— Живой, — с тяжелым вздохом откликнулся Олег, убирая с лица пилотку. — Тебе награды за штрафную дали?

— Ну что ты, парень! В штрафной дают только прощенье, живым и мертвым. Да-а, лежат ребятишки где-то под селом Вишневы. Как они шли, как шли!.. — с закрытыми глазами вспоминал Сашка. — Я такой атаки уж после не видел. — Сашка побледнел еще больше и с минуты

молчал, нервно пересыпая в ладонях капитаны. — Все обиды ребятишки забыли, когда фраера чужие нашу землю лапать пришли. Все откинули. Скиксовали несколько урок. Пришили их.

Неожиданно через зеленую изгородь прилетел вещмешок, а за ним с шумом перевалился солдат с подвешенной на бинты рукой. Руку он зашиб, выругался мимоходом и, взяв вещмешок за один угол рукой, за другой зубами, вытряхнул на дорожку яблоки.

— Навались, герои! — пригласил он великодушно, и яблоки вмиг исчезли.

Сашка успел добыть несколько штук и кинул одно яблоко Олегу, одно — солдату с вещмешком, потому что ему не догадались оставить, уступил ему место рядом с собой, с хрустом откусил яблоко и повел рассказ дальше:

— Вернулось нас из разведки боем от села Вишневицы сорок с чем-то человек. — Сашка кинул огрызок яблока в ботинок спящего под крыльцом солдата. Попал в самый каблук и удовлетворенно утер губы. — Вот так, боец Глазов, считаю, повезло мне. И что этот старший сержант, в прожарку провалился, гад? — опять взъелся Сашка. — Сходить в разведку?

— А может, к паненке завернем? — предложил солдат, что притащил яблоки. — Паненка тут, ребята, ух паненка! Так и жгет, стерва, как стручковый перец! И самогонка у ей...

Сашка заколебался:

— Очередь подходит, понимаешь. А то бы... И напарник у меня.

— Непьющий, да? — ухмыльнулся солдат. — Ну, как хотите. Я пошел. Паненка-то уж больно... — И солдат опять ухнул в брусничный лист изгороди, зашумел, ойкнул, ругнулся и исчез.

— Да-а, — хмуро протянул Олег, — трудно мне после дома, после книжек, учителей все это видеть и слышать.

— Хватит ныть! — оборвал его Сашка. — Не мы, так жизнь вам... как это? Какое-то слово есть, — пощелкал пальцами Сашка. — Идеалист? Во! Идеалистам этим все равно сусала разобьет... Слушай, довольно трепаться. Пошли на маневр, а? Надо ж смыть грехи.

— Грехов за мной никаких не числится, — утрюмо отозвался Олег, все еще не отделавшийся от разговора. — Я даже с девчатами не гулял...

— Неужели ни одной не попробовал? — простодушно удивился Сашка, у которого, как уже заметил Олег, настроение могло меняться моментально. — Да-а, такому помирать совсем обидно. Но, — Сашка поднял палец, — мяться все равно надо, потому как закон для грешных и безгрешных один.

Они проникли в санпропускник через задний ход, точнее, через раму оранжереи, отодвинув дощатые щиты, которые заменяли стекла и маскировали голый народ. Сашка затаскивал Олега наверх за шиворот. Солдатик чуть было не взвыл от боли, Сашка сел на пол и очумело тряхнул головой, пощупал рукою губы. На ладони что-то зачернело. «Уж не кровь ли?» — испугался Олег. Но Сашка вытер ладонь о штаны, и оба проскользнули из полутемной оранжереи в совсем темный коридор. Как раз выдавали прожаренную одежду. В коридоре людно, шумно, толкотня, ругань — самая подходящая обстановка. Вдали, как в тоннеле, мерцало несколько манящих огоньков, вонько пахло и парило оттуда.

...Из темноты коридора возникли два солдата, один в кровище, почти без сознания, другой с орденами и медалями, страшно озабоченный. Они медленно и настойчиво продвигались к опрокинутому ящику. На нем сидела тетка с волосатой бородавкой на челюсти. Она ставила крестики на подорожных, выдавала по кругляшку мыла, с вазелиновую баночку величиной. После этого можно было уже беспрепятственно следовать туда, где призывным набатом гремели тазы, шумела вода, ахал и охал ошалелый от радости народ.

Им оставалось совсем недалеко до ящика, до тетки, но тут, на последнем рубеже, перехватил их банный чин, тот самый старший сержант, что выходил время от времени глашатаем на крыльцо:

— Э-э, орлы! Разок надули регистратуру, и хватит! Больше номер не пройдет! Понятно?! В очередь, в очередь!

— Я бы твою маму! — прошипел Сашка и, потолкавшись еще меж народа, убедился, что с помощью «маневра» тут в самом деле не пролезешь. Он встал в очередь. Олег за ним.

Они проскучали еще часок. Олегу всадили второй укол против столбняка, потому что он не взял справку в санроте, где уже принял такой укол. У Сашки справка была, укола не было, и он по этому поводу малость развеселил-

ся и сказал, что второй укол ставят вовсе не от столбняка, а от идеализма, только не говорят про это.

Накопец Сашка и Олег попали в тошнотворно пахнущую прожарку. Стоп и ругань стояли в прожарке. Люди раздевались, помогая друг другу. То и дело слышалось: «Куда лапами лезешь!», «Потерпи маленько!», «За рану не цапай!», «Ты чего шеперишься? Чего толкаешься в бок?», «О-о-ййй, гад! Где у тебя глаза-а?!», «Осторожно отдирай, осторожно. Отмочить бы... Рви! Не могу больше!»

Последнюю фразу в общем гаме разобрал только Сашка. Он помогал Олегу снять присохшую к плечу нижнюю рубашку. На носу Олега плясала бурая капля. По лицу катился крупным горохом пот. Сашка решился, рванул. Олег разом вышал из гимнастерки и из рубахи. Сашка метнулся в мочную, выхватил у кого-то таз, плеснул в него холодной воды и поднес солдатiku. Олег хватал воду из таза губами, как телок, и со всхлипом кряхтел:

— Ничего, ничего... Сейчас пройдет...

Как снимал одежду Сашка, кто ему помогал, Олег не видел и не помнил. Сашка тоже пил из таза после того, как разделся, но пил через край, пил молча, и слышно было, как резиново скрипело его горло и квохтал кадык.

Из прожарки поторапливали. Олег с Сашкой немного отдышались, вздели одежонку на железные крючья и пошли в мочную. Тут на пути к госпиталю встала новая преграда: не хватало тазов.

Сашка до того разозлился, что хотел в голом виде идти к старшему сержанту и, как он выразился, из глотки вырвать у него таз. Но в это время в сопровождении той самой тетки, что ставила кресты на подорожных, появился боец с забинтованным лицом. Тетка несла за дужку продолговатый цинковый таз, серебрящийся, звонкий. Сашка поспешил встретить этой паре. На ягодицах у него ожили и забегали наколки: кошка с мышкой. Кошка ловила мышку.

— Я жить не хочу, а они меня в баню! — вопил боец с повязкой на лице. — На кой мне ваша баня?

— Тише, тише, голубчик, — испуганно уговаривала бойца тетка с тазом и искала место на скамейке. Сашка тут как тут. Он подцепил раненого под руку, поволок на свое место. Мигнув тетке, чтобы она убиралась, Сашка препоручил Олегу хнычущего бойца, а сам стал пробиваться к единственному крану.

Вернувшись с тазом, наполненным теплой водой, Сашка, соображая, как тут быть, прицурился на бойца, распутившего грязные губы, которые только и виднелись из-под бинтов.

— Чего нюни распустил! — прикрикнул он строго. — Жи-и-ить не хочу! Как такие люди называются, Олег?

— Пессимистами.

— Пессимист, вот кто ты такой! Уяснил?

Заклейменный таким неслыханным словом, боец еще раз хлопнул носом и покорно сунул руки в таз.

Как и все раненные в лицо, выглядел он страшно. Из-под перепачканного, захватанного пальцами бинта, клочками висевшего подле ушей, виднелись засохшие корки. В ушах, возле губ, даже в губах — следы пороха. Засохшая кровь осыпалась штукатуркой. Олег сострадательно придерживал бойца, но голова у него все еще кружилась, и он чуть было не упал с мокрой скамьи.

— Да сиди ты, шкилетина! — метнул в него яростный взгляд Сашка, поймал его за руку и помаячил ему: не кисни, дескать, бойца разжалобишь. Затем приказал занять новую очередь у крапа, а потом вернуться и помочь ему мыть подшефного.

Вдвоем они быстро обработали бойца, безвольно подчинявшегося им. На прощанье Сашка шлепнул раненого по бугристой спине:

— Жених!

— Трави! Трави! — плаксиво завел в ответ боец.

— А чего? У тебя вон какое завидное телосложение!

А это, по военному времени, такой факт... Я серьезно говорю, боец Глазов?

— Вполне.

Сашка уже превозмог боль, Сашка оживился, Сашка был в своей стихии. Немного ободренного и помытого бойца он передал тетке. За помощь банному персоналу, в виде премии, она сунула Сашке еще один кругляшок мыла, выдала две клееночки, таз тоже оставила. Таз этот, по заверению Сашки, берегли для генерала, но случай помог им. Парни возликовали и принялись настраиваться, чтобы можно было помыться и не намочить бинты. Плечо Олега накрыли клеенкой, другую клеенку повязали Сашке наподобие детского передника на грудь.

— В этой жизни умереть нетрудно, таз достать значительно трудней, — уныло продекламировал сидевший не-

подалеку от них костлявый и белотелый человек, раненый в пятку. — Я за вами, товарищи.

Сашка был благодушен от удачи с тазом, с мылом, с клеенкой и потому пригласил костлявого мыться вместе — всем, дескать, хватит места голову намочить в таком шикарном тазу, главное, мол, сырое чтоб видно было.

— Наступал? — спросил Сашка, кивнув на пятку костлявого.

— В основном.

— Кем был? — намыливая Олегу здоровое плечо, заинтересовался Сашка, не умеющий долго молчать.

— Командир взвода управления гаубичной батареи Сырвачев! — представился раненый с невеселой шутовской улыбкой, приложив руку к шевелюру, сдобренной белой мыльной пеной.

— Выходит, лейтенант? — опешил Сашка и озадаченно почесал кошку на ягодице.

— Младший, — поправил его Сырвачев, взял таз и попрыгал на одной ноге к крану.

Сашка молча догнал его, выдернул таз и категорическим жестом приказал сесть на место и ждать и не перечить ему. Нравилось Сашке быть главным хотя бы здесь, в бане.

Ранение у Сырвачева было пустяковое, но очень приревделивое. Он задирает ногу, стараясь не замочить рану. Сашка между делом потешался над Сырвачевым.

— Прекрати! — не вытерпел Сырвачев. — Эта несчастная пятка и без того всю жизнь мою исковеркала. — И он горестно глянул на парней из мыльной пены.

Парни удивились, попросили пояснений.

Сырвачев невесело поведал им историю о том, как он больше года скрывал язву желудка и держался на батарее. Но вот понал с этой несчастной пяткой в санбат, а там комиссия как раз, чины понаехали медицинские, осматривают всех, выслушивают. Ну и выявил, для примера должно быть, один медицинский генерал язву у Сырвачева и разорался: «Не дошли до того, чтоб язвенники гнилобрюхие врага били! Еще чахоточных не хватало на передовой!» Ну и попер Сырвачева в тыл по чистой.

Олег с Сашкой задали вопрос: зачем же он, Сырвачев, прятался на батарее? А если бы болезнь в «наркомземе» его загнала?

Сырвачев сказал, что не думал об этом, а думал о том,

как стыдно будет уезжать с фронта без единой награды, и старался всеми силами добыть хоть какую-нибудь медальишку, но его почему-то все не представляли и не представляли к награде.

Парни переглянулись. Сашка подмигнул в сторону Сырвачева.

— Всяких типов видывал, но такого впервой, — шепнул он Олегу и спросил громче: — Представили в конце концов?

— Представили, даже к ордену, да что толку! — махнул рукой Сырвачев. — Разве станут убывшего искать?! Пропала моя звездочка!

Он больше не заговаривал, да и некогда было разговаривать. За тазом уже распределилась очередь номеров до восьми. Из очереди бросали едучие замечания насчет того, что тут не на базаре, не в Сандуновской бане, и даже кто-то сказал: не в «тиятре».

После мыгты минут двадцать ждали из прожарочной амуницию. Наконец открылась западня, из душной преисподней невидимые люди со звяком выкидывали солдатское барахлишко. Сашка и Олег с трудом отыскиали в чадящем ворохе свою одежду, сняли ее с раскаленных колец. Где одежда промокла кровью, все засохло, почернело и кожано шуршало. Сашка начал привинчивать к гимнастерке ордена и медали. Сырвачев с завистливым вздохом прошелся взглядом по Сашкиной гимнастерке, тяжелой от наград, а увидев гимнастерку Олега, болезненно сморщился:

— Как же это вы, товарищ боец? В таком виде у вас обмундирование? Мы в Европу вступили! Примером должны быть!

Сашка не уследил за Олегом, когда они сдавали обмундирование в прожарку, не подсказал ему насчет кожаных вещей и прочего, и вот результат: ремешок на брюках Олега скоробился, бумажник кожаный тоже. Олег торопливо ломал кожу бумажника, искал что-то, и, когда пошел, глаза его наполнились слезами: в бумажнике испеклась фотография. Остался на ней чуть заметным пятном платок, накрест повязанный, как завязывают его русские женщины, — под подбородком.

— Раненый он, — вступился за Олега Сашка, поворачиваясь к Сырвачеву. — Что нам в эту самую Европу, с развернутыми знаменами, под барабан въезжать, чтобы парад везде... — ворчал Сашка, обращаясь уже будто

не к Сырвачеву вовсе, но в то же время с расчетом, чтобы младший лейтенант слышал его.

И Олег понял, что Сашка отчего-то люто невзлюбил Сырвачева и, должно быть, сожалел о своем благородном поступке, раскаивался, что пустил Сырвачева мыться в тазу.

Сырвачев мучился, стараясь натянуть кирзовый сапог на раненую ногу. У него даже глаза расширились и стали выпуклыми. И вдруг остервенился, топнул, нога провалилась в сапог, а он упал от боли на скамейку. Поднялся, натянул шинель, надел пилотку, портупею с ремешком и на глазах у парней преобразился. У него появилась выпуклая «гвардейская» грудь, на пилотке блестела звездочка, вырезанная из консервной банки, плечи были прямые от погон с картонками. Весь он подложен, подшит, подбит, и его тщедушная фигура уже не угадывалась под хорошо сохраненной, на все крючки застегнутой шинелью. Вид у него сразу сделался строгий и отчужденный, не то что в бане, когда он был голый.

— А я знаю, почему вас не представляли, — с трудом скрывая неприязнь, прищурился Сашка.

Но Сырвачев холодно глянул на парней, приложил руку к пилотке, что-то высокомерно буркнул и, подпрыгивая по-птичьему, вышел из санпропускника. И взгляд его последний, и выражение лица при этом говорили: «Сопляки! Что вы можете знать о жизни!»

Сашка прилепнул на голове Олега и без того уже плоскую пилотку:

— Так-то, боец Глазов! Неподходящий ты для параду. Дунька ты в Европе! — Он засунул в полевую сумку полотенце, трофейный ножичек, стрельнул закурить, и они утомленно стали ждать, когда раздадут подорожные с отметкой о санобработке. Олег привалился затылком к щиту. Лицо его отмылось, было чистенькое, без единого прыщика и очень бледное, даже синеватое под глазами.

— А я вот заметил, — негромко начал он, как бы продолжая разговор. — Люди наши, русские наши, все, что у них на душе в будни накопится — обиды, огорченья, — в праздники забывают. И вот, я думаю, будет день победы — и мы всё забудем.

Сашка отозвался не сразу.

— Может быть, может быть, — задумчиво сказал он после большой паузы. — Умильны мы, правда твоя, боец

Глазов. Но с войны мы вернемся уже не такими, какими ушли на нее. — Он затыкнулся в последний раз от сигарки, затоптал ее на мокром полу. — Много ты, Олег, не видел и не знаешь. Беда это твоя или счастье? — И без всякого перехода, как с ним часто случалось, добавил: — А батареи небось рады, что Сырвачева от них умыли. И орден они ему не перешлют, гадом мне быть!

Олег после бани ослаб, мелко дрожал. Сашка поддерживал его, как девушку, за талию и все уверял, что скоро, вот уж совсем скоро конец их мытарствам. Осталось получить еще бумажку, окончательную, направление называется, и — порядок. Сашка и сам едва держался на ногах. Щеки у него посерели, ввалились, и горбатый нос обозначился оцепь заметно на его угловатом лице. Сашка закусывал губу, ругался так, что фонари качались, и прицеплялся ко всем по делу и без дела, и все равно только поздним вечером они попали в госпиталь.

Госпиталь находился неподалеку от станции Ярослав и был переполнен. Посмотрев подорожные Сашки и Олега, дежурный врач поставил на них резолюцию и принялся добросовестно разъяснять, как найти госпиталь номер такой-то, где, возможно, есть еще места. Сашка подскочил, отшвырнул стул и двинулся забинтованной грудью на врача:

— Никуда мы не пойдём, понял?!

Олег повис на Сашке. Тот оттолкнул его локтем, попал в раненое плечо. Олег застонал, но Сашку не отпустил. Должно быть, он сильно давил грудь Сашки, и у того появилась на губах кровь. Олег схватил с умывальника полотенце, подал Сашке. Сашка вытер губы, бросил запачканное кровью полотенце на стол врачу, а сам уселся на пол по-тюремному — ноги калачиком, давая этим понять, что устроился он прочно и надолго.

Врач хмуро следил за разбушевавшимися солдатами, потом буркнул, чтобы его подождали, и ушел. Олег подумал, что он приведет военную силу и выдворит их. Наверное, следовало сматываться отсюда, пока не поздно. Однако сил уже не было, да и Сашку он боялся потревожить. «Шут с ними, пусть что хотят, то и делают», — подумал Олег и напился воды прямо из горлышка графина, стоявшего на столе. Его охватила лихорадочная отчаянность. От злости ему хотелось делать все наперек, досадить кому-то.

— Стакан на столе! — строго заметил появившийся врач и велел следовать за ним.

В коридоре третьего этажа стояли две койки, спинка в спишку, заправленные новыми, сахаристыми простынями. Сашка сел на кровать, качнул задом пружины:

— Давно бы так!

Олег не сказал ничего. Тихо опустил на краешек кровати. Ему было стыдно и неловко перед врачом.

Дежурная сестра, рыженькая, скороногая, по имени Даша, сменила верхние мокрые бинты у Сашки и у Олега, пообещала утром назначить их первыми на перевязку и дала Олегу два снотворных порошка, Сашке поднесла в ложке клейкое лекарство. Снотворное из-за ранения в грудь или по каким другим соображениям она дать ему не решилась.

В палатах горели слабые коптилки, и оттуда слышался многолюдный гуд. Все отчетливей прорывались сквозь этот гул стоны. Воздух в палатках как бы густел, отяжелел и начинал давить людей.

Наступила ночь. Раны всегда болят сильнее к ночи, и страдают люди больше всего ночью. Раненого охватывает в потемках чувство покинутости, одиночества. Кажется ему, что повис он со своей койкой в пустоте и нет кругом ни пола, ни потолка, ни стен. Есть только он, раненый, и боль. А потом не станет и его. Он тоже растворится в смутном, неподвижном пространстве, перестанет ощущать себя, останется только боль. И, прорывая темноту, липкой паутиной окутавшую его, он закричит. Скорей всего закричит: «Няня!» или «Сестра!..»

Но ему только покажется, что он закричит. Все у него ослабело, даже крик ослабел. И если няня задремала в уголочке палаты, то и не услышит его.

И до самого рассвета будет одиноко жить в темном страхе со своей болью раненый, и ночь ему будет казаться бесконечной, а боль такой, какой ни у него и ни у кого другого еще не было, потому что прошлую боль он забыл, и потому что боль своя больнее всех, и потому что так устроен человек — не для боли, для радости. Ему легче, когда он не один, когда вместе с кем-то. Радость всегда переживается сообща, боль почему-то в одиночку.

До самого рассвета в одиночестве. До самого рассвета! И когда дружески мигнет в палатное окно, чуть коснется свежим дыханием темноты рассвет — упадет обесиленный человек на подушку и заснет. Уснет глубоко,

забыв о боли. В эти часы он идет на поправку. В рассветные сонные часы все боли и беды утихают. В рассветные часы спят люди, а больные выздоравливают.

У Олега началась первая ночь в госпитале, и он пока еще ничего этого не понимал. Он, конечно, сознавал, что рана есть рана и не болеть она не может. И знал из книжек и солдатских разговоров, что иные раны болят всю жизнь. Его поражало совсем другое — почему не спалось в такой постельной благодати? Ведь он же не чаял добраться до кровати, спал на ходу. А теперь? Теперь лежал на правом боку и, боясь ворочаться, то сгибал ноги, то разгибал, устраиваясь поудобней. Спотворное он не принимал — его все тошнило.

— Ты не спишь? — послышалось с Сашкиной кровати.

— Пытаюсь.

— Я тоже.

Дверь одной палаты была напротив парней. В палате этой по-польски бредил раненый и под ним беспрерывно звенели пружины. Человек метался в жару. Мимо пробежала Даша с грелкой, в которой шебаршил лед, и с напущенной строгостью прикрикнула:

— А ну, спать, конопатые!

Олег удивился. Он сроду конопатым не был. Догадавшись, в чем дело, поддел Сашку:

— Произвел впечатление. Радуйся, Лебедев!

Сашка не ответил. Олег насторожился: с Сашкиной кровати не доносилось никаких признаков жизни. Олег пружинисто вскочил и, придерживая онемевшую руку, прошлепал к Сашкиному изголовью.

Сашку он не узнал. Лицо его, слегка освещенное из открытой двери палаты, заострилось, щеки провалились, и совсем уж смешно, с грустным вызовом горбатился Сашкин нос. Белесая челка потемнела от пота. Олег осторожно тронул горячий Сашкин лоб. Сашка вздрогнул, поймал руку Олега. В его всегда быстрых глазах появилась боль и собачья печаль.

— Олик! — жарко прошептал Сашка. — Отдай мне порошок. Понимаешь, уснуть не могу, а один боюсь остаться, сам с собой боюсь остаться. С детства это у меня...

Олег принес оба порошка. Сунул их в Сашкину каленую ладонь.

— На. Я еще попрошу.

— Не надо. Этих хватит. Ты не подумай, что я нарко-

ман. — Он повременил и приглушенно выдавил: — Денатурат пил, политуру пил, одеколон, даже восстановитель для волос пил, но наркотиков остерегался. Страшная штука... Ты давай спи. Воды глотнуть подай и спи. Ты не подумай чего...

— Что ты, что ты, Сашок! Просто у тебя болит рана, сильно болит, — как малому парнишке, говорил Олег, чувствуя, что Сашка стыдится его, вроде бы оправдывается. Олегу вдруг показалось, что лежит на месте Сашки в чем-то провинившийся малец, очень беспомощный и очень несчастный.

Сашка вытряхнул в рот оба порошка, запил их, укрывшись с головой одеялом, и оттуда глухо донеслось:

— Уходи!

Было слышно, как он засыпал — медленно и трудно. Дыхание у Сашки во сне сделалось свистящим, и Олег лишь сейчас до конца уразумел, что рана у Сашки нешуточная и что тот хороводился с ним, хлопотал, петушился, балагурил через великую силу.

В дверях палаты показалась Даша, постояла, прислушиваясь к дыханию Сашки и Олега, затем прикрыла обе створки двери.

В коридоре сделалось совсем темно и одиноко. Олег порадовался, что Сашка уснул, и сам плотно закрыл глаза и заставил себя думать о чем-нибудь хорошем.

Самым хорошим на свете был родной дом. Самыми лучшими были отец и мать, и он стал думать о них.

Дом на окраине Новосибирска, за речкой Каменкой. Крепкий дом над оврагом, с деревенским заплотом и деревенскими широкоущими воротами. Во дворе хозяйство: куры, корова. В палисаднике черемуха и рябины — кругом все деревенское. Мать день-деньской в хлопотах по хозяйству, отец работал грузчиком в порту и выпивал часто, иначе какой же он был бы грузчик.

Вот он возвращается с получки домой. Издали слышится:

Милка, купи мне дачу,
В городе скушно мне жить.
Если не купишь — заплачу
И перестану любить.

Мать распахивает перед отцом не створку ворот для ходьбы, а проезжую часть. Отец был смиренный, добрый человек, но, как и многие русские мужики, пьяный круто менялся нравом, кочевряжился, иной раз даже шумел.

Вот он стоит в широком проеме ворот, как на экране. Рубаха напроочь распахнута, из кармана горлышко с сургучом торчит. Стоит, изучает: как тут к нему относятся? Почтительно ли? Вполне почтительно — решил и пошел с приплясом по двору, пытаясь на ходу ущипнуть мать. Мать накладывает по бесчувственной от грузов шее отца, поймав отработанным чутьем, что сегодня он в духе и рассердиться уже не захочет.

— Да иди уж ты, иди, кровопивец! — облегченно ругается мать и все накладывает ему, накладывает. Отец хохочет. Ему эти материнские действия доставляют даже удовольствие.

Олега отец любил нежно. С похмелья, бывало, прятался дня два-три, не попадался сыну на глаза. Отец даже разувался и ходил по комнате в козых носках, когда Олег делал уроки, чтоб ничего не скрипнуло, не брякнуло. Сам он умел только расписываться. У Олега была своя комната, полка с книгами, велосипед.

Отца нет. Он погиб в Белоруссии. Пуля, попавшая в него, рикошетом дошла до Сибири и смертельно ранила мать. Она зачахла и держится мечтой о возвращении сына. Что будет с матерью?..

Наплывают видения.

Лето. Сеновал. Спит Олег в мелком лесном сене (он так любил отыскивать в этом сене отголоски лета — сухие землянички!). По крыше шуршит дождь. Шепчет. Убаюкивает. Но вот налетает порыв ветра. Что-то хлопает, грохает, ходуном ходит сеновал. Это хлопает дверь. Забыл Олег накинуть веревочную петлю на крюк, поэтому и гуляет дверь, качается. Вот она забухала оглушительно, часто: бах, бах! Тр-р-рах!..

— Олег, проснись, Олег!

Олег катнулся с кровати, охнул от боли и закрыл глаза рукой, так их резануло ярким светом. Затем боязливо отнял руку и увидел перед собой Сашку, а за окном госпиталя осыпающие фонари, сброшенные с самолетов, вспышки от выстрелов и разрывов. В городе реже, к станции гуще с торопливым захлебом стучали зенитки. На черные ломти резали небо пулеметы трассирующими очередями. За городом одиноко и бестолково метался бледный луч прожектора. Ничего не попадалось в луч, и он, сконфузившись, угас. Гремели разрывы бомб, выхватывая мгновенными всполохами притаившиеся в темноте вагоны с беззащитными спинами и осторожно выбрасы-

вающие пар паровозы. Вдруг, словно раненая, вскрикнула маневрушка и покатила в темноту, как под откос. Тут же госпиталь качнуло, брызнули, со звоном рассыпались стекла. Дверь из палаты распахнулась.

— О-о, пся крев! — выплеснулось оттуда польское ругательство. А потом пошла смесь:

— Джалдас! Джалдас! Китлеры бомбят! Китлеры бомбят! Ой! бой... вай... эй! Худая!

— Штабы тебе провалиться! Спать не дае, проклятый хриц!

— Маты ридна! Маты ридна!

— В триста богов! В четыреста боженят!..

Олег испугался криков, яркого света, грохота, полез под кровать, стукнулся раненым плечом, вскрикнул.

Сашка схватил его за рубаху, повалил на подушку:

— Не паникуй!

В это время из палаты с визгом вылетела Даша и забежала по коридору. На ней дымился халат. По черным полам халата скользнула светлая змейка, они взялись огнем. Сашка сцапал Дашу, сдернул с нее халат, смял ладонями прогоревшую юбку.

— Как же тебя угораздило? — удивился он и прикрикнул: — Перестань блажить! Как подпалилась, спрашиваю?

— Коптилку споросонок под халат сунула-а-а! — пропела Даша. — Светомаскировка-а!..

— Нашла укромное место! — Сашка вытер Даше нос концом ее же косынки. — Как паленая замуж выходить станешь? Жених, он привереда! Он любит, чтобы каждая деталь на месте была, чтоб все в ажуре... — Разговаривая так, немного укоризненным тоном, Сашка надевал задом наперед халат на Дашу и, подвязав его бинтом, как кушаком, подтолкнул сестру в палату: — Иди на пост! Раненые небось все под кроватями. Один Олик вон на месте. Отчаянный! — И сам последовал за Дашей, продолжая подсмеиваться над ней.

— Да будет тебе! — услышал Олег уже спокойный голос Дашы и следом звонкую оплеуху. Должно быть, Сашка пользовался моментом.

Тем временем налет на станцию Ярослав кончился. Погасли фонари, смолкли зенитки, закуковали как ни в чем не бывало хлопотливые маневрушки. Сашка помог Даше поднять на кровати раненых, которые сползли на

пол, засветил коптилку и, строго наказав, чтобы не прятала ее больше под подол, отправился досыпать.

Утром, после завтрака, Олега увезли на перевязку.

Мучительно долго отмачивали марганцем и отдирали от плеча бинты. Потом обработали рану, врач осмотрел ее внимательно, потыкал в рану зондом, будто раскаленным прутом, сказал, что солдатик в рубашке родился.

«Я и без тебя это знаю», — отметил про себя Олег.

На него наложили погрудный гипс, прихватили вместе с плечом часть руки и уверили, что через месяцок он как штык выскочит отсюда, потому что плечевой сустав не нарушен, только задет осколком. Олег очень обрадовался, но пока схватывался и каменел гипс, вконец замерз, и радость в нем тоже замерзла. Когда пришел на свою койку, у него зуб на зуб не попадал. Он осторожно забрался под одеяло и услышал, как пощипывает под гипсом, — это с корнем выдергивались присохшие к гипсу волосы.

Сашки не было. Его тоже вызвали на перевязку. Он появился с серым лицом и стиснутыми зубами. С час пролежал на койке, ни слова не говоря. Поднялся сумрачный, постоял у окна, барабанил пальцами по стеклу, что-то пробормотал себе под нос. «Не стихи ли опять сочиняет?» — подумал Олег и притаился, боясь спугнуть Сашку. Но тот чертыхнулся, спросил у Олега, не видел ли он рыжую сеструху, и отправился вниз по лестнице искать ее.

Он где-то нашел Дашу, долго вертелся возле нее, рассказывал разные веселости, хотя ему было невесело после перевязки. Сашка подъезжал к сестре не без умысла, но она отнекивалась, уходила от Сашки.

— Слышь, паленая, за мои героические дела! — приставал он к Даше, пробегавшей по коридору.

— Отстань, конопатый! — игриво ответила Даша, держа шприц кверху иглой. — А то уколо!

— Я ж тебя для потомства сохранил! — не испугался Сашка иглы — он видел кое-что и поколючей. — А ты за это пойла жалеешь. Принеси, а?

Кончилось все это тем, что Сашка появился перед Олегом заметно повеселевший, с пробиркой, упрятанной в рукав.

— Хвати для тонусу! — сунул он рукав Олегу.

— Тут чего?

— Моча! — гаркнул Сашка. — Ну, чего хохотальник открыл? Пей!

Олег вылил в рот все, что было в пробирке, и стал хватать губами воздух, а он никак не хватался. Сашка подскочил к окну, где стоял графин, и прямо из горлышка плеснул в беспомощно открытый рот солдатака воды. И когда тот очухался, беспредельно удивился:

— Неужели никогда не пил холостой спирт?

— А это спирт, да?

Сашка махнул рукой, ушел куда-то и минут через десять появился с гитарой. Он свалился на кровать, пристроил гитару на животе, щипнул струны, дробью ногтей прошелся по деревянному корпусу инструмента, затем по зубам и посыпал частушки. Ни одной похабной частушки он не спел, но и приличной тоже. Все они были на острие возможного. Потом Сашка на минуту задумался и грустно повел потасканным тенорком:

Темнеет дорога приморского парка,
Желты до утра фонари.
Я очень спокоен, но только не надо
Со мной о любви говорить...

Сестра, сменившая Дашу, прикрыла дверь палаты, но там запротестовали:

— Пусть поет. Громче давай!

Сашка запел громче:

Я нежный, я верный,
Мы будем друзьями,
Любить, целоваться, стареть.
И светлые месяцы будут над нами,
Как снежные звезды гореть.

— Это чья же песня? — спросил заплетающимся языком Олег. Боль у него прошла, все кругом плыло и качалось, на душе было жалостно, и хотелось обнимать всех и целовать.

— Есенина. Слышал про него? Свой в доску поэт, сердечный.

Олег попробовал вспомнить такую песню у Есенина и не вспомнил.

— Только бы не позабыться перед смертью похмелиться, а потом, как мумия, засохнуть! — наговаривал под гитару Сашка. Прихлопнув струны на гитаре, он какое-то время лежал молча. А потом снова запел, затосковал.

Олег слушал, слушал Сашкины песни да и заплакал.

— Ты чего?

— Мне тебя жалко! — проревел Олег, не отнимая лица от подушки.

— Захмелел боец Глазов, — печально молвил Сашка, накрывая солдатика одеялом. — Поспи-ка, юный пионер. От гипса-то знобит.

Олег послушно уснул, как в яму провалился. Спал он долго, в обед добудиться не могли. Он и еще дольше бы спал, да кто-то настойчиво тряс за здоровое плечо.

Олег с трудом разодрал глаза, увидев Сашку. Он протянул Олегу руку, и не то снисходительная, не то грустная улыбка шевельнулась в его губах и глазах.

— Ну, Олик!..

— Ты куда? — сонно хлопал ресницами Олег.

— На эвакуацию. Я — грудник, ты — плечник. Тебя здесь лечить будут, мне дальше ехать. Как поется: «Ей в другую сторону...»

— А-а, — протянул Олег, усаживаясь на кровати, все еще ничего не понимая. — Ты уезжаешь, что ли? — вдруг встрепенулся он.

— Ох, боец Глазов, — покачал головой Сашка, — хватишь ты горя без меня. Держи лапу-то?

Вяло пожал Олег Сашкину руку.

— Как же это?! Вдруг?.. Сразу?..

Но Сашка уже не слушал его.

— Бывайте здоровы, славяне! — кричал он, заглядывая в палаты, и на ходу падал через голову командирскую полевую сумку, в которой было все его имущество.

— Будь здоров, певун! — слышалось отовсюду. — Счастливо добратся!

Появилась рыженькая Даша в шинели, поверх которой был накинут халат, постояла, опираясь о дверной косяк спиной, наблюдая за Сашкой грустными зеленоватыми глазами.

— Хватит, пойдем, конопатый! — позвала она строгим сестринским голосом. — Провожу тебя до поезда.

— Пойдем, паленая, пойдем.

Сашка двинулся за Дашей, но, открыв дверь на лестницу, оглянулся и подмигнул Олегу, все еще неподвижно и бестолково сидевшему на кровати:

— Ничего провожающий, а? — и загремел по ступенькам лестницы.

Минуты три спустя ровный приглушенный гул большого госпиталя перебило звякнувшей внизу дверью. Олег еще долго прислушивался, не веря, что Сашка ушел, на-совсем ушел и никогда больше не вернется.

ТРЕВОЖНЫЙ СОН

Ружье было засунуто в штанину от ватных спецодежных брюк, а дальше укутано в детскую распашонку, в онучи и разное лоскутье, промасленное насквозь. Когда Сулопаров распеленал ружье из этого многослойного барахла и оно растопырилось двумя курками, желтыми от старого густого масла, Фаина как бы издалека спросила:

— Заржавело небось?

Сулопаров хотел сказать: посмотрим, мол, поглядим, и уже взялся обрубком пальца за выдавленный рычажок замка, собираясь открыть ружье, но тут до него дошло — в голосе, которым Фаина спрашивала, нет огорчения и сожаления нет, что ружье заржавело и она потерпит убыток. А есть в этом голосе надежда, чуть обозначившая себя, но все же обозначающая, все же прорвавшаяся.

«Ну, зачем оно тебе, зачем?» — хотел сказать Сулопаров и не сказал, а только быстро взглянул на Фаину и опустил глаза. Фаина стояла, прислонившись поясницей к устью русской печи, опираясь обеими руками на побеленный шесток, готовая в любую минуту забрать ружье и положить его обратно в сундук. Во взгляде ее, открытом и усталом, были одновременно и смятение, и покорность, и все та же надежда, что все обойдется, все будет как было, и в то же время во взгляде этом, не умеющем быть педобрым, таилось отчуждение и даже враждебность к нему, Сулопарову, который может насовсем унести ружье.

Сулопаров давил на рычажок, так и не подняв глаз. Ружье с хрустом открылось. Сулопаров скорее по при-

вычке, а не для чего-либо заглянул в стволы, потом, пощелкивая ногтем, прошелся по ним, вдавил в отверстия ладонь и посмотрел на синеватые вдавыши на буграх ладони, как на сельсоветскую печать. После всего этого он шумнодохнул на тусклую от масла щеку ружья и вытер ее рукавом. Ещедохнул, еще вытер, и серебристая щека ружья бросила веселого зайца в избу. Фаина поняла, что это последняя, далеко уже не главная прикидка к вещи, что участь ружья решена, и с нескрываемым сожалением вздохнула:

— Ружье без осечки. Теперь таких уже не делают.

И Сулопаров, лучше, чем она, знающий это ружье и тоже почему-то убежденный, что до войны ружья делали лучше, в тон ей добавил:

— Да, теперь таких нету. Потому и беру, — и, спросив тряпку, как бы окончательно отменил все возможные попытки к сопротивлению со стороны Фаины.

Фаина почти сердито, издали бросила ему пегую от стирки онучу и села на табуретку возле окна с мотком ниток, натянутым на ухват. Она сматывала шерстяные нитки, то и дело промазывая мимо клубка, сматывала, остановившись взглядом на окне.

Сулопаров досуха в каждой щелке и скважине протирал ружье и всецело отдался этому занятию, едва сдерживая далеко затаившуюся охотничью дрожь. Руки металась по ружью, гладили его, а по избе метался заяц, и раза два он угодил в глаза Фаине. Она досадливо морщилась и взглядывала в сторону Сулопарова. Но тот увлекся, ничего не замечал вокруг. Душа его в эти минуты была полна охотничьими предчувствиями, а голову тревожили воспоминания, и он горевал по-мужицки обстоятельно и по-русски щемливо, как будто обидел кого или его обидели.

Ружье это они покупали с мужем Фаины, Василием, его другом детства, в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом году. Покупали в только что построенном магазине Лысмановского леспромхоза. Василий тогда работал в тарном цехе на круглой пиле и года два как был женат на Фаине, тоже работавшей в тарном цехе и тоже на пиле, только на двуручной: тяни к себе — отдай напарнику.

Василий, как в праздник, надел новое полупальто, только что подшитые валенки, оставляющие на снегу мелкую,

как просяное семя, строчку, и вместе с Суслопаровым подался в магазин. Там они с пристрастием и дотошностью выбрали это ружье из десятка таких же замазученных, смертельно чужих двустволок. Накопец отложили одну. Народу к этой поре у прилавка скопилось уже дивно. Василий, сунув руку глубоко за пазуху, стиснул там деньги и даже малость побледнел, готовый выпнуть их, эти деньги, или не вынимать. Но оторвать взгляда от ружья он уже не мог и раздумывать был уже не в силах. Заручаясь поддержкой, выгарадил глаза на дружка своего Суслопарова и с натугой выдохнул:

— Ну?

У Суслопарова не хватило духу ответить сразу. Он развел руками, с вопросительной улыбкой глядел на людей, на продавца, на Василия. Уж кто-кто, а он-то до глубины понимал важность момента.

Это он вместе с Васькой еще пацаном мастерил деревянные ружья и пулял из них по чему попало, разил зверье, птиц и людей наповал. Стали школьниками, вместе же смастерили поджиг, добрый поджиг: ствол из латунной трубки, ручка — сухая береза, окованная жестью от консервной банки. Ствол туго-натуго набили спичками и еще порошу щепотку натрясли из старой коробки, чтоб уж жажнуло, так жажнуло. Пальнуть хотелось каждому. Тянули жребий. Васька вытащил короткую спичку.

Суслопаров, зажмурившись, ширкнул коробкой по спичке, приложенной к дырке в трубочке, — и тут так жажнуло, что пистоля вместе с пальцами Суслопарова, зацепив еще половину уха, разлетелись в разные стороны. Остались на правой руке Суслопарова три колышка вместо пальцев и синяя сыпь на щеке от пороха. Но это нисколько не подействовало на него. Вырос он и стал таскаться с пистонками, должно быть, еще пугачевских времен, разными обрезами, берданками, от которых все чего-нибудь отваливалось и которые не стреляли. Ружье настоящее он пока еще видел только во сне и потому был растерян даже больше, чем Василий. Но он был в эту минуту всего-навсего сватом — не женихом. А у свата, как известно, ответственность совсем не та, что у жениха. Потому Суслопаров хватил кулаком по прилавку так, что заговорили тарелки на весах:

— Берем!

Они несли по поселку ружье гордо, как носят женщины бесценного первенца. Широкое, стесанное клином

у бороды, наподобие штыковой лопаты, лицо Василия сияло, и по нему пробежали разные хорошие чувства — и довольность собою, и отчаянность, и вдруг накатывающий испуг: шутка ли — ведь возврата вещей в казенной торговле нету... Но испуг гасила закипавшая любовь к этому пока еще не обтертому, не обстрелянному, еще шибко лаковому, шибко вороному ружью.

— Жена! Отворяй ворота! — закричал на весь барак Василий, и чистенькая, ладненькая Фаина, давно уже проглядевшая окно (на покупку ружья ее как бабу из суеверных соображений не взяли), выскочила в коридор, где было много дверей, а ворот никаких не было.

— Мамочка моя родная!.. — охнув, прижала она руки к груди.

Фаина знала, что ружье принесут. Она вместе с Васей своим копейка по копейке, рубль по рублю откладывала на него, и все же покупка эта казалась ей далекой, почти неосуществимой. А тут на тебе! И во взгляде Фаины, и в ее голосе — неподдельный испуг, потому что выросла она в семье небедовой, где никаких ружей, никакой пальбы сроду не бывало, а тут такая гремучая силища поселится в их комнатушке, да еще над кроватью. Вдруг пальнет! Ружье-то и незаряженное, говорят, раз в году стреляет. Да и Василий очень уж пугать ее любит. Вон и сейчас сияет, доволен, что вбил в испуг. Но опять же он твердит, что без ружья, без охоты жизни не понимает. Она и сама видит, не слепая — недостает чего-то человеку, томится он, а ей мнится, что от недостатков это ее женских каких-то.

Суслопаров с Василием внесли ружье в комнату, терли его подолами и рукавами чистых рубах, дышали на него, опять вытирали, взялись, как дети, курками щелкать. Фаина вздрагивала при каждом щелчке, ожидая, когда пальнет. Мужики забыли о ней совсем, подолгу глядели в стволы, отыскивая каких-то три тeneвых кольца, а их оказывалось то два, то вовсе ни одного, спорили, ругались, снова глядели, зашурив один глаз. У Фаины шевельнулось ревнивое чувство к ружью.

Суслопаров, крупный парень с большой головой, с большими руками и с маленьким носом, еще не был пока женат, и ружья не имел, но держал старшинство. Заметив упавшее настроение Фаины, он пробасил важно Василию, готовому теперь, по подозрению Фаины, не только днем, а и ночью обниматься с ружьем:

— Все! Дело за пристрелкой.

Фаина колдовала у плиты над сковородкою, в которой швырчала картошка. Сулопаров, глядя на окатистую спину Фаины и смутно представляя, какие чувства могут происходить с мужчиною, если обнять такую фигуристую бабенку, значительно проговорил:

— Береги ружье! Оно, как жена, на уход и ласку добром тебе ответит! — сказал и подвинулся к столу.

Мужики выпили маленько и пошли на Лысманиху с ружьем и патронами. Палили там в торцы бревен и в старый таз. Вернулись довольные собою и всем на свете. Еще мало ношенная кепка Василия вся была, как терка, в дырках, и назавтра в цехе Василий всем показывал эту кепку, бахвалился. Мужики одобрительно трясли головами, прищелкивали языками: «Кучно!», «Резко!», «Дает!», «Сыплет!» и всякие слова добавляли.

О Фаине Василий как будто совсем забыл, и вдруг возникшее отчуждение мужа повергло Фаину в обиду, готовую привести к слезам. Василий и раньше не очень-то обращал на нее внимание в цеху, на работе, при людях, в особенности при мужиках. Нежнее, чем Файка, не кликал и вообще по возможности редко встречался тут с нею и держался предельно сурово. Но Фаина-то знала, что на самом деле он ручной, ласковый. Дома зовет ее Фаинушкой, а приспичит, так и Фаюшкой, и горошинкой, и синичкой, и такие слова ей говорит, какие под страхом казни в другом месте другому человеку никогда не скажет.

Фаина понимала — так надо. Он — мужик. И в нем гордость такая мужицкая сидит. Но гордость гордостью, а она все же вопрос поставит ребром — жена или ружье!

Порешив так, Фаина, перекрывая звон и визг пил, которыми был переполнен маленький цех, еще более тонким и властным голосом позвала Василия обедать. Расстелив на коленях платок, она стала лупить яйцо себе, Василий — себе. Он предварительно стукнул яйцом по лбу Фаине так, что сломалась скорлупа. Но она не улыбнулась шутке.

Съели харчи, выпили из бутылки молоко. Василий спустился к Лысманихе, вымыл бутылку в проруби и, вернувшись, сказал, что через неделю уйдет на три дня в лес, охотиться. И так он это буднично сказал, что с Фаины весь гранит ссыпался и стало ей ясно — возражать бесполезно: в жизнь их вошла перемена. Заранее попыталась Фаина представить, как ей будет одиноко и тревожно

но без мужа, но представить до конца не могла, потому как никогда еще в разлуке с мужем больше ночи не жила.

Первый раз Фаина провела почти целую неделю без сна и покоя, потому что вместо трех дней Василий пробыл в лесу семь. Она металась по бараку. Она бегала в контору и требовала искать мужиков и поражалась спокойствию и равнодушию людей. Она проклинала Суслопарова, который сманил Василия на сохатого. Пропади он пропадом, этот сохатый, вместе с Суслопаровым, это ружье и эта тайга. Вот только явятся (явились бы!), и она сделает Суслопарову от ворот поворот, а потом станет точить мужа и доточит до самого корня. Они возьмут расчег и уедут в город. Из города не больно в тайгу укачешь! Она, брат, тоже умная!

Но к той поре, как прибыть домой мужу, Фаина так уже исстрадалась и обессилела, что хватило ее лишь на то, чтобы привалиться к дымом пахнущей телогрейке Василия и зарыться в нее носом. Василий был в редкой стальной щетине, диковато-шалый. Зверем пахли руки его, тискавшие и мявшие Фаину. И был он совсем-совсем усталый.

Он что-то начинал рассказывать и тут же перешибал себя, просил баню испогить, пытался поесть, но только выпил семь кружек чаю с сахаром, а сверх того еще стакан браги, с которой вдруг захмелел, ослабел и ничего разумного уж ни сказать, ни сделать не мог.

Назавтра из тайги привезли во вьюках окровавленные мешки, а на закорках Василий приволок голову сохатого с разъемистыми рогами, напоминавшими заостреные листья цветка — марьиного корня. Голову свалили около плиты на скамейку — чуть оскаленную, с еще недожеванной веткой в зубах, с тихо остывшим глазом цвета речного гольша, по которому рассыпался золотой крупой и осел на дно глазного яблока дрожливый всполох ружейного пламени.

Фаина шарахалась от плиты по совсем уж теперь тесной комнатушке, роняла посуду, табуретки и что делать с головою, как подступиться к такой горе мяса — не знала. Но Василий сам со всем управился. Мясо сдал в магазин, голову опалил, изрубил на студень, а рога спрятал под кроватью.

И сколько было потом у Фаины этих волнений, этого нетерпеливого ожидания, так и не ставшего спокойной

привычкой. Сколько было забот, хлопот, торопливых сборов в охотничью пору. Сколько она услышала от Василия рассказов с перескоками, с захлебом, рассказов, обрывающихся провальным сном. От рассказов о темных ночах, о лосях, о берлогах, о медведях дух захватывало, сон летел прочь. Но без всего этого жизни уже не могло быть, не мыслилась она по-другому.

А вообще-то они разлучались редко. Как-то Василий ездил на три месяца в город на курсы, раза три-четыре на военную комиссию и все. Он никогда заранее не предупреждал о приезде. Он любил удивлять ее. Любил, чтобы все у них было весело и необычно.

А она по женской норовистости все делала вид, что не нравится ей такой семейный уклад, что все у них не как у добрых людей, и, когда муж возвращался домой, она, слышав его шаги, отворачивалась. Вовсе она и не чувствует, как он открывает дверь, как крадется к ней. Сердце вот только млеет, да по спине холодок идет. Однажды, так вот подкравшись, он кинул ей что-то легкое, пушистое, живое будто. Это был платок оренбургский — ее давняя мечта.

И вот уж все, сердиться дальше невозможно, припавшие слова тут же куда-то делись. Слабая баба Фаина. Трогает руками платок, гладит его и целует за обновку распылившееся до ушей лицо мужа и говорит ему совсем другие слова: «Ну, что мне с тобой делать? Вся кровь моя почернела. Буду я рожать детей припадочных из-за тебя, лешего...»

А он хохочет и ничему не верит из ее слов и никакого значения им не придает, а только норовит поздороваться, рукою трогает чего не надо. Она хлопнет его по руке: «Не балуй!»

А то раз, на работе, пробегая по цеху, мимоходом сказал: «Фай! А ты пельмени из рябков ела?» Подозревая розыгрыш или еще какую затею, она неуверенно спросила: «А что?» — «Да ничего, так», — сказал Василий и зевнул при этом. Но она-то знала, чем все это кончится.

В воскресенье Василий до свету умчался в лес. Пришел поздно вечером, весь в паутине, и закричал: «Фай! Зарублено! Завтра пельмени из рябков делаем!»

И назавтра показал, как нужно обрезать мясо с костей рябчиков, с каких именно костей, как разводить мясо молоком, до какой густоты, какие нужно делать маленькие-маленькие пельмешки и в каком пахучем-пахучем бульоне их варить. Показал, как всегда, раз только. Он

всему учился с маху, все одолевал за раз и сердился, если то же самое люди делали за два раза.

Фаина забеременела и сделалась совсем как горошина. Она все чего-то шила и строчила, да скоблила столы, да подбсливала печку и без того белоснежную. Василий затеял дом над Лысманихой, за поселком, у березового сколка, где много травы и ветру, речка рядом, чтобы сын, по его замыслу, сразу же хлебнул всего этого и сделался бы охотником. Василий даже имя придумал сыну, легкое имя, перекатывающееся во рту, как камешек-голышок, — Аркашка.

Но родилась Маришка.

Дом к этой поре был наполовину готов, и они сложили в нем печку, переселились весною в кухню, а горницу Василий думал за лето отделать.

В ту весну Василию в тайгу некогда было бегать. Он томился по охоте. Иной раз уж поздно вечером, когда плотничать становилось нельзя, забрасывал за плечо ружье, брал на руки дочку, кликал с собой Фаину, и они шли на берег Лысманихи. Усадив жену на обсохший бугорок, Василий чуть отбежал в сторону, к срезу березовой рошцы, и оттуда голосом давал знать о себе: «Я здесь, Фаюшка, недалече!..»

А ей все равно немножко боязно было сначала. Но обсидевшись, пообвыкнув, она переставала с недоверием озираться, опускала руки, притиснувшие дочку. И все шумы и шорохи отдалялись. Ее охватывал покой, умиротворенность. Маришка спала, не выпуская груди, и через какое-то время начинала быстро-быстро причмокивать. Томительная дневная усталость мягко пеленала Фаину, и она чувствовала, как эта трудовая усталость, этот покой, что пришел из мира в душу ее, вместе с молоком сочатся в дочку, насыщая ее, передавая ей материнскую доброту, трудолюбивость — все, что есть в Фаине, все ее соки, всю ее душу, всю любовь к этому привычному, но каждую весну обновляющемуся миру, который она с закрытыми глазами, и даже во тьме ночной может представить себе отчетливо и ясно.

Верткую, порывистую веснами, а летом говорливую, светленькую и утихомиренную, как божья старушка, Лысманиху, со студеной водой, которая в чаю крепка, а в бане мягка. Волос от такой воды куделистый делается, и перхоть исчезает, и шелудивость с кожи мигом сходит.

А с виду речка и речка, кто не знает — мимо пройдет, кто ведает — плюнуть в нее не решится.

Вокруг поселка по косогорам и осыпям, в особенности по валу маленькой плотинки, — желтая россыпь цветов мать-мачехи. Кажется Фаине, что все искры, вылетевшие за зиму из труб поселка, раздуло вешним ветром по земле. Возле ног Фаины по бережку речки клонятся долу, закрываются к вечеру белыми ушками лепестков тонконогие ветреницы, а меж них синеют, ерошатся хохлатки с кружевными листьями. Хохлатки всегда упруги и холодны, потому что в трубочках сине-розовеньких цветов даже днем не высыхает роса. Когда Фаина была маленькая, она высасывала росу из хохлаток и медуниц — говорили ей: «Красивая будешь!» И не зря говорили — Василий уверяет: «Самая красивая!»

Травую еще негусто пахнет, а березником резко, горьковато. Березник весь в сережках и забусел в вершинах. На стволах его трепыхаются, хлопаются белые пленки. Береза старую кожуцу меняет на новую. Новая кожуца срыжа, и под нею ходит, бродит сок и будит в ветках листья. Как листья прочикнутся на ветках, сок в дереве остановится. Зелено все станет кругом, тепло будет, дочка станет ползать по траве... Благодать!

А пока самая сейчас работа у земли, самые хлопоты, самое круженье, самые радостные песни. Под песни и одолевает она все: снег лежалый смоем, лед унесет, мусор травую укроет, грязь высушит. «Большая земля-то, родливая, добрая. Без земли что мы были бы?»

Так сидит над Лысманихой Фаина, укачивая дочку и себя неторопливыми тихими думами. Землю ослаивает легкий туман, низкий, студеный.

В пелене его не заглушает, шумит затяжелевшая Лысманиха и, обгоняя медленный туман, мчит во всю вешнюю мочь до самой Камы. Там, толкнувшись в ее большой и мягкий бок, засыпает она, как дитя подле матери. Туман быстро истаивает, будто выдохнула его земля и снова замерла, чтобы не мешать Фаине и ее дочке, вдруг сладко, по-взрослому зевнувшей и открывшей глаза, — видеть и слышать, и жить в самих себе, но в то же время в этом до зябкости ощущимом мире.

Вдали, там, где за березником запекается и тоже успокаивается красное небо, раздается отрывистое: «цвырк», похожее на вскрик вспугнутой трясогузки, а вслед за этим ровно бы поскрипывание грубой кожи. Еще вскрик и еще

скрежет кожи. В нем чудится какая-то непонятная, чужая, зовущая музыка. Но только ухо начинает привыкать к кожапому скрипу, как его снова четко, словно нитку пожницами, обрезает тревожный вскрик.

Файна видит, как поднимается с пенька и напряженно выпрямляется со вскинутым ружьем Василий. Она тоже напрягается, и дочка начинает беспокойно возиться у груди, потому что все в Файне цепенеет и даже молоко оставливается. Она, притиснув дочку к себе, не дает ей шевельнуться, пискнуть. Ждет.

Из зари, покрывшейся темно-сией окалиной, из тлеющих вершин березника, как из далеких молчаливых веков, с зовущим криком и хорканьем возникает темная тень птицы, и замерший лес вдруг наполняется ожиданием. Кажется, облетает его постовой, чтобы проверить, как в нем и что в нем, в этом еще мокром, неприбранном голом лесу. Длинноклювая, неуклюжая с виду птица роняет на землю зовущие звуки, как будто отсчитывает последние секунды своей жизни. Файне хочется закричать Василию, остановить птицу, но она не в силах оторвать от птицы взгляда, как птица не в силах остановить своего, наполненного любовным ожиданием, полета. Только смерть может остановить ее.

Файна уже научилась понимать, что все в жизни жестоко-разумно. Чтобы жить, человек должен косить и рвать красивые цветы, рубить зеленые, ни в чем неповинные деревья, убивать больших, до обидного незлых животных, ловить и стрелять птиц. Кабы человек мог жить только святым духом, он бы с радостью и удовольствием населил землю одними цветами, нюхал бы их и сам, наверное, был бы кратковечен, хил и беззащитен, как цветок, закрывающийся белыми ушками к почве и не знающий той древней радости, того азарта и внутренней силы, бросающей человека на тяжкие охотничьи дороги, в смертельные опасности, от горести неудач к радости добычи, той добычи, которой обязан своей вечностью человек.

Файна ждет, но всегда внезапно видит сыпанувшую из ружья полосу искр и слышит припоздальный грохот выстрела. Птица, споткнувшись и оттопырив крыло, легко и послушно валится с неба в березы. И все. Снова успокаивается на мгновение вздрогнувшая земля, только грустно-грустно становится.

Они сидят трое — отец, мать и дочка над речкой Лысманихой. На траве лежит птица — вальдшнеп с чуть при-

щемленным круглым глазом, вся в нарядном пере, будто составляли ее из прошлогодних листьев, а кое-где по лепестку мать-мачехи вклеили и не забыли светящихся гнилушек подсыпать на спинку и крылья. После все это позолотили весенним солнечным лучом.

Оборвалась песня птицы, оборвался еще один полет, еще одна живая любовь. Но над березовым колком, по грани темного леса уже совсем в темноте и все же отделяющиеся от темноты черными размашистыми тенями летают и летают с хорканьем и цвырканьем другие птицы, томимые любовью и жаждой вечного восполнения той жизни, которая ежегодно и ежеминутно уходит с земли. Дочка Маришка выпрастывает руку из одеяльца, трогает неподвижный глаз птицы пальчиком и пугливо отдергивает. Что-то уже и она чувствует!

В поселке гаснут окна. На земле вылудилась и замерла молодая с проплешинами травка. От Лысманихи наплывают холодные волны пара, катятся по опушке леса, густеют там и уже плотно ползут по березнику. Кажется, что березник выше черных колен захлестнуло белопенным разливом. На островках стихают кулики. Лишь за речкою, на большой лиственнице какая-то ночная птица мрачно и мерно роняет: «бб-би-иннь, бб-би-иннь».

Вальдшнепы перестали тянуть. Все погружается в тревожный весенний сон, и они трое — отец, мать и дочка идут в свой недостроенный дом по холодной траве. Идут молча, медленно, хотя и озябли, хотя и в тепло, в постель хочется. Обувь темнеет от мокра. Слышно, как под ногами со скрипом лопаются непокорные всходы чемерицы, похожие на свернутый флажок железнодорожника. Фаина за жестяной клюв держит безвольно и вяло раскачивающуюся птицу, а Василий несет ребенка. В поселке почти нет огня и шума, лишь светятся фонари вокруг лесопильного цеха, да в окне конторы спуло горит лампешка — должно быть, нарядчик засиделся.

Дом, еще пахнувший смолистой тайгой, преющими цепками, удушливой олифой, отчужденно стоит в стороне от поселковых посадок и закоулков. Фаина скорее спешит повернуть выключатель, осветить дом и радуется тому, что следом за ней входят еще две живые души, и думает с тревогой — окажется она одна, ни за что бы не решилась зайти сейчас в темный, отшибленный от поселка дом, а жить в нем и недавно.

Но ей пришлось входить одной в этот дом много раз и жить в нем одиноко много лет.

Началась война. Василий наскоро забрал чурбаками два только что прорубленных окна, вставил и заклинил уже готовые косяки и раму в третье и отправился на пристань с котомкой за плечом.

На пристани голосили бабы, играли гармошки, пели, плакали и целовались. Было шумно, суетно, тревожно. Фаина растерялась от всего этого, спрашивала мужа о портянках, глупая, об обуви, все время натыкалась взглядом на плечо, где не было ружья. Василий уходил в армию весело, как на охоту. Недоумевал, чего это все орут! Ну, война, ну, подумаешь какое дело! Поедут вот, расчихвостят немцев так, чтобы не совали свое свиное рыло в наш советский огород, — и домой.

Василий дурачился, нажимал жестким, залиселым от курева пальцем нос жены, говорил шутливо: «Мотри, горошина, не загуляй тут у меня!» Она колотила его по рукам: «У-у, дурной!»

И лишь когда загудел пароход и начал отваливать, вдруг остро кольнуло Фаину в сердце, она всполошенно рванулась за пароходом к Василию.

А между ними уже вода...

В недостроенной избе зимою сделалось холодно, заболела воспалением легких дочка, не стало хватать хлеба, и Фаина променяла пуховую шаль на буханку хлеба. Из лесопилки перекинули Фаину работать на плотбище, расположенное на льду в ущелье Лысманихи.

Но самое страшное было не это. От Василия через три месяца перестали приходить письма. Вот это было страшно. Потом пришла казенная бумага. Фаина кинула в огонь эту бумагу.

Ее Василий не мог пропасть без вести!

Уходя на работу, она упрямо прятала ключ за наличник и оставляла еду на кухонном столе, под рушником. Ночью даже во сне сторожко ждала шагов, твердых, громких, какие могут быть только у хозяина.

Кончилась война. Выросла и уехала в город дочь. Фаина отпустила ее от себя без особой боли, потому что всегда любила дочь отдельно от мужа. С нею не сделалось того, что делалось с женщинами, которые любили мужей до первого ребенка.

Хозяин вечен.

Хозяин должен оставаться при жене до самой смерти.

Фаина хотела, чтобы они расстались с жизнью и друг с другом так же, как ее отец-хлебопашец. Когда его свалило и он понял — насовсем, — остановил мать, заголосившую было над ним: «Все правильно. Люди смертны, и кто-то должен первый. Лучше я. Ты — женщина, ты обиходишь меня, оплачешь и снарядишь...»

«Обиходишь и снарядишь...» Кто лишил их этого права? Кто не дал им прожить вместе жизнь?

Она жадно слушала рассказы фронтовиков и, жалея не себя, а людей, утешалась этой бабьей жалостью и слезами. Услышит о том, как под Ленинградом люди голодовали, и про себя уж отмечает: «Вот и Вася мой тоже...» Расскажут фронтовики, как они сутки стояли по горло в ледяной болотине, а другие наоборот — двое суток лежали под бомбежкой и обстрелами, уткнувшись носом в песок, — и протяжно вздохнет: «Где-то и Вася там бедовал». И что из того, что болото было под Великими Луками, а песок и безводье под Джанкоем.

Ее Вася был на всем фронте, нес всю войну на плечах своих и страдал всею войною, а она страдала вместе с ним и со всеми людьми. Но иной раз захлестывала такая тоска ее, что беда оставалась с нею один на один, и тогда дни делались тяжелыми, а ночи нескончаемо длинными.

Бабы поселковые иной раз жаловались на житье, на драчливых и пьяных мужей. Не понимали они, эти бабы, что пропитую зарплату и синяки можно пересчитать. А кто подсчитает одинокие ночи, в которые перегорало еще ярое бабье нутро? Кто родит за нее Аркашку? Аркашкиных детей — ее внуков и правнуков?

Ей часто снился один и тот же сон: поле подсолнухов, бескопечное, желтое, радостное. Но вдруг стиснет горло во сне, зайдетя сердце, застонет Фаина не просыпаясь, всхлипнет немо и мучительно. Это она видит, как с подсолнухов валяются головы рябыми лицами вниз, стриженными шершавыми затылками кверху.

По живому яркому полю проносится черной молнией полоса смерти.

И вот уже не подсолнухи, не поле видится ей. Видится остроклювая пуля, попавшая в Василия и зримо улетающая в глубь времен. Пуля эта скашивает шеренгу русоволосых, веселых детей, так схожих лицом с ушастыми солноворотами.

Ночами снятся вдове нерожденные дети.

— Эхмм-ма! — выдохнул Суслопаров, обгеревав ружье и положив полсотенную на клсенку.

Деньга эта бумажная лежала на чистом столе, трудовая, мозолями добытая, но все равно не было никакой приятности от покупки, какой-то коффуз был.

— Э-эхма! — повторил Суслопаров и пригорюнился, оперевшись на увеченную руку поврежденным ухом, похожим на пельмень. Но он тут же встряхнулся, сунул ружье в угол, за рукомойник, бросил шапку на голову: — Я сейчас, Фаишушка! — крикнул уже из сеней.

Фаишушкой звал ее только Василий да еще Суслопаров, всегда почему-то стесняющийся ее. Скорей всего потому, что такой большой, а на фронте не был — спичку счастливую вытянул. И еще оттого, что помнил Фаишу кругленькой, фигуристой, когда у нее, как говорится, все было на месте, все при себе. Оно и сейчас без нарушений как будто. Такой же цветочный фаргучек на ней, завязанный на окатистой спине бантиком, и грудь бойко круглится, и лицо не старо, даже румянец нет-нет да и проснегся на нем, и волосу седого совсем мало, так лишь слегка задело порошицей.

Но через глаза видно, как обвисло все у женщины внутри, как ветшает ее душа, и на мир с его суетою, радостями и горестями она уже начинает глядеть с усталым спокойствием и закоренелой скорбью.

Суслопаров все думал, как поделикатнее убедить Фаишу, что все времена ожиданий уж минули, хотел «пристроить» ее к дежному вдовцу — старшине сплавщицкого катера Вахмянину. Суслопаров даже придумал слова, какие должен сказать Фаине, даже шутку придумал насчет Писания, в котором говорится: «возлюби ближнего своего». Он почему-то был убежден, что с шуткой легче и лучше получится. Но начать разговор с шутки так и не решился, а привез как-то дрова на лесхозовском коне, осмотрел дом и буркнул: «Жизнь-то проходит. Думаешь, долгая она?» И Фаина подтвердила: «Недолгая».

Все, наверно, сладилось бы в ближайшее время к лучшему, да черт дернул кипомеханика завезти в леспромхоз длинную, переживательную картину «Люди и звери». Посмотрела ее Фаина и от Вахмянина отказалась наотрез.

Суслопаров и ружье выманил у нее не без умысла. Деньги ей, само собой, нужны: пора отремонтировать так и недостроенный дом, а работает она второй год нянькою в

детсаде, зарплатишка так себе, на харчи одни. На сплаве уже не может, от ревматизма обезножела.

«А может, и зря я затеял с ружьем-то? Может, у ней это последняя отрада? А я ее отнял. Эх, жизнь ты, жестяпка!» — смятенно думал и ругался Суслопаров, спеша к магазину.

Возвратившись, он с нарочитой смелостью стукнул о стол поллитрой и развеселым голосом возгласил:

— Обмытъ покупку полагается? Полагается!

Фаина, по-старушечьи строго поджав губы, следила за тем, как он шумно и грузно ходил по избе, и в глазах ее была настороженность. «Неужели даже и на меня думает — приставать буду пьяный?» — садясь к столу и перехватив взгляд Фаины, подумал Суслопаров и решил: выше нормы не принимать.

Он махом выплеснул в рот полстакана водки, накрылся и захрустел капустой. Фаина, как цыпушка, клюнула носом в рюмку и утерла ладонью губы украдкой.

— Так и не научилась, Фаинушка?

— Так и не научилась, — тихо отозвалась она и, потупившись, дрогнула голосом: — Может, надо было научиться шить, матькаться, — может, легче б...

За Лысманихой комом скатился с горы и раскололся выстрел. Немного погодя другой, третий. С пынешней воскресной вечерней зари открывалась охота, и местные охотники, опережая городских, еще засветло гуляли по угодьям и сносили побить и разогнать непуганую птицу.

Суслопаров чуть не заговорил про охоту, но вовремя остановился. Собирался было поговорить о Вахмянине — мужике непьющем, негулевым, со всех точек зрения вдове подходящем, и тоже не решился. Получалось так, что всякой темы в разговоре с Фаиной боязно коснуться, и от этого чувство виноватости перед нею еще более возрастало, а от выпивки возникала слюнявая жалость к бабе. Он поскорее допил водку, молча поднялся, надел телогрейку, шапку, взял ружье и, приоткрыв дверь, глухо и по-трезвому стеснительно обронил:

— Прости, если что не так...

— Что ты, что ты! — замахала руками Фаина, радуясь тому, что он не бередил ее разговорами, не полез с лапами и не урошил ее давнего к нему уважения. — Стреляй на здоровье! Ружье без осечки, верное... — Больше о ружье она ничего не могла сказать. — Ну да сам знаешь... Хорошо хоть к тебе попало...

Он хотел что-то сказать, но поперхнулся, закашлялся и, сдвинув шапку на изуродованное ухо, которое даже весной мерзло, круто повернувшись, пошел в гору, к дому, стоявшему верстах в двух от поселка, в устье Лысманихи. Возле этого дома на пестрой мачте болтались разные речные знаки. Суслопаров служил бакенщиком и еще разводил для лесхоза саженцы кедров и лиственниц.

Фаина, неторопливо убирая со стола, втягивала ноздрями давно выветрившийся из избы запах водки, мужицкого пота и пожалела, что Суслопаров не покурил.

Протерев до скрипа стакан и рюмку, она смахнула со стола крошки, затем полила тощей от постоянной полутьмы фикус, доставшийся еще от матери и дуром на пол-избы разросшийся, но никогда не цветущий розан. Помахала веником по полу, вытерла лосиные рога, прибитые над кроватью, те первые еще рога, похожие на марьины коренья. Каждый отросточек протерла, каждую впадинку на кости. Нигде не было ни соринки, ни пепла табачного, не торчали махорочные окурки в цветах, не паслежено на полосатых половиках, которые вроде бы уж прилипли к полу. Из щелей пола куда-то девались дробь и пистоны отстрелянные. Прежде сплошь ими утыканы были щели, как тараканами желтыми, и вот куда-то подевались.

Все куда-то подевалось.

Всякие мелкие мужнины вещицы и штуковины исчезли так же незаметно, как появились когда-то. Рукавицы где попало не валялись, не свисали с полатей ремни болотных сапог, пахнущие дегтем, не торчали в оконном косяке пило, сапожная игла, а в желобках рамы не было старых свищовых пломб, рыболовных крючков, гнутых гвоздиков и другого необходимого мастеровому мужику добра. Чисто в избе, ничего не тронута, не сдвинута и не на кого поворчать за мужицкий, такой, оказывается, необходимый беспорядок в жилом доме.

В других домах хоть письма от погибших есть. А тут и письма пропали. Всего их было четыре штуки, но осталась, давно еще, Маришка одна дома, добыла эти письма как-то из сундука и в горячую плиту сунула. Бумага вывалилась на пол, дыра прогорела возле печки.

Дыру Фаина заколачивала наспех. До сих пор видно черное из-под железа.

И до сих пор угнетает ее воспоминание о том, как она изо всей силы била ладонью по худенькому голому задку дочку, и без того почти задохнувшуюся в дыму.

Плакала и била.

Без писем, без вещей в воспоминаниях появляются дыры. Фаина упрямо латает их, и теперь ей даже огорчения из прошлой жизни кажутся неогорчительными. Но на сколько хватит этих ее усилий?

Она часто снимает со стены портрет мужа. На портрете мужик с плоским лицом, похожим на лопату. Тот Василий, которого она помнила, был совсем-совсем другой. Он был таким, каким его ни фотограф и никто на свете не мог увидеть, кроме нее. Взять глаза на портрете. Они изумленные, ошарашенные, будто сел человек мимо стула, а его в это время засняли. В тех глазах, какие она знала, было радостное крошево из приветливости, широкодушия и озорства. А уж если нет тех глаз, то и смотреть не на что.

Без глаз, как без души.

Фаина поправила половичок на сундуке, оглянулась как бы заново кругом, и в доме этом с давно прорубленными в горнице, но так и не поймавшими солнца окнами, с перекосившимся потолком, с тихой и чистой пустотой, в доме этом вдруг сделалось ей неловко, как в пароходе, который стоял в устье Лысманихи, без машин, без гудка и даже без руля. Колесо-то от руля было, но руль уже ничего не поворачивал, потому что пароход сделался спортивной базой. С осени он пустовал. В пароходе этом спасались сплавщики от ветра. И всегда люди почему-то забирались в нем, а ребяташки не любили играть в пароходе, из которого вынута была душа.

Испугавшись такого нехорошего сравнения родного дома с отслужившим свой век пароходом, который уже никуда не пойдет, и спасаясь от пустого дома, Фаина залезла на печь, обжитую, душную, теплую, поправила сбившуюся с матраца мешковину, перевернула подушку нагретой стороной, прижалась к ней и стала плакать.

Она плакала и час, и два, и три, все плотнее вжимаясь в уголок за трубу, но не для того, чтобы острее почувствовать свое одиночество и сделать слаще печаль, как это бывает у девушек, вдруг достигнутых первой разлукой, первой бедой.

В слезах ее не было ни сладости, ни облегчения.

Постукивали в лесу выстрелы. Над березовым колком, почти уже сведенным за войну бабами на дрова, поздним вечером ахнул выстрел, раскатился по Лысманихе и по

надгорьям. После него как отрубило — ни выстрелов, ни стуку, ни шуму.

Темнота густым потоком хлынула в кухонное окно. Лысманиха набухла туманом, обозначив себя вплоть до Камы. Белой жилой перечеркнуло окно в Фаишином доме.

Но и в ночи, сквозь туман, как до войны, правда, гораздо реже, тянули вальдшнепы, уставившись острым клювом и чутким взглядом в землю, отдающую прелью и нарождающейся травой; пиликали неутомные кулички по берегам; на ночь закрывались белыми ушками ветреницы; распарывая пожевными всходами кожу земли, выходила чемерица; бродили соки в деревьях, пробуждая листу; студеный пар узорчатой прошвой ложился у подножий и на опушках темного леса; новый месяц прободил небо острыми рожками; засыпал лесной поселок под стук движка, гасли в нем огни и голоса; усмиралось ненадолго полупьяное вешнее буйство — природа скапливала истраченные за день силы для завтрашнего, еще более разгульного праздника.

Ночь была на земле, весенняя, короткая, беспокойная ночь. И всю эту ночь в пустом доме над речкой Лысманихой тихо, словно боясь помешать весне в ее великих делах и таинствах, плакала женщина.

Она прощалась с мужем. Прощалась двадцать лет спустя после его смерти.

И теперь уж навсегда.

ВОСЬМОЙ ПОБЕГ

Егор Романович работает в лесу с четырнадцати лет. Отлучался он с лесозаготовок только раз — на войну.

Был он на фронте командиром орудия, сначала сорокапятки, а затем, когда эти, по выражению фронтовиков, пугачи списали в утиль, командовал пушкой истребительной, полковой. Тот, кто был на войне, знает, что слабым людям такими орудиями командовать не с руки, потому как долго пробыть около них невозможно. Арифметика тут простая: раз ты истребляешь, то и тебя хорват активно истребит. Однако Егор Романович как-то ухитрился пережить несколько порученных ему орудий, хотя и придавливало его этими орудиями, и в землю взрывами закапывало.

Домой он возвратился постарелым, израненным и со столькими медалями и орденами, что земляки, посмеиваясь, говорили, — мол, Егору Романовичу хорошо: тонуть начнет — не пламеется, сразу ко дну пойдет из-за металла! Но шутки шутками, а такого заслуженного человека постеснялись снова к пиле приставлять в качестве рядового рабочего и назначили сначала бригадиром, затем мастером, затем техноруком лесоучастка.

Надо сказать, что все эти повышения Егор Романович принимал без особого чувства, потому что имел грамотенку малую — и по теории, и по разным наукам ни в зуб ногой был. Однако лесное дело знал, людей уважал, и они его тоже, и дела на его участке ладились, насколько

они вообще могут ладиться в нашей аховой лесопромышленности.

Жил Егор Романович после войны на Чизьвенском участке, а потом переехал на станцию, где центральная усадьба леспромхоза, потому что старшие его ребята подросли, уже устроились на работу при станции, средние учились в школе, да и Петеньку — младшенького сына — нужно было в садик определить. Петенька — слабость Егора Романовича. Любил он его как-то не по-мужицки нежно и баловал странно. Впрочем, такое было со многими фронтовиками, у которых появились дети после войны. Да и парнишка у Егора Романовича необычный, очень одаренный парнишка. И опять же, кому из родителей не кажутся свои дети каким-то чудом необыкновенным? Но как ни берег, как ни хранил сына Егор Романович, чуть было не погубил Петю злой человек.

Как-то, еще когда Егор Романович работал мастером, возвращался он с лесосеки домой и версты за две от поселка встретила ему женщина. Во всю прыть мчалась она по дороге и кричала не своим голосом. Егор Романович остановил ее.

— Дерутся! Егор Романович, скоряя! Поди, секутся уж! — запричитала женщина.

Егор Романович не стал дальше слушать, толкнул женщину в сани, и конь понес.

В самом большом бараке лесного поселка шла драка. И не какая-нибудь кулачная потасовка, а драка зверская, с поленьями, табуретками, за которыми могли пойти в ход ножи и топоры.

Неподалеку от лесоучастка был поселок алмазников. Рабочие туда на вербованы были со всего бела света, попадались головы вовсе отпетые, недавно отбывшие наказание в тюрьмах и колониях. Лесозаготовители тоже были вербованные отовсюду и тоже всякие. Пьянствовали они часто, опойно, вместе и врозь. И вот чего-то не поделили.

Бабы и ребятишки толпились подле барака и скулили. Дверь в барак была распахнута, из нее валил пар, слышались грохот, ругань, крики о помощи...

Егор Романович соскочил с саней, зачем-то кинул полушубок на снег, забежал в барак в кители, хватил о порог шапчонкой и с зычностью, для него неожиданной, гаркнул:

— Кто тут главный, в душу вас и в печенки? Подходи! Что тому было причиной — неизвестно, но драка ста-

ла затихать, и под нары полетели поленья, бутылки, и ножики потом обнаружили даже.

Не давая никому опаматоваться, Егор Романович рывнул еще зычнее:

— Выходи из барака по одному! Ложись в снег!

Когда волнение в поселке улеглось и, как водится у русских людей, битые и небитые стали с поддельной веселостью вспоминать приключившееся, кто-то полюбопытствовал: зачем же, мол, это ты, Егор Романович, велел выметаться из барака и — главное — для чего ложиться в снег?

— А черт его знает, — пожал плечами Стрельцов. — Что пришло первое в голову, то и крикнул. — И, подумав, ухмыльнулся: — Чтоб охолонуло. Так понимаю.

К вечеру Егор Романович доподлинно установил: причиной всех столкновений между алмазниками и лесозаготовителями являлась Зойка-буфетчица. Ей приглянулся электропилищик Самыкин — буйноволосый, застенчивый парень. Она же понравилась Хычу — разнорабочему алмазного участка, с месяц назад освободившемуся из заключения.

Хыч — личность довольно известная в этих местах и во многих других. Большую часть своей жизни он провел в тюрьмах и лагерях. Глаза у Хыча выпуклые, шалые, губы негритяпские, в шрамах, на середине носа белый буторок, вроде наклейки, зубов передних нет, говорит он с шином, и когда оскалится, попятышья.

Вот этот самый Хыч и был заводилой у алмазников. Он предложил Самыкину «по-честному» разыграть Зойку в карты. Электропилищик на такое дело не пошел, заявив, что любовь — штука добровольная, очко тут бессильно и что гнул бы Хыч березу по себе, а от честной девушки отстал бы.

Подумал, подумал Хыч и пошел в столовую, как он потом выразился, «фаловать» буфетчицу просто так или убедиться в том, чем это он, такой веселый мужчина с такою широкою и отчаянною натурой, хуже какого-то вербованного электропилищика. Зойка не пожелала слушать Хыча, надерзила ему, выгнала из столовой, бросив вдогонку счеги с такой силой, что рассыпались все кружашки.

Хычу не понравилось все это. Он привел в лесозаготовительный поселок дружков, началась пьянка, которая и

закончилась дракой. Самыкин был на работе и, когда вернулся и узнал обо всем, попросил Егора Романовича перевести Зойку и его на другой лесоучасток, подальше от алмазников и от Хыча, поскольку тот жизни не дает, у них с Зойкой не игрушки какие-нибудь, а серьезные намерения на дальнейшую жизнь. Егор Романович всегда заботился о закреплении кадров в лесной промышленности, обещал Самыкину всяческого содействия в налаживании семьи и переводе на более спокойное местожительство.

Вопрос как будто был утрясен, и все вроде бы наладилось.

Вечером Самыкин играл в красном уголке в шахматы с шестилетним сыном мастера лесоучастка. Никто не поддавался сыну мастера в шахматах. Мальчишка и без поддавок жестоко колотил местных шахматистов, чем ошеломлял всю округу и почитался вроде святого. Егор Романович слышал, что с одаренными детьми всегда что-нибудь приключается, и к безмерной любви его к сыну пришивалась постоянная тревога.

Поздно вечером, когда все «болельщики», потрясенные «хвеноменальной», по выражению одного вербованного белоруса, игрой мальчишки, покинули красный уголок, а Самыкин сидел и тупо смотрел на шахматную доску, проигрывая неизвестно которую по счету партию, сюда явился пьяный Хыч, закрыл дверь и вырвал топор из-под полы бушлата.

— Когти рвешь, подлюга?! — закричал он, с бешеным играя топором, и на губах у него запузырилась пена.

Самыкин вскочил, загородился рукою. Хыч взвизгнул, распалаясь, и Петя внезапно увидел руку на шахматной доске.

Рука сшибла фигуры, опрокинулась кверху ладонью и мелко-мелко продрожала каждым пальцем. Мозоли на ней разом изменили цвет, сделались желтыми. По доске расплылась кровь, заливая шахматные квадратики, стол, наполнилась кровью компата...

Петю подхватило волной крови и понесло. Он закричал и схватился за голову.

Судил Хыча выездной суд здесь же, в красном уголке лесоучастка. На суде Хыч вел себя с паиградной беспечностью и в последнем слове сожалел, что не насмерть зарубил Самыкина, но за ним, мол, не пропадет и Зойка

никуда не денется, мол, в этих делах он до ужаста принципиальный.

Хычу захотелось слова эти подтвердить и попугать собой кого-нибудь. И когда выводили его из красного уголка, Хыч вдруг оцерился ртом своим беззубым и такое охальное телодвижение сотворил в сторону женщин, что они повалились с крыльца и у одной молодухи чуть было не приключились преждевременные роды. Хорошо, что с выездным судом врач случился и при себе имел лекарства и приспособленья все. Он приостановил это дело, а Хычу сделал укол толстою иглой, после которого он совсем сделался бесстрашный и кричал нехорошее. «Люди! — кричал он. — Бдительны будьте! Я вернуся!»

Так веселого и увезли его на подводе. Недели две только и разговору было на лесоучастке что про суд. Слух о суде, достигнув дальнего поселка леспромхоза, сильно видоизменился, и уже известно стало о том, что один семерых зарубил, а электропильщику из-за любви поотрубали руки и ноги, и теперь Зойка-буфетчица кормит его с ложечки, но все равно не покидает...

Шли дни за днями, месяцы за месяцами. Случались и другие всякие дела и события. Про суд забыли. Петя долго боялся крови, боялся всего красного, даже осенних листьев. Но врачи и время сделали свое дело. Петя поправился, его определили в школу, и он стал лучшим учеником в классе. Однажды ездил он на областное соревнование по шахматам и побил там пенсионера-шахматиста какого-то, лишил его надежды на звание кандидата в мастера, сна лишил и здоровья.

Пете дали грамоту с печатью. Грамота до сих пор под стеклом в сельсовете висит.

Самыкин отлежал в больнице, окончил курсы в городе и работает заведующим ремонтными мастерскими при центральной усадьбе леспромхоза. Зойка давно вышла за него замуж, родила двух сынов и зовет Егора Романовича кумом, хотя, как человек партийный, он согласия своего крестить ребенка Самыкиных не давал. Но Самыкины окрестили ребенка тайком и поставили Стрельцова перед фактом.

От Окорихинского лесоучастка до станции километров тридцать. Однако Егор Романович все равно использовал самому себе пазначенную льготу и на каждое вос-

кресенье ездил свидетелься с сыном — Петенькой, с семьей, помыться в бане, отдохнуть.

Как-то летнею субботой, покончив с делами, Егор Романович заседлал коня и поехал домой. У него была некорыстная с виду, мухортая лошаденка, с побитыми работой ногами, уже непригодная на лесовывозки. Конишка так привык к Егору Романовичу, а Егор Романович к конишке, что они хорошо понимали друг друга, и если случалось хозяину переложить за воротник, то он и засыпал на уютной спине Мухортого. Конь привозил его домой, бил копытом в крыльцо, как сказочный Сивка-Бурка. Первым обычно выскакивал Петя, снимал с Мухортого седло и насыпал ему овса за верную службу.

В тот субботний день с лесоучастка Егор Романович выехал сразу после обеда, рассчитывая к вечеру быть дома и поспеть в баню.

Мухортый шел споро. Они перевалили через седловину и оказались возле речки Свадебной. Начинаясь она далеко, в крутом распадке, и впадала в Чизьву километров на восемь выше Окорихинского поселка.

Вот и речка оказалась позади. Мухортый вынес Егора Романовича еще на один перевал и пошел медленней, потому что уморился на крутом подъеме, да и тропа здесь едва угадывалась — с нее легко было сбиться.

Стрельцов не погонял коня. Он доверял ему в пути целиком и полностью. И надо сказать, Мухортый никогда не хитрил, и где как надо было идти, так и шел.

Вольготно покачивался Егор Романович в седле и думал о том, что вот через месячишко возьмет отпуск и поедет с Петенькой в Москву. Денег он маленько подкопил, да еще премию, глядишь, получит за перевыполнение квартального плана Окорихинским участком. — будет полный порядок. В зоопарк сходят, в цирк, в магазин «Детский мир», в метро, на Сельскохозяйственную выставку — пусть смотрит малец на все чудеса, какие не довелось видеть старшим его братьям и сестрам. Они в войну росли, в трудные годы. Так же, как отец, рано стали зарабатывать свой хлеб. Выросли незаметно в трудах и заботах, живут уже своими семьями и детей своих имеют. Пусть за них за всех надивится Петенька на столичные чудеса. Пусть мороженого до отвала поест. Старшие в детстве его и не пробовали. Картошке были рады. А потом и Петя улетит из-под родительского крыла. Так уж в жизни ведется.

Размышляя обо всем этом, Егор Романович тихонько

напевал, как может напевать человек в лесу, зная, что его никто не слушает и никому он голосом своим не досаждаёт.

Ты привык с посторонними шататься,
Ты привык посторонних любить.
Надо мной ты пришел надсмеяться,
Молодую мне жизнь загубить...

Пел Стрельцов эту песню про одну недоверчивую женщину и не вдруг заметил, что поет он один, а птицы-синицы смолкли, притаились и в тайге сделалось сумеречно. Мухортый тревожно фыркнул, и тут Стрельцов очнулся и обнаружил перемены вокруг.

Он приостановил Мухортого, огляделся и, пробормотав: «Что за оказия?», достал из кармана часы. С трудом разглядел он циферблат — так быстро сгущалась темнота в лесу.

Было четверть третьего, по-летнему почти полдень, а казалось — настала ночь. «Неужто затмение?» — пронеслось во встревоженной голове Стрельцова, но уже нельзя было ничего угадать, так черно сделалось в небе, и к тому же Егор Романович видел затмение, знал, что тишина в самом деле наступает, но уж не такая оторопная.

Где-то вдалеке, как будто в тридевятом царстве, слышался гул, и сделалось так темно, что теперь уже и головы Мухортого не видно было. Конь мелко дрожал под седлом и с места не двигался. Егор Романович слез с седла, и в это время над головой полоснула молния, потом другая, третья, ударил гром, налетел порыв ветра, лес качнулся и перекатно зашумел. Потом еще рвало черноту молниями, но уже ярче и понизу, гром бил оглушительней, деревья сплошь наклонились, заскрипели корнями, стоном застонали сушины. Вверху на сопке, как кость, хрястнула сухостоина и покатила в распадок с грохотом и бряком.

И тут все смолкло и остановилось. Лишь вдали столь много сыпалось беззвучных молний, что они уже переплелись, как белые коренья в подмытом яру.

Тут только Стрельцова осенило, что надо как можно скорее утекать из леса на голое место, иначе зашибет.

Он потянул за повод Мухортого. Конь неохотно сдвинулся с места, а вскорости начал делать ноги скамейкой, упираться. Егор Романович рассердился было на Мухортого, прикрикнул даже, но тут же сообразил, что Мухор-

тый, пожалуй, прав: в такой темноте дважды два свалиться в распадок.

А темнота все густела и надвигалась. На лес, на горы, на Егора Романовича с кошем начала оседать сухая хвоя, удушливая пыль. Стрельцов закашлял. Мухортый тоскливо заржал.

— Что ты, что ты? — боязливо похлопал по шее смиренного коня Егор Романович, и Мухортый притих, только перебирал ногами. Сквозь пыль пробилось несколько капель дождя. Они пулями хлестанули по коже седла и по лицу Егора Романовича. И тут же все озарилось ярчайшим бледно-голубым светом и ахнул гром.

Вслед за этим рвануло лес, и на человека, на лошадь посыпались еловые шишки, сучки, и все так же густо шла в темноте пыль. Где-то уже совсем близко хрустели, стонали, трещали и лопались, как снаряды, гибнущие деревья. Сверкнуло еще ярче, еще длиннее. Егор Романович увидел над озарившейся сопкой, которая оказалась почему-то совсем близко, черные веретена и не сразу догадался, что это в огромной выси выются выдернутые с корнем елки. И еще ему показалось — на самой вершине сопки стоит человек с поднявшимися на голове волосами и словно бы молился, воздев руки к небу, как шаман.

— Мама родная! — охнул Егор Романович. — Неужто блазнится?

Но сопка озарялась еще и еще, и Стрельцов теперь уже явственно видел на ней человека, призрачного в сполохах молний. Он бросился бежать к сопке. Он боялся, чтобы человек не исчез, чтоб не оказался видением. Он запинаясь, падал. Его било по лицу и царапало, хватало за одежду. Он вырывался, оставляя где лоскут рубахи, где телогрейки клочок.

Дышать сделалось совсем трудно. Горло забивало пылью. Сердцу не доставало воздуха. Пот заливал глаза.

Егор Романович быстро обессилел и свалился. Вокруг него рушилась тайга, бесновался ветер, гудела и выла куда-то песущаяся земля.

— Человек! Где ты? — пересиливая себя, закричал Егор Романович, приподнявшись. И тут на него сверху с треском повалилось дерево.

Он ощутил на лице волну холода, гошпимого деревом, закрылся руками и на время вышел из памяти.

Очнулся, ощущал над собой и вокруг — оказалось, упала пихта и задавила бы его, захлестнула бы, но утодила на

прежде свалившиеся лесины, и накрест лежавшие деревья сдержали удар.

Егор Романович рванулся к корню пихты. В спину ему впились сломленный сук. Ему распластало кожу на поясице, но боль он чувствовал, как вспышку спички, и тут же перестал ее слышать, тут же страхом все погасило.

В яме, подле вывороченного корпевища, Егор Романович съежился котенком, стараясь как можно меньше занимать места и влезть поглубже в сыпучую, каменистую землю.

Однако он опамятовал скоро, вспомнил про человека на сопке.

«Может, изувечен? Может, в помощи нуждается? Может, это даже дите — одно, в тайге? Пошел по ягоды ребенок и попал в этакое светопреставление?..»

И лишь представился Егору Романовичу ребенок, а все ребятки на свете представлялись ему с обликом Петеньки, с его беспомощностью, — Егор Романович перебежками, как в бою, двинулся к сопке, то озаряемой молниями, то проваливающейся во тьму.

Он выбрался на лесную кулигу, где лежала прибитая к земле, бллая в отвесах молний трава и никли головки словно бы стеклянных цветов.

Мало читавший книг из-за слабой грамотности и вечной занятости, Егор Романович до этой минуты, до этой кулиги не сомневался в том, что разразилась буря над тайгой, и, хоть буря невиданная, страшная, он все же владеет собою, и если боялся, то боялся как бури, и только.

Но, увидевши стеклянную траву на кулиге, приплюснутые к земле цветы, как будто льдинки, со звоном рассыпающиеся, внезапно подумал он: «Да уж не война ли атомная началась?..»

Ударенный такою мыслью, он тут же и подтверждение ее нашел: темь, гром, дышать нечем, цветы обмерзли, трава в последнем ядовитом озарении...

И в катастрофе, постигшей землю, почему-то живой лишь он один... Да еще Петенька, бросившийся искать спасения у отца.

Полагая, что жить ему осталось секунды, крохи какие-то — атом же! энергия же! — он хотел одного — сыскать Петеньку, прижать его к себе, и коли умереть, исчезнуть с земли, то только вместе с ним...

«Сыночек! Сыночек!» — шевелил губами Егор Романович и, слыша свой крик, радовался тому, что он все еще

живой и такое чудо, коли оно случилось, поможет ему докричаться сына, найти его.

Он зацепился за что-то сапогом, упал лицом в холодную воду, и она обожгла его губы, нос, глаза, горло, жгучим, свинцовым потоком хлынула вовнутрь.

И он опомнился, догадался, что лежит головою не в огне, а в речке и хватает воду губами — и мысль его, рассудок светлеют от этой живой воды.

Нет никакой войны, а буря, обыкновенная земная буря идет. И хотя еще громами, судорогой передергивало небо и крушило землю, он так же быстро убедил себя в том, что все приметы его оказались липовыми, бабами придуманными, и человек на сопке ему поблазнил. Петенька ни теоретически, ни практически там быть не мог, и жизнь идет себе дальше, и земля с курса не сошла.

Облегчение расслабило Егора Романовича. Ему хотелось лежать, не шевелиться, дышать как можно глубже. Но он все же скатился под навес сопки, над которой грохотало и рушилось небо, лес, камень, потому что уже ощутил снова радость жизни и не хотел, чтобы его зашибло чем-нибудь.

Под грудастой сопкой он, вздрогнув, наткнулся на человека, и у него послабело в ногах.

— Господи! Еси на небеси! Господи, дашь нам хлеба... — молился человек, стоя на коленях. Должно быть, знал он молитвы не лучше Егора Романовича и, когда узрел его, рванул одежонку на груди и двинулся на Стрельцова:

— На!.. Бей!.. Христа!.. — И тут же отпрянул в темноту навеса, зубы у него клацнули. — Боженька! Хых, боженька-а-а!

«Свихнулся», — испуганно определил Егор Романович. Сверху рухнуло дерево, и за ним сыпанули камни. Стрельцов упал под скалу, смял трясущегося человека. Тот начал судорожно барахтаться, вывертываться.

— Не шевелись! Задавит! — закричал Егор Романович.

Человек ослабел под ним, усмирился, но вдруг резко крутанулся, вскочил.

— Ты кто? Ты кто? Бей! Карай! Карай, говорю! — А сам поднял камень и, если бы Егор Романович не сцапал его за ногу и не уронил, наверное, размозжил бы ему голову.

— Не блажи! — ткнул кулаком в живое Егор Романович. — Человек я! Человек!

— Челове-ек! — всхлипнув, повторил за ним незнакомец и прижался к Егору Романовичу, обхватил его за шею и дышал в самое ухо сыро, прерывисто. — Человек! Не бросай! Погибаю! Один погибаю!

— Успокойся, успокойся, — хлопал по спине незнакомца Егор Романович и пошутил даже: — А что, если б Бог-то отреагировал на призыв твой да покарал? Зовешь не подумавши!

Совсем уж полегчало на душе у Егора Романовича после этой шутки, и он постыдился той блажи, что лезла ему в башку всего лишь малое время назад. Когда незнакомца перестало трясти, Стрельцов прокричал ему в ухо:

— Лошадь у меня, Мухортый. Ты не бойся. Жди...

— Не пуцу! — незнакомец намертво вцепился в ломотья Егора Романовича. — Не пуцу-у-у...

— Экий ты какой! — подосадовал Стрельцов. — Как тебя кличут?

— Хыч я.

— Кто-о?! — Стрельцов сгреб его за грудки, притянул к себе. Молния, как нарочно, припоздала, частила, дергалась где-то за сопкой. Егор Романович провел рукой по лицу незнакомца и почувствовал под пальцами мокрый с наклейкой нос. — Так вот ты где встренулся! Молись! Сейчас уж взаправду молись!

В это время к ним под навес скалы придвинулось что-то большое, темное и всхрапнуло.

— А-ай! — взвизгнул Хыч. — Вот оно! Вот оно!

Егор Романович оттолкнул Хыча, схватился за это всхрапнувшее, темное. Пальцы его потонули в длинной, жесткой шерсти.

«Черт, што ли?» — похолодел Егор Романович, и, понимая, что опять какая-то блажь одолевает его, все крепче и крепче впивался он пальцами в жесткое и мокрое. Но тут мягкие губы коснулись щеки Егора Романовича, и он с радостной облегченностью закричал:

— Мухортый! Мухорточка мой! Бросил я тебя, гад! Бросил, гад! — и тащил Мухортого за гриву к себе в укрытие, как будто зайчиком тот был.

Конь послушно прижимался к людям, лез глубже в смоляную темень и так придавил Егора Романовича и Хыча, что те едва дышали.

Так они и лежали под скалой, в крошечной тьме, в одуревшем и взбесившемся мире, — два человека и конь.

Хыч что-то кричал, давился рыданиями. Егор Романович не слушал его. Он трепал Мухортого за ухо:

— Ничего, Мухортый, ничего. Скоро уж, скоро... — Что-то вспомнил, сильно дернул Хыча за ногу: — Нож отдай! Нож!

Хыч притих, потом завозился, нашарил в одежке, послушно отдал ему плоский предмет — это был посок литовки, обмотанный на изломе чем-то клейким, должно быть изоляционной лентой. Стрельцов запустил изделие Хыча в темноту.

Ураган шел на убыль. Трещало, ухало и хрустело вокруг меньше. Молнии трепетали еще нервно, но гром уже не раскалывал небо над головой, не шипел, как взрывной шнур перед ударом, рокотал сыто и ворчливо где-то выше и дальше. Но могло меньше трещать и потому, что уже нечему было трещать. При вспышках молний виделись на месте тайги только обломки деревьев, высокие пеня, полуободранный подросток да упиженно склоненные ободранные березки с необыкновенно яркими сейчас стволами.

Хыч зашевелился и попытался высвободиться.

— Лежи! — дакнул его Стрельцов.

Полосою резанул короткий и злой град. Крупные, с голубиное яйцо, градины щелкали по камням, рикошетили от скалы и обломанных деревьев, обивали еще только разгорающиеся кисти рябин и уже перезревшую малину.

Сделалось бело. Побитая ураганом, врасплох застигнутая градом природа на какое-то время оторопела. Потом посыпался невеселый дождь, и белые шарики града начали сереть, обесцвечиваться, уменьшаться. Отовсюду засочились, поползли червяками друг к дружке хилые ручейки. Они убыстряли бег, прибавляли резвости и шума, скатываясь по распадкам к речке Свадебной.

Дождь густел, струи его делались прямыми, отвесней, и скоро ухнул ливень. Внизу заговорила речка Свадебная, понесла в Чизьву мутную воду и лесную лось, загремела плигняком, принялась завихряться в свежих вымоинах.

Ветер утих. Молнии сверкали уже далеко и коротко. Гром рокотал глухо. Звуки его сливались с грохотом камней в речке. В небе, меж стремительно летящих туч, появились глубокие разводы.

Егор Романович похлопал Мухортого по шее. Кошъ встал. Вслед за ним поднялся и хозяин. Из камней выско-

чил мокрый, тощий зайчишка, присел неподалеку и огляделся с недоверием.

Тайги не было. Разбитый, истерзанный, нагроможденный в кучи бурелом белел свежими ранами. Напосило дымом пожараща. Видимо, ливень и град прошли узкой полосой и не затушили деревья, подожженные молниями. Распадки студено парили. Ущелья выдыхали холод тающего града. Стояла мертвая тишина. Гремели только речки. Все нарастающий гул речек был грозен. Слепая сила разъярившихся не к поре потоков этих действовала так, что хотелось смириться со стихиями, отдаться им и тихо умереть.

Однако разбитый, оцепенелый лес встряхивался и оживал. Первыми появились птицы, мокрые, пахохленные; послышались их жалобные голоса. Одни птички металась, что-то отыскивая в лесной мешанине. Другие уже и не пытались ничего искать, а отряхивались, ощипывались. Бездомовая кукушка буднично роняла в гибельную тишину гулкой, одинокий голос, и то там, то тут с лязгом осыпались земля и камень, с облегченным шумом срывались с завалов подломленные деревья и ускокаивались навечно, коснувшись земли.

Из-за сопки вышел лосенок, повел мокрыми ушами, отряхнулся и бросился в распадок, соскальзывая на камнях и смешно припадая на куцехвостый зад. Что он там увидел? Не мать ли родную, большую и добрую лосиху?

Егор Романович вышел из-под захоладовавшей скалы под частую капель и знобко передернул плечами. Хыч неподвижно сидел в укрытии, в густой тепи. Сверху бойко капало, и прямо у ног Хыча начинались ручейки. Панический страх, вбивший его почти в беспмятство, ушел вместе с ураганом, который еще отстреливался вдали и смахивал жизнь с гор, волоча за собой хвосты дыма, жаясь молниями.

Стрельцов наломал через колено хрупких сучьев, отодрал лоскуток бересты и долго возился, дул, чертыхался, пока развел костер. Он спял с себя изодранную одежду, пристроил ее подле огня. Потом парвал листьяв чемерицы и принялся вытирать израненную кожу Мухортого.

Гольй до пояса, Егор Романович занимался делом и как будто не замечал Хыча, а только осторожно, как лекарь, вытирал царапины на покорном коне и что-то ворковал ему доброе, успокаивающее. Под лопаткой у Его-

ра Романовича был потемневший от холода шрам. Раздвоенная лопатка двигалась одним заостренным углом, туго, до белизны натягивая кожу. На шее Егора Романовича тоже был шрам в фиолетовых прожилках, засмоленный солнцем. По этим старым ранам Хыч лишь скользнул взглядом. Он увидел у самой поясницы Стрельцова свежую, заеложенную мокрой одеждой кровь. Она уже запеклась и почернела на бугристом позвонке. «Фасонит или в самом деле рану не слышит?» — подумал Хыч и поежился.

— Почто к огню не идешь? — повернулся к Хычу Егор Романович. Хыч ничего не ответил, отодвинулся дальше. — Наизготовке держишься? Ищут? Все одно найдут. Сушись.

Хыч подавленно молчал. У него было такое ощущение, будто он голый стоял перед Егором Романовичем и тот видел его таким, какой он есть, — с кривыми костистыми ногами, с распоротым пузом. Было дело, полоснул он легонько себя по брюху лезвием, зная, впрочем, заранее, что умереть ему не дадут, а авторитет его среди лагерной братвы укрепитя еще больше. Кроме того, можно будет поваляться в больнице и не ходить на работу.

Хыч был и остался докучливым клиентом тюремных властей и грозой заключенных. Он гордился тем, что еще с этапов о нем докатывались вести до тех колоний, куда он следовал. Его старались сплавить подальше, с рук долой, в другие колонии, только чтобы не иметь с ним никаких дел, не сторожить этого бандюгу, мечтающего только об одном — о побеге.

Со временем он и сам почти уверовал в свое бесстрашие и этой уверенностью подавлял корешков своих, а жестокостью, самодурством глушил в себе остатки совести и трусости, о которой один он только и знал. Кем-то брошенные слова о том, что храбрость — это не что иное, как умение прятать трусость, — вполне к нему подходили. Он был паясник, ловко маскировался языком и кривлянием и ходил в лагере с двумя кличками: Артист и Хыч.

Он привык жить по нехитрому правилу: подминать того, кто слабей, и покоряться скрепя сердце до поры до времени тем, кто сильней, кто имеет власть. Но то ж люди с ружьями, с собаками, с суровыми законами.

Чем же подавил его этот невысокий, да и не шибко крепкий человек? Что было в нем такое, чего не мог понять и преодолеть Хыч? Что обезоруживало, вселяло смуту в душу? Хыч и прежде, еще по лесоучастку, знал: Стрель-

цова на арапа не возьмешь! Его надо бить из-за угла. И хотя Хыч был здоровее Егора Романовича и, наверное, ловчее, встать и пойти грудь на грудь с голыми руками он не решался, а нож — самое надежное оружие — Стрельцов отобрал у него.

Неловко, позорно, до бешенства стыдно Хычу. Он, как на репетиции, готовясь к действию, оскалился, во рту его, на месте выбитых зубов, зачернела пещерка, и, взвинчивая себя принужденно, двинулся на Стрельцова. Егор Романович не отпрянул к костру, не попятился.

— Ну? Чего скалишься? Спятил? Может, в штанах мягко, так вытряхни.

Ободранный, посиневший Хыч был жалок, а птица с русалкою в когтях на его груди походила на курицу. Да и сам он походил на курицу, и насмехаться даже над ним было неинтересно. Давеча, когда сгреб Егор Романович за грудки Хыча, мелькнула мысль столкнуть эту пададь вниз — там, в распадке, забьет его камнями, затянет илом, лесным хламом, и никто не узнает, куда делся Хыч. Будут неприятности у начальника лагеря и у начальника охраны, но и они вздохнут с облегчением, если уверятся, что исчез навсегда этот никому не нужный вражина с земли. Не столкнул, не поднялась рука.

— Разболокайся, сушишь и колено перевяжи, — досаду на эту ненужную и неуместную жалость, сердито приказал Егор Романович.

— Дай уйти!

— Зачем?

Хыч не ответил. Он и сам не знал — зачем? И никогда такого вопроса себе не задавал. Ему просто надо было повольничать, тайгой нанюхаться, до людей добраться, достать одежонку, документы и... побежать, поехать... Как зачем? Покуролесить. Свободойдохнуть, свободошкой, запретной, заманчивой, хотя и ничего не обещающей, кроме погони и страха быть пойманным, быть выданным и снова водворенным в лагерь. Добавят срок, дадут нагоняй. Но все это ерунда. Все это привычно. Зато лагерные корешки с восторгом слушать его будут, лучшее место на нарах, пузырек одеколona, почет и уважение ему за мужество и отвагу.

И зависть, зависть...

А он наговорится, понаслаждается славой, и снова начнет ждать удобного момента, и снова мечту о побеге будет носить в себе, как женщина носит дитенка, испыты-

вая тревогу и непонятную другим людям сладость. В этом и была настоящая сущность его жизни, полная ожиданий, полная риска, никому, правда, ненужного. И разве понять эту жизнь таким духарикам, как этот израненный, небось даже и в кэпэээ не сидевший мужичок — лесной начальничек? Чтобы понять вкус свободы, надо потерять ее прежде.

Ах, свобода, свобода! Вот она, рядом, и на пути всего лишь этот мужичок. Да неужто он?..

— Зачем? — повторил вопрос Егор Романович, и Хыч поморщился, туго придумывая, что сказать.

Егор Романович вытер ладонью затрепетавшего от удовольствия коня, снял с него седло, потом сел подле огня, закурил и стал сушить изодранные штаны. Курева Хычу он не предложил, хотя у того и загорелись глаза жадностью.

Стянув сапоги, Егор Романович приспособил на палочки портянки и задумчиво уставился на огонь.

— У людей и без тебя горя и бед хватает, — не дождавшись ответа, сказал он и показал на огонь: — Иди уж, грейся, скрючился как цуцик.

Оттого что Егор Романович не дал закурить и говорил с ним так обидно и никакого страха и злобы не показывал, Хыч вдруг завыл, стал кататься по камням и колотить себя кулаками по голове.

— Эк избаловался? — глянул через плечо Егор Романович и досадливо покачал головой.

— Семь побегов! — выл Хыч. — Я дохлятину ел!.. Баранину-у-у! Копченую-у-у! Знаешь, что это? — И вдруг бросился на Егора Романовича, растопырив пальцы с грязными ногтями: — Уйди с дороги, фрайер! З-задавлию! В мешке, копченого, унесу!

Егор Романович пихнул Хыча ногой, рванул подпругу от седла и вытянул его по морде. Потом лупил уже по чему попало, приговаривая:

— За дохлятину! За баранину! За пакость! — Обессиленный, рывкнул задыхливо: — Нишкни! — Рывкнул так, что Мухоргый прижал уши и переступил, а Хыч тоненько, по-щепячьи заскулил, забившись снова под скалу:

— На свободу хочу, дяденька-а-а... На свободу...

— «Дяденька»! — яростно передразнил Егор Романович и показал на его голову с лишними сединами. — Ты погляди на себя! Мы ж, поди, одногодки, а ты — «дяденька»! Вон она, твоя свобода! Вся на баншке! Каждый побег

мохом пророс. Зачем жизнь-то промотал? На, закуривай, — резко сунул он Хычу старый, сделанный из алюминиевого поршня портсигар.

Хыч утерся рукавом и неуверенно взял портсигар. Повременил, глядя на Стрельцова, вдруг засуетился, выхватил щепотку махорки, сделал самокрутку. На крышке портсигара заметил полустертые буквы и с трудом прочел, шевеля побитыми губами: «Егору — другу-фронтвику — на вечную память».

Захлебнувшись дымом, закашлялся было, но опять скосил глаза на портсигар, пытаясь что-то осмыслить. «А-а, это у него старые раны, с фронта».

— Гляди, читай, — положив на камень портсигар, кивнул Стрельцов. — Земляк подарил, шофер нашей батареи, Митякин Петр. Сына в память его нарек. — Егор Романович помолчал, горько выдавил: — Погиб хороший человек. Погиб не за-ради того, чтобы всякая вша... — и тут же остановился, прервал себя: — Отправимся, пожалуйста, хватит разговору.

— Куда?

— Куда надо. Ты что думаешь, я тебя отпущу, думаешь, добреньким сделался, табачку дал? — Серdito, рывками Стрельцов принялся натягивать на себя еще парящую рубаху.

— Спину-то перевязал бы, — буркнул Хыч, незаметно подобравшись к костру. Он жадно дохлебывал дым из мокрого окурка. Даже здесь, в лесу, курил он украдкой, из ладоней.

Егор Романович разорвал майку, сунул лоскуты Хычу и, пока тот неумело обматывал его спину, касаясь холодными руками тела, все глядел перед собой безотрывно.

Далекое солнце удивленно пялилось с небес на разгромленную землю, над которой устало парило сыростью и вспухали густыми облаками над расщелинами речек туманы, расползаясь по горам, укрывая разбитую тайгу.

— У тебя хоть родные-то есть? Отец, мать, жена, дети? — спросил Стрельцов.

Хыч зубами ловко затянул узелок на спине Егора Романовича и уныло шмыгнул носом.

— Нету. Никого нету. Безродный я.

— Безродный? Почему?

Хыч пожал плечами, протянул руки к костру, долго и неподвижно сидел и глядел на огонь. Была какая-то первобытность в его позе, и больно было оттого, что ничего-

то он не понимал. Мог часами глядеть вот так на огонь, и в этом полусне, в бездумности этой было гнетущее наслаждение, тоска о неведомой жизни и еще о чем-то недоступном его голове.

— Жись так распорядилась, — выдохнул он со свистом полою частью рта, и, разжалобив себя таким вступлением, продолжал Хыч: — С голоду в двадцать первом родители померли. Хорошие были... Да, хорошие! — звонко выкрикнул Хыч и заторопился: — Мать — учительница, детей арифметике учила. Отец — анженер. Да. Машины придумывал! Всякие, разные, ерапланы и трактора, и еще сеялки, хых, пшеницу сеять, да!

«Чисто дитя, — с грустью заключил Егор Романович, прилаживая оторванную подпругу к седлу. — Как начнет врать, так и хых. Небось касаясь тюремных дел, там — как рыба в воде. А о себе даже сбредить не умеет. Заколодило, верно, ум-от». Однако говорить Хычу он не мешал. А тот уже вел рассказ о том, как однажды влюбилась в него «до ужаста» дочь одного «ба-альшого» человека, и такая она была раскрасавица, и такая у них любовь пошла, какой свет не видывал.

«Слышал я уж про это. Слышал не раз», — отворачиваясь, улыбнулся Егор Романович.

— Не веришь? — удивился Хыч. Он был, как шаман, чуток к перемене в настроении людей, к интонации, к жестам и мимике. Видимо, выработалось в нем такое чутье на допросах и в беспокойной, требующей постоянной напряженности арестантской жизни.

— Нет, почему же? Говори, говори. Да покороче.

На лесоучастке в прошлые годы таких, как Хыч, полно бывало по вербовке, и все их манеры, уловки, рассказы о себе точь-в-точь совпадали с тем, что повествовал Хыч. Эта дочь «ба-альшого» человека заколет себя серебряным кинжалом или в море кувырнется вместе с собственным «ахтомобилем» после того, как «милого заметут за одно крупное дело». Мелких дел они не свершают, по карманам не лазят, белье с веревок не снимают, пайки не тянут, а только все по башкам да ювелирным магазинам работают.

— Выходит, жизни-то у тебя и не было, — оборвал он Хыча на самом интересном месте, и тот остался с открытым ртом. — Выдумка одна и пакость. Сколько тебе годов?

— Сорок четвертый, кажись, пошел.

— Я бы все пятьдесят дал. Износился попусту. Попробуй-ка сызнова начать все. Суши лошоть-то, суши да колено замотай. На вот, — подал он ему носовой платок.

— Чего начинать-то? Все уж кончилось. Срок вот добавят. А я убегу. Опять убегу, — подняв разодранную штанину и затягивая платок на разбитом колене, буркнул Хыч.

— До сроку-то чего осталось?

— Год.

— И ты убеги?

— Ушел, хых.

— И не дурак ты после этого? Не дурак, а?

Хыч, как нищий, протянул сморщенную ладонь. Егор Романович дал ему портсигар. Сворачивая самокрутку, Хыч опять смотрел на надпись.

— Эт что! — с вызовом, что-то заглушая в себе, вскинулся Хыч, возвращая портсигар. — На Севере отбивал, полтора месяца оставалось — и оторвался! До войны еще. Пальцы отморозил. Нету у меня на лапе пальцев, — шельнул он правым ботинком. — Такая моя натура!

— Ну и дура — твоя натура. — Егор Романович поглядел на исшрамленные губы Хыча. — Дали жизни?

— Еще как! — без унылости, даже с непонятной рисовкой произнес Хыч. — При побеге стреляли. Нос вон пулей чиркнуло наперек.

— Оправили, жалко.

— Чего?

— Вправо, говорю, взяли. Левей и чуть повыше надо было. Стрелки тоже! Ну, двинули!

— Не боишься? — Глаза Хыча сузились до бритвенного острия.

Под этим взглядом, бывало, даже лагерные урки скисали, кроликами становились.

— Кого? Тебя? — с обидной усмешкой обрезал его взглядом Егор Романович, надевая седло на Мухортого. — Я эсэсовцев видел, с автоматами, и управлялся с ними, пока ты по тюрьмам жизнь свою берег...

Острый взгляд Хыча потух, он покатал ботишком камень, загеснялся распластанной штанины, попытался связать ее надорванными клочьями и не связал, отступился.

— Я тоже хотел на фронт. Просился. Сбегал даже. Изловили. — Он опять покатал камешек. Внезапно наклонившись, бухнул его в огонь так, что разлетелись угли.

— Огонь при чем? — покосился на него Стрельцов. — Врешь ведь? Опять брешьешь? Захотел бы, так достиг.

— Правда, не пуцали, — уныло вытер рукавом перебитый нос Хыч.

— Видишь вот, и оружие тебе доверить не могли. Опасались — к немцам мотанешь или мародерничать начнешь. Так ведь?

— Может, так, хых... — Хыч выругался.

— Во, во лаяться ты умеешь. А больше ничего. Пошли. Ты поздоровее меня, не валялся по госпиталям и кровь все больше чужую лил. — Голос Егора Романовича повысился. — И пошагаешь у гривы коня. Я поеду. Маятник иззубрился. Стучит... — Он подвел Мухортого к камню, с трудом забрался с него на седло, покоробленное огнем.

Мухортый ковляла по заваленной тропинке над речкой Свадебной, то и дело соскальзывая на вымытых плитах, опасливо косясь вниз, куда осыпались из-под копыт камни. Хыч придерживался за сосульками обвисшую гриву коня и о чем-то думал.

Люди молчали. Разгромленные леса тоже молчали.

Шумела только речка Свадебная, к которой они постепенно спускались. Попискивали редкие пичуги да недовольно фыркал Мухортый, уже научившийся вроде бы ничему не удивляться и все же удивленный переменами местности и особенно тому, что повернули назад и зачем-то спускаются с гор.

Хыча одолевала гнетущая сонная усталость. Вялые, обрывистые воспоминания наплывали из далекой пустоты. И не понять было: когда что произошло — вчера или сегодня, а может, давным-давно. И все об одном и том же, все об одном и том же: о тюрьмах, о побегах, о разноликой хевре, прижившейся в колониях, как в родном доме. И в то же время глаза Хыча обостренно видели все вокруг. Нос по-звериному тонко улавливал запахи, уши не пропускали ни одного, даже чуть слышного звука. Глаза, нос, уши его не умели отдыхать, в них было вечное животное беспокойство, они существовали как бы в отдельности и вышколенно вели свою службу.

Тропинка пошла по срезу горы. Подковы Мухортого защелкали громче. На мшистых косогорах и спутанных кореньями осыпях улыбочиво поблескивали румяные сыроежки. Из-под хвои, почуяв сырость, рыжики выпрастывали любопытные, тугощекие рожицы. Появились пупы-

рышки опять на пнях, и совсем уж расслаюявились маслята. Грибам было хорошо. А ягоды обило. Вся тропа облита красными каплями малины, костяники, княженицы и волчатника. Мертвые, полуголые мыши лежали на тропе. Вроде старой утерянной шапки валялось выпавшее из дупла гнездо. Возле обрыва, свесив крыло, с судорожно сведенными когтями оцепенел мокрый ястреб. Хыч пнул ястреба, и грозная птица тряпкой полетела вниз, шлепнулась в речку, и ее закрутило, понесло по коричневой воде.

Пнул он ястреба просто так, без умысла, а память уже подсунула случай. В молодости в далеком сибирском городе (название его Хыч уже забыл) очистил он квартиру и пробирался с узлом к реке — упрятать барахлишко в старой барже. В сквере напоролся на милиционера, врал ему о том, что разошелся с женой и перетаскивает манатки. Милиционер не верил, велел следовать в отделение. Хыч весело шагал впереди коня, болтал о том, какая у него погодная жена, какие она ему интриги выставляла, несмотря на всю его заботу и любовь до трепету. А сам сбавлял да сбавлял шаг. Возле обвалившегося яра он вдруг с ревом: «Лягавай, кобылу схаваяю!» (сьем) — бросился на шею лошади и услышал, как внизу, на камнях, она горестно заржала уже с переломанными ногами. «Вислухий мильтон попался!» — отметил Хыч без всякого, впрочем, торжества и злорадства. Вспомнил и вспомнил. А когда-то о таких его подвигах легенды ходили среди воря, а он шибко гордился собою.

Мухортого с седоком можно спустить в Свадебную таким же образом — и уйти. Ищи-свищи! Но почему-то не было уж того диковатого порыва, а главное, навалилась на него сонливая эта усталость или что-то другое. Хотелось самому шагнуть влево — и загреметь вниз и кончить всю эту волюнку, называемую жизнью.

Хотелось, но силы и решимости не было.

Много лет на свете прожил Хыч. Семь побегов успел сделать. В этот, восьмой, побег собирался долго, нерешительно. И хватило его лишь на несколько часов. Он очень рано сдался, рано угасла в нем та напряженная, острая гибкость и находчивость, которая помогала перехитрять погоню, выводила из самых немислимых положений.

Сколько уносил он с собой злости на людей, живущих там, на воле. На воле он делался сатаной, беспощадным, жестоким и смелым до того, что сам себе удивлялся.

И почему-то особенно люгая злоба нападала на него, когда наступало какое-нибудь веселье, когда людям становилось хорошо. В праздники он просто не мог найти себе места. Тупое, яростное бешенство kloкотало в нем, когда динамик на столбе посредине лагерной ограды начинал греметь торжественными маршами и оттуда возбужденные, приподнято-праздничные голоса извещали о параде войск, о проходивших колоннах, о ликующих людях, вразнобой кричавших «ура!». Ничего этого никогда Хыч не видел, ходил только в арестантских колоннах и, может быть, потому особенно больно ощущал именно в праздники отщепенчество свое, острее чувствовал, как жизнь обделила его, обошла стороной. В праздники он грозно таскался из барака в барак, искал водку и однажды согласился отрубить себе три пальца за литр. И сделал бы, паверное, это, если бы начальник колонии не узнал откуда-то о его намерении и не засадил Хыча куда следует — передуреть.

Водку в колонию приносили раскоинвоированные в резиновых грелках, засовывая их под брюки, или провозила шоферня в запасных баллонах.

Иногда удавалось напиться. Напившись, Хыч напускал на себя кураж, бродил по колонии и заедался на заключенных до тех пор, пока ему не «обламывалось». Потом он яростно и дико гремел в карцере, потом постепенно успокаивался и приходил в «норму».

В последние годы в колониях навели порядок, и таким, как Хыч, хоть волком вой. На столбе радио, посредине ограды клумба с белеными кирпичами, на клумбе анютины глазки и разные другие цветы. Привозят кино, свежие газеты, библиотека появилась, ремеслу стали учить и грамоте. Не по душе все эти штуки были Хычу, раздражали они его, терялся он в такой жизни. Привык к одичалости, к жестокости, чему можно и нужно было постоянно сопротивляться. А тут видали: кругом проволока, псы свирепые, будки сторожевые и посредине цветочки — картина!

Как-то напился Хыч и растоптал эти лупоглазые цветочки, анютины глазки, будто собак сторожевых. Отсидел, конечно, за цветы, а потом его же заставили клумбу налаживать и рассаду садить — в порядке воспитания.

Наладил, посадил и харкнул в самую середину клумбы — подавитесь!

А то еще был случай. Вечером все заключенные вдруг высыпали из барачков и уставились в небо и чего-то там высматривали. Хыч тоже глядел. Было много звезд, а на звезды Хыч любил смотреть и привык смотреть, — это вечная отрада заключенных — смотреть на звезды и томиться душой, думая о чем-то далеком, неведомом. Неожиданно среди этих звезд появилась еще одна, крупная, яркая. Она вылетела из-за горы и пошла над рекой Чизьвой, и все закричали: «Летит! Летит!»

Хыч изумленно глядел на непривычно восторженных людей, на заключенных, стрелков и тюремную обслугу. Все смешались, все кричали, махали руками, пальцами в небо показывали.

— Кто летит? Чего летит? — тормошил Хыч стоявшего рядом паренька.

— Спутник летит!

Хотел отлупить этого сосунка Хыч и не отлупил, ушел в барак, залез на нары, упал вниз лицом.

Над всем миром летел спутник, даже над колонией летел. Вот тогда-то Хыч и предложил три пальца за литр. Его хотели избить, и он тоже хотел, чтобы его избили, скандала хотел.

Неужто цветочки эти, спутники да ураган этот доломали его? Быть может, он сломился раньше? Пожалуй, раньше. Уж слишком долго он колебался, перебарывая себя, и на это ушел весь заряд. Он «переболел» бы побегом, если бы не ураган.

Месяца два уже минуло с тех пор, как началось «это». Оно начиналось всегда одинаково: тяжким, дубовым комлем давило плечи, душу, всего давило. На Хыча наваливались вши, с которыми уж никакой бане было не сладить, и его переводили в изолятор. Хыч делался угрюмым, молчаливым, терял аппетит, начинал бояться своего прошлого. Хотелось ему удавиться по-поганому — на кальсонах. От «этого» мог вылечить только побег, только несколько глотков свободы, и больше ничего.

Охрана в колонии знала, как начинается «это» у Хыча и ему подобных. За ним зорче следили, на работу отправляли под усиленным конвоем, надеялись, что «переболеет». Ведь ему осталось отбывать в заключении только год. Да и возраст уже перевалил за ту черту, когда люди задумываются о жизни своей и на смену безрассудству приходит чувство усталости и запоздалое раскаяние.

В последние дни Хыч заметно повеселел, вши с него схлынули. Он переселился в общий барак.

И если бы не ураган...

...В колонии загрохотало, погас свет, завыли и попрыгали собаки, уронило ограду, уронило одну, другую сторожевые будки, разбило прожекторы, с одного барака сорвало крышу, поднялась сутолока. Ну как тут было не уйти! И он сам не заметил, как очутился за зоной, вскарабкался на гору, потом на другую, бежал, пока не занялось сердце. Думал — началась обычная уральская гроза, какие бывают здесь часто, что она скоро кончится и он пойдет и погуляет на волюшке!

Однако не раз у него возникало смутное желание вернуться. Но тут наступило затишье, темное, гробовое, и предчувствие беды погнало его дальше, в горы, в тайгу.

Или минувшие месяцы поколебали его, или прошлая жизнь, но все в нем притупилось, замерло, как замирают соки в дереве, кончившем рост. Егор Романович прихватил его голым, совсем-совсем голым и... слабым. Таких людишек Хыч и сам всегда презирал.

«Видно, съел зубы! Кранкель* подходит!» — подумал Хыч и обернулся. Егор Романович сутулился в седле, устало закрыв глаза, под которыми набрякли темные мешки. Лицо Стрельцова посерело, осунулось. Сердце, которое он назвал давеча маятником, видно, в самом деле иззубрилось.

Они спустились в устье Свадебной и посхали от нее вверх Чизьвы по покосам, где разбросало, разнесло недавно сметанные стога. Верхушка одного стога кружилась в заливчике. В окошечных ивняках рыхло висели изрешеченные градом листья купырей. На отмелях задрало седым исподом голенастое лопушье копытников. Роняя капли, по траве ползали мокрые гусеницы да жуки с купеческими задами, потерявшие свои норки и дома. Один косорогий жук угодил под ботинок Хыча и хрустнул, как спичечный коробок. Над водой косым дымком клубилась мошкара. Ее хватала шустрая рыбешка щеклея да белобрюхие береговые ласточки. Они суетились, кричали озорно, счастливо, особенно веселые, особенно стремительные сейчас, в легком, послегрозовом воздухе. Бревна на Чизьве позагоняло в заливы, повыбрасывало на низкие косы и обмыски.

* *Кранкель* — искаженное немецкое слово «кранк».

«А что, если ураган зацепил участок?» — очнулся Стрельцов и тронул повод. Мухортый мотнул головой, но шагу не прибавил. Устал коняга, да и ранки на его коже кровоточили. На них роились мухи. Конь вяло сбивал мух хвостом и нервно подрагивал кожей. Егор Романович не решился больше подгонять коня, ведь предстояло еще возвращаться на участок. Надо было слезть с седла, но Егор Романович чувствовал себя разбитым, и такая нудь была в теле, что не хотелось даже рукой двинуть.

«Людей надо посылать. Наш лес с верхних демян оставило. Не увижу Петеньку до другого воскресенья. Хоть бы дома-то все в порядке было». Егор Романович еще раз окинул взглядом реку и остановил его на спине Хыча. Тот словно бы споткнулся, встал и, помешкав, проговорил:

— Дай еще закурить.

Закуривал Хыч долго. Отдавая портсигар, задержал взгляд на надписи.

— Возвращайся, Стрельцов, я дойду тут один. — Он еще помедлил. — Видно, путешествия мои кончились. Езжай, может, и на участке неладно. — Хыч отвернулся, поморгал часто, будто дым от сигарки в глаза попал. — Премии за меня все равно не дадут. Я пойду. Уже близко. — Он смотрел на застигнутую градом лягушку, лежавшую кверху дрыблым брюхом. Высвобождаясь из забытья, она поводила одной, другой резиновой лапой, наконец опрокинулась и уставилась пучеглазой мордой на реку, видимо, не узнавала родной местности.

— Ты вот что, — угрюмо обронил Егор Романович, миновав лягушку взглядом. — Скажешь, что у нас работал, на сплаве работал и зашибся, — кивнул он на забинтованное колено. — Фельдшер, мол, задержал, а тут буря... Я позвоню.

— Так и поверят! Разевай рот шире!

— Мне-то поверят.

Хыч пожал плечами: твое, мол, дело — и побрел прочь. Прошел с километр, обернулся. Егора Романовича не было. «Ишь ты! — вяло усмехнулся Хыч. — Доверие оказал! В прежние леты меня пустил бы одного-то... А может, другой дорогой тащится? Поверху идет и следит? Да мне-то что!»

Но Егор Романович уже не следил за ним. Он приближался к участку, к своему хозяйству, и другие заботы занимали его. Однако ж и заботы эти, и дела, которые об-

ступали его уже со всех сторон, не могли заслонить собою мысли о том, что случилось в тайге.

«Почему так зряшно жил человек? — думал Егор Романович. — Для чего-то ж он на свет родился? И не умри родители, жизнь его по-другому пошла бы... Большинство воров сиротство да голод производят. Но я тоже голодухи хватил, и ребята мои хватили. Значит, не всяк силу имеет преодолеть искуc — не украсть. Есть люди слабые и от слабости крадут. Слабому всегда помочь можно. Вот чего уж нельзя прощать вовсе, это когда сытый ворует. Вредный этот вор, судить его надо беспощадно. А голодного накормить бы надо, погодить бы упрягивать его за решетку. Она кого исправляла, а кого и уродовала. Для таких же, как Хыч, тюрьма родным домом сделалась. Они там свою жизнь устроили. Но времена меняются. Так куда же с Хычом деваться? Мы ж его породили, а не дядя. Наш это назем — и его либо счищай с сапог и думай, что сапоги наши всегда чистые были. Либо...»

Мухортый, неуклюже подбросив зад, перемахнул через толстое бревно, сбил мысли Егора Романовича, и они пошли по другому руслу, да и рабочих он увидел на реке. Они уже вышли с баграми, раздвигали заторы. В поселке тархтел движок. Егор Романович зачмокал губами, стукнул задниками сапог в бока Мухортого, и лошадь чаще занереступала погами, заскрежетала подковами по мелкой гальке.

А Хыч в это время уже миновал гривастый утес и по тропинке, протесанной арестантами в утесе, спускался вниз. Сразу же за поворотом, на пологом берегу, он увидел колонию, очертаниями отдаленно напоминающую острог. В ней тревожно лаяли собаки, торопливо стучали топоры, звенели дисковые пилы — заключенные ремонтировали свое обрыдлое жилье, порушенное ураганом.

ИНДИЯ

Евгению Носову

Однажды в городе Канавинске, где родилась и жила Саша Краюшкина, случился пожар. Сгорел самый большой магазин города, с повым, только еще входившим в обиход наименованием «универмаг».

Четыре дня милиционеры никого не допускали на пожарище, кроме городского следователя и вызванного из области человека — прокурора по особо важным делам, как утверждали канавинцы. После четвертого дня в ночь прошел дождь и смыл с пожарища серый прах, сажу, обнажив черные, баней пахнущие головни.

От места, где был канавинский универмаг, повеяло холодом, древностью, тленом, и у всех зевак разом пропал к нему интерес. Милиция перестала остерегать пожарище, следователь и прокурор по особо важным делам заперлись в кабинете — думать, почему произошло такое бедствие в городе Канавинске — злодейский был тут умысел или просто так загорелось?..

А на пожарище, как только исчезли городские зеваки и порядок соблюдавшие милиционеры, грачиной стаей слетелись канавинские ребятишки.

Они рылись в темных, таинственных руинах, упоительно, со страстью, вынимая из богатых недр сгинувшего универмага разное добро: то висячий замок без ключа, то конек-снегурочку, то скобу дверную, то какую-нибудь вещь, до неузнаваемости преображенную огненной стихией. Тогда все ребятишки сходились в кучу и разбойно гадали — что это за вещь и каково было ее назначение

при жизни? Согласие не всегда сопутствовало ребятам, и они разрешали спор и уточняли истину древним человеческим способом, иначе говоря — дракой.

С каждым днем ребяташек на пожарище прибавлялось и прибавлялось, а добро, скрытое в темных, глухих недрах, убавлялось. Добытие его делалось все более увлекательным и азартным. Барачные ребята, привычные к табунности больше, чем дети из индивидуальных домов, объединялись в самостихийные артели и работу вели сообща. И надо заметить: коллективам чаще сопутствовал фарт, нежели старателям-одиночкам. Так, одна артель, сплошь состоящая из братьев Краюшкиных, раскопала полупудовый ком спаявшихся шоколадных конфет. Никто не возьмется описывать чувства, охватившие тружеников ребят при виде такого редкостного самородка.

Эта находка удвоила и утроила силы и устремления ребят к дальнейшему труду и поиску.

Из девчонок на раскопки ни одна не допускалась. Лишь Саше Краюшкиной было дано молчаливое согласие копаться в отдалении, в уголке пожарища, безо всяких, конечно, надежд на успех. Такая льгота выпала Саше по той простой причине, что на пожарище копались пятеро ее братьев, парней задиристых, решительных и очень привязанных к единственной своей сестренке. Она всегда и везде была с ними, умела хранить любую тайну и так влилась в мальчишеский коллектив, что кинуть ее одну было для братьев уже немислимо, да еще к тому же в таком увлекательном и серьезном мероприятии, как раскопки пожарища.

Саша всегда понимала свое положение в этом мире, неукоснительно соблюдала требования братьев — мужчин, и, коли ей отвели место для раскопок в отдалении и одиночестве, она там и копалась, не нарушая дистанции.

За время раскопок Саша нашла лишь одну пуговицу, которая немалыми стараниями была приведена в блестящий вид, и на ней обнаружилась звезда. Саша и такую находку посчитала удачей, ведь как-никак район ее раскопок был в стороне. А находкам и успехам братьев она не уставала радоваться. Братья принесли из дому лопаты, вели поиск с размахом и основательностью. В свой сарай братья Краюшкины снесли уже немало ценных предметов, в том числе и железную кровать, сложенную спинка к спинке.

Кстати, ком шоколадных конфет братья разделили меж

старателями по совести. Они отсекали лопатой одну половину и отдали ее мальчишкам, жаждущим своего фарта на руинах. Другую половину конфетного самородка отнесли домой, и вся семья Краюшкиных в течение нескольких дней питалась конфетами, употребляя их вприкуску с хлебом. В трудовой семье Краюшкиных до этого случая никогда шоколадных конфет не бывало, и потому отец и мать похвалили своих удачливых ребят, но просили старших, уже учившихся в школе, не забывать об уроках и по возможности меньше рвать и пачкать одежку.

Проходили дни, недели. Прошел месяц — и поредела армия искателей. Они докопались до грунта, перевернули головни, кирпичи, золу, они истощили залежи настолько, что утратили к работе интерес. Редко-редко печальные руины погибшего упивермага, взявшиеся по краям травою, оглашались теперь победными воплями.

Смолкли голоса мальчишек на пепелище, затухали разговоры среди взрослых, стиралось в памяти событие, взволновавшее канавинцев. Такая скоротечность в памяти жителей города объяснялась тем, что взамен сгоревшего упивермага началось сооружение нового и — канавинцы не без оснований утверждали — куда более мощного. Он воздвигался из кирпичей, с тремя квадратными колоннами у входа и смахивал на Дворец культуры.

Братья Краюшкины последними отрешились от поисков. Пожарище посещали они теперь изредка и не с корыстной целью, а чтобы поиграть в сыщиков-разбойников. Но Саша никак не могла отвыкнуть от печального места и еще нет-нет да и приходила сюда, и не столько уж покопаться, сколько послушать тишину с истаявающим в ней горьковато-угарным запахом головней, с шорохом осыпающихся комочков земли, семян лебеды, полыни и подземельным мышинным писком.

Жизнь не угасла совсем, она только скрылась в руинах и медленно пробуждалась от душного, угарного сна. Слушала девочка эту осторожно просыпающуюся жизнь и щемливо думала о чем-то своем, печалилась, прижавшись за черным бревном. Иногда даже слезы закипали в тихой, сжавшейся от горя душе девочки, и ей казалось тогда, будто внутри ее, как на живом дереве, вырастают иголки и по ним сползают тягучие капельки смолы.

Домой Саша возвращалась притихшая, усталая, и все в содомном, шумном краюшкинском жилье поражались

ее всевозрастающей доброте и покладистости и без того мягкого характера.

Пепелище между тем все гуще и гуще зарастало белеюю, жалицей, лопухом, и две розовые ракеты кипрея — вечного спутника пожарищ — запоздало взлетели над ним. В бурьян и густой чертополох, сорящий шишками и пухом, начали ходить собаки, кошки и козы, настырные городские козы с шаманскими глазами.

Осенью, когда уж совсем заглушило бурьяном-само-ростом бугор, где прежде стоял универмаг, появился трактор, смял растительность, начал выворачивать и растаскивать обгоревшие бревна петлею стального троса, обнажая голеньких мышат и вяло извивающихся ящерок, упрятавшихся на зиму в сухие головни.

Саша помчалась к пожарищу и, как только прибежала к нему, сразу увидела под одним вывороченным бревном присыпанное землею старое птичье гнездышко, а рядом с ним что-то в бумажной обертке. Саша соскочила в яму, схватила сверточек и хотела уже по-мальчишески закричать: «Чур на одного!», но не закричала, а застыла с открытым от дива ртом.

С блестящей, хрусткой, чудом сохранившейся обертки смотрел на Сашу синеглазый красавец в желтой чалме и в красном плаще. А за его спиною зеленели развесистыми ветвями желтоствольные пальмы, и меж ними куда-то крался желтый, усатый тигр, похожий на краюшкинского домашнего кота Мураша.

— Индия! — прошептала девочка, глядя на картинку, и понюхала сверток. От него дохнуло на Сашу таким ароматом, такой запашистою струей ударило в нос, что девочка задохнулась даже. Прижала Саша сверток к груди, зажмурилась от восторга и, теперь уже совершенно уверенная, что так вот только и должны пахнуть дальние, загадочные страны, повторила: — Индия! — и со всех ног бросилась домой, еще от ворот крича: — Мама! Папа! Ребята! Я Индию нашла!..

В сахаристо-белой обертке оказалась горбушка туалетного, малинового цвета, мыла. Это мыло Сашина мать заперла в сундук и выдавала его ребятам умываться только по праздникам и во время школьных экзаменов.

Обертку от мыла Саша взяла себе, и не знала она приятнее занятия, чем разглядывать картинку с принцем, пальмами и тигром. И всякий раз девочка находила на картинке этой что-нибудь новое: то звезду на чалме принца, то птич-

ку или орех в ветвях пальмы. Когда все предметы на картинке уже были отысканы и изучены, и даже буквы запомнились по их форме, и девочка, еще не зная азбуки, бойко читала: «МЭЫЛЮ», она начала придумывать и воображать те предметы, те деревья, тех птиц и зверей, какие могли, по ее разумению, обитать в сказочной стране Индии.

Саша никогда потом не могла вспомнить, почему именно Индия воображалась ей при виде картинки от мыла. Может быть, она слышала об этой стране что-нибудь от старших братьев, иногда читавших книжки вслух; может, запало в память увиденное в кино, куда ее брали с собою раза два братья же; а может, приснилось девочке, склонной к задумчивости, что-нибудь сказочное со словом «Индия».

Саша подросла, стала учиться в школе, и как-то по географии, а затем и по истории стали проходить в классе Индию. Но странное дело — учебниковая Индия, о которой она вынуждена была слушать и рассказывать на уроках, писколь не волновала Сашу и никакого касательства как будто не имела к той расчудесной стране, какую девочка открыла для себя и с любовью хранила в душе.

После седьмого класса родители Краюшкины устроили Сашу ученицей в городской узел связи. Братья принесли из сарая заржавевшую кровать, найденную ими на пожарище, и поставили ее в угол средней, большой комнаты. Кровать сама по себе не стояла, поэтому братья связали ее медной проволокой, ровно больного человека бинтами, отец покрасил кровать голубой краской, наведя на спинках белые полоски, будто на шлагбауме. Саша прибила над кроватью коврик, сделанный ею же из квадратных ромбиков, обгнутых разноцветными тряпочками, заправила аккуратно, даже чуть кокетливо постель байковым одеялом и простыню с кружевной прошвой; над изголовьем прикрепил гвоздиками картинку — Индию — и стала жить дальше.

Через какое-то время Сашу из учениц перевели в телефонистки, она стала приносить домой зарплату, и сразу объявилась в ней солидность и строгость самостоятельного человека. Старший брат Саши, работавший на прокатном стане, один раз узнал ее голос в телефонной трубке и сдуру обрадованно закричал: «Алле! Шурка!» Саша оборвала его, отчетливо и строго заявив: «Никакой тут Шурки нет! Пятый слушает!»

К празднику Первого мая Саша сделала в парикмахерской завивку, и братья поначалу даже не узнавали свою сестренку, всегда подстриженную под мальчишку, с прямой светлой челкой. Они подтрунивали над нею, но вместе с тем прощиклись какой-то, самим им непонятной почтительностью к Саше, и отношения у них сделались несколько отчужденными.

А тут обнаружилось еще одно немаловажное обстоятельство: за Сашею начал ухаживать техник из районного узла связи. Человек при форме, начитанный и культурный. Мать взялась стежить двуспальное одеяло, сатиновое, с шелковым верхом, Саша в неурочное время строчила оконные шторы, спила себе два новых платья: одно с желтыми цветами, другое темно-голубое, все это убрала в чемодан, недавно приобретенный в новом канавинском универсаме с колошами.

Парни догадались, что Саша теперь недолгий житель в краюшкинской большой избе, что уведет ее техник-связист в другую какую-то жизнь, но до конца не могли поверить в это и представить сестренку в другом доме не умели. У них было такое ощущение, будто их обирают среди бела дня и они ничего не могут предпринять в защиту себя. Чувство обиды и беспомощности своей братья маскировали разными колкими шутками и намеками, чем приводили Сашу в большое смущение и конфуз.

Но мать не успела достежить красивое одеяло, и Саша не вышла замуж. Летом грянула война с фашизмом, и сразу же трое старших братьев, а вскорости и техник-связист ушли на фронт — сражаться с врагом нашей земли.

Война была большая, долгая и кровопролитная. Много людей требовалось на фронт, и через год после начала войны мобилизована была на позиции и Саша.

Два младших брата Саши также покинули родной дом следом за старшими братьями и сражались: один — танкистом, другой — в зенитчиках. Саша уходила из дома последней. В растерянно-притихшем просторном доме оставались только мать и отец. Понимая, как тяжело жить в таком пустоуглом, немом доме, Саша посоветовала отцу с матерью пустить на квартиру семейных эвакуированных, чтоб не заела их до смерти кручина.

На войне Сашу поставили работать по специальности — связисткой. Она хорошо работала и всегда старалась выполнять быстро распоряжения командиров и старших

начальников. Когда обрывалась связь, Саша переживала, может быть, больше, чем командир артиллерийской батареи, в которой она воевала. За хорошую боевую работу и многократное исправление связи под огнем Саше выдали две медали и обещали орден.

Саша была невеликого роста, проворна и споровиста в деле, снова стриглась она под мальчишку, ходила в гимнастерке и брюках, считая, что при боевой работе и при множестве мужских глаз брюки как-то ловчее и удобнее, чем юбка.

Техника из районного узла связи — жепиха Саши — тем временем убили на фронте и одного Сашиного брата тоже убили, а двое из трех первых братьев пропали без вести еще в начале войны и, верно, мыкали горе в плену.

И без того задумчивая и несловоохотливая девушка от печальных вестей и от тяжелой фронтовой жизни сделалась вовсе молчаливой, суровой даже и решительно осаживала военных парней, если они пытались разговорить ее, проникнуть в сокровенные девичьи думы и поухаживать за нею. Лишь иногда, в редкие минуты фронтовых передышек, командир батареи замечал мягкое выражение на лице строгой связистки и в задумчивых глазах ее — теплую и долгую улыбку, и казалось ему: не на передовой, не на позициях была в то время девушка, а где-то далеко-далеко. Комбат один раз осторожно полюбопытствовал у связистки, которую он по-отцовски нежно любил и жалел: чему это она улыбается и о чем мечтает?

— Я, товарищ капитан, Алексей Васильевич, думаю об Индии, — охотно отозвалась девушка.

Ответом этим привела она в замешательство комбата и чуть даже испугала его. Расспрашивать Сашу комбат больше ни о чем не решился, но посоветовал ей подмечаться и выспаться как следует.

Шли тяжелые зимние бои под Харьковом, мало людей и пушек осталось в батарее, где трудилась связисткою Саша. Но все равно батарея билась с врагом, крушила его снарядами, и все равно связь артиллеристам нужна была днем и ночью.

В один из боевых дней, уже под вечер, фашисты произвели артналет по наблюдательному пункту Сашиной батареи, и осколком перебило связь. Саша вышла на линию, проложенную вдоль единственной улочки украинского хутора, разбитого войною и погребенного снегом.

Линия вся была под сугробами, потому что на земле мела буря и шибко крутило снегом везде и всюду.

Утопая по грудь в сугробах, Саша выдергивала провод и так постепенно дошла до порыва. Один конец провода Саша повесила на сломанное у дороги дерево и стала думать — как найти второй? Она уже была опытная связистка и всегда примечала места, где прокладывалась лишняя связи. Она принялась копать руками и ногами в сугробе у пошатнувшегося тына и зацепила валенком второй конец провода. Однако соединить разрыв никак не могла. Снегом одавило линию, и провода не стягивались, не хватало у Саши сил подтянуть один конец к другому, запасного провода она в спешке не взяла с собою. Артналет был близкий, и Саша выскочила из блиндажа налегке, в одной шинели, с одним только телефонным аппаратом. Телогрейка с потайным карманчиком, где была фотография техника-связиста, родительские письма и красноармейская книжка тоже остались в блиндаже.

Девушку продувало насквозь, и она корила себя за то, что так вот легкомысленно выбежала на линию, надеясь скоро сделать нужную работу. Но все же она обмозговала обстановку и нашла выход из создавшегося положения. Попрыгала Саша сначала на одной ноге, потом на другой, погрела самое себя, подула на руки и принялась отдирать от повалившегося огородного тына кусок колючей проволоки, прибитой к доскам штакетника еще в мирное время, должно быть от воров.

Пока она вставляла кусок колючей проволоки в разрыв телефонной линии, по хутору стали сильно бить фашистские минометы. И одним разрывом подхватило Сашу, подбросило вместе со снежным сугробом вверх. Потом ее уронило наземь и ровно бы ударило животом обо что-то острое. Саша попыталась выпростаться из-под снега, но мины еще падали вокруг, и разрывами закапывало девушку глубже и глубже. Она барахталась в снегу, однако сил ее никак не хватало раскопать самое себя, и Саша стихла, унялась, сделалось ей тепло, покойно, и боль в животе как будто остановилась.

Девушку потянуло в зевоту и в сон.

И сразу же, как только закрылись Сашины глаза, она увидела черный от копоти дом за железнодорожной линией, на склоне уральской горы, голубую кровать с белыми, как у шлагбаума, полосками, а над изголовьем, на беленных известкою, тесахных бревнах — страну Индию.

Голубыми глазами глядел на нее из сумрачного уголка симпатичный и родной до последней кровиночки принц в красивом плаще и желтой чалме, на которой ослепляюще-остро светилась алмазная звезда. Пальмы качали ветвями за спиной принца, и от пальм приятным холодком опахивало недра Саши, где разгоралась пригоршня углей и огонь подбирался к сердцу. Зашлось в частом, напряженном бое сердце и вот-вот могло лопнуть от непосильной жары и работы...

По разбитому хутору медленно ехал в повозке старый солдат. Ехал он, ехал и увидел на дороге припорошенную снегом солдатскую шапку. «Раз есть шапка солдатская, значит, и боец-красноармеец должен тут где-то быть», — рассудил повозочный. Он остановил лошадь и начал озираться по сторонам и ничего не обнаружил. Только над сугробом, на частоколине тына, увидел телсфонный аппарат в деревянном супдучке, почему-то присоединенный к колючей проволоке, и трубка его болталась по ветру: «Раз есть телефон, значит, и боец-связист где-то здесь», — решил старый солдат и принялся копать в сугробе.

— Ах ты, милая ты моя! — дрогнул голосом старый солдат, раскопав в снегу девушку. Теплой ладошкой вытер он с лица снег и надел на беловолосую стомленную голову девушки красноармейскую шапку. После этого солдат бережно поднял девушку на руки и снес в свою повозку, набитую соломой. Здесь он осмотрел связистку попристальнойней и на животе ее, под шинелью, нашел большую рану, сочащуюся кровью. Солдат приступил к делу первой необходимости — начал перевязывать рану своим единственным пакетом, наговаривая при этом для утешения:

— Ничего, ничего, сейчас я тебе первую помощь окажу, а после и в санроту доставлю, не бойся, не брошу. Откудова будешь-то?.. Молчишь? Ну, помолчи, помолчи, сохрани силу. Понадобится еще... К свадьбе понадобится. До свадьбы зажить должно, непременно зажить...

То ли от голоса солдата, от холода ли, девушка на минуту пришла в сознание и сразу схватила расстегнутые брюки-галифе и стала слабо отбиваться, отталкивать мужицкую руку от нагого и живого еще девичьего тела.

Солдат сломал слабое сопротивление девушки, не прекращая при этом перевязки и толкуя убедительно, что он, слава те господи, уже двух дочерей определил, замуж выдал за хороших людей в городе Барнауле, и потому не может

он смотреть на девичье тело иначе как отец и никаких крайних умыслов и скромностей иметь по отношению к ней тоже не может, тем более при таком бедственном и кровавом случае.

Закончив перевязку, запасливый старый солдат влил из своей фляжки глоток водки в жарко и прерывисто дышащий рот девушки и отвернулся на секунду, вытирая снег рукавицею с волосатого лица.

— Таких-то вот... Таких-то зачем же?.. — сказал он в бушующий снежной бурей мир, сморгнул с затяжелевших ресниц мокро и высморкался в жесткую полу шинели. После всего этого старый солдат загородился от ветра, изладил непослушными пальцами сигарку с полдивизионной газеты величипой, высек огня, закурил и тронул свою лошадь, тоже старую и унылую.

Все так же мело, завезало кругом, было убродисто, и лошадь тащилась по рыхлому снегу неходко. Снежную муть и тучи наискось прошивало строчками трассирующих пуль, и с припоздалостью слышался торопливый, нервный стук пулеметов. Время от времени ахали то далеко, то близко разрывы, где-то надрывно, по-звериному рычал буксирующей танк, заунывно дребезжали и пели порезанные провода на пошатнувшихся телеграфных столбах.

Война не утихала даже в такие часы, когда, по земным законам мирного времени, утихало и пряталось все живое и всякий путник, застигнутый в поле, в лесу ли, спешил скорее на огонь, ближе к жилью, к человеку. И скотина, хоть конь, хоть корова, стояла в парном хлеве и умиротворенно дремала, думая свои лошадиные или коровьи думы.

Раненая девушка что-то забормотала. Повозочный очнулся от глубокой задумчивости, почмокал губами, высасывая дымок из мокрой, притухшей сигарки, придержал лошадь. Обернувшись, он увидел, удивленный, что у девушки открылись глаза и она, улыбаясь, глядит мимо него, мимо этой снежной дуроверти. Солдат наклонился ухом к девушке.

— Здравствуй, Индия! Здравствуй...

Кому еще говорила девушка: «Здравствуй!» — солдат уже не разобрал, голос ее отошел, закатился вовнутрь, и только протяжный и облегченный вздох достиг слуха старого солдата.

Он стянул со стриженной головы шапку и понуро стоял какое-то время возле повозки, скорбно наблюдая, как

засыпает снегом глаза девушки, остановившиеся на каком-то, ей лишь ведомом радостном видении.

Возле дороги были свежевыкопанные щели. В одну из них старый солдат опустил тело девушки. Он прикрыл ее вместе с лицом шинелью и закопал землею, смешанной со снегом.

В ближайшем палисаднике качались на ветру дудки каких-то цветов и сникший до снега черномордый подсолнух. Повозочный побрел по сугробу в палисадник, намял семян цветов и вышелушил горсть подсолнечника. Все это семя он широким взмахом сеятеля раскинул по уже подернутому белой пленкой бугорку, чтоб не затерялась могила девушки в большом, охваченном войной мире, и уехал по своим военным делам в беснующийся снежной заметью вечер.

Зимою же война продвинулась из этих мест дальше, на запад, а летом возле дороги на солдатском окопчике взошли цветы мальвы и желтоухие, тощие подсолнухи.

Если ныне случается редким заезжим людям бывать в этом украинском хуторе и если они поинтересуются, кто покоится при тихой сельской дороге, хуторяне отвечают: солдат по фамилии Индия. Фамилию эту странную хуторянам сказывал повозочный, что доставлял к передовой боеприпасы на старой лошади зимою сорок второго года.

ЯСНЫМ ЛИ ДНЕМ

*Памяти великого русского певца
Александра Пирогова*

И в городе падал лист. С лип — желтый, с тополей — зеленый. Липовый легкий лист разметало по улицам и тротуарам, а тополевый лежал кругами возле деревьев, серая шершавой изнанкой.

И в городе, несмотря на шум, суету, многолюдство, тоже сквозила печаль, хотя было ясно по-осеннему и пригревало.

Сергей Митрофанович шел по тротуару и слышал, как громко стучала его деревяшка в шумном, но в то же время будто и притихшем городе. Шел он медленно, старался деревяшку ставить на листья, но она все равно стучала.

Каждую осень его вызывали из лесного поселка в город, на врачебную комиссию, и с каждым годом разрасталась в его душе обида. Чем прибранней становился город, чем больше замечал он в нем хороших перемен, наряднее одетых горожан, тем больше чувствовал униженность и обиду. Дело дошло до того, что, молча терпевший с сорок четвертого года все эти пикому не нужные выслушивания, выстукивания и осмотры, Сергей Митрофанович сегодня спросил у врача, холодными пальцами тискавшего тупую, внахлест зашитую култышку:

— Не отросла еще?

Врач поднял голову и с пробуждающимся недовольством глянул на него:

— Что вы сказали?

И, непривычно распаяясь от давно копившегося негодования, Сергей Митрофанович повторил громче, с вызовом:

— Нога, говорю, не отросла еще?

Врачи и медсестра, заполнявшая карточки, подняли головы, но тут же вспомнили о деле, усерднее принялись выстукивать и выслушивать груди и спины инвалидов, а медсестра подозрительно уставилась на Сергея Митрофановича, всем своим видом давая понять, что место здесь тихое и, если он, ранбольной, выпивший или просто так побуянить вздумал, она поднимет трубку телефона, наберет 02 — и будь здоров! Нынче милиция не церемонится, она тебя, голубчика, моментом острижет и дело оформит. Нынче смирно себя вести полагается.

Но медсестра не подняла трубку, не набрала 02, хотя сделала бы это с охотою, чтоб все эти хмурые, ворчливые инвалиды почувствовали, к какой должности она приставлена и какие у нее права, да и монотонность писчебумажной работы, глядишь, встряхнуло бы.

Она шевельнула коком, сбитым наподобие петушиного гребня, заметив, что инвалид тут же сник, не знает куда глаза и дрожащие руки деть. И взглядом победителя обвела приемную залу, напоминавшую скудный базаришко, потому как вешалка была на пять крючков и пациенты складывали одежду на стулья и на пол.

— Можете одеваться, — сказал Сергею Митрофановичу врач. Он снял очки с переутомленных глаз и начал протирать стекла полой халата.

Деревяшка и одежда Сергея Митрофановича лежали в углу, он попрыгал туда. Пустая кальсонина болталась, стегая тесемками по стульям и выношенной ковровой дорожке, разостланной меж столами.

Так он и попрыгал меж столами, будто сквозь строй, а кальсонина все болталась, болталась. Телу непривычно было без деревяшки, и Сергей Митрофанович, лишившись противовеса, боялся — не шатнуло бы его, и не повалил бы он чего-нибудь, и не облил бы чернилами белый халат врача или полированный стол.

До угла он добрался благополучно, опустился на стул и глянул в залу. Врачи занимались своим делом. Он понял, что все это им привычно и никто ему в спину не смотрел, кальсонины не заметил. Врач, последним осматривавший его, что-то быстро писал, уткнувшись в бумагу.

И когда Сергей Митрофанович облачился, приладил деревяшку и подошел к столу за справкой, врач все еще писал. Он оторвался только на секунду, кивнул на стул и даже ногою пододвинул его поближе к Сергею Митрофа-

новичу. Но садиться Сергею Митрофановичу не захотелось. Тянуло скорее выйти отсюда и закурить.

Он стоял и думал о том, что год от года меньше и меньше встречается на комиссии старых знакомых инвалидов — вымирают инвалиды, исчезает боль и укор прошлых дней, а распорядки все те же. И сколько отнято дней и без того укороченной жизни инвалидов такими вот комиссиями, осмотрами, проверками, хождениями за разными бумагами и ожиданиями в разных очередях.

Врач поставил точку, промокнул голубой промокашкой написанное и поднял глаза.

— Что же вы стоите? — И тут же извиняющимся тоном доверительно пробормотал: — Писанины этой, писанины...

Сергей Митрофанович принял справку, свернул ее вчетверо и поместил в бумажник, пеловко держа при этом под мышкой новую, по случаю поездки в город надетую, кепку. Он засунул бумажник со справкой в пиджак, падел кепку, потом торопливо стянул ее и молча поклонился.

Врач редкозубо улыбнулся ему, развел руками — что, мол, я могу поделывать? Такой закон. Догадавшись, что он привел в замешательство близорукого молодого врача, Сергей Митрофанович тоже вымученно улыбнулся, как бы сочувствуя врачу, вздохнул протяжно и пошел из залы, стараясь ставить деревяшку на невыношенный ворс дорожки, чтобы поменьше брякало, и радуясь тому, что все кончилось до следующей осени.

А до следующего года всегда казалось далеко, и думалось о переменах в жизни.

На улице он закурил. Жадно истянув папироску «Прибой», зажег другую и, уже неторпливо куря, попенял самому себе за срыв свой и за дальнейшее свое поведение. «Уж если поднял голос, так не пасуй! Закон такой! Ты, да другой, да третий, да все бы вместе сказали где надо — и переменили бы закон. Он что, из камня, что ли, закон-то? Гора он, что ли? Так и горы сносят. Рвут!..»

До поезда оставалось еще много времени. Сергей Митрофанович зашел в кафе «Спутник», купил две порции сосисок, киселя стакан и устроился за столом без клеенки, но чистым и гладким, в паутине светлых клеточек и полосок.

В кафе кормилась молодежь. За одним столом с Сергеем Митрофановичем сидела патлатая девчонка, тоже ела сосиски и читала толстую книгу с линейками, треуголь-

пиками, разными значками и нерусскими буквами. Она читала не отрываясь и в то же время намазывала горчицей сосиску, орудовала пожом и вилкой, припивала чай из стакапа и ничего не опрокидывала на столе. «Ишь, как у нее все ловко выходит!» — подивился Сергей Митрофанович. Сам он ножом не владел.

Девушка не замечала его неумелости в еде. Он радовался этому.

С потолка свисали полосатые фонарики. Стены были голубыми, и по голубому так и сяк проведены полосы, а на окнах легкие шторы — тоже в полосках. Голубой, мягкий полумрак кругом. Шторки шевелило ветром и разбивало кухонный чад.

«Красиво как! Прямо загляденье!» — отметил Сергей Митрофанович и поднялся.

— Приятно вам кушать, девушка! — сказал он.

Девушка оторвалась от книжки, мутно посмотрела на него.

— Ах, да-да, спасибо! Спасибо! — И прибавила еще: — Всего вам наилучшего! — Она тут же снова уткнулась в книжку, шаря вилкой по пустой уже тарелке.

«Так, под книжку, ты и вола съешь, не заметишь!» — с улыбкой заключил Сергей Митрофанович.

Дверь в кафе стеклянная и узкая. Два парня в одинаковых светлых, не по-осеннему легких пиджаках открыли перед Сергеем Митрофановичем дверь. Он засуетился, зашпешил, не успел поблагодарить ребят, подосадовал на себя.

А по улице все кружило и кружило легкий желтый лист липы, и отвесно, с угрюмым шорохом опадал тополиный. Бегали молчаливые машины, мягко колыхались троллейбусы с еще по-летнему открытыми окнами, и ребяташки шли с сумками из школы, распиная листья и гомоня.

За полдень устало приковылял Сергей Митрофанович на вокзал, купил себе билет и устроился на старой тяжелой скамье с покрашенными, но все еще видными буквами МПС.

С пригородной электрички вывалила толпа парней и девчонок с корзинами, с модными сумками и кошелками. Все в штанах, в одинаковых куртках заграничного покроя, стрижены коротко, и где парни, где девки — не разобрать сразу.

В корзинах у кого с десятков грибов, а у кого и меньше.

Зато все паломали охапки рябины и у всех были от черемухи темные рты. Навалился на мороженое молодняк.

«И мне мороженого купить, что ли? А может, выпить маленько?» — подумал Сергей Митрофанович, но мороженое он есть боялся — все ангина мучает, потом сердце, или почки, или печень — уж Бог знает что — болеть начинается.

«Война это, война, Митрофанович, по тебе ходит», — говорит ему жена и облегчить в делах пытается.

При воспоминании о жене Сергей Митрофанович, как всегда, помягчал душою и незаметно от людей пощупал карман. В кармане пиджака, в целлофановом пакете персики с рыжими подпалинами. Жене его, Пане, любая покупка в удовольствие. Любому подарку рада. А тут персики! Она и не пробовала их сроду. «Экая диковина! — скажет. — Из-за моря небось привезли?» Спрячет их, а потом ему же и скормит.

В вокзале прибавилось народу. Разом, и опять же толпою, во главе с пожилым капитаном пришли на вокзал стриженные парни в сопровождении девчат и заняли свободные скамейки. Сергей Митрофанович пододвинулся к краю, освобождая место подле себя.

Парни швырнули на скамейку тощий рюкзачишко, сумочку с лямками. Вроде немецкого военного ранца сумка, только неукладистой и нарядней. Сверху всего багажа спортивный мешок на коричневом шнурке бросили.

Трое парней устроились возле Сергея Митрофановича. Один высокий, будто из кедра тесанный. Он в шерстяном спортивном костюме. Второй — как вылупленный из яйца желток: круглый, яркий. Он все время потряхивал головой и хватался за нее: видно, чуба ему доставало. Третий, небольшого роста, головастый, смирный. Он в серой туристской куртке, за которую держалась зареванная, кудреватенькая девчонка в короткой юбке с прорезом на боку.

Первого, как потом выяснилось, звали Володей, он с гитарой был и, видать, верховодил среди парней. С ним тоже пришла девушка, хорошо кормленная, в голубых брюках, в толстом свитере, до середины бедер спускавшемся. У свитера воротник что хомут, и на воротник этот ниспадали отбеленные, гладко зачесанные волосы. У рыжего, которого все звали Еськой, а он заставлял звать его Евсеём, было сразу четыре девчонки: одна из них, догадался по масти Сергей Митрофанович, сестра Еськина,

остальные — ее подруги. Еськину сестру ребята называли Транзистором — должно быть, за болтливость и непоседливость. Имя третьего паренька узнать труда не составляло. Девушка в тонкой розовой кофточке, под которой острились титчонки, не отпускала от него и, как в забытьи, по делу и без дела твердила: «Славик! Славик!..»

Среди этих парней, видимо из одного дома, может, из одной группы техникума, вертелся потасканный паренек в клетчатой кепке и в рубашке с одной медной запонкой. Остался у него еще малинового цвета шарф, одним концом заброшенный за спину. Лицо у парня переменчивое, юркое, кепочка накинута на смысленные цепкие глаза, и Сергей Митрофанович сразу определил — это блатняшка, без которого ну ни одна компания российских людей обойтись не может почему-то.

Капитан как привел свою команду — так и примолк на дальней скамейке, выбрав такую позицию, чтоб можно было все видеть, а самому оставаться незаметным.

Родителей пришло на вокзал мало, и они потерянно жались в углах, втихомолку смахивая слезы, ребята были не очень подпитые, но вели себя шумно, хамовато.

— Новобранцы? — на всякий случай поинтересовался Сергей Митрофанович.

— Они самые! Некруты! — ответил за всех Еська-Евсей и махнул товарищу с гитарой: — Володя, давай!

Володя ударил по всем струнам пятерней, и парни с девочками грянули:

Черный кот обормот!
В жизни все наоборот!
Только черному коту и не везе-о-о-от!

И по всему залу вразнобой подхватили:

Только черному коту и не везе-о-о-от!..

«Вот окаянные! — покачал головой Сергей Митрофанович. — И без того песня — погань, а они еще больше ее поганят!»

Не пели только Славик и его девушка. Он виновато улыбался, а девушка залезла к нему под куртку и притаилась.

К «коту», с усмешками, правда, присоединились и родители, а «Последний нонешний денечек» не ревел никто. Гармошек не было, не голосили бабы, как в проводины прежних лет. Мужики не лезли в драку, не пластали

на себе рубахи и не грозились расщепать любого врага и диверсанта.

Ребята и девчонки перешли на какую-то вовсе несурную дрыгалку. Володя самозабвенно дубасил по гитаре, девки заперебирали ногами, парни запритопывали.

Чик-чик, ча-ча-ча!

Чик-чик, ча-ча-ча!

Слов уж не понять было, и музыки никакой не улавливалось. Но ребятам и девчонкам хорошо от этой песни, изверченной наподобие проволочного заграждения. Все смеялись, разговаривали, выкрикивали. Даже Володина ядреная деваха стучала туфелькой о туфельку, и когда волосы ее, гладкие, стеклянно отблескивающие, сползали городьбою на глаза, откидывала их нетерпеливым движением головы за плечо.

Капитан ел помидоры с хлебом, расстелив газету на коленях, и ни во что не встречал. Не подал он голоса протеста и тогда, когда парни вынули поллитровку из рюкзака и принялись пить из горлышка. Первым, конечно, приложился тот, в кепке. Пить из горлышка умел только он один, остальные больше дурачились, болтали поллитровку, делали ужасные глаза. Еська-Евсей, приложившись к горлышку, сразу же бросился к вокзальной емкой мусорнице, а у Славика от питья покатились слезы. Он разозлился и начал совать своей девушке бутылку.

— На!

Девушка глядела на него со щенячьей преданностью и не понимала, чего от нее требуется.

— На! — настойчиво совал ей Славик поллитровку.

— Ой, Славик!.. Ой, ты же знаешь... — залепетала девушка, — я не умею без стакана.

— Дама требует стакан! — подскочил Еська-Евсей, вытирая слезы с разом посревшего лица. — Будет стакан! А ну! — подал он команду блатняшке.

Тот послушно метнулся к ранцу Еськи-Евсея и вынул из него белый стаканчик с румяной жепщиной па крышке. Эта нарисованная на сыре «Виола» женщина походила на кого-то или на нее кто-то походил? Сергей Митрофанович засек глазами Володину деваху. Она!

— Сыр съесть! — отдал приказание Еська-Евсей. — Тару даме отдать! Поскольку она...

Она, она не может без стакана!..

Этим ребятам, все равно, что петь и как петь.

Володя дубасил по гитаре, но сам веселился как-то натужно и, делая вид, что не замечает своей барышни, все-таки отыскивал ее глазами и тут же изображал безразличие на лице.

— Ску-у-успа-а! — завопил блатняшка. Громко чавкая, обсасывал он сыр с пальца, выпачкал шарф и понес все па свете.

— Ну, ты! — обернулся к нему разом взъеропившийся Славик.

— Славик! Славик! — застучала в грудь Славика его девушка — и он отвернулся, заметив, что капитан, хмурясь, поглядывает в их сторону.

Блатняшка будто ничего не видел и не замечал.

— Хохма, братва! Хохма! — Когда поутихло, блатняшка, вперед всех смеясь, начал рассказывать: — Этот сыр, ха-ха, банку такую же в родилку принесли, ха-ха!.. Передачку, значит... Жинки, новорожденные которые, глядят — на крышке бабка баская, и решили — крем это! И пама-а-азалися-а-а!..

Парни и девчонки повалились па скамейку, даже Володина барышня колыхнула ядрами груди, и молнии пошли по ее свитеру, а хомут воротника заколотился под накипающим подбородком.

— А ты-то, ты-то чё в родилке делал? — продираясь сквозь смех, выговорил Еська-Евсей.

— Знамо чё, — потупился блатяшка. — Аборт!

Девчата покраснели, Славик опять начал подниматься со скамейки, но девушка уцепилась за полу его куртки.

— Славик! Ну, Славик!.. Он же шутит..

Славик снова оплыл и уставился в зал поверх головы своей девушки, проворно и ловко порхнувшей под его куртку, будто под птичье крыло.

Стаканчик меж тем освободился и пошел по кругу.

Володя выпил половину стаканчика и откусил от шоколадной конфеты, которую успела сунуть ему Еськаина пламенно-яркая сестра. Затем Володя молча держал стаканчик у поса своей барышни. Она жеманно морщилась:

— Ты же знаешь, я не могу водку..

Володя держал протянутый стаканчик, и скулы у него все больше твердели, а брови, черные и прямые, ползли к переносью.

— Серьезно, Володенька... Ну, честное пионерское!..

Он не убирал стаканчик, и деваха приняла его двумя длинными музыкальными пальцами.

— Мне же плохо будет...

Володя никак не отозвался на эти слова. Девушка сердито вылила водку в крашенный рот. Девчонки захлопали в ладони. Сеструха Еськаина взвизгнула от восторга, Володя сунул в растворенный рот своей барышни остаток конфеты, сунул, как кляп, и озверело задубасил по гитаре.

«Э-э, парень, небаские твои дела... Она небось на коньяках выросла, а ты водкой неволишь...»

Сергея Митрофановича потянули за рукав и отвлекли. Славина девушка поднесла ему стаканчик и робко попросила:

— Выпейте, пожалуйста, за наших ребят... И... за все, за все! — Она закрыла лицо руками и, как подрубленная, пала на грудь своего Славика. Он упрятал ее под куртку и, забывшись, стал баюкать и раскачивать, будто ребенка.

«Ах ты, птичка-трясогузка!» — загоревал Сергей Митрофанович и поднялся со скамьи. Стянув кепку с головы, он сунул ее под мышку.

Володя прижал струны гитары. Еська-Евсей, совсем ошеловелый, обхватил руками сестру и всех ее подруг. Такие всегда со всеми дружат, но неосновательно, балуясь, а придет время, схватит Еську-Евсея какая-нибудь жох-баба и всю жизнь потом будет шпынять, считая, что спасла его от беспутствия и гибели.

— Что ж, ребята, — начал Сергей Митрофанович и прокашлялся. — Что ж, ребята... Чтоб дети грому не боялись! Так, что ли?.. — И, пересиливая себя, выпил водку из стаканчика, в котором белели и плавали остатки сыра. Он даже крикнул якобы от удовольствия, чем привел блатняшку в восхищение:

— Во дает! Это боец! — И доверительно, по-свойски кивнул на деревяшку: — Ногу-то где оттяпало?

— На войше, ребята, на войне, — ответил Сергей Митрофанович и опустил обратно на скамью.

Он не любил вспоминать и рассказывать о том, как и где оторвало ему ногу, а потому обрадовался, что объявили посадку.

Капитан поднялся с дальней скамьи и знаками приказал следовать за ним.

— Айда и вы с нами, батя! — крикнул Еська-Евсей. — Веселая будет! — дурачился он, употребляя простонарод-

ный уральский выговор. — Отцы и дети! Как утверждает современная литература, конфликта промеж нами нету!..

«Грамотные, холеры! Языкастые! С такими нашему хохлу-старшине не управиться было бы. Они его одним юмором до припадков довели бы...»

Помни свято,
Жди солдата,
Жди солда-а-ата-а-а, жди солда-а-ата-а-а.

Уже как следует, без кривляния пели ребята и девушки, за которыми тащился Сергей Митрофанович. Все шли обнявшись. Лишь модная барышня отчужденно шествовала в сторонке, помахивая Володиным спортивным мешком на шнурке, и чувствовал Сергей Митрофанович — если б приличия позволяли, она бы с радостью не пошла в вагон и поскорее распрощалась бы со всеми.

Володя грохал по гитаре и на барышню совсем не смотрел.

Сергей Митрофанович узрел на перроне киоск, застучал деревяшкой, метнувшись к нему.

— Куда же вы, батя? — крикнул Еська-Евсей, и знакомцы его приостановились. Сергей Митрофанович помаячил: мол, идите, идите, я сейчас.

В киоске он купил две бутылки заграничного вермута — другого вина никакого не оказалось, кроме шампанского, а трату денег на шампанское он считал бесполезной.

Он поднялся в вагон. От дыма, гвалта, песен и смеха оторопел было, но заметил капитана, и вид его подействовал на бывшего солдата успокоительно. Капитан сидел у вагонного самовара, шевелил пальцами газету и опять просматривал весь вагон, и ни во что не встречал.

— Крепка солдатская дружба! — гаркнули в проходе стриженные парни, выпив водки, и захохотали.

— Крепка, да немножко продолговата!

— А-а-а, цалу-уετε-есть! Но-очь коротка! Не хватило-о-о!

И тут же запели щемяще-родное:

Но-очь ко-ро-отка,
Сня-ят облака-а...

«Никакой вы службы не знаете, соколики! — грустно подумал Сергей Митрофанович. — Ничего еще не знаете. Погодите до места! Это он тут, капитан-то, вольничать

дает. А там гайку вам закрутит! До последней резьбы». Но старая фронтовая песня стронула с места его думы и никак не давала сосредоточиться на одной мысли.

— Володька! Еська! Славик! Где-ка вы? — Сергей Митрофанович приостановился, будто в лесу, прислушался.

— Тута! Тута! — раздалось из-за полка, с середины вагона.

— А моей Марфугы нету тута? — спросил Сергей Митрофанович, протискиваясь в тесно запруженное купе.

— Вашей, к сожалению, нет, — отозвался Володя. Он поугрюмел еще больше и не скрывал уже своего худого настроения.

— Вот, солдатики! Это от меня, на проводины... — с пристуком поставил бутылку вермута на столик Сергей Митрофанович и прислушался, но в вагоне уже не пели, а выкрикивали кто чего и хохотали, брэнчали на гитарах.

— Зачем же вы расходовались? — разом запротестовали ребята и девчонки, все, кроме блатняшки, который, конечно же, устроился в переднем углу у окна, успел когда-то еще добавить, и кепчонка совсем сползла на его глаза, шарф висел на крючке, утверждая собою, что это место занято.

— Во дает! — одобрил он поступок Сергея Митрофановича и цапнул бутылку. — Сейчас мы ее раскур-р-рочим!..

— Штопор у кого? — перешибая шум, крикнула Еська на сестра.

— Да на кой штопор?! Пережитки, — подмигнул ей блатняшка. Он, как белка скорлупу с орешка, содрал зубами позолоченную нахлобучку, пальцем просунул пробку в бутылку. — Вот и все! А ты, дура, боялась! — Довольный собою, оглядел он компанию и еще раз подмигнул Еськиной сестре. Он лип к этой девке, но она с плохо скрытой брезгливостью отстранялась от него. И когда он все же щипнул ее, обрезала:

— А ну, убери немытые лапы!

И он убрал, однако значения ее словам не придавал и как бы ненароком то на колено ей руку клал, то повыше, и она пересела подальше.

На перроне объявили: «До отправления поезда номер пятьдесят четыре остается пять минут. Просьба пассажиров...»

Сергея Митрофановича и приبلудного парня отпустили за столик разом повскакивавшие ребята и девчонки.

Еська-Евсей обхватил сеструху и ее подруг, стукнул их друг о дружку. Они плакали, смеялись. Еська-Евсей тоже плакал и смеялся. Девушка в розовой кофточке намертво вцепилась в Славика, повисла на нем и вроде бы отпустить не собиралась. Слезы быстро катились по ее и без того размытому лицу, падали на кофточку, оставляя на ней серые полоски, потому как у этой девчонки глаза были излажены под японочку и краску слезами отъело.

— Не реви ты, не реви! — бубнил сдавленным голосом Славик и даже тряс девушку за плечо, желая привести в чувство. — Ведь слово же давала! Не реветь буду...

— Ла-адно-о, не бу... лады-но-о-о, — соглашалась девушка и захлебывалась слезами.

— Во дают! — хохотнул блатняшка, чувствуя себя отторгнутым от компании. — Небось вплотную дружили... Мокнет теперьча. Засвербило...

Но Сергей Митрофанович не слушал его. Он наблюдал за Володей и барышней, и все больше жаль ему делалось Володю. Барышня притропулась крашеными губами к Володиной щеке:

— Служи, Володя. Храни Родину... — и стояла, не зная, что делать, часто и нервно откидывала белые волосы за плечо.

Володя, бросив на вторую полку руки, глядел в окно вагона.

— Ты пиши мне, Вова, когда желание появится, — играя подведенными глазами, сказала барышня и обернулась на публику, толпящуюся в проходе вагона: — Шумуто, шуму!.. И сивухой отовсюду прет!..

— Все! — разжал губы Володя. Он повернул свою барышню и повел из вагона, крикнул через плечо:

— Все, парни!

Ребята с девушками двинулись из вагона, а Славикова подружка вдруг села на скамейку:

— Я не пойду-у-у...

— Ты чё?! Ты чё?! — коршуном налетел на нее Славик. — Позоришь, да?! Позоришь?..

— И пу-у-у-у-у-усть...

— Обрюхатела! Точно! — ерзнул за столиком блатняшка. — Жди, Славик, солдата! А может, солдатку!..

— Доченька! Доченька! — потряс за плечо совсем ослабевшую девушку Сергей Митрофанович. — Пойди, милая, пойди, попрощайся ладом. А то потом жалеть будешь, проревешь дорогие минутки.

Славик благодарно глянул на Сергея Митрофановича и, как больную, повел девушку из вагона.

«Во все времена повторяется одно и то же, одно и то же, — подпершись руками, горестно думал Сергей Митрофанович. — Разлуки да слезы, разлуки да слезы... Цветущие свои годы в казарму...»

— Может, трахнем, пока нету стилияг? — предложил блатняшка и потер руки, изготавливаясь.

— Выпьем, так все вместе, — отрезал Сергей Митрофанович.

Поезд тронулся. Девчата шли следом за ним. Прибежал Славик, взгромоздился на столик, просунул большую свою голову в узкий притвор окна.

Поезд убыстрял ход, и, как в прошлые времена, бежали за ним девушки, женщины, матери, махали отцы и деды с платформы, а поезд все набирал ход. Спешила за поездом Еськина сеструха — с разметавшимися рыжими волосами и что-то кричала, кричала на ходу. Летела парящей птичкой девушка в розовой кофточке, а Володина барышня немножко прошла рядом с вагоном и остановилась, плавно, будто лебяжьим крылом, помахивая рукою. Она не забывала при этом откидывать за плечо волосы натренированным движением головы.

Дальше всех гналась за поездом девушка Славика. Платформа кончилась. Она спрыгнула на междупутье. Узкая юбка мешала ей бежать, она спотыкалась. Задохнувшись, с остановившимися, зачерненными краской глазами, она все бежала, бежала и все пыталась поймать руку Славика.

— Не бежи, упадешь! Не бежи, упадешь! — кричал он ей в окно.

Поезд дрогнул на выходных стрелках, изогнулся дугой, и девушка розовогрудой птичкой улетела за поворот.

Славик мешком повис на окне. Спина его мальчишеская обвисла, руки вывалились за окно и болтались, голову колотило о толстую раму.

Ребята сидели потерянные, смиренные, совсем не те, что были на вокзале. Даже блатняшка притих и не ерзал за столом, хотя перед ним стояла непочатая бутылка.

Жужжала электродуга над потолком. По вагону пошла проводница с веником, начала подметать и ругаться. Густо плыл в открытые окна табачный дым. Вот и ребра моста пересчитали вагонные колеса. Проехали реку. Начался дачный пригород и незаметно растворился в лесах

и перелесках. Поезд пошел без рывков и гудков, на одной скорости, и не шел он, а ровно бы легел уже низко над землею с деловитым перестуком, настраивающим людей на долгую дорогу.

Еська-Евсей не выдержал:

— Славка! Слав!.. — потянул он товарища за штаны. — Так и будешь торчать до места назначения?

Изворачиваясь шеей, Славик вынул из окна голову, втиснулся в угол за Сергея Митрофановича и натянул на ухо куртку.

Сергей Митрофанович встряхнулся, взял бутылку вермута и сказал, отыскивая глазами стаканчик из-под сыра:

— Что ж вы, черти, приуныли?! На смерть разве едете? На войну? Давайте-ка лучше выпьем, поговорим, споем, может. «Кота» я вашего не знаю, а вот свою любимую выведу.

— В самом деле! — зашевелился Еська-Евсей и потянул со Славика куртку. — Слав, ну ты чё? Ребята! Человек же предлагает... Пожилой, без ноги...

«Парень ты, парень! — глядя на Славика, вздохнул Сергей Митрофанович. — Ничего, все перегорит, все пеплом обратится. Не то горе, что позади, а то, что впереди...»

— Его не троньте пока, — сказал он Еське-Евсею и громко добавил, отыскавши измятый, уже треснутый с одного края, парафиновый стаканчик. — Пусть вам хороший старшина попадетя!

— Пойдите! — остановил его, очнувшись, Володя. — У нас ведь кружки, ложки, закуска — все есть. Это мы на вокзале пофасонили, — усмехнулся он совсем трезво. — Давайте как люди.

Выпивали и разговаривали теперь как люди. Горе, пережитое при расставании, сделало ребят проще, доступней.

— Дайте и мне! — высунулся из угла Славик. Расплескивая вино, захлебываясь им, выпил, с сердцем отбросил стаканчик и снова спрятался в уголке, натянув на ухо куртку.

Опять пристали ребята насчет ноги. Дорожка их дружелюбием и расположением, стал рассказывать Сергей Митрофанович о том, как, застигнутые внезапной танковой атакой противника в лесу, не успели изготовиться артиллеристы к бою. Сосняк стеною вздымался на гору, высокий, прикарпатский, сектор обстрела выпиливали во

время боя. Два расчета из батареи пилили, а два разворачивали гаубицы. С наблюдательного пункта, выкинутого на опушку леса, торопили. Но сосны были так толсты, а пилы всего две, и топора всего четыре. Работали без рубах, мылом покрылись, несмотря на холод. С наблюдательного пункта по телефону матерились, грозились и наконец завопили:

«Танки рядом! Сомнут! Огонь на пределе!»

Нельзя было вести огонь и на пределе. Надо было свалить еще пяток-другой сосен впереди орудий. Но на войска часто приходится переступить через нельзя.

Повели беглый огонь.

Снаряд из того орудия, которым командовал Сергей Митрофанович, ударился о сосну, расчет накрыло опрокинувшейся от близкого разрыва кургузой гаубицей, а командира орудия, стоявшего поодаль, подняло и бросило на землю.

Очнулся он уже в госпитале, без ноги, оглохший, с отнявшимся языком.

— Вот так и отвоевался я, ребята,— глухо закончил Сергей Митрофанович.

— Скажи, как бывает! А мы-то думали...— начал Еська-Евсей.

Славик высунул нос из воротника куртки и изумленно тараторил на Сергея Митрофановича. Глаза у него ввалились, опухли от слез, голова почему-то казалась еще больше.

— А вы думали, я ногой-то амбразуру затыкал?! — подхватил с усмешкой Сергей Митрофанович.

— А жена? Жена вас встретила нормально? — подал голос Володя.— После ранения, я имею в виду.

— А как же? Приехала за мной в госпиталь, забрала. Все честь честью. Как же иначе-то? — Сергей Митрофанович пристально поглядел на Володю. Большого ума не требовалось, чтоб догадаться, почему парень задал такой вопрос.

Ему-то и в голову не приходило, чтобы Паня не приняла его. Да и в госпитале он не слышал чего-то о таких случаях. Самовары — без рук, без ног инвалиды — и те ничего такого не говорили. Может, тайлись? Правда, от баб поселковых он потом слышал всякие там повествования о том, что такая-то курва отказалась от такого-то мужика-калеки. Да не очень он вникал в бабьи рассказы. В книж-

ках читывал о том же, но книжка, что она? Бумага стерпит, как говорится.

— Баба, наша русская баба не может бросить мужа в увечье. Здорового — может, сгульнуть, если невтерпеж, — может, а калеку и сироту спокинуть — нет! Потому как баба наша во веки веков — человек! И вы, молодцы, худо про них не думайте. А твоя вот, твоя, — обратился он к Славика, — да она в огонь и в воду за тобой...

— Дайте я вас поцелую!.. — пьяненько взревел Славик и притиснулся к Сергею Митрофановичу. А ему захотелось погладить Славика по голове, да не решился он это сделать и лишь растроганно пробормотал:

— Ребятишки вы, ребятишки! Так споем, что ли, орел? — обратился он к Володе. — Детишек в вагоне нету?

— Нету, нету, — загалдели новобранцы. — Почти весь вагон нашими занят. Давай, батя!

По голосам и улыбкам ребят Сергей Митрофанович догадался, что они его считают совсем уж захмелевшим и ждут, как он сейчас затянет: «Ой, рябина, рябинушка» или «Я пулеметчиком родился и пулеметчиком помру!».

Он едва заметно улыбнулся, поглядев сбоку на парней, и мягко начал грудным, глубоким голосом, так и не испетым в запасном полку на морозе и ветру, где он был ротным запевадой.

Ясным ли днем,
Или ночью утрюмою...

Снисходительные улыбки, насмешливые взгляды — все это разом стерлось с лиц парней. Замешательство, пробуждающееся внимание и даже удивленность появились на них. Все так же доверительно, ровно бы расходясь в беседе, Сергей Митрофанович повел дальше:

Все о тебе я мечтаю и думаю...

На этом месте он полуприкрыл глаза и, не откидываясь, а со сложенными в коленях руками, сидел, чуть ссутулившись, раскачиваясь вместе с бегущим вагоном, и совсем уж тихо, на натянутой какой-то струне, притушив готовый вырваться из груди крик, закончил вступление:

Кто-то тебя приласкает?
Кто-то тебя приголубит?
М-милый своей назовет?..

Стучали разбежавшиеся колеса, припадая на одну ногу, жужжало над крышей вагона, и в голосе его, без пьяной мужицкой дикости, но и без лощености, угадывался весь

характер, вся его душа — приветливая и уступчивая. Он давал рассмотреть всего себя оттого, что не было в нем хлама, темени, потайных закоулков. Полуприщуренный взгляд его, смягченный временем, усталостью и тем пониманием жизни, которое дается людям, познавшим ожесточение и смерть, пробуждал в людях светлую печаль, снимал с сердца горькую накипь житейских будней. Слушая Сергея Митрофановича, человек переставал быть одиноким, ощущал потребность в братстве, хотел, чтоб его любили и он бы любил кого-то.

Не было уже перед ребятами инвалида с осиновою деревяшкой, в суконном старомодном пиджаке, в синей косоворотке, застегнутой на все пуговицы. Залысины, седые виски, морщины, так не идущие к его моложавому лицу, и руки в царапинах и темных проколах — уже не замечались.

Молодой, бравый командир орудия, с орденами и медалями на груди виделся ребятам.

Да и сам он, стоило ему запеть эту песню, невесть когда услышанную на пластинке и переиначенную им в словах и мотиве, видел себя там, в семье своего расчета, молодого, здорового, чубатого, уважаемого не только за песни, а и за покладистый характер.

Еще ребята, слушавшие Сергея Митрофановича, изумлялись, думали о том, что надо бы с таким голосом и умением петь ему не здесь. Они бывали в оперном театре своего города, слышали там перестарок женщин и пузатеньких мужчин с жидкими, перегорелыми голосами. Иные артисты не имели вовсе никаких способностей к пению, но как-то попали в оперу и зарабатывали себе хлеб, хотя зарабатывать его им надо было совсем в другом месте.

Но в искусстве, как в солдатской бане, — пустых скамеек не бывает! Вот и поет где-то вместо Сергея Митрофановича безголосый, тугой на ухо человек. Он же все, что не трудом добыто, ценить не научен, стыдливо относится к дару своему и поет, когда сердце просит или когда людям край подходит и они нуждаются в песне больше, чем в хлебе, поет, не закабалая своего дара и не забавляясь им.

Никто не разбрасывается своими талантами так, как русские люди. Сколько их, наших соловьев, испелось на ямщицком облучке, в солдатском строю, в пьяном застолье, в таежном одиночестве, позатерялось в российской глухомани? Кто сочтет?!

Только случай, только слепая удача зачерпнет иной раз из моря русских талаптов одну-другую каплю...

...Незадолго до того, как погибнуть расчету Сергея Митрофановича, по гаубичной батарее шарился лейтенантик с бакенбардами — искал талапты. В сорок четвертом году войско наше уже набрало силу — подпятило немцев к границе, и все большие соединения начали обзаводиться ансамблями. Повсюду смотры проходили. Попал на смотр и Сергей Митрофанович, тогда еще просто Сергей, просто товарищ сержант, прошедший служебную лестницу от хоботного до хозяина орудия.

Смотр проводился в западноукраинском большом селе, в церкви, утонувшей в черных тополях, старых грушах и ореховых деревьях.

На передней скамье сидели генералы и полковники. Среди них был и командир бригады, в которой воевал Сергей Митрофанович.

Когда сержант в начищенных сапогах напряженно вышел к алтарю, командир бригады что-то шепнул на ухо командиру корпуса. Тот важно кивнул в ответ и с интересом поглядел на молодецкого вида сержанта с двумя орденами Славы и медалями на груди.

Сергей Митрофанович пел хуже, чем при своих солдатах, очень уж волновался — народу много набилось в церковь, и голос гулко, ровно бы в доте, разносился под сводами церкви. Однако после популярных фронтовых песенок: «Встретились ребята в лазарете, койки рядом, но привстать нельзя, оба молодые, оба Пети...» или «Потеряю я свою кубанку со своей удалой головой», после всех этих песенок его «Ясным ли днем...» прозвучала так неожиданно, так всех растрогала, что сам командир корпуса, а следом за ним генералы и полковники хлопали, не жалея ладоней.

«Поздравляю! Поздравляю!» — тоже хлопая и пятясь в алтарь, восторженно частил лейтенантик с бакенбардами, главный заводила всего этого смотра фронтовых талаптов.

Быть бы в корпусном ансамбле Сергею Митрофановичу, быть бы с погой, быть бы живу-здорову, детишек иметь и не таскаться на врачебные комиссии, работать бы ему по специальности, а не пилоправом.

Да к массовому культурному мероприятию высшее начальство решило приурочить еще мероприятие воспитательное: в обеденный перерыв на площади возле церкви

вешали человека — тайного агента гестапо, как было оповещено с паперти тем же лейтенантом с бакенбардами.

Народ запрудил площадь. Гражданские и военные перемешались меж собою. Большинству фронтовиков-окопников не доводилось видеть, как вешают людей, — суды и расправы свершались позади них, на отвоеванной земле.

Зафыркал ЗИС, новый, маскировочно покрашенный в зеленые полосы. Народ пугливо расступился перед радиатором машины, целившейся под старую обрубленную грушу, на которой осталась макушка с плодами и толстый сук. К суку привязана веревочная петля.

Поднимались люди на цыпочки, чтобы увидеть преступника, а главное — палача.

Живых палачей Сергей Митрофанович тоже еще никогда не встречал. Предполагал, что выйдет сейчас из-за церкви, из густых деревьев волосатый, рукастый человек и совершит свое жестокое дело. И когда в машину, подпятившуюся кузовом под грушу, запрыгнул молодой парень в перешитых на узкий носок кирзовых сапогах, в не сопревшей от пота гимнастерке с белым подворотничком и с комсомольским значком на клапане кармашка, он все еще ждал, что вот сейчас появится палач, какого он не единожды видел в кино, узколобый, с медвежьими глазами, в красной рубахе до пят.

Парень тем временем открыл задний борт машины. Площадь колыхнулась. Возле кабины, затиснувшись в угол кузова, сидел клочковато бритый мужичонка в ватных штанах, в телогрейке, надетой на нижнюю рубаху, в незашнурованных солдатских ботишках на босу ногу.

«Вот он! Вот он, гад! Шоб тоби... Ах ты, душегуб!..»

«Где он! Где он?» — бегал глазами Сергей Митрофанович, отыскивая агента гестапо в немецкой форме, надменного, с вызовом глядящего на толпу. Как-то из подбитого танка взяли артиллеристы раненого командира машины, с тремя крестами на черном обгорелом мундире. Голова его тоже вроде как обгорела, лохматая, рыжая. Он пнул пашу медсестру, пытавшуюся его перевязать. Тайный агент гестапо в понятии Сергея Митрофановича должен был выглядеть куда большим злодеем и громилой, чем эсэсовец-танкист.

Военный парнишка в кузове вел себя хозяйственно. Он, перевалившись через борт, командовал шоферу, показывая рукою: «Еще! Еще! Еще! Стоп!» — и навис над мужичонкой, что-то коротко приказал ему. Тот попытал-

ся подняться и не смог. Тогда парень подхватил его под мышки, притиснул спиной к кабине и, придерживая коленом под живот, попытался надеть на него петлю. Веревка оказалась короткой и налазила только на макушку. Мужичонка все утягивал шею в плечи, и тогда парень задрал рукою его подбородок, как задирают морду кошку перед тем, как всунуть в его храп железные удила. Веревка все равно не доставала.

Унялась, замерла площадь. Перестали кричать цивилизные, у военных на лицах замешательство, неловкость.

Парень быстро сообразил, что надо делать. Он пододвинул к себе ногой канистру и велел преступнику влезть на нее. Тот долго взбирался на плашмя лежавшую канистру, будто была она крутым, обвальным утесом, забравшись, качнулся на ней и чуть не упал. Парень подхватил его, и кто-то из цивилизных злорадно выдохнул:

— Ишь, б..., не стоит!.. Как сам вешал!..

Надев на осужденного петлю, парень пригрозил ему пальцем, чтоб стоял как положено, и выпрыгнул из машины.

Тайный агент гестапо остался в кузове один. Он стоял теперь как положено, может быть, надеясь в последние минуты своим покорством и послушанием умиловить судьбу. Первый раз он обвел площадь взглядом, затуманенным, стылым, и во взгляде этом Сергей Митрофанович явственно прочел: «Неужели все это правда, люди?!»

— Нэ нравыться? А чоловіка мого... Цэ як? Гэ-эть, подлога, який смириэнький! Бачь, який жалкэнький! — закричала женщина рядом с Сергеем Митрофановичем, и ему показалось, что она обороняется от подступающей к сердцу жалости.

Началось оглашение приговора. Сморчок этот мужичок выдал много наших окруженцев и партизан, указал семьи коммунистов, предал комсомольцев, сам допрашивал и карал людей из этого и окрестных сел...

Чем дальше читали приговор, тем больший поднимался на площади ропот и плач. На крыльце церкви билась старуха-украинка, рвалась к машине:

— Дыгыну, дыгыну-у-у мою виддай!

И не понять было: он ли отнял у нее дитя, или же сам был ее дитем? И вообще трудно все понималось и воспринималось.

Мужичок с провалившимися глазами, в одежонке, собранной наспех, для казни, ничтожный, жалкий, и те фак-

ты, которые раздавались на площади в радиоусилителе,— все это не укладывалось в голове. Чувство тяжелой неотвратимости надвигалось на людей, которые и хотели, но не могли уйти с площади.

Сергей Митрофанович начал сворачивать сигарку, затем протянул кисет заряжающему из его расчета Прокопьеву, который приехал на смотр с чечеткой-бабочкой.

Пока они закуривали — все и свершилось.

Сергей Митрофанович слышал, как зарычала машина, завизжал кто-то зарезанно, заголосили и отвернулись от виселицы бабы. Машина как будто оцупью, неуверенно двинулась вперед. Осужденный схватился за петлю, глаза его расширились на вскрике, кузов начал уползать из-под его ног, а он цеплялся за кузов ногами, носками ботинок — искал опору.

Машина рванулась, и осужденный заперевирал ногами в последней судорожной попытке удержаться на земле. Маятником качнулся он, сорвавшись с досок. Груша дрогнула, сук изогнулся, и все поймали взглядом этот сук.

Он выдержал.

Только сыпанулись сверху плоды. Ударяясь о ствол дерева и о голову дергающегося человека, упали груши на старый булыжник и разбились кляксами...

Ни командир орудия, ни заряжающий обедать не смогли. И вообще у корпусной кухни народу оказалось негусто, хотя от нее разносило по округе вкусные запахи. Военные молча курили, а гражданские все куда-то попрятались.

— Что ж, товарищ сержант, потопали, пожалуй, до дому,— предложил Прокопьев, когда они накурились до одури.

— А чечетка? Тебе ж еще чечетку бить,— не сразу отозвался Сергей Митрофанович.

— Бог с ней, с чечеткой,— махнул рукой Прокопьев.— Наше дело не танцы танцевать...

— Пойдем скажемся.

Они поднялись в гору, к церкви. Повешенный обмочился. Говорят, так бывает со всеми повешенными. На булыжник натекла лужица, из штанин капало. Оба зашнурованных ботинка почти спали с худых грязных ног, и казалось, что человек балуется, раскручиваясь на веревке то передом, то задом, и ботиночки эти он сейчас как запустит с ног по-мальчишески...

Все казалось понарошку. Только на душе было муторно, и скорее хотелось на передовую, к себе в батарею.

Лейтенант с бакенбардами взвыл, театрально воздев руки к ангелам, нарисованным под куполом церкви, когда артиллеристы явились в алтарь и стали проситься «домой».

— Испортили! Все испортили! Никто не хочет петь и плясать! Из кого, скажите на милость, из кого создавать ансамбль?!

— Это уж дело ваше,— угрюмо заметил Сергей Митрофанович. И уже пастойчивей добавил: — Наше дело — доложиться. Извиняйте, товарищ лейтенант...

Лейтенант понимающе глянул на артиллериста и покачал головой.

— Как жаль! Как жаль... С таким голосом... Может, подумаете, а? Если надумаете, позвоните,— уже вдогонку крикнул лейтенант.

Артиллеристы поскорее подались из церкви: тут, чего доброго, и застопорят. Скажет генерал: «Приказываю!» — и запоешь, не пикнешь.

На последнем вздохе кто-то из военных тоскливо кричал про черные ресницы и черные глаза.

К вечеру на попутных машинах они добрались до передовой и ночью явились на батарею.

— Не забрали! — обрадовался командир батареи.

— А мы бы и не пошли,— заверил его хитрый Прокопьев.

— Правильно! Самим нужны! Где-то тут ужин оставался в котелке? Эй, Горячих! — дернул командир батареи за ногу храпевшего денщика.— Дрыхнешь, в душу тебя и в печенки, а тут ребята прибыли, голодные, с искусства.

Отлегло. Дома, опять дома, и ничего не было, никаких смотров, песен — ничего-ничего.

...Постукивали колеса, и все припадал вагон на одну ногу. Солдат-инвалид сидел в той же позе, вытянув деревяшку под столик, и руки в заусеницах и царапинах, совсем непохожие на его голос, покоились все так же, меж колен. Лишь бледнее сделалось его лицо и видно стало непробритое под нижней губой, да глаза его были где-то далеко-далеко.

— Да-а! — протянул Еська-Евсей и тряхнул головою, ровно бы отбрасывая чуб. Рыжие, они все больше кучерявые бывают.

Заметив, что в разговор собирается вступить блатняшка, и заранее зная, чего он скажет: «У нас, между прочим, в тюряге один кореш тоже законно пел, про разлуку и про любовь»,— Сергей Митрофанович хлопнул себя ладонями по коленям:

— Что ж, молодцы.— Он глянул в окно, зашевелился, вынимая деревяшку из-под стола.— Я ведь подъезжаю.— И застенчиво улыбнулся: — С песнями да разговорами скоро доехалось. Давайте прощаться.— Сергей Митрофанович поднялся со скамьи, почувствовал, как тянет полу пиджака, спохватился: — У меня ведь еще одна бутылка! Может, раздавите? Я-то больше не хочу.— Он полез за бутылкой, но Славик проворно высунулся из угла и придержал его руку:

— Не надо! У нас есть. И деньги есть, и вино. Лучше попотчуйте жену.

— Дело ваше. Только ведь я...

— Нет-нет, спасибо,— поддержал Славика Володя.— Привет от нас жене передайте. Правильная она у вас, видать, женщина.

— Худых не держим,— простодушно ответил Сергей Митрофанович и, чтоб наладить ребятам настроение, добавил: — В нашей артели мужик один на распарке дерева работает, так он все хвалится: «Ить я какой человек? Я вот пяту жену додёрживаю и единой не обиживал...»

Ребята засмеялись, пошли за Сергеем Митрофановичем следом. В тамбуре все закурили. Поезд пшикнул тормозами и остановился на небольшой станции, вокруг которой клубился дымчатый пихтовник, а платформы не было.

Сергей Митрофанович осторожно спустился с подножки, утвердился на притоптанной, мазутной земле, из которой выступал камешник, и, когда поезд, словно бы того и дожидавшийся, почти незаметно для глаза двинулся, он приподнял кепку:

— Мирной вам службы, ребята!

Они стояли тесно и смотрели на него, а поезд все убыстрял ход, электровоз уже глухо стучал колесами в пихтаче, за станцией; вагоны один за другим уныривали в лес, и скоро электродуга плыла уже над лесочком, высекая синие огоньки из отсыревших проводов. Когда последний вагон прострочил пулеметом на стрелке, Сергей Митрофанович совсем уж тихо повторил:

— Мирной вам службы!

В глазах ребят он так и остался одинокий, на деревяшке, с обшаженой, побитой сединою головой, в длинном пиджаке, оттянутом с одного боку, за спиной его маленькая станция с тихим названием «Пихтовка». Станция и в самом деле была пихтовая. Пихты росли за станцией, в скверике, возле колодца, и даже в огороде одна подсеченная пихта стояла, к ней привязан конь, сонный, губатый.

Наносило от этой станции старым, пахотным миром и святым ладанным праздником.

Попутных не попало, и все, хотя и привычные, но долгие для него, четыре километра Сергею Митрофановичу пришлось ковылять одному.

Пихтовка оказалась сзади, и пихты тоже. Они стеной отгораживали вырубки и пустоши. Даже снегозащитные полосы были из пихт со спиленными макушками. Пихты там расплозились вширь, сцепились ветвями. Прель и темень устоялась под ними.

На вырубках взялся лес и давил собою ивняк, ягодники, бузину и другой пустырный чад.

Осенью сорок пятого по этим вырубкам лесок только-только поднимался, елани были еще всюду, болотистые согры, испятнанные красной клюквой да брусникой. Часто стояли разнокалиберные черные стога с прогнутыми, как у старых лошадей, спинами. На стогах раскаленными жестячками краспели листья, кинутые ветром.

Осень тогда поярче пынешней выдалась. Небо голубее, просторней было, даль солнечно светилась, понизу будго весенним дымком все подернулось.

А может быть, все нарядней, ярче и приветнее казалось оттого, что он возвращался из госпиталя, с войны, домой.

Ему в радость была каждая травинка, каждый куст, каждая птичка, каждый жучок и муравьишка. Год провалявшись на койке с отшибленными памятью, языком и слухом, он наглядеться не мог на тот мир, который ему сызнова открывался. Он еще не все узнавал и слышал, говорил заикаясь. Вел он себя так, что не будь Паня предупреждена врачами, посчитала бы его рехнувшимся.

Увидел в зарослях опушки бодяк, долго стоял, вспоминая его, колючий, нахально цветущий, и не вспомнил, огорчился. Ястребинку, козлобородник, осот, бородавник, пуговичник, крестовник, яковку, череду — не вспомнил. Все они, видать, в его нынешнем понимании походили друг

на дружку, потому как цвели желтенько. И вдруг заблажил без заикания:

— Кульбаба! Кульбаба! — и ринулся на костылях в чашу, запугался, упал. Лежа на брюхе, сорвал худой, сорный цветок, нюхать его взялся.

И, зашедшаяся от внутреннего плача, жена его подтвердила:

— Кульбаба. Узнал?! — и сняла с его лица паутинку. Он еще не слышал паутинки на лице, запахов не слышал и был весь еще как дитя.

Остановился подле рябины и долго смотрел на нее, соображая. Розетки на месте, краснеют ошметья объеда, а ягод нету?

— Птички. Птички склевали, — пояснила Паня.

— П-п-птички! — просиял он. — Ры-рябчики?

— Рябчики, дрозды, до рябины всякая птица охоча, ты ведь знаешь?

— З-знаю.

«Ничего-то ты не знаешь!» — горевала Паня, вспоминая последний разговор с главврачом госпиталя. Врач долго, терпеливо объяснял: какой уход требуется больному, что ему можно пить, есть, — и все время ровно бы оценивая Паню взглядом — запомнила ли она, а запомнивши, сможет ли обиходить ранбольного, как того требует медицина. Будто между прочим врач поинтересовался насчет детей. И она смущенно сказала, что не успели насчет детей до войны. «Да что горевать?! Дело молодое...» — зарделась она. «Очень жаль», — сказал врач, спрятав глаза, и после этого разговор у них разладился.

В пути от Пихтовки она все поняла, и слова врача, жестокое их значение — тут только и дошли до нее во всей полноте.

Но не давал ей Серсжа горевать и задумываться. Склонился он над землею и показывал на крупную, седовато-черную ягоду, с наглым вызовом расположившуюся в мясистой сердцевине листьев.

— В-вороний глаз?

— Вороний глаз, — послушно подтвердила она. — А это вот заячья ягодка, майником зовется. Красивая ягодка и до притору сладкая. Вспомнил ли?

Он наморщил лоб, напрягся, на лице его появилась болезненная сосредоточенность, и она догадалась, что его контуженая память устала, перегружена уже впечатлениями, и заторопила его.

В речке он попал на черемуху, хватал ее горстями, измазал рот.

— С-сладко!

— Выстоялась. Как же ей несладкой быть?

Он пристально поглядел на нее. Совсем недавно, всего месяца три назад, Сергей стал чувствовать сладкое, а до этого ни кислого, ни горького не различал. Пане неведомо, что это такое. И мало кому ведомо.

Еще раз, но уже молча он показал ей на перевитый вокруг черемухи хмель, и она утомленно объяснила:

— Жаркое лето было. Вот и нету шишек. Нитки да листья одни. Хмелю сырость надо.

Он устал, обвис на костылях, и она пожалела, что послушалась его и не вызвала подводу. Часто садились отдыхать возле стогов. Он мял в руках сено, нюхал. И взгляд его оживлялся. Сено, видать, он уже чуял по запаху.

На покосах свежо зеленела отава, блекло цвели погремки и кое-где розовели бледные шишечки позднего клевера. Небо, отбеленное по краям, неназойливо голубело. Было очень тихо, ясно, но предчувствие заморозков угадывалось в этой, размазанной по небу, белесости и в особенной, какой-то призрачно-светлой тишине.

Ближе к поселку Сергей ничего уже не выспрашивал. Он суетливо перебирал костылями, часто останавливался. Лицо его словно бы подтаяло, и на губе выступил немощный, мелкий пот.

Поселок с пустыми огородами на окраинах выглядел голо и сиротливо среди нарядного леса. Дома в нем постарели, зачернелись, да и мало осталось домов. Мелкий лес вплотную подступил к поселку. Подзарос, запустел поселок. Не было в нем шума и людской суетни. Даже и ребятишек не слышно. Только постукивал в глуби поселка движок и дымила наполовину изгоревшая артельная труба, угверждая собою, что поселок все-таки жив и идет в нем работа.

— М-мама? — повернулся Сергей к Пане.

И она заторопилась:

— Мама ждет нас. Все гляденья, поди, проглядела! Давай я тебе помогу в гору-то. Давай-давай!..

Она отобрала у Сергея костыли, почти взвалила его на себя и выволокла в гору, но там костыли ему вернула, и по улице они шли рядом, как полагается.

— Красавец ты наш ненаглядный! — заголосила Панина мать. — Да чего же они с тобой сделали, ироды ер-

манские-е?! — и копной вальнула на крыльцо. Зятя она любила не меньше, но показывала, что любит больше дочери. Он стоял перед ней худенький, вылежавшийся в душном помещении и походил на блеклый картофельный росток из подвала.

— Так и будете теперича? — Одна — сидеть, другой — стоять? — прикрикнула Паня. Панина мать расцеловала Сережу увядшими губами, помогая ему подняться на крыльцо, жаловалась:

— Заела она меня, змея, заела... Теперь хоть ты дома будешь... — И у нее заплясали губы.

— Да не клеви ты мне солдата! — уже с привычной домашней снисходительностью усмехнулась Паня, глядя на мать и на мужа, снова объединившихся в негласный союз, который у них существовал до войны.

Всякий раз, когда приходилось идти от Пихтовки в поселок одному, Сергей Митрофанович заново переживал свое возвращение с войны.

Меж листовника темнели таившиеся до времени ели, пихты, насаженные сосны и лиственницы. Они уже начинали давить собой густой и хилый осинник и березник. Только липы не давали угнетать себя. Вперегонки с хвойняком, настойчиво тянулись они ввысь, скручивали ветви, извертывались черными стволами, но места своего не уступали.

И стогов на вырубках поубавилось — позаросли покосы. Но согры затягивало трудно. Лесишко на них чах и замирал, не успевши укрепиться.

По косогорам испекло ищем поздние грибы. Шапки грибов пьяно съехали набок. Лишь поганки не поддались инею, пестрели шляпками во мху и в траве. В озеринки падала прихваченная черемуха и рябина, булькала в воду негромко, но густо. Шорохом и вздохами наполнены старые вырубы.

Через какое-то время снова начнется заготовка леса вокруг Пихтовки, а пока сводят старые березники. До войны березы не рубили. Когда прикончили хвойный лес, свернули участок лесозаготовителей, открыли артель по производству мочала и фанеры.

Сергей Митрофанович работал пилоправом, Паня — в мокром цехе, где березовые сутунки запаривали в горячей воде и потом разматывали, как рулоны бумаги, выкидывая сердцевины на дрова.

Он свернул с разъезженной дороги на тропу и пошел

вдоль речки Каравайки. Когда-то водился в ней хариус, но лесозаготовители так захлामीли ее, на стеклозаводе, что пририк к Каравайке, столько дерьма спускают в нее, что мертвой она сделалась. По сию пору гнили в ней бревна, пенья, отбросы. Мостики на речке просели, дерном покрылись. Густо пошла трава по мостам, в гнилье которых уж плодятся — только им тут и способно.

Неподалеку от поселка прудок. В нем мочат липовые лубья. Вонь все лето. К осени лубья повыгаскивали, мочало отодрали — оно выветривается на подставах. Прудок илист, ядовито-зелен, даже водомеры не бегают по нему.

Тропинка запегляла от речки по пригорку, к огородам с уже убранной картошкой. В поселке, установленное на клубе, звучало радио. Сергей Митрофанович прислушался. Над осенней тихой землей разносилась нерусская песня. Поначалу Сергею Митрофановичу показалось — поет женщина, но когда он поднялся к огородам, различил — поет мальчишка, и поет так, как ни один мальчишка еще петь не умел.

Чудилось, сидел этот мальчишка один на берегу реки, бросал камешки в воду, думал и рассказывал самому себе о том, что он видел, что думал, но сквозь его бесхитростные, такие простые детские думы просачивалась очень уж древняя печаль.

Он подражал взрослым людям, этот мальчишка. Но и в подражании его была неподдельная искренность, детская доверчивость и любовь к его чистому, еще не захватанному миру.

— Ах ты, парнишечка! — шевелил губами Сергей Митрофанович. — Из каких же ты земель? — Он напрягся, разбирая слова, но не мог их разобрать, однако все равно боязно было за мальчишку, думалось, сейчас вот произойдет что-то непоправимое, накличет он на себя беду. И Сергей Митрофанович старался дышать по возможности тихо, чтоб не пропустить тот момент, когда еще можно будет помочь маленькому человеку.

Сергей Митрофанович не знал, что мальчишке уже ничем не поможешь. Он вырос и затерялся, как вышедшая из моды вещь, в хламе эстрадной барахолки. Слава яркой молнией накоротке ослепила его жизнь и погасла в быстротекучей памяти людей.

Радио на клубе заговорило словами. Сергей Митрофанович все стоял, опершись рукою на огородное прясло, и почему-то горестно винился перед певуном-парнишкой.

перед теми ребятами, которые ехали служить в незнакомые места, разлучившись с домом, с любимыми и близкими людьми.

Оттого, что у Сергея Митрофановича не было детей, он всех ребят чувствовал своими, и постоянная тревога за них не покидала его. Скорей всего получалось так потому, что на фронте он уверил себя, будто война эта последняя и его увечья и муки тоже последние. Не может быть, думалось ему, чтобы после такого побоища и самоистребления люди не поумнели.

Он верил, и вера эта прибавляла ему и всем окопникам сил — тем, кого они нарожают, неведомо будет чувство страха, злобы и ненависти. Жизнь свою употреблять они будут только на добрые, разумные дела. Ведь она такая короткая, человеческая жизнь.

Не смогли сделать, как мечталось. Он не смог, отец того голосистого парнишки не смог. Все не смогли. Война таится, как жар в загнете, и землю то в одном, то в другом месте огнем прошибает.

Оттого и беспокойно на душе. Оттого и вина перед ребятами. Иные брехней и руганью обороняются от этой виноватости. По радио однажды выступал какой-то заслуженный старичок. Чего он нес! И не ценит-то молодежь ничего, и старших-то не уважает, и забыла-то она, неблагодарная, чем ее обеспечили, чего ей понастроили...

«Но что ж ты, старый хрен, хотел чтоб и они тоже гольшиом ходили? Чтоб недоедали, недосыпали, кормили бы по баракам вшей и клопов? Почему делаешь вид, будто все хорошее дал детям ты, а худое к ним с неба свалилось? И честишь молодняк таким манером, ровно не твои они дети, а какие-то подкидыши?..»

До того разволновался Сергей Митрофанович, слушая лукавого и глупого старика, что плюнул в репродуктор и выключил его.

Но память и совесть не выключишь.

Вот если б все люди — от поселка, где делают фанеру, и до тех мест, где сотворяют атомные бомбы,— всех детей на земле считали родными да говорили бы с ними честно и прямо, не куражась, тогда и молодые не выламывались бы, глядишь, чтили бы как надо старших за правду и честность, а не за одни только раны, страдания и прокорм.

«Корить — это проще простого. Они вскормлены нами и за это лишены права возражать. Кори их. Потом они начнут своих детей корить, возьмутся, как мы, маскиро-

вать свою ущербину, свои недоделки и неполадки. Так и пойдет сказка про мочало, без конца и без начала. Давить своей грузной жизнью мальчика — ума большого не надо. Дорасти до того, чтобы дети уважали не только за хлеб, который мы им даем, — это потруднее. И волчица своим щенятам корм добывает, иной раз жизнью жертвует. Щенята ей морду лизут за это. Чтоб и нас облизывали? Так зачем тогда молодым о гордости и достоинстве толковать?! Сами же гордости хотим и сами же притужальник устраиваем!..»

Папя вернулась с работы и поджидала Сергея Митрофановича. Она смолоду в красавицах не числилась. Смуглолицая, скуластая, со сбитым телом и руками, рано познавшими работу, она еще в невестах выглядела бабой — ух! Но прошли годы, отцвели и завяли в семейных буднях ее подружки, за которыми наперебой когда-то бегали парни, а ее время будто и не коснулось. Лишь поутихли, смягчились глаза, пристальней сделались, и женская мудрость, пажитая разлукой и горестями, сняла с них блеск горячего беспокойства. Лицо ее уже не круглилось, щеки запали и обнажили крутой, не бабий лоб с двумя морщинами, которые, вперекос всем женским понятиям о красоте, шли ей. По-прежнему крепко сбитая, без надсадивости делающая любую работу, как будто беззаботно и легко умеющая жить, она злила собою плаксивых баб.

«Нарожала б ребятишек кучу, да мужик не мякиш попался бы...»

Она никогда не спорила с бабами, в рассужденья насчет своей жизни не пускалась. Муж ее не любил этого, а что не по душе было ему, не могло быть по душе и ей. Она-то знала: все, что в ней и в нем хорошего, — они переняли друг от друга, а худое постарались изжить.

Мать Папина копалась в огороде, вырезала редьки, свеклу, морковь, недовольно гремела ведром. Дом восьмиквартирный, и огорода каждому жильцу досталось возле дома по полторы сотки. Мать Папина постоянно роется в нем, чтобы доказать, что хлеб она ест не даром.

— Да ты никак выпивши? — спросила жена, встречая Сергея Митрофановича на крыльце.

— Есть маленько, — виновато отозвался Сергей Митрофанович и впереди жены вошел в кухню. — С новобранцами повстречался, вот и...

— Ну дак чё? Выпил и выпил. Я ведь ничё...

— Привет они тебе передавали. Все передавали, —

сказал Сергей Митрофанович.— Это тебе,— сунул он пакетик Пανε,— а это всем нам,— поставил он красивую бутылку на стол.

— Гляди ты, они шароховатые, как мыша! Их едят ли?

— Сама-то ты мыша! Пермяк — солены уши! — с улыбкой сказал Сергей Митрофанович.— Позови мать. Хотя постой, сам позову.— И, сникши головой, добавил: — Что-то мне сегодня...

— Ты чего это? — быстро подскочила к нему Паня и подняла за подбородок лицо мужа, заглянула в глаза.— Разбередили тебя опять? Разбередили...— И заторопилась: — Я вот чего скажу: послушай ты меня, не ходи больше на эту комиссию. Всякий раз как обваренный ворочаешься. Не ходи, прошу тебя. Много ли нам надо?

— Не в этом дело,— вздохнул Сергей Митрофанович и, приоткрыв дверь, крикнул: — Мама! — И громче повторил: — Мама!

— Чё тебе? — недовольно откликнулась Панина мать и звякнула ведром, давая понять, что человек она занятой и отвлекаться ей некогда.

— Иди-ка в избу.

Панина мать была когда-то женщиной компанейской, попивала, и не только по праздникам. А теперь изображала из себя святую постницу. Явившись в избу, она увидела бутылку на столе и заворчала:

— С каких это радостей? Втору группу дали?

— На третьей оставили.

— На третьей. Они те втору уж на том свете вырешат...

— Садись давай, не ворчи.

— Есть когда мне рассиживаться? Овощи-те кто рыть будет?

Панина мать и сама Паня много лет назад уехали из северной усольской деревни, на производстве осели, здесь и старика схоронили, но говор пермяцкий так и не истребился в них.

— Сколько там и овощи? Четыре редьки, десяток морковин! — сказала Паня.— Садись, приглашают дак.

Панина мать побренчала рукомыльником, подседа бочком к столу, взяла бутылку с размалеванной наклейкой:

— Эко налепили на бутылку-то! Дорого небось?

— Не дороже денег,— возразила Паня, давая укорот матери и поддерживая мужа в вольных его расходах.

— Ску-усна-а-а! — сказала Панина мать, церемонно

выпив рюмочку, и уже пристальней оглядела бутылку и стол. Губы Сергея Митрофановича тронула улыбка, он вспомнил, как новобранец на вокзале обсасывал сыр с пальца.— Ты чё жмешша, Панька? — рассердилась Папина мать.— И где-то кружовник маринованный есть, огурчики. У нас все есть! — гордо воскликнула она и метнулась в подполье.

После второй рюмки Папина мать сказала:

— На меня не напасешша,— и ушла из застолья, оставив мужа с женой наедине.

Сергей Митрофанович охмелел или устал шибко. Он сидел в переднем углу, отвалившись затылком на стену, прикрыв глаза. Деревяшка его, вытертая тряпкой, сушилась на шестке русской печи, и без нее было легко ноге, легко телу, а вот сердце все подмывало и подмывало.

— Чего закручинился, артиллерист гвардейский? — убрав со стола лишнее, подседа к мужу Паня и обняла его.— Спел бы хоть. Редко петь стал. А уж такой мне праздник, такой праздник...

— Слушай! — открыл глаза Сергей Митрофанович, и где-то в глубине их угадалась боль.— Я ведь так вроде бы и не сказал ни разу, что люблю тебя?

Паня вздрогнула, отстранилась от мужа, и по лицу ее прошел испуг:

— Что ты?! Что ты?! Бог с тобой...

— Вот так вот проживешь жизнь, а главного-то и не сделаешь.

— Да не пугай ты меня-а-а! — Паня привалилась к его груди. Он притиснул ее голову к себе. Затылок жены казался под ладонью детским, беспомощным. Паня утихла под его рукою, ничего не говорила и лица не поднимала, стеснялась, видно.

Потом она осторожно и виновато провела ладонью по его лицу. Ладонь была в мозолях, цеплялась за непробритые щеки. «Шароховатые»,— вспомнил он. Паня припала к его плечу:

— Родной ты мой, единственный! Тебе чтоб все были счастливые. Да как же устроишь такое?

Он молчал, вспоминал ее, молодую, придавленную виной. В родном селе подпутал ее старшина катера с часами на руке, лишил девичества. Она так переживала! Он ни словом, ни намеком не ушиб ее, но в душе все же появилась мужицкая ссадина. Так с нею и на фронт ушел, и

только там, в долгой разлуке, рассосалось все, и обида его оказалась столь махонькой и незначительной, что он после и сам себе удивлялся. Видно, в отдалении от жены и полюбил ее, да все открыться стыдился.

«Ах, люди, люди! Зачем же с таким-то прятаться! Или уже затаскали слово до того, что и произносить его срамно? Но жизнь-то всякий раз нова, и слово это всякому внове должно быть, если его произносить раз в жизни и не на ветер».

— Старенькие мы с тобой становимся,— чувствуя под руками заострившиеся позвонки, сказал он.

— Ну уж...

— Старенькие, старенькие,— настаивал он и, отстранив легонько жену, попросил: — Налей-ка по последней. Выпьем с тобой за всех нас, стареньких.— И сам себя перебил: — Да нет, пусть за нас другие, коли вспомнят. А мы с тобой за ребятешек. Едут где-то сейчас...

Паня проворно порхнула со скамьи, налила рюмку с краями, когда вышли, со звуком поцеловала его в губы и прикрылась после этого платком.

— Эко вас, окаянных! — заворчала Панина мать в сенях.— Все же намилуются. Ораву бы детишков, так некогда челомкаться-то стало бы!

У Сергея Митрофановича дрогнули веки, сразу беспомощным сделалось его лицо, не пробритое на впалых щеках и под нижней губой,— ударила старуха в самое болезненное место.

«Вечно языком своим долгим ботает! Да ведь что? — хотела сказать Паня.— Детишки, они пока малы — хорошо, а потом, видишь вот,— отколупывать от сердца надо...» — Но за многие годы она научилась понимать, что и когда говорить надо.

Сергей Митрофанович зажал в горсть лицо и тихо, ровно бы для себя, зашел:

Соловьем залетным
Юность пролетела...

И с первых же слов, с первых звуков Паня дрогнула сердцем, заткнула рот платком. Она плакала и сама не понимала, почему плачет, и любила его в эти минуты так, что скажи он ей сейчас — пойди и прими смерть, и она пошла бы, и приняла бы смерть без страха, с горьким счастьем в сердце.

Он пел, а Папя, не отнимая рук ото рта и плохо видя его сквозь слезы, причитала про себя: «Ой, Митрофанович! Ой, солдат ты мой однопогий!.. Так, видно, и не избыть тебе войну до гробовой доски? Где твоя память бродит сейчас? По каким краям и окопам? Запахали их, окопы-те, хлебом заростили, а ты все тама, все тама...»

И когда Сергей Митрофанович закончил песню, она притиснула его к себе, торопливо пробежала губами по его побитым сединою волосам, по лбу, по глазам, по лицу, трепеща вся от благодарности за то, что он есть. Живые волоски на его лице покалывали губы, рождая чувство уверенности, что он и навечно будет с нею.

— Захмелел я что-то, мать, совсем,— тихо сказал Сергей Митрофанович.— Пора костям на место. Сладкого помаленьку, горького не до слез.

— Еще тую. Про нас с тобой.

— А-а, про нас? Ну, давай про нас.

Ясным ли днем
Или ночью утрюмою...

И снова увидел Сергей Митрофанович перед собой стриженных ребят, нарядную, зареванную девушку, бегущую за вагоном. Эта песня была и про них, только еще вступающих в жизнь, не умеющих защититься от разлук, горя и бед.

Старухи на завалине слушали и сморкались. Панина мать распевно и жалостно рассказывала в который уж раз:

— В ансамблю его звали, в хор, а он, простофиля, не дал согласия.

— Да и то посуди, кума: если бы все по асаблям да по хорам, кому бы тогда воевать да робить?

— Неправильные твои слова, Анкудиновна. Воевать и робить каждый человек может. А талант Богом даден. За чем он даден? Для дела даден. На утешенье страждущих...

— И-и, голуба-Лизавета, талант у каждого человека есть, да распоряженье на него не выдано.

— Мели!

— Чего мели?! Чего мели?! Если уж никаких способностей нету, один талант — делать другим людям добро — все одно есть. Да вот пользуются этим талантом не все. Ой, не все!

— И то правда. Вот у меня талант был — детей рожать...

- Этих таланов у нас у всех излишек.
- Не скажи. Вон Панька-то...
- А чего Панька? Яловая, что ли? В ей изъян? В ей?!
- взъелась Панина мать.
- Тише, бабы, слушайте.

Но песня уже кончилась. Просудачили ее старухи. Они подождали еще, позевали и, которые крестясь, а которые просто так, разошлись по домам.

На поселок опустилась ночь. Из низины, от речки и прудка, по ложкам тянуло изморозью, и скоро на траве выступил иней. Он пачал пятнать огороды, отаву на покосах, крыши домов. Покорно стояли недвижимые леса, и цепенел на них последний лист.

Шорохом и звоном наполнится утром лес, а пока над поселком плыло темное небо с яркими, игластыми звездами. Такие звезды бывают лишь осенями, вызревшие, еще не остывшие от лета. Покой был на земле. Спал поселок. Спали люди. И где-то в чужой стороне вечным сном спал орудийный расчет, много орудийных расчетов. Из тлеющих солдатских тел выпадали осколки и, звякая по костям, скатывались они в темное нутро земли.

Отяжеленная металлом и кровью многих войн, земля безропотно принимала осколки, глушила отзвуки битв собою.

СИНИЕ СУМЕРКИ

Где-то я слышал, будто в час синих сумерек рождаются ангелы и умирают грешники. Умирают, стиснув зубы, без стога, чтоб не потревожить печальную тишину.

Стихает утомленная земля, остаивается ветер, перестают раскачиваться и мерзло скрипеть осинники. Верующие молятся в кончину дня, шелестя обветшалыми молитвами, а люди, отрешенные от веры, думают, вспоминают, если есть у них вспоминать что-нибудь хорошее. В синих сумерках хочется думать только о хорошем и еще умереть хочется или очиститься.

В такое вот синее предвечерье сидел я, привалившись плечом к косяку, на пороге охотничьей избушки, заблудившейся в еловой парме, глядел на тайгу, расслабленно впитывал в себя тишину.

Мокрую спину парило от печи, гудящей и ухающей сухими еловыми поленьями, лицо корежило каленой стынью, какая накатывает в конце дня, когда синие сумерки с колдовской бесшумностью наплывают из таежных падей и забурьяненных логов.

Лес, поляны, лога, буераки затопают они, наряжая синевою пустоши и провалы в тайге, глухие ямы шурфов, битых здесь еще при царе,— словом, наряжают все горелое, хламное, уродливое, что могло бы утнетать глаз человеческий. Но синева, так же как и солнце, не застит таежной красы. Снега как были белы, такими и остались. Они чуть поголубели только. Березник, утомленно свесивший перевитые космы, не тронут был синим даже в кронах,

лишь слегка потемнел он в глубине, и оттого резче отразились в стеклянном воздухе шеренги пестрых стволов. Липы сделались совсем черны, а голотелые осинники нервно рябили, и все вокруг казалось погруженным в онемелое море, в глубине которого остановились земные стихии.

Григорий Ефимович, хозяин охотничьего пристанища, отбросил дверцу печки,— видно, обжег пальцы,— ругнулся и спугнул благость с моей души.

Треща суставами, я поднялся и пошел к шурфу, что был за бугром. Из нутра его, из-под рыжего снега, ботиночным шнурком вытягивался ключик. Через три-четыре шага жизнь ручейка на свету кончалась, он падал по липовому лубу, подставленному Григорием Ефимовичем в шурф.

Шурф этот зарос худой, остробокой осокою и кустами, у которых корней больше, чем ветвей. Корни схватили и удерживали корку земли. А внизу шурф пустой. Охотник сказывал, с десятков лет назад загнанный по насту сохатый с коротким вошлем провалился в яму. Следом за ним туда сползали ворохи кустов и однажды стащило огромную ель. Она целое лето кореньями хваталась за землю, но не удержалась и огрузла в земную утробу.

Долго катилась ломь и земля в ямину, пока не получилось маленькое озерцо. Видно, ель сделала опору для дна его. Озеро было покрыто ржавой пленкой, никто в нем не жил, кроме лягух, водяной блохи и сонливых водомеров.

Я смотрю на холодный зрак озерца, затянутый оловянным прожилистым льдом. Пучки осоки, еще не задавленные снегом, будто выболевшие ресницы торчат вокруг него. Смотрю и в общем-то понимаю жителей ближней деревни — Становые Засеки, которые утверждают, что водяные облюбовали это место для себя.

И Григория Ефимовича я тоже понимаю. В наши дни, когда захожие в лес людишки почему-то считают своим долгом разорить охотничью избушку или напакостить в ней,— лучшего места для нее нельзя было найти.

Пока наполнялся чайник водой, падающей из лохматого, ржавого луба с шевелящимися в нем ленточками мочала, пока свивалась струйка клубком в посудине,— сишева за избушкой, на которой бойко струилась трава щучка вперемежку с лесной жалицей, загустела, и из глубины леса забусило темной пылью. Трава на избушке, только что видная до каждой былинки, до каждого семеч-

ка, ступивалась, и ветви лип, будто прочерченные в небе, разом спутались. На покосе возле озера, в невырубленных кустах, вроде бы за клубило сизый дым, а липы размыло синевой.

Все в тайге совсем унялось, и шевельнуться либо кашлянуть сделалось боязно, потому что мир казался призрачно-хрупким.

Наступили последние минуты дня, последний его грустный и светлый вздох — и после торжественной этой минуты, после грустного вздоха об уходящем навечно дне сразу же потекла из лесу темнота, словно бы она терпеливо ждала своего часа, таясь под густыми лапами пихтача. Но в том месте, где закатилось солнце и уже успело остыть небо, срез тайги все еще отчетлив, и каждая елка там напоминает тихую часовенку с крестиком на макушке.

В открытой двери избушки стал виден огонек в печной дверце, дым из трубы не столбился более, он смешался с темнотою. Весь лес перепутался. Однако и темнота тоже была кратковременной. Вот раз-другой на поляне, за озерцом, проблеснули искры снега, и пока еще не видная за лесом луна наполнила мир покойным светом, и в небе снова проступила слабенькая синь.

Я пошел от ключика в обход бугра и спугнул из-под низкой, раскидистой пихты, сросшейся с кустом можжевельника, собаку Григория Ефимовича. Она отскочила в сторону и напряженно ждала, когда я пройду, вопросительно пошевеливая хвостом.

— Ночка! — позвал я собаку. Она отступила еще глубже в снег, вместо того чтобы приблизиться ко мне, и, ровно бы извиняясь, поболтала хвостом по снегу. — Ночка! Ты чего? — В ответ собака еще раз шевельнула хвостом, но с места не сдвинулась.

— Отстань от нее! — крикнул из избы Григорий Ефимович. — Не подойдет она к тебе. Чайник неси.

Собака эта, Ночка, весь день хлопотала в лесу, шустро носилась по горам, и сильный, зовущий лай ее раздавался то на еловой гриве, то в густо заросших падах. Мы спешили на этот лай, и, как только сближались с собакой, она переставала гавкать и лишь попискивала.

Мы подходили к ели и задирали головы, Ночка отскакивала в снег, ждала, поглядывая в мою сторону. И стои-

ло мне встретиться с нею взглядом, она чуть шевелила хвостом, будто провинилась передо мною. Если уж долго мы не могли высмотреть белку, Ночка начинала постанывать и царапать лапами дерево, ровно бы хотела сама достать унырливую белку, подать ее нам, чтоб незачем было нам первничать и порох жечь.

Я стучал палкой по стволу дерева. Собака, должно быть, видела схватившуюся за сук белку и от переживаний вдруг взрыдывала, но тут же смолкала, и с нею в вопросительностью глядела на Григория Ефимовича, который шепотом поругивался, напрягал зрение свое и сноровку.

— Вот она, тута! — наконец удовлетворенно сообщал охотник и, прищурив глаз, по-стариковски обстоятельно целился. И я, и Ночка замирали в ожидании выстрела. Казалось, что Григорий Ефимович целится бесконечно долго и что лес тоже ждет, задержав дыхание.

Но вот наконец таежную тишину развалило грохотом выстрела, и, судорожно цепляясь лапками за сучья, от ветки к ветке, все быстрее и отвеснее падала белка. Ночка ловила ее, и виден был только прыгающий пушистый хвостик белки. Поначалу мне думалось — выплюнет собака изо рта раздавленную, никуда не пригодную белку. Но когда раз и другой Ночка положила к ногам Григория Ефимовича, перезаряджавшего ружье, даже слюной не вымоченную белку, а сама, облизнувшись, озабоченно убегала в ельники, зорко отыскивала след и обнюхивала коряги, я понял: Ночка эта из тех собак, о которых можно слышать или читать в книжках, но видеть такую животину редкому человеку доводится.

Меня Ночка избегала, увертывалась от ласки и не обращала никакого внимания на мои городские восторги. Она работала и чем-то все время напоминала многосемянную хозяйку, которая сама хоть и костями гремит, зато дети у нее краснощекие, муж убажен и в доме порядок и достаток.

Была она пепельной масти, с темной припорошенностью на спине и белым фартучком на груди. За масть, видимо, и имя получила собака. Глаза у нее встревоженно-быстрые, захлестнутые брусничной краснотой. Нос узенький, с мокрым, черным пяточком. Рот ее строго, как у окуня, сжат и, как у окуня же, чуть западает в углах. Звериная беспощадность угадывалась в этом завале рта. Но в общем-то мордочка у нее, с перышками бровей, с треугольными некрупными ушами, довольно симпатичная.

Хвост у нее богат, как у лисы. Ночка не понимает красоты своего хвоста, не форсит им, как форсят многие лайки, укладывая хвост кренделем с особым шиком. Сдается мне, окажись у Ночки хвост поменьше и незаметней — она бы и рада тому была. Впрочем, не в красоте ценность охотничьей собаки, в работе.

А Ночка — работница! Она берет белку с земли, с лесной гряды, на нюх и на слух. Куницу тоже берет поверху и понизу. Птицу за дичь не признает: давит в лупках рябков и косачей, если отыщет. Медвежьего следа пугается, за сохатым не идет, диких коз не облаивает, считает их, должно быть, своими, деревенскими.

В полдень мы кипятили чай на старой, сухим кипреем и борцом заросшей вырубке, и получился у нас часовой отдых. Небольшой огонек горел бойко и деловито. Тонкий еще снег растопился кружком, и стало видно желтую, осеннюю траву, не убитую морозами. Береза одиноко и широко стояла посреди вырубки, и тетерева на ней висели, вытянув шеи. Они глядели в нашу сторону. У меня побаливал крестец и лопило шею, оттого что пялился на деревья, высматривал белок. Я крутил головой из стороны в сторону.

— Дома попроси жену, чтоб дала по шее горячим утюгом — помогает! — усмехнулся Григорий Ефимович.

Когда полуденным солнцем обожгло заиндевельный лес и повсюду засверкало, один косач прошелся по сучку березы и побулькал было, но песни его никто не поддержал, и он тоже успокоился, обвис на гибкой ветке. Собака с подведешными боками лежала в стороне от огня, ловко накрыв хвостом почти всю себя, на птиц не обращала никакого внимания.

— Ночка! Ночка! — окликнул я собаку.

Ночка сбросила с себя хвост, вскочила и отпрянула ближе к кустам. Косачи обеспокоенно шевельнулись на березе и еще длиннее вытянули шеи.

— Ночка! Ночка! Что ты, глупая?! Чего ты испугалась?

— Не глупая она. Ума в ней, может, больше, чем у другого человека, — заметил Григорий Ефимович, с сухим хрустом ломая прутья душицы на заварку. — Не зови. Не подойдет. Не мешай отдышаться. Запалилась собака.

— Почему не подойдет, Григорий Ефимович?

— Потому что потому — оканчивается на «у», — ответил школьным каламбуром охотник и сунул горсть души-

цы в котелок. Отмахнувшись от дыма, он сморщился и нехотя добавил: — История у ней.— Разрешая мое полное недоумение, еще добавил, но уже с досадливостью: — Собачья история.— Видно, разговор о Ночке был ему неприятен, и он переметнулся на другое: — На косачей не заглядывайся. Это такая скотина — на виду, а возьми попробуй! Малопульку бы. Да где она у нас с тобой, малопулька-то? — говорил Григорий Ефимович уже буднично, негоропливо, словно рассуждал сам с собою, и пил чай, с треском, вкусно руша сахар.

Он у костра сидел обжито и уютно даже как-то. Кружку он ставил на пенек, хлеб и сахар клал на платочек, развернутый на коленях; ничего у него ни в снег, ни в костер не падало. И одежда на нем была легкая, но теплая, в которой спина не прееет и не стынет,— телогрейка, под нею меховая безрукавка, на ногах коты с плотно обмотанными и вперекрест повязанными онучами.

Осилив две кружки чаю, охотник расстегнул телогрейку, сдвинул молодецки шапку, налил еще кружку с краями и отпыхивался, крякая при каждом глотке чая. На лице его — обветренном, морозом каленном — блаженство. Видно, как наслаждается человек кипяточком, сахаром и кратким отдыхом.

Я знаю Григория Ефимовича не так давно, однако особенности его характера, скорее всего некоторые из них, заметить успел. Григорий Ефимович не тот звероподобный, мохом заросший охотник-промысловик, о котором сложилось вековечное наше представление. Человек он грамотный, острословый и вроде бы легко доступный. Но иногда любит прикинуться таким простачком-мужичком, а потом, когда ты уверуешь в его простоватость, подсадит тебя едучей «умственностью».

Знакомство наше получилось на газетной почве. Григорий Ефимович прислал в нашу редакцию письмо с просьбой приехать в Становые Засеки и укоротить «местного царька», как он выразился в письме.

Царьком оказался директор небольшого лесозавода, Иван Иванович Ширинкин. Он вместе с Григорием Ефимовичем когда-то учился в сельской школе. Смолоду работали они на лесовывозах, но потом пути их невозвратно разошлись.

Когда Ширинкин, почти двадцать лет спустя, возвратился в Засски, поношенный и вежливый,— селяне, удивленные явлением человека, которого в живых уже не чис-

лили, щадили человека. Пытаясь удивить всепрощением, слезливо, шпыпю жалились засекинцы земляку на жизнь. Он сочувственно слушал селян, а после и сам поведал о тех краях, где бывать ему доводилось, и о тех должностях, какие занимал он на своем пути. Лесные люди дивились обширности земли, жизни Ивана Ивановича и значительности свершенных им дел. Даже на фронте он командовал дезокамерой. Не все засекинцы знали, что дезокамера — это не что иное, как вошебойка, думали — секретное оружие какое вроде «катуши».

И когда достроена была лесопилка, уломали засекинцы Ивана Ивановича занять должность директора. Он уважил односельчан, хотя и намекал, что пора подходит ему хлопотать персональную пенсию, как личности особой, наделенной руководящими качествами. Вслед за главной сами собой посыпались на Ширинкина должности помельче: член родительского комитета в школе; член почти всех комиссий поселкового Совета; член пародной дружины; член комиссии содействия ДОСААФ.

Как это нередко случается в наших деревнях, спотычка Ивана Ивановича на руководящем пути произошла из-за сущего пустяка — споткнулся он как раз на собрании, где его должны были ввести в эту самую комиссию содействия ДОСААФ.

Собрание шло быстро, дружно: «За?», «Воздержавшиеся?», «Против?», «Едино...»

— Есть против!

Гул по клубу прокатился. Сколько собраний проходило в Засеках — и всегда единогласно. Кто же это осмелился поперек мира? Оказался инженер с лесозавода. Он-то, как молодой специалист, и ведал этим самым ДОСААФ, о назначении которого многие засекинцы ничего и не знали. Маленький такой инженеришка, соплей перешибить впору, и году нет, как в Засеки приехал, а вот против уж!

— Такой личности, как наш директор, не только оборонное дело, но и обувь нельзя доверить чистить в порядочном населенном пункте! — горячо заявил инженер и с трибуны сошел.

Ивана Ивановича все равно выбрали куда надо, а инженера молоденького стали окладывать, как медведя. Об этом и написал в газету Григорий Ефимович, потому что инженер тот, Веня, квартировал у него.

Я выступил в газете со статьей «В защиту молодого

специалиста». Ответили: «Меры приняты, и объявлен выговор кому надо». А вскоре после этого на Веню-инженера балка сверху упала. Он отлежал с поломанной ключицей три месяца в больнице, возвратился в Засеки, но потом почему-то бросил все и уехал, а я до сих пор вот чувствую себя виноватым. Чтобы Григорий Ефимович не подумал, что я забыл обо всем, и чтоб его или себя утешить, спросил:

— Веня пишет?

— Нет, ничего мне мил не пишет и вестей не подает...— Григорий Ефимович выплеснул остатки чая и тут же, бросив песнопение, мрачно буркнул: — Помогли мы с тобой молодому специалисту.

— Помогли...

Я швырнул чай, глядя в затухающий огонь.

— Ну, а как он?

— Директор-то наш? В светлое будущее нас ведет. Такая его цель.— Григорий Ефимович сунул в мешок кружку, ждал с развязанным мешком, когда я допью чай и отдам ему свою посудину.— Фрукт этот ни мороз, ни жара не берет. А в нашем умеренном климате, да еще при нашей бесхарактерности, такому самое плодородное место.

Столько было горечи в голосе охотника, что я не решился дальше разговаривать на эту тему, и мы молча ушли от костерка, дымящего на вырубке средь выворотней и редких, тонкомерных елушек, оставленных на обсеменение и давно уж высохших.

В лесу, да еще на охоте, нет пустого времени, там всегда бываешь занят, весь в работе, хотя со стороны поглядеть — шатается человек без дела и надобности. И еще в лесу, да на охоте, чем меньше разговариваешь, тем лучше.

Другое дело — вечер! Избушка. Полутемь. Теплынь. Окно совсем уже было затянуто. Стекло в раме составленное. В стыках стекольев вроде бы паучок затаился и плетет паутину. Потом мох ягель вырос на стекле. Я подбросил в печку дров, и мох ягель завял, паук подобрал лапки и утянул в составыши паутину. И опять посинело окошко, но уже грустно посинело, будто дремой сгустило сись.

Григорий Ефимович покуривал крепкую сигаретку «Памир», точил ножик. Нежно, чуть слышно касался он бархатистого бруска, и лицо его от синевы — будто у мертвеца, глаза сверкали злодейски при каждой затяжке.

— Леший ножик точит, неслухов резать хочет, — вспомнил я в детстве слышанную, устаревшую поговорку.

Григорий Ефимович шевельнул бровями.

— Неслухов сейчас лешим не застращаешь! Дружинником разве! — сказал он и быстро дотянул сигаретку.

Мундштук пусто засипел. Охотник хлопнул ладонью по мундштуку так, что огненный катышек от сигаретки улетел к порогу. Потом засветил две свечи, надел на грудь брезент, излаженный вроде фартука, и закатал рукава.

— Снимал бы белок, — кивнул он мне на кожаную сумку, набитую зверушками. — А я бы руководил...

Я сказал, что и рад бы, да не умею, попорчу шкурки только.

— Жа-а-аль, — поправляя на пальце шкурку куницы, снятую еще в тайге, протянул охотник. — В жизни вот пикем не руководил, кроме жены. Дай, думаю... Н-да-а-а... Вот оттого, верию, и завидую Ваньке-то. У самого таланту нет.

— Какому Ваньке?

— Да Ширинкину.

— А-а.

— Видишь, вот как оно! И ты уж привык Иван Ивановичем его навеличивать. И все привыкли. И его приучили. А он, однако, давно смекнул, как можно пустопорожность всякую громкими словами прикрывать! Вот ты сам говорил, что совнархозы разорганизовать собираются. Оказались они, говорил, не нужны в нашем хозяйственном деле. А поди ты — сов-нар-хоз! — Григорий Ефимович поднял вверх пожик, сделанный из пилы, гибкий и бритвенно-острый. Нож сверкнул впотьмах. — Коснись нас, простых людей, от одного названия опешишь.

Слова о простых людях, замечаю я, у Григория Ефимовича налюбимейшие, хоть сам он и не прост. Под топчаном у охотника лежат пачки старых журналов. Младшая дочь Григория Ефимовича работает в библиотеке и списанные журналы отдает отцу. Он вместе с охотничьим имуществом с осени завозит на лошади в тайгу литературу и читает журналы, как сам говорит, от доски до доски. В журналах заметил я подчерки ногтем. И ноготь охотника весьма и весьма остер и точен, под него попадают оплошности авторов, особенно касающиеся тайги, но больше всего чертит охотник там, где автор вольно или невольно криводушничает.

Мне все больше и больше нравится хозяин этой пота-

енной избушки. Нравится, как он рассказывает, преображаясь лицом и голосом. А руки у него заняты делом, и все-то идет ладом и чередом.

— Вы про Ночку хотели рассказать. Что у нее за история? — напоминаю я.

— Говорю — история собачья, — отмахнулся охотник. — Может, не рассказывать? Испорчу настроение.

— Ничего.

Григорий Ефимович вдруг предупреждающе поднял руку с ножом.

Гудела печка. От стыни потрескивали бревна избушки, а больше ничего слышно не было. Я вопросительно уставился на Григория Ефимовича, хотел уж спросить, чего это он, но в это время до меня донесся легкий шорох под окном избушки и деликатный, почти мышинный писк.

— Заговорились! — по-женски хлопнул себя в бока Григорий Ефимович. — Сейчас, Ночка! Сейчас, кормилица моя!

Ночка еще раз пискнула и смолкла.

Григорий Ефимович вытер руки о тряпицу, размял в берестяном корытце сухари с водою, подмешал в них ложки две сгущенного молока. Хлебную затируху готовил он старательно, потом накинуд телогрейку и предупредил меня: пока Ночка ест — не показывался чтобы.

Он долго кормил собаку и все разговаривал с нею, будто с малым дитем. А мне еще с детства ведомо — как строго, даже сурово промысловики относятся к своим верным помощникам и уверяют, что иначе нельзя, иначе, мол, собака разбалуетя.

— Ешь, ешь, — слышал я, — не давься, ешь спокойно. Ах ты, хлопотунья! Ешь, ешь, не бойся! Никто тут тебя не обидит.

Он вернулся с пустым корытцем; потер застывшие руки и подбросил в печку дров. Вешая телогрейку на деревянный штырь, сказал:

— В чем душа держится у собаки! На болтушке тянет. Повредилось у нее горло.

Григорий Ефимович замолк, прислушался как-то почудному, ровно бы одним ухом, и удовлетворенно заключил:

— Ушла в убежище свое. Иной раз в лес убегает, хоть привязывай. То зайца приволокет, то рябка. У дверей положит. В благодарность... Э-эх, язык бы этой собаке! — Охотник еще послушал и уставился в окно, по ко-

торому ровно бы кто-то хлестанул двумя ветками, обмакнутыми в известку. В верхней половине окна, у самого выпиленного бревна, сорочьим крылом отливала мерзлая ленточка. Нижнее звеньшко составного стекла уж совсем померкло, ровно не стекло было, а старая колотая кость, видная до каждой хрупкой прожилочки.

Охотник снова забрался за печку, пошаркал пожик о брусок и продолжал работу. Взрезав белку в промежье, он умело заголял ее и одним движением, как рубашонку с малого дитяти, снимал со зверушки пышнохвостую шкурку. Сырые шкурки он тут же надевал на шомпол за дырочки глаз, а тушки бросал в берестяной противень, к дровам.

— Ты Сухонина, соседа моего, знаешь? Нет? И слава Богу. У него мы с Венькой отбили, можно сказать, собаку. Вот слушай, как дело было. В колонии срок отбывал Сухонин-то. Отбыл и осел в городе. В собачники наладился. Ловил собак и бил по десятке с головы, это еще при старых деньгах. Да еще жирные туши туберкулезникам загонял. Да-а. Я потом промышлял в тайге сезон с Сухонин-ым-то. Набрался он тама ума! Обучился многим политикам. Он собак-то давил только зачуханных каких, а страшную, с харей обезьяньей, либо бесхвостую, либо лопоухую держал взаперти. День-два подержит, глядишь, явится дамочка либо артист и выкуп дают, не считаясь со средствами. Нарвался Сухонин. На што уж хлюст, а нарвался, сплошал! На Корнакова нарвался, на старика. У Корнакова кобель из вогульских лаек. Во всей округе известный. Что по медведю, что по сохатому. На привязи такую собаку держать нельзя, тухнет в ней чутье. Корнаковского-то кобеля и заловил Сухонин. Корнаков сыскал кобеля и вместо выкупа сыновей кликнул. А сынов у него трое — горновыми работают. Они и поломали Сухонину ребра — по ребру на брата.

Сухонин — жох, он и в больнице зря время не терял, заарканил жену себе, пашу, засекинскую. Няней она при палатах состояла.

Деньжонок успел скопить Сухонин-то. Наваристая работа была. И жену подобрал, как у нас говорят, по скачку, которая выше его не прыгнет. Явились они в Засеки, дом отгрохали. К зиме Сухонин договор с «Заготпушшиной» заключил и ко мне в напарники подрядился. Тогда я ему и дал щенка от сучки своей, Касматки.

Григорий Ефимович приостановил работу, снял нагар

со свечи сырыми, красными от сукровицы пальцами. В язычке огня легонько треснуло, зашипело, и до меня донесло запах паленой шерсти и парной крови. Тошнота занудила нутро, и я опустил голову.

Охотник пододвинул свечу ближе к себе, бормотнул что-то насчет зрения, которое якобы слабнет, и вообще, мол, скоро его, такого липового охотника, из лесу гнать и на мыло переделывать надо. После такого высказывания о себе он снова принялся за работу и повел разговор дальше.

— Промысел таежный не поглянулся Сухонину. Дело ведь это не такое уж фартовое, как о нем молва идет. Озолотеть тут не озолотеешь, а вот ревматизм, грыжу либо еще чего в таком роде добудешь. Да что тебе рассказывать? Сам испытал. Вон шея не крутится и глаза ввалились. Это за один день. И день-то почти выходной. Куницу одну квелую гоняли. А то ведь пойдет как молонья, да грядой, все грядой... Дух вон — умогаешься. К стану вернуться сил нету. В лесу у няги ночуешь, а что она, нягато? Один бок греет, другой стынет. Так всю ночь и скоблишься. А ночь-то — двенадцать часиков! Месяцами без бани, без хлеба, без бабы, а заработок стал — хуже некуда. Леса порушены, дичина повыводилась, расценки же прежние. Если на промысловый месяц по кругу сто рублей сойдется — считай, пофартило. А эти сто рублей и на лесопилке можно заработать. Так ведь это дома, в тепле!

О тепле Григорий Ефимович сказал с особой значимостью и упором особым. Я представил себе одинокую ночевку в зимней тайге в такую морозную ночь — и оценил эту вот дыроватую, прокопченную избушку, в которой и ходить-то надо согнувшись, и печку жарить беспрестанно.

Я ровно бы впервые оглядел таежное прибежище. И не знаю уж почему, но в его первобытности, в этих шершавых бревнах с почерневшим в пазах мхом, в дымящей всеми щелями печке, в полуслепом окошке, в притоптанной земле, неровной от узлов и корней, простеживших пол в избушке вдоль и поперек, в нарах, сооруженных из жердей, в деревянных штырях, заменяющих гвозди и вешалки, — во всей этой бесхитростной избушке, пахнущей дымом и смолою, где каждая вещь была необходима, мне открылся свой смысл, своя жизнь, не забарахленная мелочами, праздными словами и зачастую никому не нужной суетой.

Мною овладело чувство зависти, очень странной, самого меня удивившей зависти к тем, кто жил вдали от великих тревог нашего века, от дум, постоянно угнетающих людей, прежде времени их старящих, от душевной смуты, от изнурения повседневного, еще в утробе передающегося будущим людям, нашим детям.

Я уж было дальше повел размышления в таком же роде, но голос охотника вывел меня из забывчивости, и я заставил себя слушать его обстоятельный рассказ, рассказ человека, которому некуда и незачем спешить.

— Дотянул Сухонин кое-как сезон до конца, поступил работать пилоправом на лесопилку. Ружье, однако, не продал. По воскресеньям уходил с Ночкой в лес, крушил там правого и виноватого. Побитую дичину и шкурки сдавал в «Заготпушнину» и приработок охотничий либо вкладывал в хозяйство, либо пропивал без остатка.

Раз ходил Сухонин в заготпушнинский магазин, а он на шахте, верстах в десяти от нас. Напился там и уснул при дороге. Мороз был градусов за двадцать, и хватило бы Сухонина на час с небольшим. Да Ночка спать ему не давала, таскала за полушубок, бросалась на него. Отбился он от нее все-таки, уснул. Ночка загребла его снегом, заползла на хозяина, облапила, ровно мать ребенка, да как завоет. В шахтерском поселке услышали. Доложили куда надо. Участковый милиционер откопал Сухонина. В больницу доставил. Свалил его там, как пень корчеванный. Три пальца на левой да два на правой руке отболели у Сухонина. Милиционер Петрухин, врач и сестра говорили Сухонину после выписки из больницы — легко, дескать, отделался. Собаке спасибо скажи. Сухонин килограмм медовых пряников скормил Ночке и стал спускать ее с привязи. Воле она радовалась шибко. Охотница ж! К простору привыкла. И пользовалась она волею с толком. Принесла восемь щенков. Фенька, дура, потопила всех щенят в противопожарном пруду возле водокачки, а Сухонин избил Феньку, когда узнал, что за щенков деньги могли дать. Фенька со зла вовсе перестала с цепи спускать Ночку. Я долбил соседям: испортится собака. А они страсть куражливые оба: наша собака, хозяин — барин. Охотники торговали у Сухонина Ночку — не продает. «Не хотим корыститься от собаки. Мы и без того в достатке проживаем». Я как-то магарыч выставил. А он, Сухонин, и надо мною давай куражиться. «Знаешь, какая это собака!» — говорит. «Знаю», — говорю. «Она мне жисть спас-

ла! Друг она мне! Лучше бабы моей, может, друг! Сколько ты можешь за нее дать? Сотню?? Две? А за нее и три сотни мало!» — «Сотен, — говорю, — у меня нету. А цену настоящую положу — пятьдесят рублей». — «Пятьдесят?! Э-эй, Ефимович, ума у тебя, извини меня за выражение, плешь помазать не хватит. Друг она мне, понимаешь?! Друг! А вы — пятьдесят!» Короче, выдворил я его из избы. А он вскорости и повесил друга-то...

— Как повесил? — Я аж со скамейки приподнялся.

— Натурально. На веревке, — Григорий Ефимович смешно, как курица, вытянул шею.

Я вставил сигарету в мундштук и сунул его в зубы охотнику. Не дотрагиваясь руками до мундштука, он прикурил от свечи и продолжал:

— Вот тут-то опять и вступает в роль наш Венька. Ишь какое колесо я обогнул и к нему опять возвратился. Выболело об нем сердце. Он ведь, толкую тебе, возвратился из больницы, и думаешь что? Примолк? Пуще прежнего войну против Ваньки повел. На собраниях его, бывало, честит, на производстве срамит, этим — как его? — профаном обзывает. Работяги скалятся. Веселье на лесопилке. Комиссии ездят, уговаривают, оборудование новое на лесопилку дали. Кино стали чаще показывать. В доме заезжих кипяченая вода появилась, кружку с цепи сняли, и никто не ворует кружку-то. Ванька примолк. Сдвиги, одним словом. Венька мой руки потирает. Я ему толкую, Веньке-то, чтобы он уши наостре держал, — мол, против ветра мочишься, гляди, парень, прилетит. А он хотя и ерш, а доверчивый. Пойдет это рассуждать, пойдет рассуждать, ну чисто по-писаному, а сам костистый после больницы, шея тонкая, брюхо подвело, очки во все лицо... Э-эх! — Охотник быстро-быстро зачмокал губами, высосал дым из сигареты. — «Конец, — говорит, — подходит свистунам и очковтирателям, ветер дует в нашу сторону, старик». Ну и дунул, мать бы его растак!

Григорий Ефимович хукнул в мундштук, выдул остаток сигареты, растер его ногой на полу, плюнул с сердцем.

— Тут и я, старый олух, уши развесил, на сдвиги задивился. Не уберег парня от змеев подколодных... Гулянка была у соседа моего, нешумная такая и нелюдная гулянка. День воскресный. Я чего-то во дворе делал, не помню. Смотрю, Фенька шаст мимо меня в нашу избу. Долго ли, коротко ли погостила — выходит с Венькой. Он галстук

привязал, в штиблетах, дурачится: «Видишь, старик, Иван Иванович лично зовет меня выпить с ним мировую. Наша берет!» — «Берет, — говорю, — и рыло в крови. Дело, — говорю, — твое, но не пивать бы тебе пива-браги в такой дружной компании». Тут Фенька как застрочит пулеметом: и не по-соседски это, и не по-людски. Сами Иван Иванович покоряются, а ты влияешь, ладу перечишь, сам вечно поперек миру и молодого человека туда же... «Ладно, ступайте». Ушли они, а я места себе не нахожу, дело всякое из рук валится. И сердце так болит, так болит. Оно болит, а не скажет ведь. Долго ли, коротко ли, хлоп — ворота настезь, Фенька бежит, причитает: «Такую собаку! Господи! Такого человека! Господи!» Я был да не был во дворе. Запрыгиваю к соседу во двор, а там картина: Ванька за щеку держится, кровина из него валит, по двору Венька с кайлом за Сухониным гоняется, а на балке в петле собака дергается. Нож всегда при мне. Перехватил веревку одним махом — и к Веньке. Как и я поспел только?! Он уже Сухонина в стайку загнал и тюкает, в темноте угодить не может, очкастик. Выдернул я у него кайлу, а он и меня за грудь: «Старый мир! — кричит. — До основания!» — кричит. И матом нас, матом. В Засеке выучился, до этого «наплевать» от него не слышал. Ну, я тут схитрил маленько. Трясу его тоже и ору: «Жива собака, жива! Что ты как белены объелся?!» Оттолкнул он меня и из стайки вон. Я за ним. Гляжу, и на самом деле собачонка эта живучая под крыльцо ползет, хрипит, зевает, лапами землю царапает и ползет. Сгреб ее Венька в беремья и зарыдал. Дома я их обоих молоком отпаивал. И с тем и с другим еле отводился.

Григорий Ефимович еще раз потянулся ко мне, и я быстро, уж без мундштука, всунул сигарету ему в зубы и заметил, что руки охотника мелко-мелко дрожат.

— Погоди, парень, — устало молвил Григорий Ефимович и посидел с минуту молча, уронив руки на колени, а потом вздохнул и, ровно бы решив, куда, дескать, тебя денешь, продолжал, но уж разжалобившись от всего, что он мне сообщил, и даже, почудилось мне, задрожал голосом. — Три года ко мне на брюхе собака ползала. Подползет и обмочится. До сей поры хвост промеж ног таскает и голос при людях не подает. В отдалении если, еще взлетает, а вблизи — ни-ни-и-и. Хлебца либо косточку скушать не может по сию пору, и глаза досе кровью у нее захлестнуты...

Все двенадцать шкурков были сняты и вздеты на шом-

пол. Григорий Ефимович встряхнул шомпол, и серая мягкая волна колыхнулась по избушке, поколебав огоньки свечей. Он повесил шомпол со шкурками на два деревянных штыря, вбитых в стену, и рукой дотронулся до куньей шкурки. И как будто уже не мне и не жалостным, а обыкновенным голосом добавил:

— Потеряла она доверие к человеку. Память же ее, собачья, прочней пашей. У нас гибче все, оттого мы и забываемся быстро, а она, видишь, не чета нам.

— Да что у них там получилось-то?

— Что получилось? Подлость. Зверство. Чего там еще могло получиться.

Я терпеливо ждал.

— Ванька Ширинкин моего соседа заспинником держал при себе. Самому-то несподручно балками бросаться. Руководитель!.. Ну вот, заманили они Веньку-рукосуя, много ли, мало ли выпили и во двор гулять вышли. А там Ночка случись. «Эта собачка и спасла вам жизнь?» — спросил Венька. «Она, она, милая», — за Сухонина ответил Ширинкин и от чувств полез к Ночке целоваться. А спиртной дух, скажу я тебе, лайке что шило в ноздрю. Она и цапнула Ваньку. А Сухонин — в петлю ее! Это при дурачке инженерушке-то! Вот тебе и вся собачья история, — разом оборвал рассказ охотник и сердито завозился за печкой, вытер нож, засунул его в деревянные ножны, добавил патронов в патронташ вместо сожженных днем на охоте, харчей в мешок, посоображал еще, чего не забыл ли на завтра сделать, и вышел на улицу.

В ключике охотник вымыл руки, попутно принес бремя дров, устроился на топчане, нащупал в головах журнал и зашелестел страницами. Читал он недолго. Усталость сморила его. Отложил журнал, снова одним ухом прислушался и спросил:

— Чего притих-то?

— Думаю.

— Видишь вот, не хотел я тебе рассказывать, а ты прилип.

— Не приходил он к вам?

— За собакой-то? Как не приходил? Приходил. Судом на Веньку грозился за покушение на жизнь. Отдал я ему полсотенную и тоже припугнул: суд, мол, на суд, статья, мол, есть за насильство над животными. Он только статей и боится, а больше ничего. А я и не знаю — есть она или нет, такая статья-то?

— Говорят, есть, да применяют ее редко.

— Н-да-а-а, настроение я тебе все же испортил. А ты небось нервы успокаивать ехал?

— Успокою еще.

— Горе учит доброте. Жива собака. При деле. Венька тоже не пропадет. Конечно, сильно его у нас заломали. Но молодой еще, срастется. С рубцами крепче будет.— Охотник нарочито длинно, со стоном зевнул.— Если спать не будет, дров не жалея — не покупные, а вот свечку, коли не надо, задуя.

Я прихватил огонек свечи, он бабочкой шевельнулся в пальцах и затих. Ладанным запахом забило на время угарный дух, которым была пропитана избушка.

Григорий Ефимович еще немножко покряхтел, повернулся и густо, размеренно зашумел носом.

Я подшевеливал в печке, тянул чай.

В глухой утробе растревоженной печки кудряво загибались, пузырились смолю березовые поленья. Капли черной бисерью вспухали на бересте, тяжело скатывались и взрывались на беловатых от жары углях. Под берестой зеленоватая заболонь исходила сыростью и сдерживала разбушевавшийся огонь. Сырые поленья одпотонно шипели, под шипение это ползли думы.

Виделся отец с кожаными верхонками — рукавицами — за поясом. В руках у него остроязыкий топор с желтым, как древняя кость, топорищем, отец рубит мелкий березняк, чапыжником у нас его называют и для устойчивого, основательного тепла подкладывают в русскую печь вместе с сушняком.

Дядья видятся. Все они черны от сажи, угорелые и потные. Они делают из бересты полавки для сетей, или, как у нас, в Сибири, говорят, наплавки. Наплавки эти в ряд, с чувством дистанции, садят на верхнюю тетиву сети, а на нижней — гладкие, из конских и коровьих костей пиленные грузила — кибасья. Дядья готовятся плыть на север — рыбачить. За фартовыми деньгами едут. Жены приученно собирают их в дальнюю дорогу, не решаясь вслух высказать своих сомнений насчет такого уклада жизни.

Бродяги они были, мои дядья, все искали по свету удачу. Явившись домой, гуляли широко, разудало, драли друг на дружке рубахи, распугивали жен и ребятишек, а сейчас вот вспоминаются людьми незлобливими, насмешливыми. Должно быть, та же вековая мягкость души, что

и у засекинцев, живет во мне, может, зимняя ночь, медленный огонь в печке и ощущение синих сумерек, как бы пропитавших меня, виновны в том, что обо всем хочется думать хорошо и ждать от жизни только добра.

Я прислушиваюсь к шумному дыханию спящего охотника, прислушиваюсь к ночи. Не заскулит ли от холода Ночка под порогом.

Все тихо. Ночка не скулит, не просится в тепло.

Почему меня мучает чувство вины? Не перед людьми, нет. Люди сами творят все худое и хорошее, поэтому их легче виноватить и оправдывать легче. Мучает меня совесть за Ночку — собаку, за тех убитых и брошенных по фронту раненых лошадей, которых я никогда-никогда не смогу забыть. И еще не смогу забыть, мослатых коров и бычков, прошедших путь из Казахстана до уральской бойни без корма и догляда; и ту лосяху, которая, спасаясь с затопленного острова, плыла по уральской реке, а ее с улюлюканьем и удалым воем били баграми сплавщики; зайчишек, которых травят злодеи, натаскивая туполобых гончаков еще в сенокосную пору; согнанных с болот и перебитых журавлей, опустевших гнездовиц птиц, отнесенных в холодные леса севера, неподходящие для песен и жительствова; и все тех же горемычных собак, истребляемых петлей и зарядами среди бела дня во многих наших заштатных и даже больших городах, где пространно, часто с зажмуренными глазами учим мы друг друга гуманности.

Горе учит доброте!

Но отчего же тогда мы, так много горевавшие, чем дальше живем, тем больше бед приносим тем, кто одевает нас, кормит? Почему? Почему из-за необузданности людской страдают преданные хозяину животные, по разумению которых он, хозяин, так мудр, что освободил их от забот о себе? Они даже и не подозревают, что если хозяева передерутся меж собой, то прежде всего сторгят от адского огня они, бессловесные, доверчивые. Погибнут, не ведая своей вины, как в прошлую войну погибали под бомбежками и в блокадах дети...

От крепкого чая или от дум мне спать совсем расхотелось, и, когда котелок опустел, я снова отправился к ключику за водой по узенькой тропинке, тенисто обозначенной в свежем снегу.

С почью пришел на землю сухой мороз, устойчивый, покойный. От избушки к покосику уходило два

ряда ровного березника, и аллея сверкала искрами и как бы текла прямо к месяцу серебряным потоком. Я спросил у Григория Ефимовича еще в первый день — почему березник растет в шеренгу и на равном расстоянии друг от друга. «Когда-то весной, — ответил он, — по рыхлому снегу проходили два лося, и во вдавыши следов насорило семена. Они взяли и проросли: шаг — береза, шаг — береза».

Так все просто!

Месяц был ярок и бел. До того ярок и бел, что от него, словно в полнолуние, всюду лежали тени вперехлест. Лишь на березовой аллейке тени в ровном строю.

Мохнатый, заснеженный был лес. Все остановилось на земле и боялось ворохнуть, чтобы не спугнуть этот бескрайний сон тайги. Лишь изредка в глубине ее с мягким шорохом сползал снег да настойчиво стекал по обмерзшему лубу ручеек. От него исходил редкий парок и белой, игольчатой бахромой остывал на спутанных кустах бузины.

Тень от избушки вытянулась до самого покоса. Беличьим хвостом шевелилось отражение дыма. На покосе тоже лежали тени деревьев, сросшихся у комлей. Вершинами они кинжально втыкались со всех сторон в стог сена, сметанный посреди лесной кулижки. Жердь торчала в стоге вроде антенны и тоже давала тень отчетливую, тонкую, и звезды в небе отчетливы были, и месяц отчетлив до того, что в пазухе его проступало ледяное донышко всей луны. Небо возле месяца и звезд покрылось оловянной пленкой, темной в отдалении и мертвенно-белой вблизи.

Тишину потревожило высоким гулом. Самолет прошел. Звук от него был так неуместен в этом ночном безмолвии, что тайга торопливо приглушила его собою, захоронила в гуще своей без эха и отголоска. Снова мерцающее звездами небо, скопище теней на снегу и безбрежная, все утишающая тайга, объятая белым сном.

С угрюмой отчужденностью глядел на меня лес, а бесконечные просверки искр и беззвучное их умирание похожи были на волшебное действие, свершившееся под покровом ночи, тайно от людского глаза.

Струйка совсем истончилась, и вода текла беззвучно, будто ключик не хотел беспокоить собою ночную тишь. Тупая сахарная голова поднималась от земли, и струйка разбивалась об нее, разлетаясь в разные стороны с едва

уловимым потрескиванием. Мерзло потрескивало и в лубе, а под ногами моими крошились звонкие льдинки.

— Ночка! Ночка! — шепотом позвал я, перебирая руками дужку котелка. Под пихтой шевельнулась и тут же сторожко замерла собака. С пихты сыпанулась щепотка-другая перекаленного снега, и он по-мышьиному прошелестел в сухопаром малиннике...— Ночка! Ночка! Иди ко мне, иди, не бойся!

Зашуршало снова под пихтой, и с лапок ее облачком сбился снег — Ночка помахала хвостом.

Котелок полон. Я приподнял тяжелую пихтовую лапу, и собака с подведенными боками пружинисто отскочила в сторону. Морда ее узенькая, хвост, которым она пошевеливала, густо покрылись изморозью. Собака переступила с лапы на лапу, облизнулась и тонко пискнула.

— Пойдем, пойдем,— доверительно манил я Ночку в избушку. Но она не приблизилась ко мне, а стояла, смотрела и ждала, когда я уйду, чтобы забраться под пихту, укрыться хвостом и снова греть себя дыханием своим.— Ну, пойдем же. Будь ты человеком!

Ночка не двинулась за мной. Как только я отошел к избушке, она сложила хвост крендельком, сунула нос в свежий беличий след, но тут же обернулась в сторону избушки, хвост ее разжался, она вдавила его меж ног и залезла под пихту.

Я постоял подле двери избушки. Глядел на небо, на лес.

Кусочек вечерней синевы, почти уже растворенной предчувствием утра, еще чуть держался в угольчатой выемке на горизонте. А земля все цепенела от стужи, небо до звонкости вылудилось уже во всю ширь, звезды мерзло светились. Синенький клочок — слабое напоминание вчерашних сумерек, вчерашнего дня — вот-вот остудит, затянет бело-серебристой пленкой, и тогда уж все в этом мире возьмется искрами. Мигать они будут, пересыпаться из конца в конец по обширной и тихой земле, да ключик будет чуть слышно шевелиться в лубе. Время от времени собака Ночка сбрасывает с себя хвост, прислушивается, ухом распознает ночные шорохи и, ничего не заподозрив худого, станет спать по-собачьи чутко до утра.

С рассветом она начнет работать, выполнять свое извечное собачье дело, помогать человеку добывать пищу и одежду.

Тут все как надо: небо с молодым месяцем, сколки

звезд, леса, объятые зимним сном, охотник, отдыхающий в избушке по-хозяйски основательно, собака, сторожащая его, и покой этой тайги.

Только я здесь ни к чему. Вот так-то!

В тайге сделалось градусов под тридцать. Еще раз или два звал я Ночку в избушку, но она не шла. В какую-то минуту вдруг разом уснул я, и сколько проспал, не знаю.

Проснулся тоже разом, как от тычка. В избушке подвально тихо и холодно. Угол над изголовьем Григория Ефимовича расчертило белым, и я не вдруг догадался, что стены так быстро промерзли в пазах. Щели в дверях и у косяков тоже успели обрасти куржаком.

Я раскопал в золе неостывшие угли, быстро расшевелил печку. Расслабленный теплом, охотник разжался весь, доглядывая последний сон. Спал он не по возрасту долго и крепко. Изнурительная работа и таежный воздух, должно быть, способствовали тому.

Утром я покинул тайгу, хотя собирался побыть у Григория Ефимовича неделю, а может, и больше. Григорий Ефимович удерживал меня не очень настойчиво. Делал он это, чувствовал я, только по доброте души своей.

НА ДАЛЕКОЙ СЕВЕРНОЙ ВЕРШИНЕ

Он часами неподвижно стоял на каменном останце, окутанном сонной дымкой. Останец был огромен, гол, черен и напоминал развалины древнего замка. Вокруг останца раскатились на версту, а где и на две, каменья величиной с двухэтажные дома. От этих каменьев откололись и рассыпались булыжины поменьше, и осыпи были похожи на серые стада, пасущиеся вплоть до зимних снегопадов у подножия скал на густотравных, заболоченных полянах.

Останцев, гольцов, осыпей, срезанных ветрами скал много на Великом хребте, и почти все они называются соответственно той форме, какую дала им природа: Медведь, Чум, Трезубец, Патрон и даже Бронепоезд.

Он почему-то выбрал Патрон. И на его тупом срезе, нацеленном в небо, стоял, глядя вниз. Если бы у него не было рогов, раскидистых и ветвистых, его можно было бы принять за причудливо источенную дождями и ветрами вершину — так он сливался со всем этим, убаюканым тысячеверстной тишиною, суровым миром.

На останец он выходил перед закатом солнца, когда спадала с вершин синяя паутина и было далеко и отчетливо все видно. Солнце, перед тем как закатиться, уютно западало в рога и какое-то время покоилось там, будто в раскинутых добрых руках. Затем оно скатывалось за спину оленя, и от каждого отростка его рогов улетали ввысь лучи, весь он вспыхивал голубоватым, загадочно-манящим светом и на миг словно бы превращался в яркую планету,

взошедшую над Великим хребтом. Все звери и птицы замирали вокруг, в пугливой настороженности поворачивали головы туда, где вот уже несколько вечеров без дыма сгорал дикий олень и не мог сгореть.

Вожак двухтысячного оленьего стада, которое кочевало к родному колхозу с запада на восток по Великому хребту, выедавая по пути пастбищные мхи, чуть приотставал и, по-мужицки крепко расставив узловатые ноги, тревожно глядел на останец, где стоял и светился олень.

Ноздри вожака дрожливо пульсировали, от напряжения по ним сочилась сырость, к голове его прилиwała кровь, и в ушах начинало шуметь. Вожак тряс головою, пытаясь отогнать этот густой, тяжелящий все тело шум.

Вожак был грудастый, кряжистый и строгий. Он вместе с сильными оленями — хорами возглавлял оленье стадо, и вожаком признавали его не только олени, но и пастухи-оленеводы, доверчиво разговаривающие с ним и балующие его за верную службу солью-лизунцом. Вожак не раз спасал это стадо от пирских и бесстрашных северных волков, привыкших добывать еду в смертельной борьбе. Вожак помогал пастухам находить кормные поляны ягельника среди осыпей, на пустынном, обветренном хребте; почуять надвигающийся обвал и узреть затянутые рыжей шерсткой мха трясишные окна; расслышать крадущиеся, по-кошачьи мягкие шаги белощеого горного медведя; и много еще нужного и полезного людям и оленям знал и умел вожак.

Не умел вожак одного — драться за продление рода, добывать в борьбе любовь. Люди избавили его от этой извечной необходимости. Люди сделали его покорным и послушным, они загасили в нем пламя, которое сожгло не одно оленье сердце, тот огонь, из которого выплавлялись быстрые, как вихрь, самоотверженные и гордые в любви олени.

А тот, на останце, хотел сразиться.

В позе его напряженной и дерзкой, в раскинутых встреч ветру рогах, в поджатой ноге был вызов, и чувствовалось — вот-вот затрубит он на весь этот подоблачный край, встревожит и пробудит от белого сна горы и бросится следом за пенистыми потоками вниз, слепой и яростный от губительно-сладкой звериной страсти.

Вожака охватило беспокойство. Он уводил стадо все дальше и дальше от останца Патрона. Фигурка оленя на гольце сделалась уже с комарика величиной. И все же в

долгую северную зорю, почти сомкнувшимся кругом обнявшую хребет, видно было дикаря-оленя, как спускалось солнце на его рога, видно было и как он на мгновение превращался в язычок пламени и невиданной планеткой восходил над землей, а затем медленно угасал в пепельно-серых северных сумерках. Но вот стадо отошло так далеко, что останец Патрон призрачно закачался и, как бы отделившись от земли, слился с небом, растворился в нем.

Мускулы вожака сами собой расслабились.

Он успокоенно улегся на просторной ягельной поляне, утомленно закрыл белыми толстыми ресницами глаза. Взамен вожака по бокам стада встали два сильных хора, подняли головы, дрожливыми ноздрями процеживая струи воздуха, распутывая нити, вплетенные в эти струи, будто читали бесконечные, сложные, им лишь ведомые письмены. Вокруг отдыхающего вожака, кокетливо изгибая шейки, ходили пышногрудые, ушастые важенки.

Вожак смотрел на них дремло и сыто, переваливая во рту сочную ягельную жвачку.

Утром мимо стада, сопровождаемые собачьим лаем и гамом, прокочевали пастухи, остановились ненадолго, дали соли-лизунца вожаку и разбили палатку за седловиной, в завегрии, у потока. Вожак через два-три дня приведет стадо к стоянке пастухов, и они пропустят его мимо, после снова обгонят и снова разобьют палатку впереди.

Так вот постепенно стадо оленей перевалит хребет. Нагуляв тело на горных ягельниках, к зиме олени спустятся на равнину, в колхоз, к спокойной, беззаботной жизни.

А дикарь этот останется здесь, одинокий, мятежный, и скорее всего волчья стая выследит его зимою, погонит так, что от мороза у него ледяными пробками схватит ноздри, и он, задохнувшийся, обреченный, остановится в глубоком снегу. Волки неторопливо стянутся вокруг дикаря петлею, разорвут и растащат его по кусочку.

Даже кровь с камней и со снега слижут волки.

Откуда он взялся, этот бесстрашный гость? Зачем пришел сюда?

Уж много лет в этих краях нет диких оленей. Люди оттеснили их еще дальше на север, в ветреный и пустынный заполярный круг. Может, отбился от домашнего стада и одичал этот олень? Может, во время гона, забыв обо всем на свете, мчался безрассудно за важенками и очу-

тился здесь? А может, никак не сыщет важенок и рыщет по хребту, истово желая любить и сражаться за любовь?!

У него были важенки. Две. Как он нашел их среди камешных осыпей, в голых завалах ущелий, в искореженных худых лесах — известно только ему. Он был молод, к нему пришла первая свадебная осень, и он, происшедший от дикого оленя и гибкой, как ива, северной оленухи, был неистов в любви и жадно искал еще и еще самок. Но сильнее любви он жаждал боя, горячей схватки, чтобы истратить переполнявшую его страстную силу, притушить огонь, все больше распалющийся в сердце.

Но на огромном, необозримом хребте не было больше диких тонконогих оленух и гривастых диких оленей. Он трубил, он звал их, и две важенки, чудом найденные им, чутливо насторожив уши, слушали его гневный страстный голос и покорно следовали за ним все дальше и дальше к югу, в сторону склонов, покрытых лесами, пугающих скрытою в них опасностью.

Жажда материнства была сильнее страха.

Они не отставали от самца. А он, ловя томительные, зовущие запахи в струистом осеннем ветру, точно шел к огромному оленьему стаду. И пришел.

Он стоял и вечер, и два, и три на останце, ожидая, когда придут к нему сразиться такие же, как он, гордые и яростные самцы. Он трубил так, что внизу, утаившиеся в камнях, вздрагивали немые, терпеливые и преданные в любви важенки.

Никто не откликался на голос дикаря и не шел с ним драться. Он мог бы сам прийти к стаду и ударить копытом оземь так, что камни полетят из-под них, густым комарьем закружатся клочья травы и мха, повиснет вокруг предчувствие битвы. Но запахи дыма, собак и какого-то устойчивого, сытого покоя пугали его.

Там, внизу, пахло человеком. А человека он не переставал бояться даже во время гона.

И все же любовь преодолела страх. Когда стадо ушло за горбом выгнутый хребет, к истоку северной реки, он двинулся следом за ним. Разжигаясь от погони, неизвестности и предчувствия битвы, дикарь все ускорял и ускорял свой легкий бег.

За ним неслышными тенями мчались две легконогие важенки, осыпая с карликовых березок искры листиков, продолговатые капли голубицы, растапывая крепкие ягоды клоквы, ломая хрусткие ветви багульника.

Он нагнал стадо на склоне хребта, где уже кончался мох, начинались леса и спутанными валами лежали вразнохлест нескошенные травы на отлогих полянах.

Он вышел на середину поляны, постоял среди крепких, как проволока, веток травы кровохлебки, среди пушистых ветвей иван-чая и густо воняющего перед холодами багульника. Воинственно всхрапнув, он ударил сильным копытом о землю. Вздогнули травы, рассыпались сухие семена, из камней снялся табун куропаток, брызнули дождем багровые шишечки кровохлебки и задвигались красными волнами. Он затрубил грозно и требовательно, теперь уж обоими копытами поочередно отбрасывая ошметки земли и все ниже опуская голову с заклестнутыми яростью глазами.

Он привел с собою двух важенок, и ему надо было доказать им и всему этому послушному, добропорядочному стаду, небу этому, земле этой, миру этому — что он имеет право на любовь! И он завоюет ее или умрет!

От стада отделился вожак и встал, как бы загораживая своих оленей собою. В позе вожака была нерешительность и досада. Олени-рогачи почтительно толпились сзади вожака, как солдаты, в песколько рядов, а за ними пошевеливали длинными ушами важенки, вытягивая поженски любопытно шею. Дикарь снова протрубил и еще дальше стал раскидывать землю. Должно быть, он докопался до когда-то огненной, но теперь уже остывшей лавы и высек из нее искры. Вожак не трогался с места. Он стоял, широкогрудый, приземистый, с неуклюжими, большими копытами, любопытно смотрел на разгорячившегося молодца и не знал — как ему быть и что делать?

У вожака снова зашумело в ушах, тяжестью наполнилось тело его, и он затряс головой, чтобы избавиться от этой докучливой, нудной тяжести и шума, дикарь понял это как вызов и, молодо, пружинисто, играя затвердевшими мускулами, пошел навстречу вожаку с закинутой ветвистой головой.

Стадо оленей застыло в робком, растерянном ожидании. Дикие важенки, понимающие, куда клонится дело, отошли в сторону и начали щипать мох на ягельной поляне с таким видом, словно бы их не касалось ничего на этом свете и никакого отношения не имели они к той смертельной схватке, что должна была сейчас произойти.

А между тем прищелец двигался к вожаку неторопливо, с достоинством, трубя громко, с перерывами, чтобы

все важеньки: и те, которых он привел, и те, что были отгорожены от него лесом рогов,— видели, какой он красивый, сильный и бесстрашный и какая знойная сила таится в его молодом, еще нисколь не истраченном теле!

О победе он сейчас не думал. Он ни о чем сейчас не думал. Нутро его наполнилось пламенем, все в нем бушевало такой огненной стихией, что никакая власть, никакая сила на земле не могли ни остановить его, ни образумить.

Он еще благородно постоял перед вожакom, увидев, что тот не изготовился к бою. И когда вожак наклонил голову и, разжигая в себе полууснувшие инстинкты и устарелую ярость, затряс рогами и всхрапнул, дикарь ударился рогами в его рога.

От сухого, оголенного удара, какой бывает только при ударе искровых кремней друг о дружку, шарахнулось и затопало стадо. Олени перестали жевать моховую жвачку и с туповатым удивлением глядели на битву самцов.

Дикарь разогнался для второго удара и, уже не видя вожака закровенелыми глазами, а лишь природою данным чутьем угадывая его, с новой, еще большей силой стукнулся рогами в рога вожака и почувствовал, как спружинила шея противника и откинулась его голова. Не размыкая рогов, дикарь стоял, упираясь в землю, и ноги его по колено ушли в засоренную острым плитняком болотину. На одной его ноге камнем подрезало кожу и задрало чулком. Сделались видны до звона натянутые сухожилия и красные, как огненная сталь, мускулы. От натуги, от огромного напряжения выдувалась кровавая пена из ноздрей дикаря и дымилась на нем кожа. Вожак сдавал. Голова его закидывалась все выше и выше. Вот оба оленя вздыбились, стоя на задних ногах, до пахов вдавив один другого в болотистую почву, жарко храпя друг дружке в оскаленные морды, роняя из ноздрей и рта кровавую пену. Вожак могуч, крепок, но он уже пьяно шатается и вот-вот рухнет на спину, ломая о булыжник отростки рогов, а олень с далекой северной вершины затрубит победу, закричит горам, земле, небу этому о законном праве на дикую любовь свою, добытом в справедливой борьбе.

Но вожак неуловимым движением головы высвободил рога и упал перед дикарем на колени в размешанную, развороченную болотину. Он как будто покорился, обессил. Лишь глаза его, не захлестнутые кровью и свире-

пым пламенем, зорко и напряженно следили за молодым оленем.

Долю секунды, одну только долю секунды дикарь стоял вздыбленный к нему, затем, ликующе всхрапнув, бросился на поверженного соперника сверху.

Он даже и не почувствовал, как отросток рога вожака, расчетливо и точно подставленного, с легким хрустом вошел в него, словно гранепый штык в грудь солдата, — холодное острие коснулось того, что билось пружинистыми толчками и было сейчас не сердцем, а сгустком пламени, готового вот-вот прожечь грудь, разорваться восторженным криком победы. В ноздри дикого оленя ударил запах нутряной, перекипевшей крови, и тут же разом усмирился в нем огонь и откинулась красная пелена с его глаз.

Будто в прозрачном, чуть дрожащем потоке, он ясно увидел толпящихся вдали оленей, ушастых перепутанных важенок за ними, увидел и тех двух, что спокойно паслись в стороне и ждали своей участи. Увидел вершину с белой шапкой, вдруг зарябившую и опрокинувшуюся вниз острием своим, вниз узкими истоками речек, вниз тупыми макушками лиственниц, редко, но упрямо наступающих на голый хребет.

Он умер, не успев прокричать о своей победе. Рот его так и остался открытым в безгласном восторженном крике, в глазах остановились недоумение и жажда любви.

Вожак стряхнул с себя враз увядшую тушу пришельца и брезгливо потряс головой. Запах крови угнетал его и раздражал. Он подошел к камню, обметанному серыми заплатами лишайника, и долго старательно терся рогом о камень, счищая с него красную кровь, потом, не оглядываясь, побежал за своими оленями и сердито загнал в стадо разбредшихся по сторонам молодых важенок.

Ночь настигла стадо домашних оленей у останца Трезубец — огромной, даже среди этих гор, скалы с тремя заостренными вершинами. Меж этих вершин, в одном из распадков, где камень был измельчен копытами оленей, переплетаясь по-братски, словно корни одного дерева, лежали кучи рогов. Иные рога уже превратились в пепел и прах от времени, иные почернели и обломались, иные выбелило ветром, снегом и вешними потоками. Меж рогов проросла трава, и коробочки отгоревших цветов с сухим треском раскрывались, роняя семена в расщелины камней.

И хотя вождь и олени его стада не сбрасывали рога —

их спиливали люди, избавляя животных от печального обряда, ради которого надо было делать изнурительный, дальний поход, все же слабый проблеск памяти останавливал и удерживал их у Трезубца и какая-то священная привязанность к этому месту оживала в вожаке и во всех оленях стада. Всю ночь стояло здесь стадо, не смея кормиться и шуметь. До первого солнечного луча почетным караулом замирали олени у распадка, и ноздри их пульсировали, трепетали, вбирая запах тлеющих рогов.

Что-то все время беспокоило вожака. Чудилось ему: сквозь скорбный тлеп настойчиво и остро струился запах того оленя, которого он убил на заре.

Вожак все ниже и ниже опускал голову к земле.

Ему виделся молодой олень, несущий свои первые рога к древнему кладбищу. Он пришел с далекой, недоступной людям северной вершины, спустился с голых, прокаленных морозами камней, опутанных внизу карликовой березой и стлаником. Он шел через реки и грозные потоки, сквозь каменные лавы и гибельные болота, сквозь снежные обвалы и волчьи стаи, сквозь беды и бури шел он. И когда принес рога и, мучаясь, с болью выдернул их из кости головы и они сплелись ветвями своими с рогами его предков, две крупные голубые слезы выкатились из глаз его. Он услышал, как тонко звенели они, скатываясь по отросткам рогов до самой земли, твердой, неласковой, но родной. Пронизанный сладкой печалью, облегченный и светлый, лежал потом возле Трезубца молодой олень, и мудрость взрослого самца, которому дано было познать теперь радость ежегодного обновления, вселялась в него на всю жизнь.

Перед самым утром стадо оленей встревоженно воронилось, запереступало. Вожак недовольно повернул голову, и, хотя ночь была без звезд и луны, он по слетающему с вершин ветреному запаху, в котором студеною лентой колыхался дух северных, пресных снегов, почувствовал — в стадо пришли важеньки. Те, две.

Вожак не прогнал их и на рассвете увел стадо от Трезубца.

Олени и оленухи шли медленно, оставляя на мшистой горной тундре подчистую выседенные поляны мха и темную, несколько лет не зарастающую топянину. Олени то и дело оглядывались, вздрагивали поздрями.

Вожак не прибавлял шагу и не торопил своих оленей.

Через несколько зорь, когда люди разбили палатку уже

в лесу, на восточном склоне Великого хребта, а олени уже шли вдоль границы лесотундры по проплешистым затравенелым мхам, дикие важеньки начали отделяться от стада.

Днем они кормились на полянах, лежали среди седых стлаников и уже не подпускали к себе толстоногих, не очень брезгливых и настойчивых в любви самцов. Ночью они все же заходили в гущу теплого стада, с которым породнились, и вздыхали так, как умеют вздыхать только коровы и олени: шумно, длинно и грустно.

День ото дня две важеньки все дальше и дальше отпустили от себя стадо и однажды не вернулись в него.

Белым от инея утром вожак повел свое стадо вниз, в необозримую, глухую тайгу, оставляя горные вершины, останцы, перевалы в ярком осиянии уже не греющего, праздно сверкающего солнца.

Перед тем как уйти из горной тундры, тесной и просторной, до следующего лета, вожак обвел прощальным взглядом Великий хребет, клубящиеся по склонам стланики, осыпающиеся ягодники, не тронутую косой траву и черные развалины скал, вбирающих в глухую, остуженную грудь первый холодок, который потом наберет силу и станет колоть их, разрывать на куски, осыпать то рокошущей лавой мелкого плитняка, то громадными, все сокрушающими на пути глыбами.

На одном из Трезубцев, сталисто отблескивающим в вышине, вожак различил две тонконогие, ушастые фигурки. Они стояли там плотно одна к одной, сиротливые и грустные, до тех пор, пока все стадо, до последнего оленя, не скрылось в лесу, выжидательно притихшем в предчувствии снега и зимы.

Вот и вожака, мудрого и заботливого отца стада, не стало. И он скрылся в лесу. Ушел.

Дикие важеньки еще долго, до самой темноты, напрягали зрение и нюх, но ничего уже не было видно, и запах оленей растащило по хребту крепчающим ветром. Уже в потемках спустились важеньки вниз и пожили у Трезубца до тех пор, пока усмирило морозом запах того бунтаря-пришельца, что принес сюда свои первые рога.

Важеньки начали отходить к западному склону хребта, спускаясь ниже и ниже по редколесным распадкам. К весне они достигнут того места, которое зовется у людей островом. Остров — это такой уголок среди великих гор, где звери спасаются от опасности. Дикие олени, козы,

лосихи здесь рожают детенышей, и здесь же скрываются больные или раненые хищники, и никогда ни один зверь ни в голоде, ни в злобе не трогает здесь друг дружку.

Небольшая для этих мест, пологая гора — верст пять в длину и с версту в поперечнике, вся заросшая лесом, шипицею да черничником, она со всех сторон окружена гиблыми, непроходимыми осыпями и потому совершенно неприступна для человека, который для себя никак не может найти такой вот безопасный островок на всей своей огромной планете. В хитроумных, запутанных щелях, среди огромных внизу и мелких вверху валунов-камней, где, казалось бы, только змейке и проползти, есть звериные тропы.

И когда наступит срок, по одной из них бесшумно, тайком поднимутся сюда две важеньки и на мягком мху, затянутом черничником и брусникою, под приземистыми кедрами, обвешанными бородами лишайника, принесут они детенышей, стремясь восполнить тот урон, который осенью понесла природа.

А спустя год-два на Великом хребте, на далекой северной вершине, снова затрубит дикий олень с клокочущим от страсти сердцем и потребует справедливой борьбы за губительную и всепобеждающую любовь.

ЯШКА-ЛОСЬ

Мать жеребенка Яшки — вислогубая справная кобыла Марианна. Какими путями достигло такое благозвучное имя далекого уральского села, затерянного в лесах за Камским морем, и прилепилось к кривоногой пегой кобыле — большая загадка.

Сельское предание гласит, будто в ту пору, когда Марианна еще была жеребенком и никакого имени не имела, приезжала в село не то из Молдавии, не то с Камчатки свояченица бригадира, девица в темных очках и желтых штанах, она-то и нарекла от скуки кобылу именем, которое иначе как с насмешкой селянами не произносилось.

И вбила ли себе чего в голову Марианна, заимевши нездешнее имя, принимала ли его за издевательство, а скорей всего от природы она характерная и потому проклята всем населением заречной деревушки от мала до велика.

Неделями, иногда месяцами возила Марианна сани с вонючим силосом либо с дровами, но вдруг на нее находило, и тогда она являлась к конюшне с оглоблями, оставивши где-то в лесу возницу, сани и все, что было на санях. Являлась и ждала, когда конюх, опасливо сторонясь, спимет с нее сбрую и поскорее загонит в отдельное стойло, потому как об эту пору Марианна норовила всех лошадей перелягать, взвизгивала по-пороссячьи, крушила ногами заборки, кормушку и все, что ей попадалось на глаза.

Бывало, когда Марианна не дурит и во благополучии

находится, посадит конюх ребятишек на прогнутую уместительную спину ее штук по пяти, и она бережно несет их к долбленной, зеленую взявшейся колоде, что под струйкой ключа уже лет сто, может, и больше, мокнет.

Неторопливо тянет воду Марианна, сосет ее губами, ребятишки подсвистывают протяжно, чтобы слаще пилось лошади. Попьет, попьет Марианна, голову поднимет, осмотрится, подумает и, ровно бы сама себе сказавши: «Да пропадите все вы пропадом!», брыкнет задом, ссыплет с себя ребятишек и ударится бежать неизвестно куда и зачем. Хвост у нее трубой, глаза огонь швыряют. Бежит она, бежит и в чей-нибудь двор ворвется, выгонит корову, разметет животных и птиц, устроится в стайке, съест корм и стоит, вроде бы проблемы какие решает. И не выгонишь ее с подворья. Надоест — сама выйдет и, отчего-то не воротами двор покинет, непременно махнет через забор и отправится к конюшне, еще издали голосом давая знать конюху: мол, иду я, иду!..

Такая вот мама была у жеребенка Яшки.

И с родным дитем Марианна обходилась по-своему. То всего заласкает, зубами ему нежно всю гриву переберет, голову ему на спину положит и успокоенно дышит теплом. А то и к вымени не подпускает, не кормит его, визжит, как сварливая баба, отгоняя сына от себя.

Яшка — парень ласковый, ручной, таскается за Марианной, молока требует, внимания к себе и ласки материнской. Лезет с голодухи к другим лошадям жеребенок-несмышлениш, тычется в брюхо без разбору. А его лягают кобылы, люто скалятся табунный жеребец.

Совсем замордовали Яшку лошади, и стал он от табуна потихоньку отбиваться. Сначала поблизости бродил, потом дальше и дальше в лес отклоняться начал...

И однажды Яшка не вернулся с пастьбы домой. Его искали по лесам, по речкам, все старые покосы обошли — нет Яшки, ушел он из села и от тесной конюшни, покинул маму Марианну.

Волки в этой местности не водятся, рыси есть, правда, и медведи есть. Но рысь с Яшкой не совладеет. Может, задрал голодный медведь Яшку либо в колдобину провалился он и пропал?

Марианна раскаялась в своем поведении, бегала вокруг деревни, звала Яшку. Но он не откликнулся из лесов. Переключилась Марианна на других жеребят, воспитыв-

вать их начала, кормить молоком и ласкать зубами, из-за чего дралась с кобылами.

Летом, когда пошли грибы, ягоды и по речке стали бродить рыбаки за хариусами, в заболоченных местах обнаружили они следы лосихи и лосенка, но только след лосенка больше напоминал лошадиные копыта.

Как-то приехал в село лесник с дальнего кордона и сказал, что есть в его обходе осиротелая лосиха — во время грозы и ветровала придавило у нее лосенка лиственницей, и долго металась мать по округе, искала дитенка. Она-то скорей всего и приголубила Яшку.

Кто поверил этому, кто посмеялся, посчитавши такое предположение досужей небылицей. Ближе к осени пошли лоси на водяную траву и держались у речки. Чаще и чаще стали попадаться широкие следы лосихи и рядом, уже глубокие, четко пропечатанные, следы лошадиных копыт.

Увидели Яшку деревенские ребяташки, бравшие у речки черемуху. Он вышел из пихтача на поляну со старой комолой лосихой и остановился чуть в отдалении, изумленно глядя на людей. Лосиха потрясла головой и выпрямила уши. Яшка, с гривой и хвостом до земли, переступал сильными, пружинистыми ногами, готовый прыгнуть в сторону и исчезнуть в пихтаче. Он уже окреп и напоминал подростка с налившимся телом и мускулами, но еще все не сложившегося.

— Яшка! Яшка! — позвали ягодники.

Угадали они его по светлой проточине, стекающей со лба до храпа из-под спутанной челки, да по желтой, былинно отросшей гриве и хвосту. Взгляд у Яшки чужой, мускулы комьями перекатываются под кожей, натянут он весь, напружинен.

— Яшка! Яшка!

Протягивая ломтик хлеба, несмело двинулись ребята к Яшке.

Яшка поставил зайчиком уши, заслышав свое имя, но, когда люди стали подходить ближе, вытянул по-змеиному шею, прижал уши, захрапел и грозно кинул землю копытами.

Лосиха загородила Яшку, оттерла его в пихтач и увела за собой.

В глуби леса, на травянистой гриве, Яшка остановился, задрал голову к вершинам лиственниц и пустил по

горам протяжный крик. Был его голос высок, переливчат и свободен, как у птицы.

Преследовали Яшку колхозники долго, видели издалика не раз, но он не подпускал людей к себе, и поймать его не могли.

Пришла осень, начались свадьбы у сохатых, и лосиха покинула Яшку, ушла на угрюмый призыв быка, стоявшего в густых зарослях ольховника, запутанного бражно пахнущим хмелем. Яшка по следу вынюхал лосиху и сунулся в спутанный хмель. Но долговязый бык — зверь в иное время смирный и добрый, одурел от страсти, что ли, с налитыми кровью глазами так шуганул непрошеного гостя, что мчался Яшка версту без передышки, треща валежником, ломая кусты и тонкие деревца.

Потерял и вторую мать Яшка.

Подули холодные ветры. Облетел лист. На траву стал падать белый иней. Болотца и речку в затишьях ночами прихватывало ледком. Обеспокоились птицы, сбились в стаи и с протяжными криками двинулись в дальний путь. Шерсть на Яшке сделалась густа и длинна, даже ноги до самых копыт взялись мохнатым подпушком. Так вот у боровой птицы к снегу и холодам обрастают лапы — сама природа утепляет своих жителей, и Яшку она тоже утепила. Несколько раз еще Яшка находил старую лосиху в поределой тайге. Но она не узнавала его и не подпускала к себе. Одинокое сделалось Яшке в притихшем, сиротски раздетом лесу, потянуло его к живой душе, в тепло потянуло, и он начал спускаться с гор вниз по речке и однажды оказался у загородки, обнюхал ее — жерди пахли пазьмом, конской и коровьей шерстью, а из-за поскотины наносило дымом.

Яшка двинулся вдоль загороди, часто вскидывал голову, прислушивался. Больше и больше попадалось в траве козских, коровьих и козьих следов. Трава была выедена, выбита копытами и загажена лепешками. Яшка брезгливо фыркал.

У распахнутых ворот поскотины он нерешительно остановился: втянул дрожливыми ноздрями воздух и среди многих запахов выделил один — запах сухой приморенной травы. Он пошел на этот запах, будто по протянутой нитке, и среди поляны увидел темный, засыпанный палыми листьями зарод.

Яшка подошел к зароду, начал торопливо теревить из него сухой клевер и жадно хрумкать. За поляной, по ска-

листым берегам над речкою темнели зароды, много зародов, и над ними столбился дым, слышались там людские голоса, стук топора, собачий лай и много другого, нетаежного шума было там. Он тревожил Яшку и о чем-то ему напоминал.

Яшка натоптал объеди и стал спать возле сметанного клевера, днем отходил в лес.

Здесь его снова увидели ребятишки, молча оцепили. Он стоял в кругу притихших ребятишек, длиннохвостый, мохнатый, с узкой диковатой мордой, и, чуть слышно похрапывая, по-звериному обнажал зубы. Оробели ребятишки, отступили, и Яшка хватил в лес, умчался, треща валежником.

Но голод выгнал его снова к селу, и снова пришли ребятишки, стали протягивать ему клочья сена, хлеб. Привыкая к людям, Яшка не скалился, не храпел, по еде из рук не брал.

Один раз, выйдя из-за поскотины, остановился Яшка — в поздри его ударил вонючий запах. Долго кружил Яшка, не решаясь подходить близко к сену. На сенной объеди кто-то лежал, храпя, что-то наговаривая и ругаясь. Далекий проблеск памяти мелькнул: табун лошадей разбродно тащится за человеком, который, шатаясь, идет по полю. Он то падает, то долго поднимается — сначала на четвереньки, потом уж как полагается человеку. Но сражает его усталость, и он валится окончательно, лошади, рассыпавшись, пасутся вокруг пластом лежащего человека, и среди них жеребенчишко ходит, любопытно вытягивает шею, слушает, как всхрапывает и ругается поверженный человек.

Яшка подошел к зароду. По запаху, по разорванной на груди рубахе, по лохматому волосу на голове узнал его — это был ругливый, шумный человек, но лошади почему-то любили его. Никто не любил, а лошади любили. Может быть, потому, что с раннего возраста привыкали к нему, пьяному, с людьми грубому. И с ними, с лошадьми, он обходился не лучше — ругал их, но кормил и разговаривал так, будто все они должны были его понимать.

Человек проснулся, сел и потряс головой. Яшка отскочил сажени на три, боком встал, повернул голову.

— Ты где шляешься? — спросил человек. — Ты что об себе понимаешь, иуда? Значит, я за тебя отвечай, ты, значит, вольничаешь? — Яшка запрядал ушами, переступил, и это не понравилось человеку: — Пляшешь, пала,

танцуешь? А робить кто будет? — Тут человек вскочил с земли и с кулаками бросился на Яшку. Яшка отбежал, остановился. Человек грозил ему кулаком, ругался, а потом сказал: — Сам придешь, пала, сам! Голодуха тебя, бродягу, домой пригонит! — И ушел, хромая на обе ноги, разговаривая сам с собой. Вместе с ним уплыл и тяжелый болотный запах.

А назавтра исчез с поля зарод — увезли его по велению бригадира.

Одонья зарода хватило ненадолго, да и снег уже выпал к той поре, завалил траву, приморозило заросли в речке.

Вскорости ударил мороз, взнялась первая метель.

Яшка пришел в деревню. Сам пришел. Остановился среди улицы, протяжно заржал.

— Лови его, змея! — закричал бригадир.

Прибежали люди. Яшка шарахнулся от них, но его поймали аркапом, и Яшка чуть было не задавился, ошалев от страха, криков и петли, больно сдавившей горло.

Бригадир схватился за удавку, ослабил ее, и, когда Яшка отдышался, водворили его в темную и душную конюшню, пнув напоследок в пах. Яшка кричал, метался в стойле и ничего не ел. Тогда бригадир еще раз громко заругался и подпустил к нему Марианну. Сын с матерью долго бились в тесном стойле, но потом привыкли друг к другу, обнюхались и ели из одной кормушки овес и сено.

С Марианной и на улицу выпустили Яшку. Он ударился в лес бежать, но в первом же овраге ухнул по брюхо в снег, забился там бешено, потом, обессиленный, осел в сугроб и запришлепывал плачущими губами.

— А-а, морда беспачпортная! В лес тебе, в ле-ес! Я те покажу ле-ес! — закричал бригадир и погнал Марианну. Та деловито спустилась в овраг и, где лягаясь, где боком подгакивая, выдворила блудного сына на дорогу.

Гриву и хвост Яшке подстригли, длинную шерсть прочесали скребком и попробовали объезжать. Многих наездников поскидывал с себя Яшка, не раз в бега пускался, но бескормная зима, глубокие снега загоняли его обратно в село.

А когда взгромоздился в седло бригадир, Яшка присмилел, не решился сбросить человека с худыми ногами. Он позволил надеть на себя узду, хотя и кровенил железные удила, пробуя их перегрызть.

— Вот так вот! — самодовольно сказал бригадир. — Я

ведмедя топором зарубил по пьянке, тигру немецкую пэ-тээр ом угробил, и ты у меня еще сено возить будешь!

Однако в саних и телеге так и не стал ходить Яшка. Он побил почти весь колхозный гужевой инвентарь, и на него рукой махнул даже бригадир.

Верховой лошастью сделался Яшка. Называли его теперь на селе Яшкой-лосем, любили за красоту, но побаивались жеребца, потому как дикий его характер обнаруживал себя. В колхозном табуне он сделался вожакom, и даже сама Марианна относилась к нему с почтением.

Ездил на Яшке чаще всего главный заречный начальник — колхозный бригадир. Отправится он смотреть дальние поля либо нарезать покосы, и мчится Яшка, как полевой ветер, стремительно, без рывков, но вдруг застопорит, остановится разом, и летит тогда ласточкой через голову жеребца выпивший и сонный бригадир. А Яшка втянет воздух с прихрапом, вслушается в тайгу, заржет длинно, переливчато — и голос его летит по горам, повторяясь в распадках, закатится в таежную даль, замрет где-то высоко-высоко.

Кого, Яшка, зовешь? Кого кличешь? Старую лосиху? Но она бродит по тайге со своим уже дитем, ушастым сереньким лосенком. Или тайгу пытаешь — примет ли она тебя снова? Не примет, Яшка, не примет. У тайги свои законы. В тайге живут вольные птицы, вольные звери. Они сами себе добывают корм, сами себя пасут и охраняют. Им нет дела до тебя, пищу и тепло от людей принимающего.

Позвякивают удила, стучат кованые копыта о коренья. Мчится жеребец с седоком на спине, и лопочут листья над его головой, таежный, папоротный запах тревожит его нюх, урманной прелью мутит и хмелит ему голову, ветер шевелит желтую гриву и гонит, гонит Яшку в потаенную темень краснолесья.

Все отрадней и громче фыркает Яшка, выбрасывая из ноздрей стоялый дух копышши. Все громче стучат его копыта. Все стремительней его бег. Ликует сердце Яшки, и кажется ему — никогда уж он не остановится, а все будет лететь и лететь по бескрайней тайге, вдыхая ее животворный дух, и все в нем будет петь, радуясь раздолью, свободе и живому миру.

Так вот и жил диковатый Яшка своей лошадиной жизнью и дожил до тянучей весны, о которой, как о плохом лете, говорят: «Два лета по зиме, одно само по себе».

Та весна была сама по себе. Она взялась вымещать за осень, в которую до Дня Конституции ходили по Камскому морю порожние пароходы меж зябких, мокрым снегом покрытых берегов.

Уже в конце февраля на припеках прострелились почки на вербах, и белым крапом мохнатых шишечек осыпало угревные опушки леса. В марте дохнуло сырым ветром с юга, быстро съело нетолстый слой снега на льду моря и погнало по нему волну так, что издали море казалось уже полым. Вода быстро проела щели во льду и ушла под него. Проплешистый голый лед начал нехотя пропадать и стачиваться. Но крутыми мартовскими угренниками он делался стеклянным, и тогда катались по нему на коньках ребятишки, развернув полы пальтишек, как паруса, и гоняли ошалевшие от простора пьяные мотоциклисты, падая и увечась.

— Рано началась весна — на позднее наведет! — говорили селяне. Так оно и вышло.

Не раз еще покрывало лед на море метелями и снова стогнало снега теплым ветром. Солнца было мало, и дожди не шли. Худой лед утрюмо, пустынно темнел от берега до берега, не давая никакого хода никому.

Отрезанные от кирпичного завода неезжалым и даже для пеших людей непригодным льдом, бедовали селяне праздники без вина. Брагу и самогонку они прикончили еще в Пасху — к Первомаю ничего не осталось.

Селяне уныло ходили толпой по вытаявшему берегу, играли на гармошках грустные песни и кляли небесную канцелярию, которая так сильно надругалась над ними, лишив их выпивки.

Бригадир достал с полатей старый, еще с войны привезенный бинокль с одним выбитым стеклом и глядел на другую сторону Камского моря, где бойко дымил трубой кирпичный завод.

Были там магазины, клуб, и люди вели на той стороне праздник с размахом, без тоски и забот.

Надо заметить, что бригадир пил каждый день, начиная с сорок второго года, с тех пор, как отпущен был из госпиталя по ранению. Ноги у него были обе перебиты, и он, как Чингисхан, почти не слезал с коня, разве что ночью, поспать...

К нему к такому привыкли не только лошади, но и бабы из заречной бригады и теперь пугались его трезвого, потому как делался он мрачен, молчалив, не крыл их

привычно, не орал сильным, сторевшим от денатурата голосом. Он и не замечал празднично одетых баб, не занимался никакими делами, а все смотрел в бинокль, и руки у него дрожали, и в глазах с красными прожилками стояла голодная печаль. И большое недомогание угадывалось во всем его большом теле и лице, побритом по случаю праздника.

Хватило бригадира лишь на половину праздника.

Второго мая рано утром он заседал Яшку и погнал его на лед. Жена бригадира, ребятишки его и вся бригада облепили коня. Схватили бабы Яшку за узду, кто за гриву — не давали ему ходу. Яшка, напугавшись криков, плача, многолюдства, голо чернеющего источенного льда с промоинами у берегов, храпел, пытался. А бригадир, осатанелый от трезвости, лупил кнутом Яшку, и жену, и детей, да и отбился от народа — раскидал его и бросил Яшку вперед.

Яшка встал на дыбы, всхрапывая, плясал у промоины на камешнике, выкатив ошалело глаза. Но вдруг сжался пружиной, хакнул ноздрями, рысиным прыжком перемахнул промоину и, вытянувшись шеей, как птица в полете, понес бригадира. Он не шел, он слепо летел по горбам выгнувшейся рыжей зимней дороге, порванной в изгибах верховой водою, касаясь ее копытами так, будто жглась дорога.

Возле дороги стояли вешки. Иные из них уже вытяжи, упали, а там, где были стерженьки деревьев и веток, проело дыры во льду. С говором и хрипом катилась вода в лунки, закруживая воронками мокрый назем, щепу и сажу, налетевшую на лед из трубы кирпичного завода.

Не шараялся Яшка от живых, вертящих пену и сор воронок, от зевасто открытых щелей, с обточенным водою губастым льдом, перемахивал их, весь вытянувшись, весь распластавшись в полете. Или бег увлек жеребца, или поверил он в опору, но ослабился, понес седока ровным наметом, скорее, скорее к другому берегу, до которого было версты три, а может, и четыре.

Он не прошел и половину дороги. Лед мягко, беззвучно, как болотина, просел под ним. Таежный инстинкт сработал в Яшке раньше, чем он испугался. Яшка рванулся, выбросил себя из провала, поймался передними копытами за кромку полыньи, закипевшей под ним, зашевелившейся водою и обломками льда. Бригадир скатился через

голову Яшки на лед, пополз от него, вытягивая жеребца за повод.

Яшка задира́л голову, тянулся на поводу, звенел удилами, но лед, как черствый хлеб, ломался под ним ломтями. Бригадир, лежа в мокроте, все тянул и звал сиплым, осевшим голосом:

— Яшка, ну! Яшка, ну! Осилься! Осилься! Ну, ну, ну!..

Яшка крушил копытами лед, рвался на призывный голос человека, выбрасывал затяжелевшее от мокроты тело свое наверх. Он, будто руками, хватался копытами за лед, скреб его подковами, храпел, и что-то охало в нем от напряжения и борьбы. По-кошачьи изогнувшись, он выполз из полыньи до половины. Еще одно усилие, и выбрался бы Яшка, но в это время свернулось и упало ему под брюхо седло, брякнув по льду стремянами. Яшку сдергивало в воду. Скрежегали, цеплялись яростные копыта за кромку полыньи, резало льдом шерсть, кожу на ногах, рвало сухожилия. Лед свинцово прогнулся и осел под Яшкой. Он ухнул в холодное кипящее крошево с головою. Его накрыло всего, лишь всплыла желтая грива, и рвало ее, пугало резучими комьями льда.

Над Камским морем, над Яшкой, бултыхающимся в полынье, над бригадиром, который размотал и сбросил ременный повод с кулака, чтобы и его не стащило в ледяной провал, вертелся и пел жаворонок. Метались далеко люди в цветастых платках, и зеленовато-серым туманом качался косогор за исполосованным вешними ручьями глинистым яром.

Яшка еще раз, последним уже усилием, выбил себя из воды, взметнулся пробкою и закашлял, выбрасывая ноздрями воду и кровь. Бригадир уже не звал его, не кликал. Он отползал от Яшки все дальше и дальше и, безбожный, давно не только молитвы, но все человеческое утративший, повторял сведенными страхом губами:

— С-споди, помилу... с-споди, помилу...

Яшка увидел мерцающий вдали берег с затаившимся снегом в логах, темнеющий лес по горам, услышал жаворонка и заплакал слезами, а заплакав, крикнул вдруг пронзительно и высоко. И услышал издали, с берега:

— Я-ашенька-а-а!

Вода тянула его вглубь, вбирала в себя, подкатывала к горлу, сдавливала дых и пошла в губы, подернутые красной пеной, в оскаленный рот, хлестанула в ноздри и вымыла из них бурый клуб крови.

Тяжко упала узкая голова жеребца, разом, будто перержавевшая, сломилась его шея. Вот и круп залило, и спину одавило водой, комья разбитого льда выкатывались наверх, и крутило их в полынье.

В глазах Яшка унес далеко синеющий оком, леса, качающиеся по горам, голый берег с пробуждающейся травой и рассеченное облако, в которое ввинтился жаворонок,— все ушло к солнцу и расплавилось в нем.

Еще какое-то время желтела мокрая грива на ноздрястой пластушине льда, еще кружило воду и мусор в: полынье — это в последних судорогах бился жеребенок Яшка, погружаясь вглубь.

Сползла, стянулась со льдины и желтая грива. Мелькнула ярким платом и исчезла, оставив на льду клочья обрезанных волос.

Наверх мячиками выкатились и лопнули пузыри, взбурлило раз-другой, и все успокоилось, стихло, и заporошенная полынья сомкнулась над Яшкой.

Все так же бился, трепетал жаворонок в небе, светило ярко солнце, рокотали и мчались из логов снеговые ручьи и курился дымком лес на горах. А на берегу с визгом, плачем, с мужицкими матюками били бабы бригадира. Мокрый, драный, он катался по земле и зывал, как о милости:

— Убейте меня! Убейте меня!..

Жена не дала забить его насмерть, отобрала мужа, которому уж и не рада была и намаливала ему смерти. Но вот дошло до нее, до смерти-то, она утратилась, ползала на коленях по земле, молила освирепевших баб, заклинала их и успевала вырывать из рук дреколье, которое поувесистей.

Она спрятала избитого мужа на сеновале и носила ему туда еду, покудова село не успокоилось.

Через неделю сошел-таки лед с Камского моря, осел, затонул, растворился. Началась весенняя страда, и бригадир, снова пьяный, на другой уже лошади, ездил по полям заречным императором, крыл сверху всех по делу и без дела и, если ему напоминали о Яшке, скорее скрывался с глаз долой, грозясь и стегая лошадь.

Яшку вынесло верстах в пяти ниже села на песчаный обмысок. Над ним закружились вороны, стали расклевывать его. Обмысок, на который вынесло Яшку, был возле пионерлагеря, и когда готовили его к сезону, то закопали Яшку в песок, а вскорости гидростанция начала копить

воду, сработанную на зиму, и обмысок покрыло вместе с Яшкой, и он навсегда исчез от людей.

Бригадира отдали под суд, но на вызовы в суд он не являлся: то был пьян, то занят, и так вот проволок лето.

Осенью вышла амнистия, и дело о погублении коня Яшки-лося было закрыто.

МИТЯЙ С ЗЕМЛЕЧЕРПАЛКИ

Василию Белову

В уторе, над темным елушником и пихтачом, высилась громадная, далеко видная сосна, а на ней токовал мошник — глухарь, тоже огромный и старый. Токовал он без вешнего удалства и азарта, должно быть, потому, что был стар, одинок и никто не раззадоривал его. Соперников на току уже не осталось, и капалухи не клохтали. Уцелел один этот осторожный токовик.

Был он как генерал без войска, и оттого пелось ему невесело, пелось лишь по причине вечного зова таежной жизни, уже начавшей стряхивать с себя зимнюю спячку. А еще пощелкивал глухарь реденько, не входя в забытье и опьянение, потому, что доносилось до него снизу, от речки, чуть слышное, украдчивое похрустывание наста.

Может, на речке лед крошит, может, шишки с ельников по утору катятся, а может, и другое что? Всякое может быть. С сосны видно на много верст. Каждый бугор видно, каждую вырубку, даже водокачку на далекой станции видно, даже солнце, еще только чуть подсветившее завалы дальних гор и вовсе еще незаметное снизу, видно. Как суетливо петляет речка Разлюляиха — видно. Пока еще льдом смиренная речка. Серебристая снеговица тонко течет по ней, затопляя в излучинах ольшаники и черемушники так, что местами уж на озерины похожи сделались излучины.

Там, где речка, располовинив косогор и полукружную луговину, впадает в Кынт, — темную заберегу видно, а на косогоре деревенька лениво трубами дымит. Все с сосны

видно, кроме того, что делается под нею, в густолапых зарослях.

Расхлестали люди ток.

Рыси, хорьки да лисы тоже не зевали, хватали на земле одуревших от любви птиц. Но такая древняя и верная привязанность глухарей к месту любви, что и гибнут они тут, а бросить его, забыть не могут. Вот потому и поет упрямо старикашка токовик, ждет ответной песни. На вырубках булькнули и зарыпели косачи, распалая себя. Но ему они неинтересны, ему глухарей надо, капалуху надо.

— Тэк-тэк-тэк! Чиру-чуру-чир... — задумчиво струит мошник с сосны и как бы ненароком укорачивает песню, чуть раньше перестает точить. Внизу, в елушниках, шурхнуло по насту и замерло. Шито-крыто! В гущине такой сохатый пройдет — не заметишь. Услышать, может, и услышишь, но не заметишь. Глухарь опасно насторожился.

Застыл на одной ноге и тоже окаменел человек в елушниках, даже дыхание приглушил. Это — Митяй. Он крадется к токовику от речки, сквозь беспросветный еще лапник ищет Митяй глазами глухаря, но темнозорь только еще, только кончилась, и видна лишь вершина сосны, будто подрезанная светлой кромкой неба.

Дерево недвижно. Вроде серого облака на небе.

Косачи на вырубках, птицы мелкие по угорам и по речке поют все дружнее и громче, раскачивая лес, пробуждая землю, охваченную коркой наста.

Утро идет. Звонкое утро, и Митяй знает, верит, что не утерпеть старому глухарю — все равно он запоет. Надо только ждать. Набраться терпения и ждать.

Место это, угор этот с сосною, Переволокою зовется. Почему «переволока»? — тужится отгадать Митяй. Никак он этого в толк не возьмет — чтоб через такой угорище чего-нибудь или кого-нибудь переволакивали? Есть же низины, лога, пашни и сенокосы к речке стекают? Попробуй разбери никодимовскую бестолочь! «Хоть и говорят про моих земляков-вятичей, будто они корову на баню тасили, чтоб она там траву съела,— так это зря. Вот про никодимовских такое аккурат. Эти могут... Чего же глухарь-то? Неуж учуял?»

Митяй неловко стоит, раздумывает, а раздумывая, слушает.

— Тэк! Тэк-тэк... Чиру-чуру-чир!..

«Ага! Вот он, дождался!.. Терпение да труд все перетрут!»

Когда глухарь чуру запросил, Митяй сел на хрусткий снег и проворно стянул с себя кирзовые сапоги. Он остался в носках из козьей шерсти, надетых поверх портянок. «Ничего,— рассудил Митяй,— не барин какой, до десяти лет, почитай, босиком... Правда, утренняя крепковат, однако терпение и труд...»

Мошник снова защелкал и заточил, Митяй сделал два прыжка, неожиданно широких для его коротких ног, медленно выдохнул и опять огляделся.

В лесу развиднялось. За спиной пожелтело небо. Сосну, величественно-седую от изморози, высветило почти уже до елового подлеска, сделалось видно глухаря. Свесив крылья, растопорщив хвост, он грузно потанцовывал на красноватом суку. Вниз сыпалась белая пыльца и серебристо искрилась в тени пихт и ельников. Ствол сосны все раскалялся, краснел под зарею, а глухарь все еще перебирал мохнатыми лапами, ровно бы жгло ему их или он отаптывал себе место для ночлега. Но вот он растопорщился еще шире, вытянул на зарю разом вздувшуюся шею, запел, будто покатал в горле камешек.

Митяй четко, словно по команде, выполнил два прыжка. Глухарь делал еще длинные перемолчки, и до выстрела было далеко. Надо еще полянку перескочить. Небольшая полянка, прогальчик в ельниках, но все же место открытое, и может накрыться охота из-за этого прогальчика. Такая уж штука охота, в ней как в самой жизни, то на дурика удача валит, то из-под носа все уходит.

«За два приема, пожалуй, не одолеть кулижку,— прикидывает Митяй.— Были бы они, ноги, как ноги, а то никакого в них ускорения». Но досада Митяя мимоходна, неосновательна. Эти вот кривые, короткие ноги, именно они, помогли ему в свое время, и как еще помогли!

Было дело — смех и грех! На комиссии в районе разболочся, прихватил грешинку рукой и пошел по ряду врачей за голыми, рябью покрывшимися парнями. Холодина была в клубе не меньше, почитай, чем в сегодняшней утренник, потому что комиссия в выходной для клуба день проводилась и помещение, само собой, не отапливалось.

Посинелый, косоногий, с реденькими волосишками на груди, Митяй похож был на непотрошеную курицу первого сорта, что завозятся на реализацию пивесть из каких бескормных земель в отдаленные от центра российские

города. Такой вид Митяя вызывал разное отношение на комиссии. У пожилых врачей — сочувствие, у майора из военкомата — недовольство, а у пухленькой регистраторши с егзистым кругленьким задком, завлекательно поглядывающей на майора, — насмешку.

— Экий ты нескладный, призывник, — не то сочувствуя, не то досадуя, сказал серьезный доктор в поварском колпаке, прикладывая холодную трубку к груди Митяя.

— Где же ее, стать-то, выгулять? — в паузе между «дышать» и «не дышать» буркнул Митяй. — На очистках? На мерзлой картошке?! В войну рос. — Митяй деликатно отворачивался, чтоб дурным духом изо рта не оглушить интеллигентного человека. А сам косился на регистраторшу, сохраняя на лице вид горестного достоинства: «Попалась бы в лесу или на гумне, так поглядели б, кто смеяться, а кто плакать зачал! Я б тебе салазки-те загнул...»

В это время, с досады должно быть, доктор так завез по коленке Митяя деревянным молотком, что нога взлягнула до стола.

— Идите одеваться! — махнул доктор рукой.

Митяй по жесту такому и по голосу доктора догадался, что он непригодный, однако радости не выказал и хмуро, даже с недовольством натягивал на себя одежку.

Вспоминая, Митяй не забывал о глухаре, вовремя делал перебежки и замечал все изменения в окружающей местности.

В лесу все больше и больше появлялось светлых проточин. На небе смело полутемь в одну сторону, за сосну, совсем уж темного мало оставалось. Но за сосною все еще светилась пригоршня звезд, вяло, удаленно, на последнем накале. Глухаря скрыло краткой тенью, и он громче защелкал, захорохорился. На вырубках за речкою светло было, широко гомонили там птицы разные и совсем уж охмелело шипели друг на друга и ярились косачи.

В душе Митяя стало тесно, и от волнения или еще от чего ему тоже захотелось заплясать или заорать. Когда внизу ровно дверь в работающую землечерпалку распахнулась — это заговорила речка Разлюляиха, промыв рыхлый лед, — Митяй так заслушался и забылся, что пропустил одну, а может, и две перебежки.

За сосною обиженно моргнула и погасла последняя звезда. Голубым, вешним светом залило звезду, будто снеговицей; залило пебо, сосну и глухаря. Перья его отлива-

ли синевою, как неостуженный металл. Внутри старой птицы, должно быть, тоже сделалось горячо, раскалилось, все в нем, и токовик растопорщился весь, нащелкивал, словно в молодые свои годы, забыв обо всем на свете.

Митяй сглотнул слюну, и его неудержимо потянуло ринуться к сосне, вдарить под брюхо охмелелого бородача. С остановившимся от счастья сердцем замереть и услышать, как, ломая ветки и клубя сбитое перо, повалится глухарина и грузно, будто куль с овсом, бухнется на продох, под сосну, начнет громко биться, рассыпая капли крови по зеленому брусничнику, темный, краснобровый, с белой пылью изморози, пристывшей к сведенным лапам.

Но Митяй умеет свои чувства и нервы укрощать. Взгляд даже умеет прятать — вдруг делается его взгляд туманным, полусонным, а рот Митяя откроется. Ну тюха и тюха! Очень любили его за эту особенность ребята с землечерпалки, хотя сами тоже были артисты ой-е-ей какие!.. «Где-то они сейчас, дорогие мои кореша? — опечалился Митяй. — Эх, пожили! Дружно, весело и ни от какой гниды не зависели! Нету, видно, вечного счастья на земле...»

Прыжок! Второй! Остановка!

«Да-а, умели ценить ребятишки человека со способностями!» Понимали, что не могли Митяй полудурком прикидываться, так, может, и пропал бы давно. Вкалывал бы на вятской ниве, пока лапти не откинул, потому что в его колхозе работники — бабье, ребятишки да солдаты с еще далекой, турецкой войны. Такая жизнь в вятских деревнях пошла после войны, что наладили люди кто куда.

Митяй почему держался? Потому держался, что при правлении колхоза осел. Еще в войну, парнишкой, он при разных председателях вроде конюха, кучера и сторожа состоял — за конем смотрел, возил начальство куда надо, печку топил в помещении, пол даже мыл — ничем не брезговал, подноравливал. Зато жалицу не ел, с очисток да с мерзлой картошки не опухал. На комиссии тогда он подзагнул, конечно. А что? Навытяжку стоять? Не-е. Надо-сло ему навытяжку. Перед колхозным начальством до-вольно навытягивался.

Когда думы Митяя касались родного села, раннего его вступления на трудовой путь, то скорбь или обида разбирали его. Пока в селе жил, с ним этого не происходило, потому что привык ко всему, что было вокруг, и казалось, везде так люди живут — много работают и мало едят.

Потом он убедился, что тут же, на его же земле, где рос он и «служил» при правлении колхоза, где усваивал хорошие слова о том, что кто не работает, тот не ест, здравствуют люди, которые норовят всем своим поведением повернуть эти слова наоборот.

Село его родное отдалено от железной дороги и городов. Тут торгом и на дурика не проживешь. Тут люди всегда работали на земле, кормились от земли, с колхозного трудодня и иного своего назначения, иных распорядков не знали. Они хотели одного, чтоб было как прежде, еще при мужиках, побитых на фронте, чтоб за труд платили хлебом, деньгами, уважением, чтоб не забывали, что баба — тоже человек, и коль уж доля ей такая сошлась — доживать век без хозяина, трудиться за него и за себя, то не обделяли бы ее куском в будни да веселой чаркой не обносили в праздники...

Много ль ей, бабе, и надо-то? Вон взять мать Митяеву. Она в назьме работала, при свиньях, обугая в лапти. Лапти чинить некому. Отвыкли от лаптей. Кочедыки порастеряли. Митяй долго собирался купить матери валенки с галошами, да гулеванил все — не сходилось у него на валенки. Но как-то купил все же. Хорошие валенки, серые, и галоши те, что нужны на свинарнике, глубокие, шахтерские.

Мать надела их? Завернула в тряпку и убрала в сундук до праздника. «Новые-те валенки в свинарник? Да ты опупел! Свиньи захохочут! Экая, скажут, барыня!..»

Одна сейчас мать, одинешенька. Горько ей. И Митяю горько. Особенно от тех слов, которые сказала ему мать во время свидания в тюрьме: «Ладно, хоть пожил весело. И свет повидаешь хоть...» Страшно Митяю сделалось тогда, жутко даже. Все эти годы забыть не мог он выражения отрешенности на лице матери и пустоты в голосе, будто сделалось внутри ее дупло и из этого дупла шел подточенный жизнью голос.

«Однако студено,— корчится Митяй, осторожно переступая с ноги на ногу.— Но дюжисто еще». Да-а, будь изъят какой, либо болезнь в ногах — сумел бы вот так-то? Лежал бы на печке, и тараканы б в нем дыры точили. А он вот босиком почти, а все равно доберется до этого бородатого токовика. Поляну б ему только проскочить, там уже считай — птица в котле.

«Светает все же скоро весною», — с недовольством отмечает Митяй и прислушивается. Дрозды заливаются,

перепархивают по рябинникам. С осени еще остались на рябинах кисти. Вон снег весь усыпало морщинистой красноватой ягодой. Внизу у речки рябки заверещали. «Надо будет парочку прихватить Оленке-дочке. Любит она птичку. Косточки станет обглаживать и хрумкать. Пусть зубастая будет, не как мамочка ее, Зиночка, которую небось только ленивый и не лапал. Лапни попробуй дочку — куснет!»

Прыг-скок — и Митяй дальше думает о дочке Оленке, о жизни. Как она, жизнь эта, устроена интересно. Вроде бы уже совсем край, гибель неминуемая, а потом опять выровняется и все в ней ладом течет.

Вот тогда, в пятьдесят пятом это было, загребли его вместе с председателем колхоза, каким по счету — Митяй уж и не ведал. За раздачу справок и распыление сельскохозяйственных кадров, за разбазаривание сенокосных угодий, за обмен леса на патуру, за многое кое-чего. Список в обвинительном заключении длинный был, и возражать нечего.

«Признаете?» — «Признаю».

Председателю — десять. Бухгалтеру — семь. А тебе, Митяй, как пособнику, — пять.

«И на том спасибо». Митяю говорили до суда — больше отвалят. Учили, должно быть, что несудим, что в подчинении опять же: скажут — вези то-то. Везет то-то. Скажут: доставь то-то. Доставляет то-то.

Не сигнализировал о недостойном поведении руководителей? Поди сигнализируй, гражданин судья и гражданин прокурор в сукошной форме. Только перед этим поживите лет десять в селе моем, на военной пайкс-голодайке, и в лопоти военного периода в школу побегайте, в десять лет мешки мужицкие потаскайте на себе, за дровами в Волчью падь поездите вечером, в стужу (днем-то лошади заняты), да на мать посмотрите, как она...

А после этого всего — в тепло вас, на сытое житье и на удовольствие от жизни разное.

Пять лет! Чтоб так пожить, как пожил он, иные б и на десять согласились. Подумаешь, пять лет!

Он пропал за эти пять лет? Дошел? Затерялся?

Он сразу умом своим дошел, что придурков в колонии трудовой и без него довольно. Профессора по этой части, а может, и академики даже есть.

Что нужно было противопоставить им? Чем исправить печальный факт жизни?

Он знал чем — и на лесоповале показывал чудеса трудовой доблести. В пример ставили Митяя, кашу допозднательную давали и освободили на два года раньше.

Почему?

Да потому, что мозга в его башке имеется, потому, что он вырос в трудовой семье, у трудовой матери, и не по своей воле, а по нужде начал путь жизни с прислужничества, с пособничества вору. В их родове он первый, кто по судам да по колониям, — это тоже понять надо.

Раз! Два! Три!

Перескочил Митяй, качнулся и чуть было не свалился, запнувшись о валежину, на которой вытаял и свежо зеленел брусничник. Глухарь чего-то умолк. Времени. Выжидает. Впереди, в подлеске, просвет угадывается, белыми полосами пустое просвечивает. Только б Митяю кулижку ту проскочить да глухаря уторкать, а остальное все ерунда на постном масле. Не он первый и не он последний в этом миру запутался. Главное сейчас — полянку проскочить.

По ней, по полянке этой, скоро подснежник пойдет беленький, потом трава.

Как-то в год победы, весною, ездил он в район зачем-то. На кошевке ездил, как чин какой! На обратном пути подснежников набрал. Вечером ко Ксюхе явился. С цветами за пазухой. Отдал. Вручил. Ревела она. Нюхала и ревела.

«Эх, Ксюха! Ксюха! Состарела небось, усохла? Чего тебе тот детный путеобходчик, за которого ты вышла после войны, чтоб от села навозного да колхозного избавиться? Да ты таких путевых обходчиков пятерых умаешь и после еще костыли на всей путе молотком забьешь! Такая в тебе сила! Страшная сила! Дети от тебя были бы здоровые, черноглазые. Эх, Ксюха, Ксюха! Сколько баб и девок знавал, но вот тебя, как присуху, забыть не могу. Жену свою, по разнарядке Богом спущенную, Зинку, обойму, а об тебе мысль. Неужто любовь промеж нас была?..»

Бродит Митяй думами по жизни своей, точно по лесу. Перескакивает, как по угору этому, и то на елки, то на палки натывается, а то и о колодину запнется. Просвет в его жизни так же, как на угоре этом, — единственный и величиной с кулижку, в два прыжка которую одолеть можно.

...Четырнадцать ему было, пятнадцатый шел, когда Ксюха Сюркаипа, году с мужиком не прожившая из-за

войны, завлекла его к себе, напоила самогонкой и баюшки с собой положила.

Ярая молодайка Ксюха! Дикая! То орет, бывало: «Уйди, рахит косопузый! Обрыд ты мне! Ненавижу я тебя и себя!» То опять гладит, ровно теленка, милует...

Ну, он потом послал куда надо Ксюху, сообразил, что не одна баба на свете и какое ши есть утешенье каждой требуется. А Ксюху послал потому, как возможности никакой не стало: ревнует, шумит, дерется с бабами, волосья пластает.

«И-э-э-эх, делов было!» — трясет головой Митяй.

Мать, правда, здорово ругалась, баб кляла, испортили, говорит, потаскушки, мальчишку, изгадили. Но потом и сама, видно, рукой махнула на все. В тюрьме вон какие слова ему сказала: пожил, дескать. Оно и правда, пито было, едено. Удовольствия всякого было. А вон старший его брат, Емельян, восемнадцати лет на войну ушел. Он бабу-то во сне только и видел небось. Не погулял, не понаряжался... Может, об Емельяне думала мать, когда говорила Митяю такие свои слова...

После очередного перескока Митяй стянул сначала один носок, потом другой, потер руками ноги. Но руки тоже отерпли от ружья. «Лучше уж про жизнь думать — сразу жарко делается», — усмехнулся Митяй сам над собой.

Не поехал в родное село Митяй после колонии. На Кынте задержался, возле Никодимовки. В ту пору решение из совнархоза вышло — сделать Кынт судоходным до города Кынтовска. Раньше еще, при царе Горохе, когда люди без штанов ходили, плоты, говорят, по Кынту гоняли, железо и всякий груз плавил. А потом затащило Кынт. Надо было скопать отмели, перекаты, камешник и в баржах свезти на глыбь.

На одну из землечерпалок и поступил Митяй в качестве разнорабочего. Работали на ней четверо ребят, освобожденных из его же колонии, и поэтому вроде родни они ему оказались. А остальные — вербованные. Народ! В каких они палестинах побывали! Какие приключения извели!

Митяй, слушая их, поражался обширности земли и разнообразию человеческой жизни.

Они, эти ребята, как-то весело все делали, играючи. За пять лет, которые греблась землечерпалка возле Никодимовки, они вывели в ямах рыбу взрычаткой, спалили

лес на ближней гриве, мимоходом сделали десяток-полтора ребятишек никодимовским и другим встречным женщинам. И ток этот глухариный, между прочим, они же распотрошили. Мошника-токовика им шибко хотелось уговорить, да он не дался...

Впереди на поляне послышался хруст, и в мыслях Митяя получился сбой. Он напрягся слухом. Что-то шуршало на поляне, сламывались под чьей-то мягкой поступью козырьки наста, доносилось протяжное, будто стариковское, сопенье. «Неуж кто крадется с другой стороны?! — от такой догадки все нутро Митяя ровно бы перцем обожгло. — Не дам! В крайности, отсюда пальну!..»

Все скоро утихло, и Митяй тоже постепенно успокоился. Однако глухарь, вытянув шею, беспокойно плясал вниз, перья на нем опадали, как темная пена, и он убывал на глазах, ровно мяч, из которого утекал воздух. «Рысь, верно, чует», — подумал Митяй и на всякий случай поднял курки. «Если рысь набредет — ударю. Шкурку к Оленкиной кровати постелю, чтоб на холодный пол не ступало дитя. Лезет шкурка сейчас. Но ничего. Зверя этого запрегу бить нет. Вредный этот зверь, хищник».

Митяй пошевелил пальцами в носках. Живы пальцы. Но если еще ждать...

Глухарь опять взъерошился: затоптался мешковато, по всему видно — собирался защелкать.

Митяй осторожно наступил на лапу пихты, высвободившуюся из-под снега, — все не так ноги жечь будет — и направил свои думы в старое русло.

Несколько лет перегребали они землечерпалкой перекаты возле Никодимовки, но вперед не продвигались, потому как за лето они увезут на баржах камень с перекатов в ямы, а весной льдом снова припрет землю, камешник и наделает мели.

На зиму Митяя оставляли сторожить землечерпалку. Сподвижников его в область отзывали, работать на ремзаводе, — у каждого из них было пагуляно от четырех до семи необходимых государству профессий. Они могли слесарить, токарить, монтажниками быть, плотниками, электросварщиками — они все умели, а Митяй — только плоское катать и круглое таскать.

Вырыл Митяй землянку в продырявленном стрижками яру, с окном на устье Разлюляихи, где покоилась отбитая мысом от быстрого Кыпта землечерпалка, ловил ершей из-под льда, помогал в деревне кому кадку починить, кому

крышу покрыть, кому дров напилить. За это ему доплата к основному жалованию шла в виде харчей и душевного отношения селян, в особенности вдовых женщин, которых Митяй научен был жалеть еще с детства. Совсем уже бедолажным бабам делал он работу за так — не корыстовался на чужой беде.

Такая вот мелкая работа и свела его с брошенкой Зинкой. Жених ее, Коля, поехал добровольно поднимать целину. И поднял! Слух дошел — жепя его из городских красавиц, волос высотным этажом носит.

Все бы это ничего, да Зинка от целинника Коли осталась в интересном положении, боялась, что отец зашибет ее, хоть и однорук.

Отец Зинки, Корней Ваньшев, — человек серьезный, на войне руку потерял, а нынче при колхозе пчеловод и член правления артели.

Подумал, подумал Митяй на досуге, в землянке своей, и решил, что пролетарью терять нечего, кроме цепей, да и взял грех целинника Коли на себя.

Родилась девочка Оленка. Чего-то там в сроках не совпадало, ну да кто нынче, в век науки, обращает внимание на такую мелочь? Зинкина мать, Ваньшиха, поспешила назвать Оленку недоноском. А девочка и впрямь что недоносок — хила, блекла, ноги колесом. На этом основании Ваньшиха всем радостно твердила, что девочка — вылитый папа, Митяй. Переживала Зинка из-за своего целинника Коли, и терзания души ее в утробу перекинулись, на ребенке изъязном отозвались.

В общем-то Митяю такая девочка даже больше к душе пришлась — жалость вызывала в нем, самому ему непонятную. Привязался Митяй к девочке, а с Зинкой как было, так и осталось: она о целиннике своем тоскует, а он о Ксюхе. И может быть, не столько уж о Ксюхе, сколько о развеселой, юной поре, о родной вятской деревеньке, подле тихой речки стоящей, лаптями пахнувшей, жалицей и лопухами заросшей и все же своей, единственной на свете...

Глухарь что-то не поет? Опять вниз пялится, опять шею вытянул, а уж совсем ободняло. Ноги аж до стопы ломит. Может, плюнуть на все и бросить этого бородача? Пусть живет.

Но тут Митяй вспомнил, как еще в начале марта ездил он к Переволоке за дровами и нашел здесь наброды глухариные. И с тех самых пор, с марта, значит, сердце Ми-

тя сладко посасывало в предчувствии песни глухариной, выстрела и тугого, душу радующего, удара о землю...

Митяй для проверки тихоноcko швыркнул носом — не заложило ли? Нет, ничего — свищет. «Подюжу еще. А там уж, если что, пальну из обоих дул, чтоб громом тут все поразразило!» Митяй весь дрожал от нервности или от студености утра и земли.

Он снова, большим уже усилием, усмирил свой бунт, заставил думать о себе — это успокаивало его и настраивало на жалостно-сочувствующий лад к себе, к своей жизни, к Оленке, которая любит его больше, чем мать. Видно, отчужденность Зинки, ее длинную, изнуряющую тоску по тому, чего уже возвратиться не могло, чувствовал ребенок.

В том году, как подбортнулся Митяй к Зинке и перетащил рюкзак свой из землянки в нормальный дом тестя Ванышева, работы на Кынте были прекращены. Еще целую зиму Митяю шла караульщицкая зарплата, потом и ее перестали слать. Однако Митяй добровольно удозоривал землечерпалку, не давал ее растаскивать, надеясь, что еще понадобится и он, и землечерпалка, и снова он будет при настоящем деле и с хорошим коллективом.

Тесть сначала намекивал, потом приступил к Митяю с требованием — перетащить с беспризорной землечерпалки шланги, ремни, лампочки, инструмент и все, что поценнее. Митяй молчком увиливал, а когда уж тесть совсем его припер, изобразил из себя того человека, которого и хотел бы иметь в зятях Ванышев, то есть покорного, осознавшего свое недостойное прошлое.

— Я, папа, учен, крепко учен,— скромно заявил он тестю, и тому крыть стало нечем, и он похвалил даже Митяя за такое примерное поведение.

Но когда по большой воде пришел пароходишко, собрал три землечерпалки сверху и, прихватив по пуги четвертую, Митяеву, ушел, не сказав Митяю ни спасибо, ни наплевать, тесть язву свою болючую открыл все же: «Ну что, зятек, какую премию вырешат тебе за сбережение социалистической собственности?»

Прослужив при многих председателях на побегунках, изведав в колонии всякого, Митяй научился молчать. Он спес издевку тестя. Он даже не папился, а вот убежать от блажной Зинки, от хозяйственного тестя ему захотелось.

Как землечерпалку увели и надежд никаких не осталось, тесть походайствовал за Митяя и помог ему устро-

иться поближе к технике, на колхозный паром, а зимой Ванышев при хозяйстве держал Митяя. Угадывая смятение в душе зятя, тягу его к другой жизни, тесть Ванышев всячески поощрял радения Митяя к хозяйству и говорил, свойски подмигивая:

— Тесть любит честь! Зять любит взять! Кхе-кхе, помрем мы со старухой — все вам останется.— Чувствовалось большое сожаление тестя Ванышева о том, что нажитое хитрым его умом и трудом добро достанется такому бросовому человечешке, как Митяй.

«Да на кой мне нужно твое хозяйство? — хотелось заорать Митяю на тестя, который был еще не стар и умирать не собирался.— У меня сроду, как у латыша,— хрен да душа! Романтик я! Мне на Сахалин охота. Рыбу косяками ловить, по птичьим базарам палить, чтобы жахнул, так сыпались!..»

«Чтоб не как здесь — все утро к глухарю крадусь, а он, стервоза, вроде тестя Ванышева, куражится: то пост, то резину тянет! Обезножешь из-за него, ирода!..»

Вдруг зажмурился Митяй — так его полоснуло по глазам выкатившимся из-за леса солнцем. Понял Митяй, что теперь ждать нечего. Плюнул с досады и пошел к сосне напропалую, даже наперевес ружье,— чтоб, если птица полетит, успеть ударить ее на лету, встречь.

Митяй выбежал на полянку, до которой так долго хотел добраться, увидел, как приосел на лапы глухарь, готовый пружинисто оттолкнуться и слететь, хотел уж вскинуть ружье к плечу, но внезапно почувствовал, что кто-то еще тут есть рядом. Он напряженно повернул голову и сразу забыл обо всем на свете.

Шагах от него в трех, не далее, сидел на проталинке худой, мосластый медведь. Стомленный дремою, он пьяно пошатывался. Шерсть на нем вся свалилась, один бок заиндевел,— должно быть, подтекло в берлоге и выжило на рассвете хозяина. Глаза у медведя были бессмысленно-сонны, как у новорожденного младенца, когти длинные, безжизненно-белые.

Митяй не мог оторвать глаз от этих немислимо длинных, загнутых когтей.

Сколько он стоял, глядя на эти когти, когда и как он хватил с поляны, куда делся мошник-глухарь — слетел или на сосне остался, сколько времени он мчался домой, каким путем? — Митяй не помнил.

В дом он ворвался, все еще держа ружье наперевес.

На ногах его от козых носков остались одни манжеты, и ноги все были изрезаны стеклом наста, телогрейка изорвана о сучки, и лицо все исцарапано.

Ваньшиха отпаивала Митяя святой водой, тесть Ваньшев водкой с перцем отпаивал, насмехаясь и тем насыщая постоянную свою неприязнь к зятю.

Повеселилась Никодимовка и заречные две деревни, прослышав о том, как Митяй из лесу тяга давал. Тесть Ваньшев не поленился, разукрасил происшествие. Не без подначки он все посылал Митяя за сапогами в лес, но тот отмалчивался и в лес не шел. Однако так получилось, что сапоги эти сами его нашли.

Летом двое кынговских рыбаков спускались с удочками по Разлюляхе и возле Переволоки варили чай. В елушниках они ломали сучки и обнаружили кирзовые сапоги, замытые до белесости дождями и покоробленные жарою.

Харюзятники прихватили сапоги с собою и вечером, переправляясь через Кынт, рассказали про них паромщику. Он признал сапоги своими, в доказательство поведав историю о весенней охоте на току.

Вдоволь посмеялись городские рыбаки, слушая Митяя, а он оглядел сапоги, возвернутые ему, и, определив, что носить их еще можно, если хорошо смазать, однако политру ставить за них смысла уже нет, неожиданно спросил:

— Вы, ребята, не из сорнавхоза, случайно?

— Случайно не из сорнавхоза,— улыбнулись в ответ горожане.— А что?

— Да ничего, так,— вздохнул Митяй.— Мне бы оттуда кого увидеть, о деле одном важнеющем поговорить.

Что же за дело у него такое и не могут ли они чем быть полезны? — поинтересовались городские рыбаки.

— Не-е, тут дело государственное. Тут надо с лицами ответственными толковать.— И, помолчав, с важностью прибавил: — Об реке Кынте высказать мыслью хотел. Копать ее надо, судоходство проводить. Выгода от этого будет. Людям, государству опять же.

Харюзятники оказались из газеты, сказали, что Кынт, как местная проблема, снят с повестки дня, что железная дорога вполне справляется с грузоперевозками, а ради прогулок копать реку — дорогое удовольствие. И еще городские намекнули, будто бы и совнархозы аннулировать должны, так что с просьбой ему подаваться некуда.

Митяй совсем приуныл после такого разговора. Долго

стоял он, облокотясь на перила парома, и глядел на мальков, суетящихся в воде. Матом покрыл он собравшихся на другом берегу мужиков и баб, которые требовали парому и недоумевали — на что это уставился непутевый никодимовский паромщик, чего он в воде узрел? И какое такое право имеет он крыть их с верхней полки?

А Митяй ничего в воде не видел, точнее, видел мулек, водоросли, но не осмысливал, чего зрил.

Он думал о матери своей.

Письмо от нее пришло. Домой она его звала. Нутром своим материнским и земляным чуяла, видно, что жизнь у Митяя идет неладно. Никогда он не писал ей, с кем живет, как живет, а она вот...

Налаживается, пишет, жизнь на селе, съезжаются обратно под родную крышу люди, и ему будя по свету колесить.

«Налаживается?! Это кто как понимает. Сняла дырявые лапти, свинарник починили, ситцевый платок на премию дали, за трудодни жита и деньжонок маленько — вот уже и налаживается...»

Сам про себя вон все время твердит: «Уж пожил так пожил смолоду!» А что пожил? С голоду не подох? Самогонку, брагу и разную дрянь хлестал до блевотины? С бабами непутными и несчастными спал?..

Однако ж не звала его домой мать прежде. Сколько постановлений и решений разных об улучшении колхозной жизни печаталось, а она не звала, не хотела худа сыну.

Паром, или Митяев агрегат, как его с насмешкой звал тесть Ванышев, зацепленный быстрым течением, катился по Кынгу к другому берегу. Навалившись на кормовое весло, глядел Митяй на деревеньку Никодимовку, бестолково раскиданную по осыпистому, крутому берегу, и тупое, гнетущее раздражение разрасталось в нем.

Раньше село размещалось в устье Разлюляихи, на приволье, в лугах, и пазывалось по-другому. Но появился высланный из Кынговска расстрига-поп Никодимка и поперек миру срубил избушку на косогоре, отдельно от людей. А те не захотели, видать, в тоске и кручине оставлять батюшку, потянулись с домами один по одному на крутой, каменистый берег, где ни воды, ни травы — тощие кусты да бурьян колючий.

Пашпи паверху, за деревней. С пашен тех иногда чуть больше семян собирают, а чаще и не жнут вовсе, скот осенью загоняют в хлеба эти, где колосок от колоска —

не слышно голоска. Надо бы сеять там, где прежде сеяли, в устье Разлюляихи. Но давно уже на полях этих исполу косит траву ОРС сплавной конторы — пол-укоса берет себе, пол-укоса колхозу отдает.

Удобство! Ничего не делай и сено получай!

За рекою, во второй и в третьей бригаде, от восхода до захода люди быются, артельные ж прибыли все на одном уровне — пегу их. Зато никодимовцы живут припеваючи. Железная дорога от Никодимовки в восьми верстах, а через пять станций город. Ваньшиха на парниках работала до появления внучки, так понятия не имела сдавать первые огурцы в кладовую колхоза,— как свои, на рынок гнала. Поди учти, сколько в парниках зародышей и сколько пустоцвету! Вместо мамы Зинка теперь на парниках. Ее уж было отстранить хотели, но тесть Ваньшев такую оскорбленность высказал, так грозился написать в верха, что махнули люди рукой, отступились.

Тесть Ваньшев на людях держится рачителем артельного хозяйства, а дома насмехается надо всеми. В рассуждении такие подлые иной раз пустится, что морду ему набить хочется. «Нам бы, по нашим трудам да землям, при проклятом прошлом после Рождества уж зубы на полку класть пришлось. А нынче другой оборот! Нынче нам спашут, сборонят, яичко спекут, да и облупят...»

«И чем же ты лучше кулаков, которых твой покойный отец зорил?» — негодовал Митяй.

Шибко ему обидно было за колхозников из второй и третьей заречных бригад, которые батрачили на его тестя и на таких, как он, приспособивших себе колхоз. Митяй опасался, что не сдюжит и как-нибудь подпалит все хозяйство тестя, с разоренных кулацких дворов натасканное покойным его отцом, с рынка паторгованное, с колхоза высосанное самим тестем Ваньшевым.

«Уеду! — стонал Митяй. — Оленку вот только жалко. А если забрать ее в ночное время? У азиатов досе невест похищают. В газетах читал. А тут ребяенок. Ее и искать-то не станут. Пошумит тесть для порядка, и все. Мать вон домой зовет. Она добрая у меня, трудовая. Любить Оленку будет. Внучка ж. Родной объявлю...»

— Э-эй, Митяй, уснул?

— Куда ты, лешева, несет? — раздались крики.

Митяй очнулся и обнаружил, что переплыл уже Кыпт, но паром остановился не у сходней. Он подвел паром к сходням и, отстранившись, безучастно смотрел, как гру-

зились на паром люди. Благодушные от выпивки и воскресенья, они привычно посмеивались над паромщиком.

— Об медведе все думаешь, Митрей?

— Штаны-то небось не отстирались ишшо-о-о?

— Другой раз Ванышева на медведя посылай. Загрызет.

— Зинку пошли за сапогами. Она ради добра своо тигры не испугается...

— Самое Ванышиху пошли — не промажешь!..

— Высчитал небось Ванышев с тебя за сапоги-то, Митрей?

— Он с него натуроплатой возьмет.

— Правда ли, Митяй, что Ванышев в мед сахару подмешивает для продажи?

— Скажет он, доложится...

Митяй не отзывался и сонно, равнодушно наблюдал, как переходили на паром женщины, мужики, старуха с девочкой, как заводили усталого коня с пустой телегой. Конь отмахивался от слепней, бил себя хвостом по вытертым холке и репице. Синица береговая села на спину коню, клонула что-то раз-другой в шерсти и поспешила в камни, к гнездышку.

Паром отчалил. Привычно забурлила и зашумела вода под ним. Пассажиры забыли о Митяе. Мужики были выпившие, да и женщины иные тоже. Бабепка одна, телятница из третьей бригады, обутая в красные сапожки на меху, купленные с рук на Кынтовском базаре, все норвила плясать, чтобы сапоги такие роскошные показать и какая она отчаянная — пьяная — показать. Но пьяной она не была, усталой была, от жары и городской базарной суетни. Ногам ее тоже, видать, жарко и тесно в непривычной обуви. Но она упрямо притопывала:

Ох, мать моя, мать,
Разрешн солдату дать...

Шатнувшись, ухватилась телятница за перила, вытаращила глаза и, закусив бледную, потную губу, стянула сапог.

— Гвоздь, может, в ем, а, мужики? Кто гвоздь загнет? — спрашивала она, засунув руку в сапог.

Мужики все рассказывали, перебивая друг друга, как торговали сегодня на городском базаре ранней овощью и ягодой, кто из них сколько чебурахнул, и сожалели, что добавить негде — в сельпо из-за сенокосной страды водку не завозят.

Телятница влезла в круг с красным сапогом. Один из мужиков, свежеподстриженный под бокс, хлопнул ее по заду и подморгнул: «Дотерпи ты до берегу! Там я те все ладом справлю...»

Мужики захохотали, а телятница, будто не поняв намека, снова запела: «Ох, мать моя, мать...» — и запритопывала одной ногой босою, другой в красном сапоге. Мужики начали подсвистывать, прихлопывать, отчего телятница так разошлась, что допела срамную частушку до конца.

Раскачало весельем паром, и шума воды не слышно сделалось. Лишь старушка богомольного вида с кротким и далеким лицом, не вникая в веселье, макала желтую баранку в противопожарную бадью с водой, и, мелко и часто перебирая голыми деснами, мусолила ее. Под мышкой у старушки, как цыпленок под крылом, ютилась в беленьком ситцевом платье девочка с прямой, торчащей надо лбом челкой. Не обращая внимания ни на мужиков, ни на частушки, которые теперь сыпали наперебой телятница и мужики, девочка рассматривала картинки в цветастой красивой книжке. С радостным удивлением она тыкала в книжку пальцами и, шмыгая носом, вытягивала полные губы: «Мэухы, сыкатухы...»

С берега от Никодимовки, припадая набок, катилась женщина с корзиной и, не в силах крикнуть что-либо, махала рукой парому.

Митяй сначала смотрел на нее, как и на все тут сонно и безразлично. Бестолковая эта баба, должно быть, предполагала, что за нею с середины реки вернут паром.

«Некогда ей. Отторговалась. Домой торопится», — мысленно издевался Митяй над бабой. Но, ровно отрубив в себе разом что-то, он застопорил паром, навалился на весло, натужился до красноты в лице и повел его обратно.

Веселая компания была занята собою и телятницей и не сразу обнаружила — куда паром плывет и почему он повернул? Опомнились пассажиры, перестали плясать и выкрикивать частушки уж после того, как стукнулся паром о сходни и баба с корзиной, перемахнув на него, задышливо твердила:

— Дай тебе, Митяй, Бог здоровья!.. Вот дай тебе Бог...

Но Митяй не слышал пожелания ему здоровья, не слышал, как ругались мужики и один из них, активный селькор, грозился написать в районную газету.

Митяй карабкался вверх по берегу, хватаясь за низенькие пихточки. Он торопился. Торопился так, будто за ним гнались, к дому с резными наличниками, с воротами, которые уже сами по себе были архитектурным сооружением, увенчанные крышей, наподобие гроба, к дому с телевизионной антенной, сделанной из железа, принесенного Митяем с землечерпалки, и одна-единственная мысль больно билась в его голове:

«Похищу! Похищу! Похищу!»

РУССКИЙ АЛМАЗ

Речка Полуденная течет по самой границе Европы и Азии. В иных местах она скатывается с болотистого хребта, будто малолетний седок с потной спины лошади, вертится возле увалов по логам, кое-где и буровит хребет, дырявит камень.

На речке Полуденной стоит поселок Промысла. Раньше он назывался Кресто-Воздвиженские промысла, но в силу революционных преобразований первая половина наименования отмерла. Кресто-Воздвиженские промысла принадлежали когда-то баронессе Полье-Варваре Бутэра-Родали, и на них добывали золото приписные крестьяне и каторжники. Крепостной парнишка Попов из села Верхнее Калино, работавший вместо отца каталом на промыслах, нашел здесь первый русский алмаз. Было ему тогда четырнадцать лет. Интересное совпадение: африканский первый алмаз будто бы тоже нашел четырнадцатилетний негр-пастух.

Первый русский алмаз был жалован императрице в день именин, и баронесса Полье Бутэра за это сделалась графиней, о судьбе же Попова ничего не известно.

Больше чем столетие история первого русского алмаза никого не занимала.

После Отечественной войны, в силу занявшейся «холодной войны» и прочих необходимостей, в стране возникла потребность в алмазах — тогда и вспомнили о Попове и о Промыслах. Началась добыча уральских алмазов, но как открыли алмазы в Якутии, работы на Урале стали

свертываться, и когда я приехал в Промысла, поселок, было воспрянувший из забытья, снова впадал в спячку.

А приехал я в Промысла с намерением собрать материал и написать книжку, и не просто книжку, но непременно приключенческую — о катале Попове и первом русском алмазе. Тогда я еще неискушен был в литделах и думал, что все могу написать — хоть приключение, хоть комедию, хоть роман.

Ничего, конечно, у меня не вышло и выйти не могло. Сама история первого русского алмаза оказалась столь по-русски безалаберно запутанной, туманной, что уже отдавала небылью. Семеро или восьмеро зеленобородых стариков заявили, бия себя в грудь кулаком, что это они нашли первый русский алмаз, и требовали за такое дело себе особой «пензии». Затем самый сердитый дед опроверг и стариков, и себя, сказавши, что никакого Попова он и слыхом не слыхивал, и что старики эти зря на пенсию набиваются, хотят государство охмурить. Вовсе этот алмаз Ермачиха нашла в зобе у курицы. Ермачиха же давно померла, и знать никто ничего не может...

Тут я решил плюнуть и на алмаз, и на Ермачиху, и на дедов сивых, и на приключения всякие да и податься домой.

Председатель поссовета, тихий больной мужик, из тех, кто по нездоровью только и соглашался на эту должность и маленькую зарплату, обещал прихватить меня наутре с собой до станции Теплая Гора, и я остался почевать в поссовете.

Председатель готовил на городскую сессию доклад о жизни и достижениях вверенного ему поселка, сидел под лампочкой за столом, тужился умом, чтобы вспомнить разные цифры, шелестел бумажками, я лежал на газетах возле старой железной печки на полу и слушал ветер за окном.

Была уже поздняя осень. Ветер на улице ревел, стучал там чем-то и время от времени, ровно бы из ружья мелкой дробью, хлестал по стеклам.

В поселке ни звука, ни огонька. Геологическая экспедиция, на время оккупировавшая Промысла, унялась, перестали рычать под окнами буксующие машины, орать и материться вербованные в конторе, что располагалась в нижнем этаже поссовета.

Дом поссовета огромный, старый, с внутренней лес-

тницей на второй этаж. В поссовете чисто, полы выскоблены, тихо очень и тепло.

Я уже задремал возле печки, председатель все писал чего-то, уткнувшись очками в бумагу, и без передыху смолит махорку, как вдруг внизу хлопнула дверь и послышались шаги на деревянной скрипучей лестнице. Потом кто-то скребнул по двери ногтями, напширивая скобу. Председатель перестал писать, поднял голову, я тоже открыл глаза и уставился на дверь.

Было уж примерно час или два глухой, непроглядной осенней ночи. Председатель открыл рот, собираясь, должно быть, сказать: «Кого там лешаки в такую пору?..» Но не успел он ничего сказать. Створка филенчатой двери распахнулась, и на пороге возник человек с топором на сгибе локтя, в мокрой телогрейке и в мятой, затасканной кепке.

Он стоял у двери, промаргиваясь на свет. Мы оба глядели на него. Топор и топорище были в крови, лицо человека, руки и штаны тоже были в крови.

— Здорово, начальник! — сказал человек и, взявши топор в руку, пошел к столу. Председатель даже не отшатнулся к окну. Он сидел выпрямившись, и только руки его медленно сползли со стола, да почему-то очки спали с одного уха и висели на одной дужке вдоль лица. Я как лежал на газетах, так и лежал, не в силах ни шевельнуться, ни вскрикнуть, подбирая под себя ноги.

— Вот! — сказал человек и положил на стол, прямо на бумажки председателя, на доклад его о достижениях поселка Промысла, окровавленный топор.— Ну, чего смотришь? Офонарел? — насмешливо спросил человек и похозяйски поправил на председателе очки.— Арестовывай меня давай...

— Ч-чего?

— Арестовывай, говорю! — Он огляделся, заметил меня и захохотал: — А-а, духарики! Нагнал на вас морозу?! Кто будешь? — ткнул он в меня пальцем. На ногтях я увидел кровь, еще не черную, не обсохшую.

— Ли-литработник.— Он не понял. Это я заметил по его лицу, переставшему улыбаться.— Газетчик я.

— А-а, газетчик,— снова заулыбался человек.— Брежете вы все в своих газетках. Закурить не найдется?

Я поспешно сунул ему пачку сигарет. Прежде чем взять сигарету, незнакомец глянул на руки:

— Аг, падла! Кровины, как из барана! Пойду руки вымою. Умывальник на лестнице видел...

И он ушел. А у меня в голове такой пустяшный вопрос возник: «Как он умывальник в темноте увидел?»

Председатель все сидел оторопелый. Но вот быстро глянул в распахнутую дверь, цапнул обеими руками топор и сунул его себе под ноги, наступил на него.

За дверью бреччал рукомойником, отфыркивался человек. Он громко высморкался под конец и возник в свете умытый, искал чем бы утереться.

— Там! — показал председатель в дверь. — Там полотенце.

— Да я видел. — буркнул незнакомец. — Марать не захотел. Газету подержанную давай.

Газеты были у меня под головой. Я поспешно протянул ему подшивку, скрепленную лучинкой и веревочками. Незнакомец глянул на заголовок газеты, отодрал штуки три сверху. Утер сначала лицо, затем руки, сунул мокрую газету в печь и еще о зад штанов повытирал руки.

— Вот теперь закурим! — весело сказал он и губами, чтоб не мочить, ловко выудил из пачки сигарету. Затянулся, крякнул от удовольствия: — Болгарские! Давно не курил. Слабоваты, но зато запашистые...

— Э-э, собственно... — подал слабый голос председатель. — Я, так сказать, интересуюсь...

— Почему сюда пришел? — подхватил человек. — А куда же мне идти? Ты — власть! Ты должен арестовать меня.

— За что?

Прежде чем ответить, человек присел на корточки к печи, плюнул окурок в поддувало — моментом иссосал сигарету и вроде бы раздумывал: не закурить ли другую?

— Да пришил я тут одного, — не оборачиваясь, небрежно ответил он.

— П-при-ш-ш-ил? — снова начал заикаться председатель. — К-как?

— Обыкновенно. В карты проиграл...

— Та-ак, — протянул председатель и снова положил руки на стол. — Та-ак, — повторил он уже тише, не зная, что дальше говорить и делать.

— Может, вы объясните... — попробовал я помочь председателю и снова протянул сигареты. Незнакомец закурил от уголька, отстранив протянутые спички.

— Чего объяснять? Проиграл и проиграл. Человечиш-

ко был... — он махнул рукой, — все равно его рано или поздно укоцали бы...

— Где? Куда вы его дели? — уже не заикаясь, поинтересовался председатель.

— В пруду он. Раскряжевал я его топором, в матрасовку сбросал — и в пруд...

— Та-ак, — снова протянул председатель. — Та-ак, — повторил он. — Зачем же сюда-то явился? Чего я с тобой делать стану?

— Чего делать? Арестуй! Ты — власть!

— Власть?! — фальцетом вскрикнул председатель, и с него снова спали очки, и он заторопился, цепляя их за ухо: — Какая власть моя супротив таких!..

— Да ты не шуми, начальник! Не гомони! Ты ладом поступай, по закону...

— По закону... — снова закричал председатель и хотел, видать, добавить: «Какой тебе закон может быть...», но воздержался и уже устало, официально начал спрашивать человека и даже записывать что-то.

Человек привычно, деловито и коротко отвечал. Отвечая, он встал и окурок спрятал в кулак:

— Митрофан Савелов.

Я невольно усмехнулся — посмотрел бы фонвизинский Митрофанушка на своего тезку! Как далеко ушел!

— Усольский родом. Годов? Годов двадцать восемь. Срок? Хватит сроку.

Митрофан Савелов из лагпункта. Лагпункт остался еще от алмазников. Теперь помогает экспедиции копать землю. Митрофан Савелов в лагпункт не являлся, совершив убийство. Хитер Митрофан Савелов! Там ночью и собачками затравят либо стрельнут «при попытке к бегству», тем более что и попытки никакой нет, есть прямой побег да еще и с убийством. Вот и подался Митрофан Савелов под защиту власти.

— И что же мне с тобой делать? — хмуро повторил все уже понявший и много повидавший председатель.

— Прокурору звони. Чтобы взяли. А я спать лягу, — посоветовал Митрофан Савелов и начал стелить за печкой газеты.

Постелившись, он погрел сырую телогрейку с исподу и свернул ее в головах, затем и сам лег, вытянулся, закинул руки за голову.

— Лаф-фа-а!

Все это время и я, и председатель молча наблюдали за гостем, но он ровно бы и не замечал нас.

— Ну, чё задумался, корреспондент? — глядя в потолок, полюбопытствовал Митрофан Савелов. — Поражаешься? Дескать, человека ухряпал человек и спать ложится преспокойно.

Я кивнул головой — так, мол, оно и есть, угадал. Председатель же вспомнил о банке с махоркой, начал цеплять ее щепотью и крутить сигарку, соря табаком на бумаги и на стол.

— Дай-ка мне махорочки, — поднялся Митрофан Савелов, — сигареты не проймают. — Он скрутил сигарку, приткнулся ею к председателевой сигарке, взяв руку того в свою, и, затянувшись, кивнул на телефон:

— Ты звони, давай, звони. Действуй! Утро скоро. А я разуюсь, пожалуй.

Не развязывая шнурков, он стянул ботинки, размотал и бросил на поленья вонючие истлевшие онучи. Пальцами рук он потер меж пальцами ног и вытер руки о штаны. Вытер и снова вытянулся за печкой.

— Вот так вот, корреспондент! — как будто и не прерывался разговор, продолжал Митрофан Савелов, не глядя на меня. — Так вот и буду спать спокойно и ужастей никаких во сне не увижу. Привык. В газетах вы пишете — закон джунглей, закон джунглей. Тама, у них. А у нас закон — тайга! Те же штаны, да назад пуговицей...

Давно, видать, Митрофан Савелов не разговаривал ни с кем на вольные темы с таким вот насмешливо-ироническим превосходством в голосе. Был он коренаст, крепок, исколот весь. На четырех пальцах правой руки выколото «Нина». На четырех левой — «Надя». Якоря там были, кипжалы со змеей, и на груди чего-то виднелось. Лицо его — с круто выдающимися челюстями, глаза узкие, сероватые, просмешливые глаза, со злой сметкой и умом, а были они когда-то и озорные.

Я что-то буркнул ему в ответ, и он, повернув голову, презрительно посмотрел на меня:

— На войне был, видать? Бит, ранен?

— Был. Бит. Ранен, и не единожды.

— Так вот, здесь тоже война. Самая беспощадная. Чтобы выжить, надо все время обороняться, убивать, убивать...

— Этак любую подлость оправдать можно.

— Не-е, подлость не оправдать. Это ты брось. Есть

которые на это надеются. Я — нет. Я умный сделался. И много чего понимаю. Ты вот не понимаешь, хоть и в газетке работаешь, а я понимаю, хоть и вечный зэк.

— Что, например?

— Труба! Труба нам. Ты звони, звони, начальник. Я с корреспондентом политбеседу проведу. Темный он и зеленый!

Председатель взялся кричать по телефону среди ночи, а у нас продолжалась беседа.

— Нас — мильены, понял? Нами государство иное можно заселить. И выходит что? Выходит, мы — государство в государстве! Выпускать на волю многих уже нельзя. Невозможно. И это бы не беда. Тут еще другой момент есть. Нас ведь обслуживает мно-о-ого разного народу!

— Но они ж вольные!

— Это тебе так кажется...

Председатель все звонил и звонил. Но на коммутаторах и разных станциях везде и всюду в этой поре люди заснули. Кое-как добился председатель города Чусового и приказал разбудить прокурора. Пока будили звонками чувовского прокурора, председатель, отстранив трубку, глядел на нас и слушал.

— У них ведь как дело обстоит? — продолжал Митрофан Савелов, махнув в сторону телефона рукой. Он следил за председателем, видел и слышал все, что тот делает и говорит. — Пришел он, допустим, на работу к зэкам. Непривычный мордовать и костоломничать. Глянул — ма-атушки мои, народу-то, народу! И не просто народ разбродный какой, а со своими законами, с уставом своим. А устав такой: умри ты сегодня, я — завтра. И все вокруг этого вращается. Ты, корреспондент, не удивляйся — человек без закону не может. Пусть один он живет и то какой-никакой закон себе придумает: что делать, как делать, чем кушать, чего кушать... А тут туча людей. И есть у них и телеграф свой, и система своя в уничтожении друг дружки. Тот, новенький-то, допустим, пришел нас обслуживать, задумываться начал. Думал, думал — да и пулю себе в лоб. Таких случаев, милаха, ой, сколько! А чтобы не стрелить себя, думать надо бросить. Думать бросивши, зверест человек. Он звереет, мы зверей того делаемся и помаленьку ему работу облегчаем — уничтожаем друг друга. Докумекал? Нет? А-ат бестолковый! Ну, не можем мы без конца пополняться, уровень должен быть какой-

то. Ведь так, концы концов, сделается сплошная тюряга и сплошные охранники...

— Послушать тебя, так...

— Ты и послушай. Разуй глаза-то. Правильно об вас пишут, что вы жизни не знаете. Писатели! Я б заставил вас прежде лагерь хоть один пройти, потом уж романы писать...

— Я не писатель еще. Журналист.

— Вот тебе и есть прямой резон меня слушать. Правду узнаешь. Мне поговорить шибко охота. Вот скоро утро, и меня заметут опять, а там и песни, и разговоры одинаковые. Так вот про охранников-то я не закончил. Они тоже преступники. Не тарашись, не тарашись! Верно говорю. Кто почестней да душой помягче из них — или стрелился, или правдами и неправдами от нас подальше... А остались... Стой! Прокурор на проводе.

Митрофан Савелов насторожился. Чусовской прокурор спросонья долго ничего не мог понять. Когда понял, обозвал председателя олухом и разъяснил ему, что он никакого отношения к промысловскому лагпункту не имеет и не может он выслать паряд за каким-то зэком, велел звонить в город Губаху — там управление лагерей и оттуда пусть принимают меры.

— Бюрократы! — бросил трубку на рычаг председатель и ругнулся в сторону Митрофана Савелова. — Черти тебя принесли! Все кувырком пошло, доклад вот не дописал...

Митрофан Савелов с беспокойством глянул в окно. Темно еще было за окном. Сыро и темно. Он длинно, со стоном зевнул и отмахнулся от меня:

— Вздремнуть мне надо! Беспокойство впереди. В тебя все равно ничего не вобьешь! Сыт голодного не разумеет. Одно пойми — я правильное дело сделал. Укоцал бывшего работника органов. Видно, и хотели, чтоб мы его, иначе бы не послали к нам, ценили бы, так и место для него особое нашли бы... Их нельзя, слышь, тоже нельзя в народ пущать, — понизил он голос. — Им же теперь все люди на земле преступниками кажутся. Точно! Не веришь? Может, их в лезерв отведут, как золотые кадры, и за спиной держать — на всякий случай, станут. А так напусти — они и вас замордуют... Хэ, начальник-то старается. Обозлился! Сколько он получает?

— Пятьсот рублей.

— Фью-у! На два литра с малой закуской? Зачем же

он такую работу исполняет? И не ворует — по одежде и по морде видно.

— Чтобы честно жить и честным оставаться, человеку усилий и мужества, может, больше требуется, чем тебе.

— Это верно. Честно жить тяжело. Я пробовал. Скушно. Пятьсот рублей! Ха! Я б за один испуг, сегодня мною сделанный, тыщшу не взял. Слышь, корреспондент, я одинова с хеврой шесть миллионов у инкассатора взял.

— Инкассатора-то убил?

— Н-не, обошлось. Баба была. С наганом. Баба живая, как стерлядь, идет в дело с хвоста до головы...

— Ага, мильены,— вмешался в разговор председатель. Он тоже все слышал и видел, хотя вроде бы и запят был.— Да, Губаху! Губаху, девушка! Очнись! Губаху, говорю,— прикрыв рукою трубку, ворчал он, дожидаясь ответа.— Мильены! Инкассаторы! А кто белье с веревок в поселке снимает? Кто куриц по дворам ловит?

— И я сымал,— признался Митрофан Савелов.— Всякое было. Жизнь моя разнообразно шла...

— Шла?! Все! Расстреляют теперь!

— Много за мною числится,— почесал голову Митрофан.— А, да хрен с ней, с жистенкой!.. Все я видел, все узнал. Ничего интересного. У всех людей жизнь, как у картошки: не съедят, так посадят. Я хоть погужевался. А он... Вот он, председатель-то, честно живет, мается, с подлюгами вроде меня возится, потом помрет, меня уж черви к той поре съедят... и его съедят... И поползет мой червяк к евоной червячихе и скажет: «Давай поженимся!» Родится такой же червь... Э-ох! — зевнул Митрофан Савелов: — Спать я буду — наговорился. Вон Губаху дали... Скоро попки придут... Мусора...

Митрофан Савелов тут же и замолк, уснул. Председатель, услышав, как он умиротворенно зажурчал носом, чуть не плача, сказал:

— Вот! Работать не дают...

— В лагпункт-то почему не позволили?

— Да нсту у меня с ними связи! Сторожатся все они, отъединяются от мира. А уйти нельзя, мало ли что,— и он посмотрел под ноги на топор. И я посмотрел на топор.

Митрофан Савелов проспал до позднего утра. Мы с председателем не сомкнули глаз. Легче нам стало, когда пришла машина из экспедиции за нами и появился шофер. Быстро нарядили мы его в лагпункт за стрелками, из Губахи сказали председателю, чтоб он преступника сте-

рег, никуда не выпускал, они-де по рации свяжутся с лагпунктом и велют взять Митрофана Савелова.

Митрофан Савелов проснулся разом, сел, тряхнул головой и как ни в чем не бывало поприветствовал нас:

— С добрым утром, малыши!

Мы ему ничего не сказали. Он подпнулся, сходил в туалет, потом побренчал рукомойником, утерся газетой и начал обуваться. Обулся и подумал вслух.

— В столовку сходить? Открыта столовка-то?

— Нет еще.

— Врешь, начальник. Открыта. Боишься — уйду. Не бойся...— Митрофан Савелов собрался уж было идти в столовку, но в это время в поссовете появились два стрелка с автоматами. Один стал у дверей. Другой гаркнул грозно: «К стене!» И когда Митрофан Савелов встал лицом к стене, задрал руки, обхлопал его кругом,— ничего не нашел и махнул автоматом: «Н-на выход!»

Митрофан Савелов закинул руки за спину, последовал к выходу. Второй стрелок, молодой, заспанный парень с усиками, отодвинулся в сторону и ждал, когда он проследует мимо.

В дверях Митрофан Савелов обернулся, кивнул головой председателю:

— Извиняй, начальник.— Потом мне: — Пиши, корреспондент!.. Да поменьше бреши!..

— Р-разговоры! — рявкнул стрелок и пошевелил автоматом «пэпэша» — старым автоматом, со стершейся воронью и починенным прикладом.

Должно быть, наши, еще фронтовые автоматы переданы были в другие руки и продолжали свою боевую работу.

Когда мы с председателем собрались наконец ехать на станцию и вышли из поссовета к машине, то увидели небольшую группу людей у пруда. Трое в военных гимнастерках, без сапог и штанов, тянули из взбаламученного холодного пруда полосатую матрасовку, ежились под мелким дождем, в котором белыми прядками прошивался снег.

На плотине сидела и лениво облизывалась овчарка. Возле нее крутился, ластился грязный лопухий поселковый кобелишко. Овчарка была дородна, величественна, не обращала никакого внимания на беспородного пса, а он заискивающе вилял хвостом, ловчился влезть на спину овчарки, марая лоснящуюся шкуру. Проводник овчарки

пнул кобелишку, тот, сорвавшись с плотины, горестно заойкал, заскулил и поплыл по грязной воде к другому берегу. Спиходительная, короткая очередь из автомата черканула по воде и стерла кобелишку с поверхности пруда. Со дворов откликнулись воем сразу несколько собак. Под собачий вой мы и уехали из Промыслов, и, когда прибыли на станцию Теплая Гора, шел уже такой густой и липкий снег, что свету белого не видать.

КОММЕНТАРИИ

Все люди, в том числе и писатели, очень разные и разное их отношение к своим творениям: одни так обожательно к себе относятся, что все ими рожденное почитают гениальным, другие наоборот — вяло махнув на себя рукой, закатывают глаза и вздыхают разочарованно — ничего, мол, стоящего, хотя могло, ох, могло быть, если бы другие времена да не свирепствовала бы цензура, не мешало начальство, жена была бы другая, та, что есть в наличии, любит сладкую еду, южные дома творчества, комфорт... вот и утробил талант зазря.

Ни первый, ни второй тип современного, довольно распространенного в нашей стране литератора писателем в подлинном смысле этого слова не является. В литературе он — человек случайный, он так же работал бы и на лесозаготовках, и на пашне, и на капитанском мостике, больше заботясь о себе, о своей респектабельности и удобствах жизни. Этаким хвастунам или гордым скептикам очень удобно было существовать в Союзе писателей, куда попавши, можно было себя считать со всеми наравне и даже презирать приспособленцев, хотя, в общем-то, в Союзе и были все в том или ином значении приспособленцы, прожигатели жизни и пенкосниматели.

Десяток-другой истинных писателей мог прожить и уже живет, не являясь ничьим и никаким членом, он как пахал свою трудную полосу, так и продолжает пахать, добывая свой трудный хлеб, не глядя на смутное и запутанное время. Он сам творец времени и участник той жизни, в которой существует, и не пахать, не сеять он не может...

Дельцы же от литературы побегут за любым, кто выставит корыто с кормом, или за теми, кто во все смутные времена орал: «Кончай свое дело, в поход собирайся». Увы, увы, походами полна вся наша российская жизнь, а дело-то человеку определено одно. Тот, кто отрывает крестьянина, рабочего, творца от его истинного дела, от работы есть главный путаник и смутьян, он продолжает звать к борьбе, к походу, стало быть, к разрушению, а спасение России заключено в очень простой и вечной Христовой заповеди: надо всем трудиться в поте лица своего и в труде находить успокоение. Все другие пути мы испробовали — они бесполезны, вредны. Смута, враждебность, грабеж, насилие — это дело революционеров и военных. Мирянину, Божьему человеку, в том числе и литератору, нужен мир, покой и труд.

Моим любимым детищем является повесть «Пастух и пастушка», соответственно материалу и строю ее названная «пасторалью», да еще и «современной».

Думаю, читателям любопытно будет узнать, как и откуда появился замысел этой повести, неожиданной для меня, да и для всей нашей литературы той поры. В статьях и в интервью я не раз упоминал о том, что в середине пятидесятых годов вынужден был наняться работать разъездным корреспондентом областного радио, дабы не уморить себя и семью с голоду, перейдя из газеты без всяких запасов на «творческие хлеба». К этой поре я уже чуть отошел от войны, мог на нее смотреть немного отстраненно и даже кое-что осмыслить. Вышло уже несколько моих книг, они приносили мне радость, маломальские деньги, но не удовлетворение. Тоска по «настоящему», по «моему» произведению томила меня, и я ощущал в себе к нему позывы, но что это, как это — не понимал. Позднее, уже много лет поработав за столом, я узнал, что тоска эта может так и остаться в сердце, истерзав его, обескровив, и, «не реализовавшись», человек в отчаянии или наложит на себя руки, или помрет со все тем же томлением в измученной душе, не «выпев себя».

Большая это трагедия человека, и она надвигалась на меня, еще молодого и беспомощного автора, который в дерзостном полете сочинителя-романтика соприкасался уже с высшими материями, взлетал до самых небес, а на бумаге царапал: «Встав на трудовую вахту в честь славной годовщины Великой революции, железнодорожники чувовской дистанции пути подготовили все свои участки к зиме, образцово наладили костыльное и прочее хозяйство...» — «В честь все той же славной революции труженики Кизеловского бассейна добыли тысячи сверхпланового угля и отгрузили его в срок...»

Люди добрые! Ну, а до великой и славной революции иль в

странах, которые усмыгнули от всяких революций, что, не готовят железную дорогу к зиме? Что, угольщики той же клятой Германии в Эльзасе и Лотарингии ваньку валяют что ли? В Португалии, в Испании не сеют хлеб, не добывают рыбу, не строят корабли, не возделывают землю? Чего это мы растрещались? О чем? Неужто так мало и плохо работаем, что непременно должны хвалить себя, а заодно и руководителей своих, больших и малых, за обычное, человеку для жизни необходимое дело, возвеличивая их до героев, обыкновенную работу — до подвигов. Оно, правда, в тех условиях жизни и труда, в коих пребывал передовой советский человек — все это и в самом деле выглядело подвигом каждодневным, удивительным оттого, что всякий другой народ, кроме русского, тех подвигов не перенес бы и поголовно сдох, этот же еще работает, надсаженно кряхтит, слезами и кровью умывается, но везет непосильный воз. Так что же, мне поносить за это трудового русского человека? Срамить? Критиковать? А сам-то из каковских? Ну, то-то же! Вот и помогай человеку, хвали, подбавляй ему терпения, сил и энтузиазму...

Такие вот мысли все более и более одолевали меня в ту пору, когда я легко, почти балуясь, гнал жизнерадостную, оптимизмом переполненную словесную дрисию вопочим потоком на областном радио да еще и писал при этом жизнеутверждающий, не менее чем моя радиопродукция, оптимистический роман. Из-за него, из-за романа, не иначе, проспал однажды станцию Кизел и с испугу высадился на пустынном разъезде.

Я не мог, да и до сих пор из-за коигузии не могу спать ни в каком транспорте, все меня валит под откос или в тошнотой наполненную воздушную яму. А тут вот такой грех случился. Совершенно трезвый, но задерганый, усталый человек, я медленно поднялся в гору, давно обрубленную, пустынную, подернутую примороженной травкой и красным осенним земляничником вокруг несоплевших, в звонкую кость обратившихся пеньков, расстелил меж ними свое пальтишко, натянул на лицо кепку и по-фронтовому крепко уснул под восходящим сентябрьским солнцем. Долго ли, крепко ли спал, но проснулся бодрым и еще более ободрился, умывшись в горном, отоцившемся, но все еще шевелящемся ручейке. С собой у меня была пачка сигарет и книга под названием «Манон Леско» аббата Прево, которую я давно хотел прочитать и вот недавно приобрел в книжном магазине.

Поезд «Чусовская — Луньевка» — местного назначения, с которого я так опрометчиво сошел, будет возвращаться уже поздно вечером, и мне предстояло поголодовать, так как на глухом Кизеловском разъезде ни ларьков, ни магазинов не было.

Ничего другого мне не оставалось, как вынуть из кармана пальто книгу и читать ее.

С первых же страниц подхватила меня волна того ответного чувства или ощущения, которое смутно жило во мне, тревожило меня, порой почти и угадывалось, и вот нашлось, подступило — я попал в ту редкую книгу, которая была «моей», то есть соответствовала настрою моей души. Как та или иная музыка, совершенно «чужая» иному меломану, другого ввергает в умиление или слезы, заставляет страдать и чувствовать дальше и глубже других слушателей, так и «Манон Леско» — что-то во мне опрокинула, высветив то, что я в себе отдаленно и смутно ощущал.

Я был начинающий автор и истинно русский, добродушный читатель, который всякую книгу, кино, спектакль, картину, как платье, примеряет на себя, вводит их в личный обиход и подвергает личному моральному суду. «Ну, зачем, зачем мы так живем? Куда и до чего дошли? Неужели мы уже ничего не можем: ни благородно любить, ни чисто страдать?» — такие вот примерно «высокие» мысли пахлынули на меня, когда я, уже на закате солнца, закрыл последнюю страницу книги, поведавшую историю о великой и несчастной любви, кажущуюся наивненькой, невероятной из наших грубых дней, из нашей черной и кровавой действительности, и, однако, история-то трогала до слез, значит, она жива, значит, нашла во мне отзвук, более того, подступала с вопросом: почему мы так не можем ни жить, ни любить, ни писать?

Тогда, на голой, каменистой уральской горе, за казармами глухого разъезда, под спокойным закатным солнцем, я еще не знал, что заданные самому себе вопросы потребуют ответа, из тех вопросов родится замысел и долго, почти пятнадцать лет, будет мучить меня, родившись в муках, не оставит меня в покое, потому как, почувствовав какую-то важную часть тайны нашего бытия, я не отгадал ее до конца и не отгадаю, наверное, хоть и мне, и читателям очень хочется это сделать.

Быть может, интересно читателям знать, как писалась повесть, и захочется узнать кое-что о самой застойной работе?

Я не любил и не люблю копаться в своих черновиках, но помню, что в первых вариантах повести главная героиня, по имени Люся, имела точную биографию, даже мужа имела и любовника, немецкого генерала, — все имела и была совершенно упрощена, бесплотна, неинтересна и в «таком виде» не могла она привлечь внимания моего «героя», Бориса Костяева, увы, он «создан для блаженства», для романтической любви, для красивой тайны, а коли ее нет, этой вечной тайны, кто не брвенно, ее выдумывает в

себе, таскает сладкую мечту о неслыханной любви, об «идеале»...

Дополняя, переписывая повесть, я всякий раз удалял бытовую упрощенность, от индивидуально-ярких судеб и мыслей уходил все далее и далее к общечеловеческим.

Есть тайна не только в замысле, из какого-то места иль воздуха происшедшего, но и загадка в осуществлении его — я не раз испытал на себе какую-то внешнюю иль духнебесную силу или уж колдовство какое — во время работы происходят чудеса. Получишь нужную книгу, встретишь нужного человека, чаще женщину, побываешь там, где непременно надобно тебе в этот момент побывать, услышишь и увидишь то, что тебе надобно увидеть и услышать, — и все это помимо твоего явного стремления, наверное, все-таки по велению Божьему. Я говорю это потому так уверенно, что веление это самое не сходило на мои газетные писания, на примитивный роман и на все прочее, писанное по законам соцреализма, но как только мысль моя касалась судеб и чувств общечеловеческих, как только удавалось мне подняться чуть выше нашего паскудного бытия, порченного ложью и блудом разума, так и начинали твориться чудеса, так и двигались подсказки со стороны, снисходила откуда-то, вне меня существующая, озвученная память.

Я еще буду иметь возможность рассказать об этих «чудесах» в следующих томах, когда начал работать над книгой о войне. А пока вот, по-настоящему мучаясь, работаю над первой серьезной и выношенной в муках повестью о войне, где мне довелось одолевать и отстаивать не только свое непокорное перо, но и возвыситься духовно до судеб и материала, коего я смел коснуться.

Работал над каким (уже не помню) вариантом повести, когда меня опять же загадочным изгибом судьбы занесло в Серпуховский институт генетики (любопытство, разнообразие жизни, смена обстановки необходима, как воздух, и современным писателям), и среди многих чудес, явлений и ошарашивающих, почти парализующих незрелый разум открытий и приборов показали кибернетики небольшую и нехитрую на вид установку для расчленения живой клетки. «Батюшки мои! — подумал я. — Ее, клетку, и глазом-то не видно, а они ее еще и расщепляют!» Очень милый, довольно молодой ученый (а у всех этих милых ученых есть одно великолепное качество: в отличие от нас, творческих работников и партийных идеологов, умеющих запутать самые простые понятия о жизни, изовратиться там, где и врать-то не требуется, ученые с ошеломляющим волшебством говорят о сложнейшей науке, о сверхсложной аппаратуре очень доступно, очень

понятно), едва заметно улыбнувшись, сказал, что нет, клетку они еще не расщепляют, когда это произойдет — случится величайший шаг вперед в науке и в жизни человека, пока же они эту самую невидимую клетку только накалывают, но и для того, чтобы накалывать клетку, потребовалось создать прибор тончайшей сверхточности и сверхчуткости. Работы шли долго и во всем мире, подходов к решению этой технической задачи было испробовано тысячи, если не десятки тысяч, пока создатели прибора — скандинавы — не пошли по пути исключения, то есть они исключили из вакуума всякую чувствительность, выкачали воздух, убрали шумы, колебания волн, влияние магнитных воздействий и так далее и так далее, пока не создалась подходящая, но все еще не идеальная среда «для работы с живой клеткой».

Не знаю, осознанно ли, скорее всего нет, я начал работать над повестью, и в первую голову над судьбой героини, методом исключения, и чем больше я убирал с нее литературные лохмотья, тем загадочнее и красивее она получалась и довела меня до того, что и сам я влюбился в свою Люсию, а затем и в повесть. А сколько мужиков, судя по письмам, влюблялось в женщину, так долго и старательно с любовью творимую мною.

Я мало что перечитываю из своих произведений, гранки и верстки читаю почти с отвращением, но иногда, находясь наедине с собою, откроею свою «пастораль» и думаю: «Неужели это я написал? Да полно!..» И уж потом, позднее, отойдя чуть подальше, скажу себе для укрепления духа и для возбуждения сил на будущую работу: «Кое-что и мы можем!..»

Надеюсь, читатели мои не осудят меня за это признание, не сочтут сие самодовольством, ведь показывает же сапожник хорошо сшитые сапоги, плотник — добротню срубленный дом, а «Пастушка» — «моя продукция», добытая сердцем, извлеченная из него, сделанная упорным, долгим, очень нелегким трудом.

В Стране Советов, «где так вольно дышит человек», создать произведение, даже хорошее, было лишь частью дела, пусть и главного, но надо было его, произведение, как я имел возможность в предыдущем томе заметить, еще и напечатать. Одним словом, пошел я по журналам, где просили «хоть что-нибудь», и, наконец, послал рукопись в ленинградский журнал «Звезда», редактор которого, Холопов, имел однажды неосторожность сказать мне, что, чего бы я ни принес, ни прислал, пусть и «спорное», — «Звезда» с ходу напечатает.

Увы, увы, ни «Звезда», ни боевое, мною уже испытанное «Знамя» «не потянули» непривычное и неожиданное для них произведение. В «Знамни» даже обиделись, что я повесть от них забрал, а они, хорошие такие, сделали-то менее десятка замечаний. Но... но умельцы из «Знамени» не хотели понять, что после выполнения их требований и минимальных кастраций повесть напрочь теряла свои мужские достоинства и становилась, по существу, на уровень прозы много и уныло пишущего, да все в «Знамени» печатающего главного редактора. Уж если выбирать между «умельцами», то самые великие асы по обрезанию, уловкам, прятанию концов и вообще «по работе с автором» были в «Новом мире». Я и подался в «Новый мир», где уже посидел, пообсуждался достаточно с «Кражей».

У повести «Пастух и пастушка» было все то же, усвоенное мной еще с писательского «детства», достоинство — она небольшая, всего семь авторских листов, хотя по замыслу я должен был уложиться в четыре-пять листов, сделать ее стремительной, что комета. Поначалу повесть так красиво и называлась, но, поимев еще несколько нарядных иль красиво-романтических имен, пришла к очень простому и точному названию, о котором в одном журнале один опытный чтец из отдела прозы, принимая рукопись, уныло заявил: «Вот опять про это наше сраное сельское хозяйство...»

В «Новом мире» повесть прочитали дружно, с ходу, стремительно ее обсудили на редколлегии, выписали договор, выдали аванс и отправили меня домой, в Вологду, с наказом не чесаться, быстро делать журнальный вариант, а то, мол, журнал шатается и, черт знает, что нас ждет в ближайшем будущем».

Замечания по повести были в основном прополочно-перестраховочного характера, существа повести они совсем или почти совсем не касались — надобно находить «обходные маневры», «прятать концы в воду», «явно-то не высовываться», я ж говорю: наловчились в «Новом мире» объезжать на кривой кобыле цензуру, читавшую журнал с лупой, и заботливое ЦК с его «чуткими» кураторами.

Увы, и на этот раз мне не повезло: вскоре после моего отъезда редакцию вместе с главным редактором ушли раз и навсегда, а новая редколлегия была репительна в расправе с доставшимся ей в наследство портфелем... Смиренный, серенький прозаик, приехавший на Высшие литературные курсы с Дальнего Востока и задержавшийся в столице «для ловли денег и чинов», набив руку и отточив вкус в боевом журнале «Молодая гвардия», как надежный и проверенный кадр, был направлен в «Новый мир»

замом главного редактора — для исправления мятежного журнала и доведения его до высокого идейного уровня.

Ему, автору военных романов про героические дела самой героической в мире армии, и попала из залежей портфеля в перевозданном виде моя бедная «Пастушка», и, забыв о том, что он дарил мне на курсах книгу с автографом и я знаю его почерк, посчитав меня заедино со всеми, кто «портил» литературу и передовую советскую мораль через посредство порочного журнала «Новый мир», уж порезвился на полях рукописи, уж похихикал, повзвизгивал, поерничал, поостроумничал мой соратник по учебе на курсах, где-то и ныне здравствующий, но совершенно забытый и как литдеятель, и как писатель.

«Пастух и пастушка» легла на стол. Я готов был к этому, и мне даже как-то легче стало от того, что не надо ее подлаживать, править, объезжать на кривой кобыле такую глазастую цензуру и доброжелательных редакторов. Пусть лежит повесть до лучших времен, в которые я уже тогда не терял веры. После крушения «Нового мира» его авторы и, стало быть, всякая «порча» вместе с ними начали постепенно переползать, а затем и переходить в журнал «Наш современник», где вместе с несколькими своими наивернейшими друзьями и приличными писателями я активно сотрудничал как член редколлегии.

Однажды Сергей Викулов, главный редактор журнала, мне говорит: отчего я в своем журнале не показал новую повесть? Я говорю, что не по зубам она «своему журналу». А Викулов свое: по ты, мол, все-таки покажи. Я и показал. Он мне и говорит на следующей редколлегии, что не считает повесть «пропащей» для публикации, но, конечно, надо кое-что «подредактировать» и он обещает мне самую-самую бережную редактуру. А другую редактуру, знал я, плотно написанная повесть, где каждое слово я перещупал, перешоухал, как шиточку, свил и сквозь пальцы пропустил, — она не выдержит, будет видно «руку», чужую, грубую.

И я оказался прав: сколько редакционное корпунье над повестью ни кружилось, ни расклеивало ее, затерзать до бескровья не смогло, убить не сумело, и повесть, пусть с потерями, ранами и царапинами, но вышла в «Нашем современном» № 8 за 1971 год.

С тех пор я не раз возвращался к «Пастушке», и не только для того, чтобы залечить раны, восполнить в повести перестраховочные пропуски и аннулировать «невинные» подцензурные поправки. Обретая опыт в работе и «нагружаясь» от жизни, я продолжал работать над повестью «Пастух и пастушка», дотягивал, обогащал ее. Однако, что бы я ни делал с повестью, как бы

ее ни кромсал, ни переписывал, «тайна», однажды в ней родившаяся, так и осталась тайной для многих читателей, переводчиков, да и для автора тоже. Попробовали, влекомые звуком повести, прикоснуться к ней композиторы Кирилл Молчанов и Аркадий Нестеров, написав оперы, но, как признался в письме ко мне покойный уже композитор Молчанов, он «впервые не совладал с материалом, не проник в него и попробует еще работать, еще разгадывать загадку пасторали». Наиболее всего приблизились и «озвучили» тему «Пастушки» композиторы Гаврилин и Бешевли, написав что-то подобное музыкальной оратории, но все же и они не смогли до конца проникнуться ее пространственной печалью, не разгадали, мне кажется, заключенное в ней время — от века «Манон Леско» и дальше, в какие-то, и самому мне неведомые, пространства, в мир, где могли бы существовать со своей душой и любовью Люся и Борис. Пока же душам этим — нашему времени и обществу непригодных «персонажей» — лучше всего быть на небе. В повести же, в книге, уже в последние годы после сделанного восьмого захода на повесть, — отзвучала ее печаль во мне, в сердце моем, в душе, и произведение «успокоилось», отлетев в небеса, увы, не на сороковой день, а через десяток лет.

Я очень доволен тем, что, проявив характер и стойкость, не дал испортить «Пастушку» ни в кино, ни в театре. Видовая, игровая читка повести по телевизору вбила меня в удручение и неловкость, переводы ее на другие языки в других странах не имели, да и не могут пока иметь успеха. Надо до разгадки этой повести и мне, и тем более переводчикам, инсценировщикам, музыкантам дорасти. Есть пока один человек, который каким-то образом «по своим» каналам пробился в темень и свет повести, это художник Сергеев из Екатеринбурга, нарисовавший две тоже загадочных картины по «мотивам повести». Они висят в моем кабинете, над изголовьем моей кровати. Иногда я подолгу смотрю на них и что-то близкое, родное моему сердцу брезжит мне издалека, какая-то всего меня пронзающая печаль начинает снова звучать во мне, знобить мое сердце...

Что касается рассказов, то среди них были уже зрелые и настолько «крамольные», что не смогли появиться в целомудренной нашей периодике. Так, маленький рассказ «Старая лошадь», побывав почти во всех столичных журналах, попал в конце концов в «Литературную газету», и работавший в то время в литературном отделе той боевой газеты Георгий Владимов, с которым я где-то успел познакомиться, сказал, что он костями ляжет, но рассказ пробьет. Рассказ он не пробил, костями он не лег, а ушел или его «ушли» из «Литературки», и не помню, когда и как ока-

зался он за границей. А «Старая лошадь» однажды «проскочила» в моем сборнике рассказов и с тех пор благополучно печатается у нас и за рубежом.

Наиболее известный из моих рассказов того времени — «Ясным ли днем» — много печатался у нас и за рубежом, в разных антологиях, сборниках и юбилейных изданиях. На «Мосфильме» выпускником ВГИКа Аркадием Сиренко по рассказу был сделан дипломный фильм, где главную роль исполнял замечательный русский актер Николай Пастухов. Но фильм ни я и никакая публика, кроме преподавателей ВГИКа, не видели, и что там получилось, не знаю.

Рассказ писался и спасал меня от потрясений жизни в очень тяжелое для меня время. В больнице при смерти лежала жена, Мария Семеновна, заболевшая энцефалитом. Не понимая горя и беды, на нас надвинувшихся, дома резвились дети, трое, вопевшие в отроческий возраст; по радио и по телевидению на весь мир звучал Робертино Лоретти, запивалась и во все больший маразм погружалась родная моя писательская организация. Помощи и поддержки ждать было неоткуда, запить было нельзя, сдало здоровье, болезненные спазмы в сердце, звоны в контуженной башке усилились — и вот именно в это время, в эти дни «пошел рассказ», и я его писал не только за столом, но и на пути в больницу и из больницы. Наверное, это спасло и меня, и жену, и деток, которых мне хотелось перебить, а вместе с ними прикончить пьяного забудыгу, руководившего в ту пору Пермской писательской организацией. Но чем дальше я влазил в рассказ, тем больше добрел и любил жену, деток, Робертино Лоретти, прощал забудыг-друзей, даже пробовал настроиться на то, чтоб простить обкомовского деятеля, пославшего к чертям и меня, и умирающую жену, и руководителя писательской организации, когда обратились к нему с просьбой помочь нам с больницей. Но это уже было свыше моих сил. Тогда я и решил: если жена выживет — уехать с Урала.

«Что же ты за чудище! — могут возмутиться иные добродетельные читатели. — Жена умирает, в доме разлад, товарищи твои и даже бывшие друзья в вине тонут, а ты в это время творишь, сочиняешь, любимую ляльку качаешь, от ударов судьбы прячешься!..»

Да, все это так, все правильно, но если б я писал рассказ «Ясным ли днем» в другие времена, при других обстоятельствах, он получился бы другим, но, скорее всего, совсем бы на свет не родился.

Были рассказы, которые десятки лет пролежали в столе, например «Русский алмаз». Были рассказы, муторно добываемые,

как руда из земли, — «Восьмой побег», «Бери да помни». Были рассказы, время которых я прозевал, материал выболтал и пытался настичь «тему», поднять в почти остывшем материале температуру, довести его до горения, но лишь мучал железо, вынуженное из полуостывшего горна, — «Синие сумерки». Но были рассказы, мгновенно вспыхнувшие в воображении и в свете той вспышки озарением слетевшие на бумагу. Так однажды в деревне Быковке на исходе мая я видел, как только что прилетевшие на Урал стрижи и ласточки-береговушки целый вечер кружились над одним приречным холмом, кружились низко и молча, сонной, плотно сбитой в стаю полосой, справляя какой-то им лишь известный ритуал. Я понял, что ни мне и никому на свете не разгадать тайны сего загадочного птичьего действия, во мне зародилась потребность написать об этих замечательных, с детства любимых птичках, которые прилетают к нам в одну ночь или в один день и улетают так же — в одну ночь или в один день.

Прошло несколько лет, пока я, уже в Вологде, сел и разом написал рассказ «Стрижонок Скрип», и поскольку он невелик, пошел на кухню и прочитал его моим женщинам, что случилось весьма и весьма редко. Ныне покойная дочь моя Ирина, тетешкавшая плачущего сына своего, поцеловала меня в щеку, а надо заметить, что нежности в нашем доме — явление редкое, — и с печалью, и с любовью в голосе сказала смутившемуся отцу: «Эх, папа, папа, был бы ты детским писателем, как хорошо было бы...».

Хорошо — не знаю, но что спокойней и хлебней было бы — это точно. «Стрижонок Скрип» впервые был напечатан в «Мурзилке». Он много издавался и издается, с замечательными иллюстрациями. Когда моя внучка Поля училась еще в третьем классе, в ее «Книге для чтения» обнаружил я своего «Стрижонка Скрипа» ...и услышал голос дочери: «Эх, папа, папа...», но потом, в пятом классе, внучка читала уже в другом издании для школ рассказ «Васюткино озеро» и пожаловалась бабушке: «Уж больно дед длинно пишет — целый урок читали!»

СОДЕРЖАНИЕ

ПАСТУХ И ПАСТУШКА: Современная пастораль	5
РАССКАЗЫ	141
Старая лошадь	143
Дикий лук	149
Захарка	175
Старый да малый	183
Белогрудка	198
Стрижонок Скрип	202
Капалуха	208
Бабушка с малиной	211
Руки жены	215
О чем ты плачешь, ель?	229
Бери да помни	242
Сашка Лебедев	256
Тревожный сон	287
Восьмой побег	305
Индия	331
Ясным ли днем	342
Синие сумерки	377
На далекой северной вершине	398
Яшка-лось	408
Митяй с землечерпалки	420
Русский алмаз	439
<i>Комментарии</i>	450

ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ИЗДАНИЕ

АСТАФЬЕВ Виктор Петрович

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том третий

Художественное оформление
А. Озеревской, А. Яковлева

Редакторы
А. Ф. Гремицкая, М. В. Моисеева

Художественный редактор
Е. В. Корнеева

Технический редактор
Н. Н. Шабли

Корректоры
А. Ф. Пантелеева, Л. С. Павленко

Оператор компьютерной верстки
Н. А. Боброва

ЛР № 010162 от 04.01.92

Подписано в печать 30.01.97. Формат 84x108 1/32. Бумага офсетная №1.
Гарнитура Балтика. Печать офсетная. Усл. печ. л. 24.36. Уч.-изд. л. 24.68.
Тираж 10000. С—003. Заказ 62.

Отпечатано на производственно-издательском комбинате
«ОФСЕТ».
660049, Красноярск, ул. Республики, 51